

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

2001

1

2001

# НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

**В 2001 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»  
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

**АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Диверсант (роман);**

**ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть); Затеси;**

**Рассказы;**

**СЭМЮЭЛЬ БЕККЕТ. Мерсье и Камье (роман; перевод с английского Михаила Бутова);**

**АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);**

**ЮРИЙ БУЙДА. Меконг (роман);**

**МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;**

**РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);**

**ДМИТРИЙ БЫКОВ. Оправдание (роман);**

**АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Зимняя рыбалка на озере Воже (повесть);**

**СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);**

**РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);**

**ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;**

**МИХАИЛ ГОРЕЛИК. Проекция Борхеса (эссе);**

**НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Голос жизни (повесть);**

**БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;**

**ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);**

**ЛЕОНИД ЗОРИН. Из жизни Багрова (рассказы);**

**ТАТЬЯНА КАСАТКИНА. Русский читатель над японским романом;**

**СВЕТЛАНА КЕКОВА. На семи холмах (стихи);**

**АНАТОЛИЙ КИМ. Остров Ионы (роман);**

**МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);**

**ОЛЕГ ЛАРИН. Пятиречь (сцены из захолустной жизни);**

**БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;**

(См. на обороте)

**ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;**  
**ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);**  
**АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Любовь к отеческим гробам (роман);**  
**АНДРЕЙ НЕМЗЕР. Империя от Павла I до Николая I в зеркале новейшей историографии;**  
**ВЛ. НОВИКОВ. Филологическая поэзия; Высоцкий (главы из книги);**  
**ЮЛИЯ ПЕСКОВА. Привет, красавица! (повесть);**  
**ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);**  
**ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы;**  
**ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Новый роман;**  
**ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. Бог в городе (повесть);**  
**РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН. Облюбование Москвы (эссе);**  
**ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. «Гамбургский счет»: возможность и действительность;**  
**МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);**  
**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);**  
**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания;**  
**МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. Гостиница «Океан» (повесть);**  
**ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаныч (повесть);**  
**ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Фрагменты книги «Музыкальный запас»: композиторы, проблемы, случаи;**  
**ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. Лапландия (история одной болезни);**  
**ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Мальчик и девочка (роман);**

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, ДАНИИЛА ГРАНИНА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО, АНТОНА УТКИНА; стихи МАКСИМА АМЕЛИНА, ТАТЬЯНЫ БЕК, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА; статьи, очерки, эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ВЛАДИМИРА ОШЕРОВА, ИРИНЫ СУРАТ, СЕМЕНА ФАЙБИСОВИЧА, МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ** и других авторов.

# NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

**СПОСОБ ЗАКАЗА:** по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

**СПОСОБ ОПЛАТЫ:** 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

**СТОИМОСТЬ** одного экземпляра в 2001 году: \$ 14,

**СТОИМОСТЬ** годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

**Адрес редакции:** Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,  
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».  
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.  
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

## Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,  
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо  
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) \_\_\_\_\_

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»  
с \_\_\_\_\_ (месяц, год) на \_\_\_\_\_ месяцев.

Количество экземпляров \_\_\_\_\_

Стоимость заказа \_\_\_\_\_ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) \_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс, e-mail) \_\_\_\_\_

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) \_\_\_\_\_

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки \_\_\_\_\_

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2001». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на первое полугодие 2001 года — 240 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на первую половину 2001 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман», «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Чистый переулок, 6).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

*Уважаемые зарубежные подписчики!*

*Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,*

*выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».*

*Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.*

*Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).*

# НОВОЛЫГИ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 1 (909)

Январь, 2001 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Пролетный гусь, рассказ	7
ИРИНА РАТУШИНСКАЯ — Говорит ветер, стихи	37
АНДРЕЙ ВОЛОС — Недвижимость, роман	40
АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Третья платформа, стихи	136
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — Глухая благодать, стихи	141
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ — Уйти по-английски, рассказы	147
БОРИС ВИКТОРОВ — Рябь, стихи	159

### ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ — «Премудрость созда себе дом». Речь на открытии выставки русских икон в Ватикане 29 июля 1999 года	162
--	-----

### ПОЛЕМИКА

ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ — Подморозить историю?	169
---	-----

### ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА

ВЛАДИМИР ОШЕРОВ — Глобализация и/или глобализаторство?	179
--	-----

### МИР ИСКУССТВА

ВЛАДИМИР ЮЗБАШЕВ — От бумажной к виртуальной. Возможности и потери в архитектуре	186
--	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА — Спецэффекты в жизни и литературе	189
---	-----

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Андрей Немзер. Передо мной лежит последний номер «Волги»	202
Алексей Смирнов. Явление Велимира	209
Михаил Бутов. И громко играет любимый состав...	213
Павел Крючков. Последний постскриптум	216

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

<b>Василий Костырко.</b> — Ларс Густафссон. Смерть пчеловода	220
<b>Елена Касаткина.</b> — Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича	221

---

<b>КНИЖНАЯ ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА</b>	222
<b>КИНООБОЗРЕНИЕ ДМИТРИЯ БЫКОВА</b>	228
<b>WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО</b>	232

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

<b>АЛЕКСАНДР КУШНЕР</b> — Подгасовка	238
--------------------------------------	-----

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

<b>Книги</b> (составитель Сергей Костырко)	242
<b>Периодика</b> (составитель Андрей Василевский)	244
<b>SUMMARY</b>	256

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ  
АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА СОЛЖЕНИЦЫНА  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ  
ПРЕМИИ АКАДЕМИИ МОРАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК  
(Франция).**

---

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»  
ПРИСУДИЛ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ  
ИЛЬЕ КОЧЕРГИНУ  
ЗА ЛУЧШИЙ ДЕБЮТ ГОДА — РАССКАЗ «АЛТЫНАЙ»  
(«Новый мир», 2000, № 11).**

---

---

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

\*

## ПРОЛЕТНЫЙ ГУСЬ

*Рассказ*

**Р**астерзанный усталостью, мокрый до нитки, повесив ружье на плечи и положив на него руки, плелся к городу Данила Солодовников. Уйдя еще до рассвета в тайгу, он не сделал ни одного выстрела и даже не видел ни одной птицы, годной в варево. Холодный ветер нанес ворохи серых, в середине чернью клубящихся туч и с раннего утра по переменке хлестал по земле то дождем, то липким снегом. Все живое умело попряталось, куда могло, и сидело в теплых лесных крепях под сухими пихтами да елями, под скирдами, в норах, в гнездах, и один, казалось, Данила, один только он, бродил по этому с места сдвинувшемуся, погруженному в мрок, в мокреть и тучи миру.

На полустанке Акбары он мог вспрыгнуть в грузовой состав, что делал не раз и не два, возвращаясь с охоты, поскорее вернуться домой, обсушиться, отогреться и уснуть, но он не мог, права не имел, возвращаться домой с пустыми руками.

В маленькой однооконной избушке, по-амбарному крытой тесаным желобом, его ждали жена и сынишка Арканя, этакое послевоенное тощенькое создание с доверительно распахнутыми голубенькими глазками, с жилками, синеющими на виске и на горлышке. Ему шел четвертый год, и он по своему возрасту был хорошо развит, говорил почти чисто и забавно, сообразилка его крепко работала хоть в играх, хоть в запоминании песен, стишков или там всяких посказулечек. Но был Арканя болезненно плаксив, часто болел насморком, у него напересчет выступали по бокам ребрышки, выглядел он года на два с половиной.

А все от неустройства, от нервности, от слабого питания матери. И где им что было взять? Застряли вот в городишке под названием Чуфырино и бредут тут, зубарики играют, как говорил с невеселой усмешкой Данила.

Свело их, Марину и Данилу, в долгом послевоенном пути прямо на железной дороге. Данила ехал спецэшелонем из Пруссии в Россию и кое-что прихватил с собой. Не то чтобы много и богато, но на первый случай хватило бы барахлишка, да глухой ночью загрохотало под колесами поезда, качнуло вагон, и вместе со всеми на нарах спящими вояками Данила обрушился вниз, больно обо что-то ударился. «Банде-ээра-аа!» — завопил кто-то в темноте, и безоружное воинство брызнуло кто куда.

Днем на станции их собирали, подсчитывали и, распределив по вагонам вослед идущего эшелона, отправили дальше. Данила лишился всего своего имущества, даже котелка, лишился и пары белья, и новой пары портянок, выданной при демобилизации. Веселая братва из другого эшелона в беде не оставила, ел Данила из котелка соседа по нарам, шинеленку мало ношенную ему уделили, шапчонку с серым мехом и потной подкладкой подбросили. Ну и ладно, и добро. Едут солдатики по домам, ноги свесив из открытой теплушки, песни орут, у кого есть, тот выпивает, кто умеет на гармошке играть, тот играет. Солдатики-то братики по домам



едут, а Даниле, в сущности, и ехать-то некуда. Он рос в семье ссыльного дяди, который, по сообщению его жены Дарьи Фоминичны, погиб на войне, ребятишек, а их накопилось куча, пришлось горемычной женщине сдавать в детдом, сама же она, видать, тоже сгинула в военной коловерти иль переехала куда. Сколько ей ни писал Данила, ответа не было. И когда спутники спрашивали Данилу, куда он едет и где его высадка, он, придавая голосу беспечность, кричал:

— В город Чуфырино!

Почему вошло в голову это название? Где он его прочел иль услышал? — не мог Данила впоследствии ни себе, ни другим людям объяснить. Просто было радостно на душе от Победы, просто хотелось орать, плясать, всех обнимать и всякие шутки, веселые, каламбурные слова говорить. А чем Чуфырино не каламбур? Чуфырино, Пупырино, Колтырино, Колупаево — красота!

\* \* \*

Скоро выяснилось, никакие бандеровцы на эшелон не нападали. Откуда они в Белоруссии-то возьмутся? Просто на второпях восстановленной, кое-как сшитой, на старых, гнилых шпалах крепленной линии произошла очередная авария, которую и крушением-то не назовешь. Сошли и опрокинулись под откос последние вагоны, разорвало состав на части, и вот паника, с войны не забывая, сделала свое дело, разбежались по ближним болотистым лесам солдатики. Многие, в их числе и Данила Солодовников, всякого имущества лишились. Ну, дуром нажито, по дурости бывает и прожито. Вот котелок жалко, вещь, необходимая всюду, в пути в особенности. Эксплуатацию котелка соседа по нарам надо было как-то отрабатывать. И Данила бегал с солдатской посудиною за кипятком, варево чаще всего разносили по вагонам в котлах и ведрах, тут же разливали, кашу иль картошку толченую накладывали всяк в свой котелок сколь душе угодно или сколько в брюхо войдет.

Народ ехал в этом счастливом эшелоне богатый, с имуществом и деньжонками. Кутили победители напропалую, казенную еду почти не потребляли, жрали сало, масло, молоко, фрукт прошлогодний выменивали. Долго ехали по разбитой, только-только войну перебогшей земле. На станциях вдоль эшелона, всяк со своей посудинкой, выстраивались оборванные ребятишки, молча, протянув руку, стояли старики, кособочась, на тележках к линии выкатывались инвалиды. Много было инвалидов, и сама сплошь поувеченная земля выглядела инвалидно.

За Минском уже, на шибко разбитой станции, стояли долго и не ведали, когда двинутся дальше. Станция забита эшелонами и тучей народа. На кое-как прибранном перроне, издолбленном взрывами, вечером затеялись танцы под аккордеон, любовь недолговечная закрутилась, мимолетные страсти вспыхнули. Данила на танцы был не горазд, но, влекомый общей волной возбуждения и веселья, тоже приволокся на перрон. Днем он приметил возле водокачки худенькую, коротко стриженную девушку, сидящую на чемодане, спиной прислонившуюся к обогретой стене кубового помещения. Хотел заговорить с ней, но о чем заговорить, не знал и оттого не заговорил. И сейчас вот солдатик тайно надеялся, что встретит ту девушку на перроне и уж непременно с нею заговорит, хотя опять же заговорит ли, решится ли, положительно сказать себе не мог. Если же она танцует с кем-то, приглашена кем-то, тогда уж, само собой, разговор отпадает и надеяться на знакомство нечего. Что-то было в ней, в той опрятно одетой военной девушке, такое, что заранее исключало верные солдатские приемы и подходы на знакомство вроде: «Который счас час?», «Какое сегодня число?» — и тем более: «Девушка, что-то назади вас выпало и пар идет».

Серьезная была девушка, строгая, хорошо, видать, хорошими родителями воспитанная.

Сколь ни крутился Данила на перроне, как ни напрягал зрение, увидеть ожидаемую девушку не мог. А веселье под тремя тусклыми перронными фонарями набирало силу. К аккордеону подсоединились баян и барабан, музыка сделалась объемистой, громче, смех и даже хохот катались по перрону, сапоги на крошке, которой были засыпаны воронки, все гуще, все разгоряченной наговаривали — ша-ша-ша, ша-ша-ша, шурх, шурх, шурх-ша-ша-ша.

Иные пары уж и в сторону сваливали. Девушки утомленно обмахивались платочками, взвизгивали в отдалении. И вот на перроне запели многоголосо и сперва разрозненно, но с каждой минутой все слаженней и дружнее. Защемило, сжало сердце, пели-то недавнее, выстраданное, знакомое. Данила петь умел, иной раз громко пел и переживательно, однако к хору не присоединился, как-то особенно остро почувствовав одиночество свое и душевную покинутость.

Хорошо им, этим певцам и танцорам, они домой едут, а он, он-то куда? У него нет никакого дома на земле. Но углубляться в эти мысли Данила себе не позволял, как-нибудь все образуется само собой, в большой такой стране найдется и ему уголок. Он привык уже в армии, чтоб за него думали, куда-то вели, направляли, определяли, так не может быть, чтоб сейчас вот взяли и кинули его одного на произвол судьбы.

А ноги меж тем сами вели его к водокачке, и не вели — прямо так вот и тащили. И только он завернул за округлость кубового помещения, сразу и увидел ее — сердце его радостно вздрогнуло. Там, возле кубовой, был и еще народ, в немалом числе был, но он лишь ее и увидел.

— Здравствуйте, девушка.

— Здравствуйте, здравствуйте, — ответила девушка, выпрастываясь из высоко поднятой шинели. — Вы кто будете?

— Да никто, днем пришел за кипятком и вас заприметил.

— Заприметил, значит?

— Заприметил.

— А ты с какого эшелона и как тебя зовут? — решительно перешла она на «ты».

И он чистосердечно все ей рассказал: и про эшелон, про то, что ехал он в другом эшелоне, да беда приключилась, и что зовут его Данилой, фамилия у него будет Солодовников.

— А меня зовут Марина, и сию я здесь четвертые сутки.

— Вот как. Чего же делать-то?

— А вот чего. Ты возьмешь меня с собою. У вас все же эшелон есть, и он поздно или рано все равно куда-то пойдет.

— Конечно, поздно или рано. Только как быть-то, одна солдатня в вагоне, да и в эшелоне почти во всем.

— Скажешь, я твоя родственница, двоюродная сестра, ты меня нечаянно встретил.

— Ну-у, коли так, оно конечно.

— А раз конечно, бери чемодан — и айда к тебе домой.

— Ну-у, айда так айда.

Он взял чемодан, Марина надела рюкзакишко, из которого, догадался Данила, она уже почти выела харчишки.

В вагоне почти не было народу, все на танцах, на гулянье. Дежурный по вагону, сидя спавший возле печки, забитой жарко топившимся углем, вскинул голову, точно воробей на зерне, ничего не разобрал со сна: вагон из-за безлюдья освещался только от печки, — и снова погрузился в сладкую дрему.

Данила подтащил Марину за рукав к нарам, забросил чемодан наверх и прошептал, подсаживая ее:

— Лезь, мое место крайнее, возле окна, с краю и лепись.

Он еще деликатно потоптался внизу, считая, что женщине перед сном надо чего-либо с собой сделать, но чего точно, не ведал. А когда прыжком вбросил себя наверх и нащупал спутницу, она уже не шевелилась, она спала не сняв шинели. Он осторожно придвинулся к ней, накрыл своей шинелью сверху ее и себя и успокоенно, даже жалостливо подумал: «Устала, бедная», — и сам уснул. Но спал чутко. Ночью часто ошупывал рукою рядом лежащую спутницу, поправлял шинель. Она не шевелилась и не слышала, как уже в глухой час забегали подле эшелона люди с фонарями, закричали: «Все по вагонам!»

Скоро вагон дрогнул, по составу покатались щелчки буферов, и вот он уже покатился в ночь, вдаль, Данила успел еще подумать: «Ну, теперь-то ее уж никто не высадит». И уснул наутренним, крепким, молодым сном.

\* \* \*

Просыпалась солдатня поздно, неохотно, уже где-то по-за Белоруссией. Марина, проснувшись, полежала еще, прислушиваясь к себе и к миру, прикинула, сколько может терпеть, решила, что хоть до смерти будет терпеть, посмотрела на солдатика, рядом мирно спящего, соломка приклеилась к углу его рта, смоченного слюночкой сладкого сна. Она двумя пальчиками, привычными к пинцету, убрала соломку с припухлых губ Данилы, проелозив на заднице ко краю нар, спустила ноги, одернула мятую юбку и сказала:

— Здравствуйте, братики солдатники.

— Здра-а, — не сразу и разбродно ответили ей от печки, вокруг нее уже несколько курцов горбились накинутыми на плечи телогрейками и бушлатами. Остальной народ, умаянный танцами и поспешно утешенный по кустам и за развалинами построек, спал. Старший вагона, сержант Оноприйчук, забайкальский сибиряк, как он себя называл, переселенец тридцатых годов с Украины в дальний край, был вял, истомлен, непривычно малоразговорчив, он вечер перетанцевал со всеми доступными ему дамами, всем им наговорил кучу комплиментов, всех повеселил гарными анекдотами, в результате ни на одной напарнице не сосредоточил нацеленного внимания и остался, как говорится, на бобах. Вот и дремал, зажав сигарку в кулаке, иль уж добирал сна на утре. Заслышав женский голос, старшой подскочил, будто его позвала одна из вчерашних напарниц издалека, уронил телогрейку на пол, остался в кальсонах и, зажав накрест лапищами беспризорно открытую ширинку, попятился под навес нар, где начал звенеть пряжкой командирского ремня, натягивая на себя обмундирование.

Явился на свет, зачесывая расческой волосы набок, при двух рядах наград на гимнастерке и, пристально глянув на дивчину, мятую, пагллатую со сна, поинтересовался:

— Як, звиняюсь, до пиру, то есть сюда, попали?

— С Даней! Такая неожиданность, сижу, сижу, поезда жду, жду — и вдруг является, будто свыше посланный, мой двоюродный братец. Я его еще днем увидела, когда он за кипятком приходил, но, думаю, наваждение это, уж слишком счастливая неожиданность...

— Кем была на войне-то, трещотка? — спросил пожилой усатый сержант.

— Да не трещотка я, не трещотка, это я с радости разговорилась. А на войне я не была, считайте, что я в эвакуогоспитале медсестрой работала, могу и документы показать, — и метнулась в угол, к вещмешку, хотя все необходимые в дороге документы были у нее застегнуты на пуговку и на

булавку изнутри в нагрудном кармане гимнастерки. А метнулась она в глубь вагона затем, чтоб тряхнуть дрыхающего Данилу и почти в панике ему шепнуть:

— Допрос начался. Помогай!..

Помощи не потребовалось. Только спрыгнула она с нар, только протянула документы сержанту, как со всех сторон послышалось:

— Медсестра, да еще госпитальная, — это нам тебя Бог послал. У нас тут и хворые, и раненые есть, вон у Ивана свищ на ране открылся. Эй, Иван, слезавай давай с нар, перьва помощь приспела.

И кто-то зашевелился наверху, посыпалась вниз в щели меж плах перетертая солома.

— Я счас, счас. У меня и бинт, и йод, и спиртику флакончик есть. Мне б только руки помыть.

Сей же момент ей полили на руки, она попутно и лицо умыла, голову прибрала, волосы под косынку упрятала, на ходу, посреди вагона, соорудила медпункт, поставив ящик на попу, прикрыла его чьим-то пустым вещмешком, еще и белой тряпочкой застелила.

Данила смотрел на все это сверху и от удивления только и мог сказать, да и то про себя: «Вот эт-то да-а!»

Всех больных и в помощи нуждающихся солдат Марина сноровисто и быстро обиходила, будто и не замечая Данилу, с открытым ртом пеньком торчащего на нарах, и, когда закончила, присела на ящик, положила руки на колени и выдохнула:

— Ну вот, слава Богу. — И добавила, помедлив: — Надо, ребята, в вагоне прибраться, чего ж вы, как поросята, в объеда возитесь, солому надо сменить, перестелиться, тут и раны засорить запросто можно, и обовшиветь, а вы небось к невестам, к женам едете.

Завтракали они с Данилой из одного котелка и чай пили из него же; в полдень на какой-то непредвиденной остановке ребята натеребили из скирды соломы, перетрясли все манатки, постелились вновь. Старший вагона Оноприйчук объяснил правила поведения на ближайшее время:

— Справу робить тики ноччу, або когда Мариночка заснет, матэрыться з воздержанием, поганого анекдоту не травить и, главное, хлопцы, само главно, мовчок, по ишейлону ни-ни, понабегить оглоедов и раненых, и контуженых, и усяких до сестры лэчыться. Мовчок, и усе!

— А как же она?..

— Будемо сторожить, лесу або кустов нэ будэ, посадимо ии по одну сторону вагона, самы по другу, як-нибудь, хлопцы, поделикатней, уж больно дивчина-то...

— Да мы чё уж, чурки совсем, чё ли? Мы понимаем...

Не всегда ловко и деликатно получалось у хлопцев, не всегда они и в выражениях сдерживались, привыкшие вольно и дико жить по окопам, ночами пальбу, даже артподготовку открывали, но самое страшное — от нечего делать с расспросами приставали, иные и ухаживать пробовали, домой звать.

От великого говоруна Данилы она и добилась-то всего, что едут они в какой-то неведомый город Чуфырино и должны высадиться на станции Чуфырино, по расчетам — глухой ночью. Марине и в голову не приходило, что Данила придумал это название, что едут они в никуда, ни к кому, и заметила она — он робко пытается от нее избавиться, сбить ее куда-нибудь.

\* \* \*

В Москву их эшелон не пустили. Загнали куда-то на обводную станцию со множеством переплетенных меж собой путей. Здесь уже куковало много эшелонов с демобилизованными победителями. Никому и нигде они не были нужны, везде были помехой и лишней докукой.

Стояли долго. На станции той, промышленной, с заводскими трубами и черными тополями в отдалении, царило пьянство; драки, грабежи, воровство. И шныряли вербовщики по вагонам, созывали на восстановление народного хозяйства, на новостройки, на рыбалку и на золотые прииски, а также в ремесленные училища и в таежные поисковые экспедиции. Обещали сразу же подъемные деньги и пересадить на другой поезд.

— Однако я на рыбу завербуюсь, на Камчатку рвану, — заявил Данила.

— А как же я? Как же Чуфырино?

— Чуфырино подождет. А тебе место всюду есть, ты — медсестра. Смотри, вон в вагоне сразу хозяйкой сделалась. — И скрытая обида просквозила в голосе Данилы: ни профессии у него нет, ни образования путевого, одни мечты и надежды.

За время пути, хоть и немного, они вызнали друг о друге. Да и выznать особо нечего было — биографии они не накопили, война — какая это биография? Пустое время, понапрасну для жизни потраченное. Марина на медсестру и без войны выучилась. Родилась она — по документам — в Ленинграде, была еще крошечной, когда ее родителей, папу, затем и маму, куда-то завербовали и увезли, более о них ни слуху и ни духу не было. Папина сестра какое-то время держала девочку в виду, собиралась со временем, когда разрешат, забрать ее из детского спецприемника. Но началась война, тетя попала в блокаду, видимо, там и погибла. На письма, которые посылала Марина в Ленинград, никто не откликнулся, или они возвращались с пометкой: «Адресат не значится».

И оставалось ей одно — вцепиться в Данилу, этого нечаянного сродного брата, и никуда его не отпускать. А как его не отпускать, чем закрепить? Оставалось только одно, давно испытанное средство, она о нем по природе, ей данной, и от госпитальных подруг знала. Солдат всем эшелонном сгоняли в баню, двое суток они там поочередно мылись. Марина расспросила Данилу и ребят, узнала, где находится гражданская баня, оказалось, там же, в том же помещении заводской бани есть и женское отделение.

Вечерком потихонечку, спрятав узелок под шинелью, она утянулась в глубь мрачной и шумной станции, нашла баню еще и получше заводской, железнодорожную, вымылась хорошо, сменила белье, даже постирушки маломальские сделала и тихо вернулась в вагон, где все его обитатели уже крепко спали. Она забралась на свое место, почувствовала мягкую подстилку на соломе, догадалась, что это бушлат Данилы, спехала его из-под себя в голова, незаметно застелила портянками солому и с глубоким вздохом водрузилась на постель.

— Ты чего возишься-то? Помыться удалось?

— Удалось, удалось, об этом не беспокойся.

— А об чем же мне беспокоиться?

— Я знаю о чем, слышу, как ты беспокойно спишь. Хоть и теленок, а все молодой, живой человек.

Шепчась, она все плотнее придвигалась к нему и жарко дышала в ухо. Потом вдруг начала его целовать и выдыхивать прерывистым шепотом: «Данечка-Данюшечка! Данечка-Данюшечка!.. Чудушко мое!..»

Как они спарились, Данила и не помнил, услышал только, как Марина простонала сквозь стиснутые зубы и сразу вроде как опала завядшим листом с дерева. Зато уж на всю жизнь явственно запало в голову то, что происходило потом, в темноте вагона.

Марина возилась у стены вагона, что-то долго вытирала, затем еще дольше натягивала на себя не просохшие после стирки трусы, наконец откровенно вздохнула и всхлипнула:

— Вот и все... а ты, дура, боялась, как говорится в народе.

Данила притаился, молчал, но скоро понимать начал, что молчать в такое время неудобно, и, как многие мужчины при подобных обстоятельствах, принялся неуклюже каяться:

— Прости! Я ж не знал, что ты такая... — Помолчал, лицо ее пощупал, оно было в слезах. — Войну прошла, огни и воды, и вот...

Она вдруг встрепенулась, бесцеремонно пощупала его промежность:

— Тюха! Застирывать надо. И брюки, и кальсоны.

— Зачем?

— Зачем? Зачем? Разболейся, говорю...

В тесноте, неумело ворочаясь, он начал снимать с себя, что велели. Марина помогала ему. Вскоре зачурлюкала вода в кране дежурного бачка для питьевой воды, взбрыкивала пряжка ремня, пощелкивали о железо пуговицы, и вот злоумышленница с узлом в руках вскарабкалась на нары, долго пристраивала брюки в открытое окошко, цепляла их за крючки люка, чтоб обдувало.

— Кальсоны наденешь мокрые. На штаны солдаты подумают, может, описался боец, кальсоны — это, брат, улика.

Они прибрались и теперь уж лежали, прижавшись друг к другу под шинелью.

— Прости еще раз, — прошептал он еле слышно.

— Да не переживай ты, Дая, не казись, поздно или рано это неизбежно произошло бы. — И долго, долго молчала, не шевелилась и как-то слишком умудренно и устало добавила: — Да теперь и не зашьешь обратно, даже операционным кетгутом, пластырем не заклеишь. Конечно, не в такой бы постели, не в этом логове, но не одни мы нынче такие бесприютные. Спи! Спи давай. — И она стала, как ребенка, прихлопывать его по шинели, баюкать вроде.

— Выходит, мы теперь уж муж и жена, — засыпая, прошлепал своими детски пухлыми губами Данила.

— Выходит, — подтвердила она и поцеловала его в щеку, в преддверии бороды обметанную пухом.

— А кетгут — это чё?

— Багор через плечо, спи.

\* \* \*

Эшелон помаленьку разбрехался, кто уходил на московские, на подмосковные станции и за взятки, за трофейное барахлишко пристраивался в пассажирские поезда, кто взбирался на крыши вагонов и, привязав себя к трубам вентиляции, к ступеням, с комфортом дул домой иль куда воину хотелось. Укоротившийся на три вагона эшелон из-под Кёнигсберга объединили с другим укоротившимся эшелонем и загнали на станцию Ярославль, где было и без того тесно. Ярославцы погнажи эшелон дальше, и закружился он по каким-то снулым, не иначе как еще девятого века, вологодско-костромским станциям без надзору и призору, пока не выскочил на станцию Буй.

Ну, на крупном железнодорожном узле под таким хлестким названием шуток не любили, анархий не воспринимали. Здесь военный комендант слепому, почти безнадзорному движению эшелонов с фронта решил придать хоть какой-нибудь порядок и хоть как-то ввести их в поток нормального движения. Эшелон укоротился еще раз, и значительно укоротился, затарахтел вперед на восток, и, хоть не ходко и не в лад с пассажирскими поездами таратаел, дело кончилось тем, что в глухой час ночи Марина растолкала Данилу и в панике зашлась громким шепотом:

— Чуфырино! Слышь, Данила, Чуфырино! Да проснись же ты, неужто за дорогу не выпался? — И она вытолкала его из обжитого, родным сде-

лавшегося товарного вагона. Несколько давних спутников проснулись, кто-то, скорее всего Оноприйчук, скинул вниз котелок, старую шинель, бушлат, на котором они спали, и холщовый мешок с булкой хлеба, с десятком пачек концентратов и парой банок американской тушенки.

Они сидели на перроне, ошеломленные вдруг наступившей разлукой со спутниками, сделавшимися, считай, друзьями, и, глядя вслед очень скоро отбывшему эшелону, помахали ему дружно. Данила несколько раз про себя, затем вслух прочел электричеством высвеченную надпись над перроном станции:

— Чуфырино. Чуфырино. И правда, что Чуфырино написано.

Растревоженная до слез разлукой с добрыми спутниками, Марина вдруг почувствовала накатывающую на сердце волну новой, еще более гулкой тревоги.

— Так ты что, Даня, не узнаешь родную-то станцию?

— Какая она мне родная, — после долгого молчания виновато молвил Данила. — Знать, видел я ее название где-то в расписании, мне думалось, выдумал, а она — вот она, и в самом деле есть в наличности.

— О Господи, — вздохнула Марина, — ну, пойдем в вокзал. Стало быть, это наша судьба. А может, и дальше поедем, на тую хоть Камчатку, что ли, рыбу ловить. Чудушко ты мое неразумное.

С тех пор вот, с нечаянно молвленного в свадебную ночь слова, и пошло — чудушко ты мое, чудушко ты мое.

\* \* \*

Они двое суток прожили в вокзале, набитом до отказа, даже места на деревянном диване дождались и поспали поочередно. Данила ходил в город, почитал объявления о приеме на работу и предоставлении жилья. На работу всюду требовались квалифицированные иль крепко образованные кадры. Насчет жилья никаких посулов, лишь общежития местами да реденько комнаты с подселением в переживших свой век бараках и заводских домах, строенных в тридцатых годах. А так-то городишко был ничего, с речкой, втекающей в огромный пруд, в бетонной плотине которого пошумлила водой турбинка, вырабатывающая энергию для эмализавода. На пруду густо мерзли лодки с рыбаками, и, хотя еще не купальная пора, ребятишки всюду «грели воду», поскольку в пруду и в озере она всегда потеплее, чем, скажем, в самой парной реке. Город Чуфырино, разбросанный по уральским предгорьям, в общем-то, состоял как бы из отдельных поселков, плотно прикинувшихся к бокам и округлостям холмов. Лишь возле завода и ближе к станции стояли двумя улицами кирпичные дома без архитектурных излишеств, только у двух-трех домов, где жило, как догадался Данила, местное начальство, по второму этажу было сооружено что-то вроде веранд, антресолей или еще как, меж недавно побеленных колонок виднелись деревянные цветочные ящики, тоже совсем недавно покрашенные.

Над городком Чуфырино, как и над многими промышленными городами, в этот летний день недвижно стоял смог, дышать было трудновато.

Вернувшись в вокзал, Данила доложил Марине, что, мол, ничего город, не хуже и не лучше других. Сравнить ему, в общем-то, было не с чем и не с кем. В армию он был призван из серенького райцентра, где учился в двухгодичном РЭУ на полевода для совхоза, к городку прилегающего, важным кадром земледелия быть намечался. Что такое поле и полевод, он толком не успел узнать, спешно загребли почти все училище в армию и затем направили на фронт.

И как говорится, «кто моря не видал, тому и лужа в диковинку» — вот и Чуфырино сошло бы за город, если б приютил молодого жениха. И уж судьба так судьба, предсказанная Мариной.

В вокзале часто проверяли документы и все время за кем-то бегали, свистели, ловили. Лейтенант-фронтовик, состоящий при станционной комендатуре, проверив во второй раз документы у молодоженов, поинтересовался, к кому они приехали и думают ли здесь задерживаться.

— Думаем, — последовал дружный ответ.

— Думать-то, мои дорогие, мало, надо и действовать, работу, жильё искать, на военный учет становиться.

Перепроверив народ в вокзале, кого-то и милиции сдавши, комендант вернулся к Даниле с Мариной и сказал:

— Идите за мной, молодые люди. Да-да, с вещами, может, я вам чем-то пригожусь.

В узенькой прокуренной комнатке с завядшими шелковыми шторами, в которой стоял продавленный кожаный диван, на стене висела корявая копия картины Шишкина «Рожь», над столом — портрет Сталина, на столе — телефон старого образца, еще с ручкой; лейтенант махнул в сторону дивана: располагайтесь, мол, — сам же принялся вертеть ручку телефона.

— Виталия Гордеевна? Вас приветствует лейтенант Хрунычев. Генка короткий. Ну, подсмотрел я, кажется, вам квартирантов. Молоджены, не буйные, в пьянстве не замеченные. Ага, приходите. Они тут у меня отдохнут.

Виталия Гордеевна, женщина в железнодорожной форме, с погонами какого-то непонятого чина, в средних летах, с чуть приметными усиками и желтыми от табака пальцами, на смотрины много времени не тратила. Пробежала глазами по Дане и Марине, перед ней вскочившими с дивана, имущество оглядела и махнула рукой — за мною. На ходу уж бросила:

— Спасибо, Гена.

— Ну что вы, Виталия Гордеевна, — раздалось вслед, — спасибо потом говорить будете, коли подойдут вам квартиранты.

Виталия Гордеевна в давно не чищенных туфлях решительно шагала впереди, новожители Чуфырина бежали следом, передавая друг другу чемодан. Железнодорожница привела молодоженов на улицу Новопрудную, на исходе которой, вторым от воды, посреди зеленой полянки с палисадником перед окнами стоял крепкий, от копоти почерневший дом с давно не крашенными наличниками и покосившейся, ветрами и дождями траченной трубой над крышею.

В доме была кухня с дощатой пристройкой, в проеме занавешенной давно не стиранной, петухами вышитой занавеской. За филенчатой, застекленной дверью располагался большой квадратный зал, застеленный половиками, у стены, у дальней, стоял тут красивый диван, прикинутый ковром, в углу — иконы с давно, видать, не зажигавшейся лампадой. Вбок из зала вела дверь с двумя давно, тоже белилами, крашенными створками. Там была спальня, красиво застеленная цветастым покрывалом, из-под которого виднелась кружевная прошва и пышные подушки, прикинутые кисейной накидкой, собранной по краям в оборки. Над кроватью тоже висел тяжелый ковер, на ковре — ружье с патронташем и ножом в красивом кожаном чехле.

Успевшая за дорогу узнать у молодых людей всю их короткую, но насыщенную жизнью биографию, Виталия Гордеевна деловито распорядилась:

— Вот здесь, в спальне, и располагайтесь, только постельное белье, если оно у вас есть, застелите. Условие мое простое: молодой человек обеспечивает дом дровами, молодая хозяйка следит за домом, обихаживает его и, как медсестра, помогает мне, потому как я после тяжелой операции. Денег никаких не беру, да и откуда у вас деньги. Работаю я в техническом отделе железнодорожного узла, отпросилась на час. Так что побежала я. Вот мой телефон, через четыре дома вверх дом Хрунычевых, откуда происходит Генка, — там телефон, звоните, если что. Ну, я побежала... Да! — вернулась она для пояснений. — Во дворе зимовка, в ней котел, погрейте воды, помойтесь. В баню уж потом соберетесь...



\* \* \*

Они жили ладно и даже складно. Строгая хозяйка Виталия Гордеевна порой бывала даже сурова, поскольку сопротивления от квартирантов нигде и ни в чем не встречала, но скоро помягчала нравом.

Перво-наперво она сводила молодоженов на худо засаженный и еще хуже ухоженный огород и показала на свободный участок земли, уже начавший зарастать травой:

— Вот, хотела капусту посадить и огуречную гряду соорудить, да куда мне, шов болит, голова кружится, того и гляди, в борозду сунусь. Так что садите здесь картошку, семена есть, ну что, что середина июня, авось вырастет и вам какое-никакое подспорье.

Она же, Виталия Гордеевна, пристроила молодоженов на работу: Марину — медсестрой в железнодорожную школу и техничкой одновременно, две ставки пусть и небольшие, а все ж кормные. И Данилу скорым временем определила на курсы слесарей среднего ремонта вагонного депо — стипендия ученика пусть и ничтожная, всего двести пятьдесят рублей, булка ж хлеба на рынке не менее пятисот стоит, зато спецовку выдают и дрова из отходов выписывают, да и учиться-то всего ничего, там и разряд дадут, на сделную работу поставят.

Лето промелькнуло быстро-быстро. Картошка успела вырасти, огород сами убрали, Виталия Гордеевна велела свою и квартирантову картошку засыпать в подполье, в один сусек. К осени Данила получил разряд, его определили в ремонтную бригаду. За лето Данила успел кое-что сделать по дому, чего надо, выкрасил, подлатал, всему учась в процессе жизни и по подсказке опытных людей, подремонтировал печь, переложил трубу, починил крыльцо, сгнившие сусеки в подполье подладил. Марина пласталась после работы и в выходные дни, побелила все, что надо, тоже учась в процессе жизни и по подсказкам хозяйки, перестирала, перетрясла все барахло в доме и медицинские обязанности справляла сноровисто и умело. У нее даже клиентура на Новопрудной улице появилась, в первую голову сама Виталия Гордеевна, затем подруга ее с детства Хрунычева, и всякий люд, который припирало или он попадал в беду, ломился в дом, стучал среди ночи в окна.

Марина шла на зов страждущих в любое время, Виталия Гордеевна качала головой сокрушенно:

— Ох, простодырка, ох, простодырка. Заездят они тебя, заездят. Ты хоть какую-никакую плату с них бери.

— Да ведь неудобно.

— А им по ночам тебя эксплуатировать удобно?

Должно быть, Виталия Гордеевна и ее подруга Хрунычева провели ответственную разъяснительную работу: медсестре кто бидончик молока, кто творожку, когда и сметанки принесут, когда и рублишко, когда и пятерку незаметно в карман халатика сунут.

Данила был сражен в ту, еще летнюю, пору, когда Марина открыла чемодан и начала вынимать отгудова добро. Четыре простыни, четыре наволочки, четыре полотенца, халат белый, халат ситцевый в цветочках, с пуговками во весь разлет. Но главное, самое главное, что достала Марина со дна чемодана, — это кирзовый саквояж с застежкой, в нем — железный кипятильник сундучком, шприцы, иглы, бинты, вата, йод во флакончике и разные ампулы и таблетки.

— Не бойся, не бойся, — вразумила Данилу молодая жена, — не украдено все это, разбоем не добыто. Это нам как награду за наш труд и доблесть нашу выдал начальник госпиталя полковник Бугринин. Свертывая госпиталь, себе, значит, главному врачу и замполиту вагон добра отправил и нам со стола своего крохи кинул. Всему персоналу белье, нам же, сест-

рам, еще и по чемоданчику с прибором, но самое главное — это. — Марина извлекла в марлю завернутые коробки с ампулами: — Вот укрепляющее и обезболивающее. Только высокому начальству полагалось колоть и вот сестрам по отдельности, тоже как награда...

Часть лекарств Марина израсходовала на Виталию Гордеевну и ее соседей, но затем, сказав себе «стоп!», припрятала кое-что, и как впоследствии выяснилось, не напрасно припрятывала.

\* \* \*

Нельзя сказать, чтобы первая послевоенная зима была для молодежи очень трудная, она была, как у многих людей в стране, просто трудная. Данилу влили в новую бригаду, составленную почти сплошь из недавних фронтовиков, поставив во главе ее опытного бригадира. Из спецодежды выдали телогрейку, ватные брюки и кошмой подшитые валенки. Все это быстро загрязнилось, у валенок отстала подошва. Починили валенки, Виталия Гордеевна из каких-то древних недр вынула меховую душегрейку, Данила поддевал ее под железо на морозе хрустящую телогрейку, но зима выдалась холодная, ремонтники мерзли от железа на холоде, часто болели.

Возглавлял цех среднего ремонта мастер Арефий Воротников и никакое начальство, кроме себя, в свои владения не допускал. Он пил молча, но много, однако дело свое знал и ремонтникам был отцом родным и защитником от всех напастей. Все вагоны, любых марок и грузоподъемности, он досконально знал от гайки, любого шплинта и до автосцепки иль тормозных колодок и башмаков. Обмануть его было невозможно, да никто и не пытался это делать. Воротников знал сам, когда, где, кому и зачем сделать приписку в рабочем наряде.

Беда была в том, что нормы выработки остались на среднем ремонте прежние и оплата труда тоже прежняя, почти еще довоенная, и если бы честно платить за работу, то все ремонтники из депо давно бы разбежались.

Хорошо и упорно приписывал Воротников новой бригаде, уважая фронтовиков и их законные завоевания, но дела у новой бригады не шли в гору, правда, и под гору совсем не валились.

Здесь, на среднем ремонте, работали две знаменитости всей Северо-Уральской дороги — Тойво Хомеляйнен, которого все называли Толей, и Анатолий Аржанов, этот и по метрике был Анатолий. Из раскулаченной семьи, через все препоны пролез кулацкий выкормыш на ответственное производство. Хомеляйнен тоже был нечист в смысле биографии, высланный из Заладоги финн или угр, поди разберись. По роже — так пожалуй что угр, то есть происходил он из давно вымершей нации.

Лицо его состояло из комков: лоб — два комка, щеки, всегда закально-красные, — два комка, подбородок — один комок, но тоже раздвоенный глубокой щелью, из которой торчало непробритое толстое волосье и давно от слесарной работы залегший, непромыываемый мазут. Меж этих холмов торчал курносый носишко, и где-то в далеком углублении светились белым глаза со зрачками, как бы проткнутыми шилом. Кроме всего прочего, это первобытное лицо всегда было покрыто угрями, протекшими, после себя оставившими черные дырки, назревшие гноем и только-только нарождающиеся, и все это недоформированное мясо покрывалось наростами тонкой кожи, затягивающей выболевшие места. Говорил он мало, резко, как бы презирая всех людей или сердясь на них. Скорее всего, так оно и было.

Другое дело — Толик Аржанов. Долговязый, с как бы привешенными к туловищу чужими огромными ручищами, светлоглазый, с горсточкой мелких белесых кудряшек, прилепленных к темечку, улыбчивый, слово-

охотливый, способный полчаса смеяться над мало-мальски срамным анекдотом. Других вагонные слесаря и не знали.

Хомеляйнен и Аржанов ни в каких бригадах не состояли, работали каждый по отдельности, много месяцев и лет соревнуясь между собой и выполняя трудовое задание аж на пятьсот процентов. Конечно, без руки мастера Воротникова, без его приписок тут не обходилось, и в соревновании то Хомеляйнен обгонял Аржанова, то Аржанов Хомеляйнена. Вместе же они, когда требовалось, и выручали мастера Воротникова, ломя работу за половину цеха среднего ремонта, как правило, в конце месяца, квартала или года.

Умильно было смотреть на эту пару, когда, усевшись на перекур, зимой на чурбачки, летом на прохладное железо, они заводили душевный разговор:

— Ну и чё она-то, чё?

— Орала.

— Благим матом?

Хомеляйнен утвердительно кивал головой.

— Слушай, Толик, это, однако, про тебя ребята бают, будто ты с одной дамочкой, бывши в санаторьи железнодорожной, заперся, и оттель рев понесся такой, што народ подумал — режут кого-то, давай дверь выламывать. Ну, выломали, а тама на них баба поперла с голой кункой, на швабру похожей: «Чё, — грит, — вам, недоумки, надо? Я, — грит, — кожды не ору, никакого удовольствия не получаю». И пошел отряд спасателей, гуманистов этих дерганых, восвояси, водку пить и удивляться этакой погибельной страсти.

— Ну, может, и было, да забыл я, оне все подо мной орут, которая от страха, которая от страсти.

— Пряма завидно, — вздыхал Толик Аржанов, — сила в тебе могучая, и подходом владеешь. А я вот онну охомутил и, как корабель, на якоре стою. Ревновитая у меня баба, спасу нет. Никакого мне от ниё ходу никуда. В ту же санаторью ездил, дак вдвоем...

Два с детства обездоленных великих мужика сидят, мирно беседуют — один из ссыльной нации, другой из кулацкой семьи, их никуда и на работу-то не брали, уж в тридцать девятом году по мобилизации в вагонное депо, на средний ремонт, направили, где работать никто не хотел.

К ним, как к передовикам производства, приставали разные чины из партийных, подсылали к ним корреспондентов из газет и с радио. Хомеляйнен никого к себе не подпускал, а Толик Аржанов беседовал. Охотно.

— Да к што ж, Родина требует, вот и работаю. Опытном? Опытном делюсь с молодыми и со всеми, хто пожелат... — Докурив сигарку, Толик растапывал ее в междупутье и заключал: — Ты вот что, мужик, ты напиши там все, што я думаю, а мне ведь работать надо, простой не оплачивается.

Мастер Воротников, прячась средь вагонов иль в крытом четырехоснике, иногда выпивал с этими мужиками и слесарей своих, братию чумазую, наставлял:

— Вы, ребята, присматривайтесь к этим мною сотворенным стахановцам, они ведь не все силой берут, кое-что и смекают. Опыт! Великое дело — опыт.

И присматривались, и многому подучились. Два передовика производства особое расположение имели к фронтовикам, закурить давали, когда и трояк займы отклоняют от своих в горсть не вмещающихся получек.

Многому научился Данила, втянулся в трехсменную работу, в бригаде, пусть и не передовой, лишним не был. Но уж очень промерз за зиму средь железа и мазута, спецовку до того просмолил, что уже не гнулась и грева от нее никакого.

\* \* \*

На исходе зимы, в ясный февральский день, он привел из железнодорожного родильного дома жену и принес в руках хорошо закутанного, всю дорогу до дому проспавшего сыночка Аркашу.

Имя это Марина и Данила придумали заранее.

Дождались Виталию Гордеевну с работы, развязали узелок с существом, сучившим синенькими руками и ногами, жмурящимся от света.

Она посмотрела, посмотрела, поздравила молодых родителей и пригостила:

— Ох, ребята, ребята, вам бы самим в жизни закрепиться, потом уж и ребеночка соображать. Вы ведь, птицы залетные, вроде еще и не распланные? Вот, я так и догадывалась. Ты в ночную смену, Данила? Завтра же ухвачу подругу Хрунычиху, сама второй крестной матерью стану — и в загс, в загс. Экие пролетарьи, понимаете. Вас же даже к детской кухне не подпустят без регистрации, на ребенка карточку не выдадут, к поликлинике не прикрепят. Тебе, мама молодая, и декретные не выплатят, ох, горе мне с вами, ох, горе. — А сама уж откуда-то тащит капорочик розовый с кружевцами, теплые байковые обуточки с вязками, распашонку байковую в горошек, наряжает парня, ворочает его смело, а он вроде бы урчит.

— А я думала, вы и не заметили, — дрогнула ртом Марина и припала к Виталии Гордеевне.

— Уж так уж и не заметила, глаз не имею, — ворчала Виталия Гордеевна и новой гребенкой с серебряными буквами по обводу причесывала белесую, ладненькую голову молодой мамы, папе сунула пакет, в котором завернута была синяя рубаха с уже заправленными в рукава блестящими запонками.

Данила начал благодарить, попробовал поклониться.

— Лан, лан, не умеешь спину гнуть — и не учись. Навязчива эта привычка.

\* \* \*

Скоро весна началась, травка проклюнулась, огородная пора приспела. Арканя, как его все в доме называли, рос податливо, хотя был худенький, но шустрый, пошел на десятом месяце. То-то радости было. Потом и залопотал, и заговорил — «мама», «папа», родители подтенировали, и он однажды выдал: «баба Итя» — следующими за родительским званием эти слова были. Виталия Гордеевна, и без того не чаявшая души в ребенке, совсем уж счастлива сделалась, чем могла, тем и помогла Даниле с Мариной; давняя подруга ее Хрунычиха, осуждая иль радуясь, ворчала:

— Роднее родных оне у тебя. — И, повременив, добавляла: — Всем бы таких детей. Мои вон асмодеи поразлетелись, поразъехали и не пишут ничего. Хотела Генку коло себя удержать, да где там, завился за какой-то пролетной юбкой, теперича в дальнеющем таежном гарнизоне сопли на кулак мотает! И в отпуска к матери вырваться не может, семья одолела, а зарплата кака у офыцэра, хоть он и мойер ныне. Один мундер бесплатной да фуражка со звездой — весь тебе и прибыток. Мать же и помогай имя. А куда денешь? — Наворчавшись, Хрунычиха, крепкая еще баба, в старухи неохотно переходящая, отправлялась домой, на ходу недовольно роняя: — За молоком-то ходите, пока корова доится и я в силе. Потом отработаете, Марина шприцом, Данилка лопатой и топором.

И отработывали, и уработывались, выходных и праздных часов не знали ни тот, ни другой.

Операция бесследно не прошла для Виталии Гордеевны, долго она крепилась, но пришлось все же по болезни уходить на пенсию. Очень

скромную, хотя и занимала она должность в одном из технических отделов дороги. Но на железной дороге всегда были заработки малые. Оттого до войны и корову держали, чтобы старики, отец и мать Федора Всеволодовича и Виталии Гордеевны, имели хорошее, здоровое питание и сын вырос крепким, жил не впроголодь.

Федор Всеволодович, муж хозяйки, служил в том же отделе, что и Виталия Гордеевна. Был он на здоровье некрепок, но шибко курил и втихоря попивал. Прибыв из института по назначению и сталинской путевке, молодая инженерша скоро потеснила Федора Всеволодовича и через год-два заняла место начальницы отдела.

Была она подтянута, разумом богата, стремительна, характером резка, и хотя с виду не красавица, но мужчины задерживали на ней алчущие взоры. И путевые мужики, с хорошими перспективами в дальнейшей жизни. Отчего, почему молодая специалистка отдала предпочтение молчаливому человеку, стареющему холостяку Федору Всеволодовичу Мукомолову, она до сих пор сама себе объяснить не могла. Скорее всего, завихренная всеохватывающим энтузиазмом передела жизни, устремления ее к лучшему, порешила она и Федора Всеволодовича перевоспитать, подтянуть до идеала советского передового человека, избавить или отучить его от дурных привычек — курева, пьянства и склонности к праздному времяпровождению.

Но, как говорится, не на того напала; молчалив, заперт был Федор Всеволодович, однако характеру негибкого. Избавляя мужа от дурных привычек, Виталия Гордеевна сама начала курить, да и попивала одно время вперегонки с мужем. И неизвестно, что получилось бы из этой нечаянной семьи, если б не Хрунычиха, не добрая ее подруга. Она и за волосы непутевую соседку Виталию таскала, и зелье отбирала, и топала, и орала. Она же и добрый совет дала доблестной паре: детей, больше одного, не заводить, этого бы поднять, с этой первеющей задачей справиться.

Последствия абортон вон когда сказались, вон когда располосовали ее и все поврежденные внутренности перебрали, да обратно затолкали и зашили.

А муженек жил и пил тихо, в могилу тоже тихо и незаметно отправился, запершись перед кончиной с сыном, заканчивающим школу, в спальне и давши ему ценный совет после школы поступать в военное политическое училище: в комиссары выйдет — всегда будет иметь хлеб с маслом и в случае войны от губящего огня отодвинут будет на безопасное расстояние.

Владимир Федорович, вняв совету отца, благополучно кончил военное партийное училище, как отличник и передовик нацелился на академию, но помешала война.

Однако в мясорубку сорок первого года он по молодости лет не угодил, вынесло его уже на Волгу, под Сталинград. В политотделе обливаемой кровью армии он даже чего-то пытался сотворить героическое, один раз заменял командира стрелковой роты и пусть на кратком боевом опыте, но постиг: тут и убить могут.

Командующий армией, прижатой к кромке берега Волги, убирал все лишнее с клочка избитой, кровью пропитанной земли и, принимая переплавившиеся под огнем пополнения, на обратном транспорте отправлял на другой берег подразделения с бумагами, сейфами, типографиями, газетками и боевыми листками, важных персон из финансовых и секретных отделов, все время кого-то выслеживающих и стреляющих. Чтобы не путались под ногами, не делали видимость неутомимой работы, бдительного контроля, в том числе и за ним, за командующим.

На пути с опасного берега на безопасный транспорт тоже бомбили, иногда топили. Шальная бомба угодила в баржу, которую, старчески дыша, тянул колесник еще дореволюционной эпохи. В барже той отбывал исполнять свои обязанности остаток политотдела армии, в которой люто

бился с врагом и Владимир Федорович Мукомолов. Многие политотдельцы утонули, иных подобрала, умеющие хорошо плавать сами добрались до берега. Владимир Федорович, с раннего детства не вылазивший летами из заводского пруда и затем, в политучилище, получивший разряд по плаванию, был как раз в числе тех, кто героически достиг спасительного берега. Большую целенаправленную работу провел он вместе с политотделом, чтобы увековечить память погибших товарищей. Все они поименно были перечислены в армейской газете, все живые и мертвые награждены, в их числе и Владимир Федорович, медалью «За боевые заслуги».

Был сооружен специальный щит, увенчанный гвардейским знаменем, и на том щите помещены были фотографии всех погибших, щит тот стараниями и неусыпным надзором был дотащен до Берлина и там уж, после капитуляции врага, сдан куда-то на хранение. Щит этот здорово помогал политотделу делать видимость невероятно нужной фронту изнурительной боевой работы. Владимир Федорович более опасностям себя не подвергал, крепко усвоив, что главная задача его и политотдела всей героической, сталинградской армии — не особо мешать воевать людям, но и держаться так, чтобы о них совсем не забыли, куда-то ездить, звонить, собираться на конференции и требовать, чтобы рядовые коммунисты на переднем крае всегда подавали пример, в борьбе с врагом не жалея себя бились на самом ответственном участке фронта. Политотделы, да еще армейские, во второй половине войны набрались боевого опыта и ближе двадцати километров к боевым позициям не приближались. Вдруг важные бумаги во фронтовом огне сгорят, вдруг задержится выпуск очередного номера армейской газеты, боевых листов, плакатов и агитационных листовок — это ж катастрофа, это ж удар героической армии с тыла, так недолго дожить до того, что и наступление затормозится иль вовсе остановится.

В личном плане Владимир Федорович приобрел на фронте солидное тело и жену Нелли Сергеевну и, как кадр, умеющий руководить и направлять, был назначен после войны на работу в лагеря для военнопленных, по пути на Северный Урал заезжал домой, к маме, отправив жену покамест тоже домой, в город Свердловск.

Гнетущее впечатление произвел на маму родной сын. Своей вальяжностью, беспрекословностью в суждениях, умением вести светскую беседу на достойном идеологическом уровне, даже походкой, как бы все перед собой стаптывающей, непреклонной, он подавлял, морально властвовал над всеми.

И, слышав о том, что военнопленных скоро начнут возвращать назад, Виталия Гордеевна с тревогой подумала, что и сын ее, оставшись не у дел, может быть уволен из армии и вернется домой. Но об этом она не только никому ничего не говорила, даже думать об этом себе запрещала.

А жизнь, трудная, тяжкая, все же куда-то — наверно-таки вперед — катилась и катилась себе. В городе Чуфырино наметилось выделение в отдельный завод от эмалево-железного завода крупного и пока единственного в стране предприятия по изготовлению чугунных квартирных ванн — следовательно, и строительство смежного с ним предприятия по изготовлению эмали и красок.

В связи с развертыванием этих, а также и других немаловажных предприятий начало стремительно полнеть население города; вдали, за прудом, на пастбищных холмах, поросших кустарником, как-то безгласно, подпортив, правда, пейзаж, совсем почти незаметно огородились два лагерька строгого режима.

Надо было копать котлованы, строить подъездные пути, подводить канализацию, поднимать в небо трубы, ставить столбы электроопор, и много, много другой тяжелой работы возникало, подходящей только для преступников, искупающих свою черную вину перед народом и государством старательным, иногда и смертельным трудом.

Данила колебнулся было уйти из депо на новостройку, чтобы побольше зарабатывать, но Виталия Гордеевна тормознула его, заявив, что да, на железной дороге палат каменных не наживешь, однако железная дорога — самое стабильное и надежное, что есть в нашей стране, на новостройках же наших, как и всюду, неразбериха, содом и жилья скоро не дождешься. На новостройках лишь посулы скорые и деньги резиновые.

Данила успокоился, Марина же и представить не могла, куда она без Виталии Гордеевниного угла и досмотра, ее советов и помощи. Аркашка и вовсе без нее ни шагу, бабой Итей зовет, за подолом таскается. Но все же без тревоги, без насад жизни не бывает, очень уж болезненным, плаксивым рос Арканя, и, когда попробовали его определить в железнодорожный детский садик, врач, посмотревший его, резко заключил, чтоб сперва в порядок привели ребенка, потом уж предлагали его в общественное детское заведение.

Одним огородом, пенсией Виталии Гордеевны и заработками молодых родителей семье можно было еще тащиться, но ребенка не укрепить. И тогда Виталия Гордеевна подвела Данилу к кровати, сняла с гвоздя ружье, сунула его в руки квартиранту и сказала:

— Владей пока, добывай мясо, как древний хозяин очага. Я тебя к Пахомке Верещаку прицеплю, он тебя маленько поднатаскает.

Пахомка Верещак, человек без возраста и определенного облика, жил тоже на улице Новопрудной, но за прудом. Улица эта, взяв разгон, перескочила через широченный пруд и там скоро не могла остановиться, рванула еще версты на три и как-то устало, изнеможенно рассеялась на подслеповатые избушонки, засыпные времянки, которые, впрочем, стояли уже десятки лет, время их гнуло, кособочило, наносило ущерб, подмывая их, разрывая ветрами, придавливая снегами, но они стояли, упершись рыльцами в землю, вечерами мигали из заречья нездешними, как бы уж и запрещенными огнями. Среди этих скученных, большей частью нумеров не имеющих, нигде не записанных, властями не учтенных жилищ были две-три полуземлянки-полухаты, толсто мазанные дармовой здесь глиной, и вот в одной из них обретался Пахомка Верещак, человек, возникший из ниоткуда и никуда не устремленный. Он отродясь не занимался никаким общественно полезным трудом, жил как бы в свое удовольствие, как бы в забавах все время. Плел ивовые корзины, под их марку и морды для поимки рыбы, мастерил на нитке прыгающих и физкультуру на нитке делающих человечков, вырезал свистульки, по найму ремонтировал мебель, погребя, иной раз и бани.

Главным призванием в жизни Пахомки Верещака была охота, вроде бы несерьезная, ближняя. Добыв где-то справку с печатью заречного медпункта о том, что ему, Пахомке Верещаку, круглогодично разрешена охота на здешнем пруду, тут он и шерудил по зарослям камыша и куги, гоняя утиные выводки, а с проснегом лупил уже пролетную утку. Мужики, и позапрудненские, и коренной земли, пробовали было возмущаться, протестовать, но охотник им бумагу с печатью в нос. Кроме того, все припрудные хозяйки считали Пахомку Верещака блаженным и по этому случаю угощали его во все праздники, и советские, и царские, стряпней, где и стопкой, стояли за него горой, в обиду блаженного не давали, снабжали его ношеной одеждой, обувью, за это за все он где посторожит, где покосит, чего поднесет, кого в своем ходком самодельном челне на другой берег переправит.

Пахомка никогда и ничем не болел, с бабами не знался, все припрудные чуфыринцы считали, что так оно и должно быть, человек он Божий и помереть ему суждено тихо, без мучений, скорее всего во время сна. Забегая вперед, можно подтвердить, что так оно все и вышло.

\* \* \*

Вот к Пахомке-то Верещаку, в воспитанники, как он сам называл Данилу, и попал квартирант Виталии Гордеевны. У Пахомки ни детей, ни тем более воспитанников никогда не было, он испытал чувство важности от порученного ему дела, терпеливо натаскивал «прахтиканта» не только по утке на пруду, но и по ближним покосам и полям на тетерею, на рябца, по первотропу и на зайца.

Поскольку Пахомка жил неторопливой, ничем и никем не контролируемой жизнью, он в свое удовольствие исходил и изучил родные уголья, хотя стрелком был не ахти каким по причине экономии боевого припаса.

С Пахомкой-то Верещаком хватил Данила горя и радости. Первый раз в жизни получив под свое начало подчиненного, уж отвел душеньку командир, уж поматерил его — проматерил, можно сказать, до дыр. Не будь Данила смиренным и терпеливым от рождения человеком, бросил бы он всю эту сложную и хитрую науку пригородного промысловика, посыпал бы голову пеплом или еще чем, сам обматерил бы напослед учителя и подался куда глаза глядят. Но он все вытерпел, все превозмог и научился, хоть и не очень хорошо, стрелять, владеть утиными манками, рябчиным пищиком, делать чучела, петли на зайцев ставить, избродил все окрестности, познал таинственный смысл жизни русских лесов и вод, получил много радостей, испытал и много огорчений. Пахомка Верещак, ссылаясь на больные, ревматизменные ноги, со временем пустил Данилу в вольные походы, приставил самостоятельно владеть угольями и ружьем.

Охота в пригороде становилась все труднее и малодобычливее. С каждым годом множилось число тех, кто любил пострелять и попользоваться дичью, дарами природы к почти голодному столу. В пригороде дичь перевелась, надо было или отъезжать по железной дороге, или топтать в глубь урема, подалее от города. А выходной-то один — воскресенье, да и тот частенько заедали на производствах, устраивая стахановские вахты иль по-вальные, шумные авралы.

Хитрый Пахомка Верещак не часто, но открывал свои секреты и однажды затащил Данилу на ближайшие от города поля подсобного хозяйства завода «Эмальпосуда». Это почти за истоком пруда, почти при впадении в него речки Чуфырки, в честь которой и названо было древнее селение, — название то и прилепилось к городу. За ближними, довольно заболоченными лесочками по излучинам Чуфырки вдруг открывался пашенный, крестьянский, считай что, мир. На пологих холмах, впахиваясь в берег и перемахивая через речку, открывались желтые поля хлебов, овса, загоны с картофелем и даже обширный загон ячменя для производства пива, дальше за оградой, выветренной до черноты, за дорогой, изъезженной до глинистой грязи, виднелись фермы, загоны для скота.

Благодаря этим полям и фермам не издох в войну эмалепосудный завод и его боевой коллектив. Хозяйство давнее, с начала тридцатых годов существующее, с тех пор, как разорили русских крестьян, согнали их с земли и рабочий класс вынужден был переходить на самокормление или сдыхать с голоду, — хозяйство это росло и крепло, потому что вчерашние крестьяне на забыли еще привычную работу, усердию же и строгости в деле их учить не надо было. Вот отучивать потом настойчиво возьмется и шибко преуспеют в этом прогрессивном направлении.

Возле полей подсобного хозяйства, как и возле старых деревень, велась птица: косачишки, редушко глухари и в глуши ельничков зимовали рябчики. Весной над березничками тянули вальдшнепы, над болотами жужжали бекасы, курлыкали журавли и стонали по полям чибисы, а поздней осенью и ранней весной на поля как бы наезжали с небес гагаканьем стаи усталых гусей, иногда усаживались среди полей, но так умело выбирали место, что ни с какой стороны к ним не подобрешься: скрадов на поле, скирд и сулонов они избегали. Придумал было фокусник Пахомка вкапы-



вать бочку середь поля, поживился одной или тремя птицами и гордился этим, грудь выгибал, пьяненький хвастался: «Да я. Да я люблю птицу, какой хошь величины и умственности, добуду — и не охну!..» Показав Даниле по секрету заветные места, Пахомка приложил к губам кривой палец с черным ногтем:

— Нишкни! Чтоб никому ни слова, ни полслова. — И всхотнул презрительно: — Оне ж, верхогляды, вдаль прут, а чё под носом летат, не ведают.

\* \* \*

Развели! За две осени дичь в округе выхлестали почти подчистую, стрелки-то — не наше горе, не Пахомка с Данилкой, хоть по бутылке, хоть по фуражке палят так, что дребезги и лоскутья летят. Тетеревов они нарочно на крыло поднимали, чтоб одним выстрелом выбить пару иль несколько птиц. Опустело запрудье. В углу дальнего поля были сооружены Данилой два скрада, из них он попользовался птичинкой, иной раз тетери по две, когда и самого косача приносил. Он перестал посещать и подновлять скрады, они истлели, обрушились, нынче вот из последних сил поволокся в свой добычливый угол охотник — вдруг повезет, вдруг тетеря или косач, сохранившиеся в болотных крепях, уповая на непогоду, вылетят на поле зернышек пособирать, забытую былку неосыпавшегося овса клювом потеревить.

Нельзя ему, нельзя пустым домой возвращаться, нельзя ему, нельзя больного мальчишку без мясного бульона оставить. Правда, он и мясной-то плохо ест, с крошками иногда ложку-другую отхлебнет — и все. Рвать его ночами стало. За животишко держится мальчик. Из ушек у него течь начало. По стародавней интеллигентной привычке Виталия Гордеевна держала в зале на круглом столе, покрытом темно-синей скатертью с кистями, две вазы — маленькую, наполненную карамельками, большую — яблоками. Мальчишка, когда побойчее был, приставал к хозяйке:

— Баба Итя, хосю люлю и ябоська.

Никогда, в каком бы настроении ни была, но баловню своему не отказывала баба Итя, а ныне вот гладит его по головке и терпеливо толкует:

— Нельзя тебе люлю, малыш, нельзя. Обметало тебя, из ушек течет, а ябоська сейчас мы натрем на терке, сейчас, сейчас, мой хороший, сейчас, мой маленький.

Смуглая, с черненькими джигитскими усиками, глазищи с ложку, тоже черные, вдруг отчужденной сделалась Виталия Гордеевна и молчаливой. Пытались отгадать Данила с Мариной, в чем дело, хозяйка открылась сама:

— Ружье, Данилушка, на гвоздь, из спальни выселиться ко мне иль в зимовку переселяйтесь, мальчика не распускать. Сын домой возвращается с женою, и боюсь, жизнь наша мирная круто изменится.

\* \* \*

Приехали супруги Мукомолы с кучей добра, румяные, пригожие, на дворян похожие и с дворянскими, пусть пока еще и коряво выглядевшими, привычками и манерами. На радостях встречи соседней собрали, мать в голову стола посадила сына с невесткой, и, хотя квартиранты отнекивались, завлекли за стол и Данилу с Мариной. Поднарядились молодые, бывший солдат боевые медали на пиджак прицепил, но лучше бы он этого не делал. В чине подполковника уволенный в запас, Владимир Федорович Мукомолов наградами обременен не был: медаль, полученная за Сталинград, орден Отечественной войны второй степени, щедрой рукой командующего армией отваленный всем офицерам, отправлявшимся в за-

пас или для прохождения дальнейшей службы, и еще с заключенным в красивый бант гвардейским знаком да медалькой «За победу над Германией» — вот и все, что могло блеснуть на выпуклой, воистину гвардейской груди боевого офицера, как бы созданной для ношения на ней сверкающих рядов наград.

А тут парнишка, молокосос, можно сказать, — и три медали у него, да еще недавно через военкомат выданный припоздалый орден Красной Звезды и лазоревой ленточкой светящаяся медалька «За взятие Кёнигсберга».

Застолье было сковано почтением и застенчивостью. Сколь его ни расшевеливали Владимир Федорович и Нелли Сергеевна, сдвинуть с места не смогли. Вся спереди и сзади из кругленьких предметов состоящая и круглое, румяное лицо имеющая Нелли Сергеевна сыпала шутки, прибаутки, пробовала рассказывать анекдоты, гости сдержанно смеялись, Виталия Гордеевна вообще в веселье участия не принимала, сидела с каменным почернелым лицом, изредка отдавая распоряжения по кухне подруге своей Хрунычихе и Марине, которая охотно помогала ей и тревожно наблюдала, как в чужом пиру напряженно чувствует себя Данила, как он, совершенно непривычный к солидной компании, тяготится празднеством.

— Ты выпей, выпей, чудушко мое, — подтолкнула его под бок локтем Марина, он и выпил, почувствовал себя раскованней, попробовал даже пошутить, вроде бы у него получилось шутливое начало.

И тут, уловив оживление за столом, Владимир Федорович Мукомолов обратился через стол к Даниле:

— А что, молодой герой, вижу, не зря вы на фронте время проводили, вижу по наградам, бились с врагом, как и полагается советскому воину.

— Мало я с ним бился, — повременив, ответил гость, — месяца, может, полтора-два, в бою вообще был всего несколько раз.

— Скромность украшает человека, — встряла в разговор Нелли Сергеевна.

— Да какая тут скромность. Под Кёнигсберг прибыли, — делая ударение на «и», ответил Данила, — когда он уже весь был разбит и почти полностью захвачен, так что и медалю мне выдали, считай что ни за что. Вот на косе, там досталось.

— На какой косе?

— А я названия не помню. Большая такая голая коса, в море удаленная, вот там нам дали так дали.

— Ну, и вы им дали. Я знаю, о какой косе идет речь, трупами врагов ее завалили.

— Да пока до этого дело дошло, мы ту косу своими трупами устелили. У немца стенки возведены из мешков, набитых песком, козырьки из камней, деревянные, из круглого леса загороди сооружены, все пристреляно, подготовлено, мы же по чистине, дуrom валим, ну и вся наша стрелковая дивизия в первый же день там, на косе, осталась.

— А вы уцелели? Прятались, что ли?

— Да где там спрячешься? Уж потом за трупы своих убитых товарищей залегали, вся и защита. Назавтра всю эту немецкую трахомудрию артиллерией и самолетами с говном, извините, с песком и камнями сровняли, другая уж дивизия, кто говорил — две или три на косу поперли, но немец все еще оказывал сопротивление и, когда его подтянули к воде, загнали по пояс в мутную жижу, начал руки поднимать. Сильные вояки немцы. Иные вплавь бросались, чтоб до Швеции доплыть, через неделю трупы волнами выбрасывало на косу, а там еще наши убитые не убраны. Жуть!

— И все же не дрогнули, победили, сломали врага.

— Да, да, победили и сломали, да скоро узнали через солдатское радио, что ее, косу ту, и брать не надо было, только заблокировать — и все,

немцы б сами сдались, а то положили тыщи тыщ русских людей. Не жалели их в начале войны, в конце ими тоже никто не дорожил.

— Н-ну-у, молодой человек. Кто это вам сказал, опять солдатское радио? — усмехнулся Владимир Федорович.

— И солдатское радио, и другие источники, — блеснул познаниями ученого языка Данила. — А вы, извиняюсь, где в это время были?

— Владимир Федорович выполнял на фронте ответственную и важную работу, — пояснила Даниле и всему застолю супруга Мукомолова.

«В политотделе, за много верст от фронта мешками кровь проливал», — чуть не бухнул Данила, но вовремя воздержался, однако ни с того ни с сего врезалась в разговор Марина. Должно быть, ее задело, что та вот сытенская, холеная дамочка стрекочет тут, права качает, а она, так много тяжкой, кровавой и страшной работы на фронте переделавшая, не может, что ли, заступиться за своего Данилу, пусть исхудалой грудью не может заслонить бойца, да?

И заслонила!

— Конечно, в такой дали от фронта, где и выстрелов не слышать, работа куда важнее, чем у таких вот вьюнош, дурную голову под пули подставлявших.

Кривая усмешка шевельнула усики на губе Виталии Гордеевны, она нашла взглядом раскрасневшуюся, от волнения задрожавшую Марину и кивнула ей головой: «Молодец, девка!»

Нелли Сергеевна же, вскочив с места, выплеснулась словесным фонтаном, заверяя компанию, что молодые люди не правы, захлебываясь, рассказывала, как они погибали в горящем Сталинграде, и Владимир Федорович только благодаря мужеству и недюжинной силе спасся с разбитого плавсредства, не утонул в Волге.

Долго она еще трещала, долго с волнением рассказывала о фронтовых дорогах, о ночных кошмарных бомбежках, срочной работе — и все в помощь фронту, все для его облегчения и поднятия духа военной силы.

Марина взяла с колен бабы Ити прикорнувшего сына и унесла его в летнюю кухню-зимовку, гости тоже вежливо начали прощаться, отодвигать стулья и покидать дом Виталии Гордеевны, так, кажется, за весь вечер и не открывшей рта.

Вторую половину вечера промолчал и Владимир Федорович. Будто решил про себя: нарвался разок — и хватит. Хрунычиха, убирая со стола и дождавшись, когда новоприезжие хозяева отправились на прогулку перед сном, но скорее всего посовещаться насчет дальнейшего совместного с квартирантами проживания, буркнула подруге:

— Ну, Виталя, доржись. Энти господа ни тебе, ни робитишкам жизни не дадут, сживут со свету.

\* \* \*

И началась тихая, никому не ведомая война в доме Мукомоловых.

— Почему, мама, нет ружья на месте?

— Данила с ним ушел на охоту. Мясо ребенку надобно.

— Мясо, мясо, надобно, надобно, знать ничего не знаю, чтоб завтра же ружье на месте было. Мне его отец подарил. И нечего...

В доме, как и прежде, убиралась Марина, по заведенной привычке богатая невестка ставила на стол вазочки с конфетами и яблоками и однажды застигла мальчика, взгромоздившегося на стул, взявшего конфету и тут же на месте преступления развертывающего обертку.

— Эт-то еще что такое? Эт-того еще не хватало! Мальчик ворует конфеты со стола! — И понеслась, и застрекотала насчет честности и воспита-

ния ее в детях и вообще о советском сообществе, самом благородном, самом нравственном, самом передовом, где недопустимо...

Готовая уже ляпнуть мокрой тряпкой по роже этой дамочки, Марина вдруг сорвалась с места, схватила худенького мальчишку со стула и, слепая от истерики, начала его хлестать по заднице, визжа на весь дом:

— Не воруй, не воруй, живи честно, живи благородно, как тетенька Неля, у-ух я бы вас всех! — И, бросив полуобморочного ребенка на диван, выскочила на половину Виталии Гордеевны, зашла в рыданиях: — Я у этой мандавошки, я этой мандавошке...

Виталия Гордеевна притиснула Марину к себе: она поняла, все поняла, больше Марина не будет мыть полы и убирать горшки на другой половине. Фифочка эта нарочно кладет на виду золотые колечки, дорогие броши и серьги, пробовала подбрасывать деньги, испытывая на честность квартирантов, может, и саму Виталию Гордеевну.

— Успокойся, девочка, успокойся, — гладила она по голове Марину и целовала в соленое от слез лицо.

Тут приковывал на кухонную половину ничего не понявший Аркашка, потому что никто его никогда не бил, не наказывал, ткнулся в подол Марине и начал просить:

— Полюби меня, мамоська, полюби меня, мамоська...

Едва угомонился дом Мукомоловых. Но вечером горничная пара явилась на половину хозяйки, и невестка застрекотала:

— Знаете, мамаша, если вам так дороги эти люди...

— Никакая я тебе не мамаша, — обрезала невестку Виталия Гордеевна. — Завтра же я велю заколотить дверь в вашу половину, готовить кофеи будете на плитке, ребята, пока не устроятся с жильем, останутся в зимовке. Все! Вопросы есть еще?

Заткнув нос и рот фирменным немецким платочком, Нелли Сергеевна, рыдая, убежала к себе. Владимир Федорович грузно последовал за нею, обернувшись в дверях, покачал головой:

— Я этого, мама, от тебя не ожидал.

— А что ты ожидал? Что ты ожидал? Привык, чтоб тебе подтирала задницу, лебезили перед тобой! — И, докурив папиросу, метко швырнула ее на шесток печки. — Э-эх, бездарь, бездарь, не хватило ума даже на то, чтоб на всем огромном фронте найти нечто приличнее этой яловой финтифлюшки. Иди! Видеть тебя не хочу!

...Данила знал, что ружье ему доверили в последний раз, и хоть убейся, но что-нибудь добывай, отошла лафа, отфартило, самому на ружье не с чего капиталов накопить, родни всей в городе — Виталия Гордеевна, ей едва хватает на скудное жительство пенсии.

И хотя промок, устал молодой охотник, до изнеможения дошел, он заставил себя проброситься по окраинам полей подсобного хозяйства. Нигде никто не шевелился, не вылетал, голосу не подавал, все разошлись по домам, как говорил близкий друг Пахомка Верещак. Данила забрел на приречное поле, где прежде Пахомка закапывал бочку, и как во сне невнятное, усталое донеслось до него — га-га-га, га-га-га.

Данила отскочил к кромке ивняка, вырвал патроны с крупной дробью из патронташа, вставил в стволы и приподнялся над опушкой перелеска. От соснового бора, что был за городом, в котором летами располагался пионерлагерь, пока еще едва-едва различимая, в мороке шла и снижалась на ночевку стая гусей. Большая стая гусей. И тогда, движимый какой-то ему неведомой силой, Данила вдруг зашептал:

— Господи, помоги мне, нет, не мне, Аркашке, отроку хворому помоги. Он у нас крещеный.

Клич гусиный ясел и приближался.

И вдруг над самой головой Данила услышал шелест крыл, иные гуси, скользя в полете, уже и лапы выпустили, чтобы коснуться ими земли и,

пробежав немного, остановиться. Данила приотпустил стаю и из обоих стволов дуплетом ударил в гущу ее. Не коснувшись земли, стая плавно взмыла вверх, тревожно закричала и, пересекая перелесок, ушла за речку.

Но пока стая набрала высоту и скрылась, Данила увидел, как один гусь, оттопырив крыло, задрожал им, словно бы стряхивая с перьев капли, и косо пошел к земле.

Данила точно отметил место, куда снижался гусь, это было недалеко, но ничего там, куда он пришел, не обнаружил. Тогда он заложил круг-другой и тупо думал, что, если сделал подранка, ему его не найти, да и наповал сбитую птицу отыскать здесь — непростая задача.

Чуфыринцы, возвращаясь к мирной жизни, возвращали и мирные свои привычки. До войны они любили гульнуть на природе, как узнал от Пахомки молодой охотник, и вот снова по воскресеньям, в День металлурга, в День матери и ребенка, во все праздники и дни, пригодные для пьянки, тянулись они на ближнюю природу, за пруд, и здесь, в загустевших за войну лесочках, по окраинам полей давали звону и шороху, засорив за короткое время так пригородную местность, что ровно не люди тут веселились, а черти или еще какая дикая, нечистая сила правила здесь шабаш.

Бутылки, стекла, консервные банки, жесь, картон, доски и много, много бумаги. Всюду она белеется, принять ее за гуся было нехитрое дело. Однако Данила кружил и кружил по измятым, ломаным, порубленным кустарникам, будто заговоренный лунатик, не веря, не желая верить, что потерял добычу. Если гусь подранен в крыло, он, волоча его, уковыляет на ближнее болото, там его вынюхает лиса либо наткнутся на него здешние собаки и схрустят за здорово живешь. Но почему собаки, почему лиса? Птичина, бульон из нее нужен больному человечку, маленькому Аркаше. И Данила искал, искал, уже заплетающимися ногами колесил по давно ему знакомой местности. По здешним не очень веселым и худородным лесочкам пасся скот, обьедал все, что давалось зубам, натоптал тропы, сбив в гребешки грязь копытами. Ходить трудно, скользко. Ближняя тропа в который уже раз вынесла охотника на пустынное, зябко скрючившееся под мокретью поле, где прежде велось много косача. И, остановившись перед этим желто и слабо мерцающим в завеси морока полем со скирдой-истуканом посередине, глядя на запрудье, где густело невидимое небо и откуда вместе с мороком непогоды наплывал морок вечерний, Данила вдруг рухнул на колени прямо среди растолченной тропы и снова свистящим шепотом вытолкнул мольбу сквозь сведенные холодом губы: «Господи! Помоги еще раз! Помоги! Не мне, отроку малому. Мне уж никто ничем не поможет...»

Он и еще что-то вышлепывал мокрыми губами, стараясь сквозь пелену дождя со снегом увидеть небо и того, кто там, на нем, на небе, обретается и призван всем помогать. Помогать, помогать, и только, других у него дел и обязанностей нету.

Он еще и не доныл, не допел своей просьбы-мольбы, как вспомнил, что здесь вот близенько, почти на выходе тропы, в поле мимоходно видел он приземистую елочку и под ней скомканную газету. Но гуляки иль культурно на природе отдыхающие трудящиеся газету должны расстелить под задницу иль под закуску, под выпивку, под разные дела и потребности.

Газету могло скомкать, ветром в кучу собрать, дождями вымочить, либо собаки, либо скотина рьлом ее смяла...

Но нет, нет, здесь, на самой окраине, на выходе тропы в поле он не искал дичину, не пытался отчего-то искать, лез в глушину чащи, подальше от поля. Он бежал, спотыкался, раза два упал, соскользаясь на гребне грязи, к ночи начавшей застывать, он почти пробежал елочку, остановился, медленно повернул шею, будто она у него болела... гусь смиренно, отвалив головку, откинув крыло, лежал кверху серым пузцом и полупригнутыми к нему лапами с ясно видимой на желтых перепонках грязью.

Гусь все-таки пробовал уйти, скрыться, но сил его достало только сойти с тропы.

Данила схватил гуся обеими руками, зарылся в его крылья, в перо лицом и услышал еле внятное тепло, еще хранящееся в недрах птицы. Он так, не отнимая от мокрого лица убитую птицу, вышел на поле, пошлепал к пруду, завывая от счастья или плача от радости.

К Пахомке не заходил, спустился на переправу и переплыл пруд на дежурной лодке.

— Что так долго-то? — спросила Марина. — Я уж тут беспокоиться начала.

— Вот, — развязавши петлю вещмешка, бережно выложил на столик свою добычу Данила. — Гусь, — пояснил он, — редкая здесь птица, бывает только пролетом.

— Ты ружье верни хозяевам, напоминали опять, — тускло отозвалась Марина и начала умело теревить птицу. Тоже вот научилась вместе с ним — он добывать птицу, она ее обихаживать.

Утром, до работы, Данила постучал в новую дверь молодых Мукомоловых — им прорубили отдельный вход, изладив кокетливо вырезанное и покрашенное крылечко.

Интеллигенты Мукомоловы еще нежились в постели, и, в носках войдя к ним, Данила прислонил к стенке ружье, вычищенное, впрок смазанное, сказал заранее заготовленное:

— Вот, благодарствую. Шибко оно нас выручило.

— Ничего, ничего, ладно, — приподнявшись, молвил Владимир Федорович и, глядя на штопаные, но чистые носки Данилы, добавил: — Ты, это самое, свою жену укороти, чего это она язык распускает, понимаешь.

— А вы свою, — негромко, но твердо сказал Данила и пошел на работу.

\* \* \*

Не помог и гусь Аркаше, он почти насильно ему всунутую в рот ложку схлебывал и отталкивал ручонкой: «Не хосю, зывотик болит».

Теперь они спали по переменке. Прижав к груди ребенка, кружила по тесной зимовке Марина, потом, упавши на лежанку, забывалась, ребенка баюкал Данила. Аркаша в лад его шагам, сам себя убаюкивая, сонно и слабенько подпевал: «О-о-о-оо-о, о-о-о-оо-о».

Иногда, поздней ночью, к ним спускалась Виталия Гордеевна, заявляя, что у них свет горит, вот она на огонек и завернула. Постояв у дверей, хозяйка коротко приказывала:

— Несите ребенка ко мне.

Для нее уж и такая ноша, как выболевший до птичьей легкости ребенок, сделалась тяжелой. Дни и ночи читавшая толстые книги, прежде все газеты читала, теперь вот отчего-то на книги перешла, перечитала все, что скопилось в доме, записалась в центральную, городскую библиотеку.

— Ложи сюда, — немножко проветрив насквозь прокуренную комнату свою, показывала она на постель; прижав к себе Аркашу, делала отмашку: уходите, мол, не мешайте. — Что ж у тебя болит-то, маленький мой? — спрашивала бабушка Ита, как у взрослого, у Аркаши, и он тоже, ровно взрослый, отчитывался перед нею:

— Бьюско.

— А еще что болит у Аркаши?

— Гбюдка и гоёвка.

— Ну, ничего, ничего, ты сейчас вместе с бабушкой выпьешь порошок и уснешь. Уснешь ведь?

— Сну.

Она высыпала в старую эмалированную кружку часть своего снотворного порошка, и мальчик, таракашкой приникнув к ней, постепенно ослаблялся, утихал.

Слабенькое, слабенькое его дыхание, тихое, тихое тепло исходило от него, и бабушка Ита тоже опускалась в тихий сон. И если б не бронхитный, курительный кашель, бивший ее время от времени, они б так и до обеда проспали, да вот проклятый привязался, скрипит мокротой в груди, душит, она осторожно, чтоб не потревожить мальчика, задавив в себе спазм, выбиралась на крыльцо, раздражалась мучительным кашлем, долго, со стоном отплевывалась и возвращалась к мальчику.

Аркаши не стало поздней осенью, почти что зимой, никакие уже мамины укольчики не облегчали его, никакие порошки и таблетки не действовали. Мучительным и долгим был исход ребенка, он исстрадался, глядел на мать, на отца, на бабу Иту взрослым укоризненным взором, как бы отраженные от лампадного огонька блики блестели в глубине этих догорающих глаз, и о чем-то вопрошали глаза ребенка взрослых людей.

\* \* \*

Пахомка Верещак, сыскав каких-то заречных дружков, выкопал могилку на новой половине запрудного кладбища, так множественно и широко расселившегося за короткое послевоенное время, что старое кладбище с деревьями, сиренями и разными кустами боязливо вжалось в себя, уступая место этому нагому, со всех сторон обдуваемому последнему людскому пристанищу.

Пахомка сам встретил Марину и Данилу на берегу, сам переправил в своем челне на другую сторону почти игрушечный гробик и родителей, парно севших за лопашни. Был Пахомка одет в чистую рубаху, с невпопад пришитыми к ней и застегнутыми разномастными пуговицами. Держался строго и достойно.

Спрыгнув в неглубокую могилку, ладонью ощупал стенки, как бы поласкал землю изнутри и доложил:

— Могилка суха, аккуратна, мальчонке здесь будет уютно.

Как-то очень уж быстро зарылась щелка в земле, вырос бугорок над нею, и желтый крестик поставлен куда надо.

— Ну, царствие небесное упокойному, пусть мальчонке будет хоть там хорошо, где нет никаких болезней, вздыханий и горя. — До конца Пахомка молитву не знал, но крестился размашисто и истоно.

Данила выцарапал из кармана мятую десятку, протягивая ее, прочувствованно сказал:

— Пахом Ильич, Божий человек, помяни отрока Аркадия хоть маленько, больше у нас нету.

— Нечё, нечё, мы с ребятами добавим, коли потребуется.

Когда отшелестели и удалились шаги Пахомки, стоявшие по ту и другую сторону холмика Марина и Данила вдруг сцепились над могилой в неистовом объятии и выли громко, пока был голос, потом уж плакали молча до тех пор, пока не иссякли в них слезы и силы.

Домой шли отчужденно, по отдельности, подшибленно переставляя ноги. Внезапно Данила споткнулся, упал и не поднимался. Марина оглянулась, издали бросила:

— Ну чего ты в грязи валяешься, как пьяный, подымайся давай, иди. Надо дальше жить.

— Да не научены, не умеем мы жить! — закричал диким голосом Данила и, ударив в грязь кулаком, поднялся. Она подставила ему плечо — точно в кино героическая сестра милосердия уводила с поля брани раненого.

— Мне вот тяжелее, да я ж не валюсь.

— Почему это тебе тяжелее?

— Я бедного нашего Аркашу недавно набила. Сильно.

Данила остановился, вытаращился на нее:

— Кы-как набила? Когда, зачем?

— Какое это теперь имеет значение, когда и зачем?

— Это ж теперь казнь на всю жизнь, дура.

— Дура? Конечно, дура. Вот взял бы и побил дуру-то? Ну чего выпялился? Ты ж отец, муж, поучи бабу.

— Какой я муж? Какой отец? Не гожусь я на эти ответственные должности! — снова дико закричал Данила и, зажав лицо, пьяно вихляясь, с воем побежал к пруду.

\* \* \*

С того вот дня, с похорон Аркаши, Данила и начал сдавать. Дело дошло до того, что среди зимы его отправили в отпуск и, выдав выходное пособие, вернули ему трудовую книжку с единственной пока записью, давши в железнодорожной поликлинике дельный совет искать работу в тепле и полегче.

Данила делается шабашником, будет пилить и колоть дрова в частных дворах, но чаще в школе, где работала техничкой Марина. Медпункты в школах, в последнюю очередь железнодорожных, ликвидировали, вчерашняя медсестра сошла на свою вторую должность, хотя в случае необходимости исполняла и медицинские обязанности, за что директор школы ей немного приплачивал.

А рядом развивалась и набирала уверенности жизнь второй семьи. Владимир Федорович Мукомолов, отдохнув после службы назначенное самому себе время, сходил в горком, встал на партийный учет и попросил побеспокоиться насчет его трудоустройства. Соответствующих званию и партийному сану вакансий пока что не было, но в перспективе они могли появиться, и скоро ему предложили возглавить партком нового завода по изготовлению ванн.

Сперва, совсем недолго, ходил Мукомолов на завод пешком, затем ездил на дежурном автобусе, и вот за ним закрепили персональную черную «Волгу». Надевши тройку сталистого цвета, немецкого покроя, с туго жилеткой стянутым животом, сровнявшимся с грудью, партийный господин бережно нес себя по земле, важно и снисходительно говорил с подчиненными, в парткоме у него уже появился штат, и Неллюнчик, стучавшая на машинке в военном политотделе, плавно переключалась в контору заботливого мужа.

Виталия Гордеевна, молча наблюдавшая за ближней ее окружающей действительностью, иногда поражалась и расточительности, и скудности жизни. Вот окончи ее сын военно-политическую академию, в генералы вышел, где-то занимал бы высокую должность, это с его-то полтора за жиревшими извилинами. Ныне они с женой ведут никчемную, пустую жизнь, но так довольны собой и своей жизнью и той великой работой, которую исполняют, что видеть это невыносимо противно. Ей иной раз хотелось спросить заматеревшего, дородного телом мужика, нажившего два подбородка, и мать думала — как зачнется третий, его пригласят работать в горком, о чем уже ходили разговоры, — вот не стань его парткома, отменись его никому не нужная работа, остановится завод или нет? Неужели они оба со своим Неллюнчиком не понимают, что путались в ногах воюющих, теперь вот путаются в ногах работающих людей, мешают им нормально жить и трудиться?



Не понимали и не поняли бы. Целые армии дармоедов, прихлебателей как считали, что на войне и в мирной жизни без них и шагу не сделать, что были они главная движущая сила военных побед и возрождающегося прогресса, так и считают.

Ну а тут сбоку или уже в ногах копошились какие-то Солодовниковы и множество им подобных.

Данила угодил в туберкулезную больницу и, как заметила Марина, не торопился оттуда возвращаться, чтобы вовсе уж не затруднять ее жизнь.

В белом халатике Марина свободно проникала в больницу, они подолгу простаивали возле окна, на лестничной площадке, разделяющей стационар и лечебный корпус. О чем-то вяло разговаривали, но чаще молчали. Иногда, без нее и когда Мукомоловых не было дома, Данила тайком приходил домой проведать погружившуюся в непробудное чтение, скрипло кашляющую Виталию Гордеевну, оставлял записку Марине, чтоб она часто к нему не ходила, лучше побольше бы отдыхала. Однажды на записке обнаружила она завернутый в бумажную салфетку бутерброд с сыром и сверху него круто сваренное яйцо.

Она бросилась в больницу, утатила его на лестницу и заколотила в его уже звенящую грудь кулаками:

— Ты задумал умирать? Не смей! Не смей! Как же я тут одна-то, чудушко ты мое?

И снова, сцепившись в объятье, долго покинуто плакали они. Но Марина не была б Мариной, если б не попыталась что-то изменить, наладить.

Подкараулив главного врача больницы, она торопливо заговорила:

— Артур Иосифович! Возьмите меня к себе на работу, я опытная медсестра, ну хоть нянечкой возьмите, все равно я в школе мою полы, буду мыть и здесь, судна выносить, переворачивать больных в постели. Я буду все, все делать, только чтоб быть ближе к нему и выходить его.

Доктор, естественно, поинтересовался, к кому это к нему. И когда она назвала фамилию Солодовникова, едва подавил протяжный вздох: «Э-э, дорогая моя, Солодовникову уже никто, даже ты, не сможет помочь. А работа, тем более санитаркой, у нас опасна». Но вслух он ее обнадежил:

— Хорошо, хорошо, мы подумаем.

\* \* \*

Думали недолго. Скоро не о чем сделалось думать. Больной Данила Артемыч Солодовников в конце того же месяца тихо скончался в изоляторе, сгорел, как раньше писалось, от скоротечной чахотки, ныне более научно и вежливо — от прогрессирующего туберкулеза.

Похороны на себя взяла спецбольница, у нее для этого дела был большой цех по изготовлению домовин, подвода с коновозчиком дядей Васей во главе.

Могилу копали вагонщики из вспомогательного цеха с Толей Аржановым во главе. У него от тяжести вывалилась кишка, и сколь ее обратно ни заправляли в больнице сестры и жена дома, она все выходила и выходила. Пришлось Толе пересесть вахтером в проходную будку. Использовали его и на вспомогательных работах.

Четверо мужиков выдолбили и выкопали могилу «по делу», как заявил Толик Аржанов. Дядя Вася привез больничный гроб, привязанный веревкою к саням, и сидящую по-за ним женщину в черном платке. Ну вылитая картина из хрестоматии к поэме Некрасова «Мороз, Красный нос», только ребятишек на подводе нету, зато женщина держала на коленях ею же сшитую бархатную подушечку с прицепленными к ней медалями и орденом. И когда опустили домовину в землю и работяги, за ними и дядя Вася бросили по горсти земли, грохнувшей о гроб, она вдруг взяла и вме-

сто горсти земли бросила в могилу подушечку с наградами. Толик Аржанов на веревке спустил вниз молодого работягу, той же веревкой поднял его и, бережно обтирая своей огромной рукой награды, дружелюбно прогудел:

— Ну зачем же вы так? В Музей боевой славы сдадите альбо у себя на память детям оставите.

Марина ничего не могла сказать, только спаянно сомкнутыми губами глухо мычала да затыгивала потуже и затыгивала черный платок под подбородком, платок, взятый напрокат у Виталии Гордеевны, которой путешествие за пруд было уже не под силу.

— Она чё-то хочет сказать и не может, — заключил старший над землекопами, Толик Аржанов.

— Она хочет сказать, — тихо молвил дядя Вася, — что поминать покойного негде и не на что.

— Как это негде? Как это не на што? Мы по стародавней, еще военных лет, привычке скинулись вот артельно, ташши суда портфель!

Тут же возник откуда-то старый портфель, перевязанный бечевкой, с отпавшими железными уголками и для емкости вырванной перегородкой. В нем было две бутылки водки, бутылка красненького, несколько стаканов, кружка с отбитой эмалировкой, нехитрая столовая закуска. И, обступив свежую могилу с двух сторон, сунув кружку с вином Марине со словами: «Прими, полегчает», мужики опустили обнаженные головы, Толик Аржанов, наоборот, вознес большое лицо в небо, по-старинному широко перекрестился и сказал:

— Ну, царствие небесное Даниле Артемычу. Будь ему пухом земля.

Не чувствуя ни горечи, ни вкуса, Марина тоже выпила портвейна и, когда наливали по второй, сама подставила заслуженную кружку под булькающее вино.

Все быстренько припив, работяги сказали Марине, что они еще кое-где помянут Данилу, и ушли. Марина села на подводу, и они с дядей Васей поехали к спуску на лед, чтоб по зимнику перебраться на другую сторону пруда. Марина захмелела, ей сделалось теплее, и она неожиданно стала рассказывать, как они познакомились с Данилой, как нечаянно приехали в Чуфырино, и очень хвалила солдат-спутников, в первую голову старшего вагона Оноприйчука, который конечно же вместе с солдатами скоро усек, что Данила и Марина никакие не брат и сестра, но не прогнал их, и более того, даже виду не подавал, что все про всё знают.

— Вот какие замечательные люди были, — вздохнула Марина. — И эти вагонники тоже замечательные ребята, помогли вот, помянули.

\* \* \*

Теперь уж жизнь Марины шла будто в полусне, она делала работу по дому и в школе, спала, ела и, выполняя просьбу Виталии Гордеевны, более не связывалась с Нелли Сергеевной, не вступала с нею даже в разговоры.

— Ты бы очнулась, — советовала Марине хозяйка, — в кино сходила бы, на концерт какой, в библиотеку бы записалась.

— Мне это неинтересно. Мне это ни к чему, — едва разжимая губы, отвечала Марина и ждала весны, огорода, она страстно любила земляную работу и мечтала вырастить много, много цветов, чтобы украсить ими могилы Аркаши и Данилы. Никаких желаний, ожиданий она не испытывала, совершенно разучилась улыбаться и утратила охоту по-бабьи поболтать с кем-то.

Во дворе она старалась бывать меньше, на глаза Мукомоловым не попадаться, все свободное время, наклонив голову, что-то вязала крючком, словно давила и давила чуткими пальцами юрких вошек. Нелли Сергеев-

на, утвердись в ей по всем законам и правилам принадлежащей жизни, скараулила момент, когда свекровь была во дворе, Марина в дровянике, и громко, ровно бы глухим, заявила:

— Виталия Гордеевна! Мы уважили вас, прорубили отдельный ход, но нам же нужна кухня, нам же надо питаться где-то. Так что квартирантка пусть освобождает летнюю кухню.

— Ты чего шеперишься-то? — опираясь на клюшку и сама наподобие клюшки согнутая, быстро старящаяся, черная, как головешка, ответствовала ей, трудно дыша, Виталия Гордеевна. — Совесть-то хоть какую поимей. Марина в госпитале всю войну работала, людей спасала, в то время как ты бойким передком подталкивала фронт к победе. Так неужели ж она не работала себе уголка в дощатом сарайчике?

Нелли Сергеевна настроилась решительно и заявила, что, кроме всего прочего, у ее любимой Маринки муж болел туберкулезом и сама она на туберкулезницу похожа, палочка же Коха, она даже повторила выразительно — «палочка Кохха», переходчива, заразительна, и они с Владимиром Федоровичем не желают заболеть такой дрянной болезнью, кроме того, они решили по утрам делать пробежки, посторонние будут их стеснять. Что же касается уборки дома и прочих хозяйственных хлопот, так они все равно будут нанимать домработницу, та попутно приберет и вторую половину дома.

— Так что, Виталия Гордеевна, даже если вы будете перечить, мы все равно выставим вещи вашей жилички за ворота.

Из дровяника выметнулась Марина, бледная, трясущаяся, с неполным беременем дров, и, как-то уж несоответственно виду и настроению, твердо и почти спокойно заявила:

— Я не позволю прикасаться к моим вещам мародерством запачканными руками. И со двора уйду сама.

— И-и-ти-ти, какие мы гордые! Какие мы честные и непреклонные, — принялась ехидничать начавшая полнеть и пухнуть Нелли Сергеевна, которая, выпади ей доля жить в коммуналке или бараке, была бы непобедимым кухонным бойцом. — Поломойка! Нищенка! Чтоб духу твоего здесь не было! — сорвалась Нелли Сергеевна на крик. — Не то предупреждаю, не то мы сами...

— Я поотрубаю руки всякому, кто притронется к моим бедным, но честным вещам...

— Что-о?

— Марина! — строго проскрипела Виталия Гордеевна и властно приказала: — Ступай к себе! Ступай, я сказала!.. — И, повернувшись к невестке, плюнула табачной горечью: — Го-оовно!

\* \* \*

Идти Марине было некуда, она попробовала попроситься у директора школы пожить в бывшей комнатке медпункта, но директор сказал, что медпункт время от времени бывает нужен, и предложил ей до тех пор, пока он хлопочет ей место в железнодорожном общежитии, пожить в кладовке. Под второй лестницей с забитым запасным противопожарным выходом была отгорожена кладовка, скорее загончик с оконцем в тетрадный лист величиною, выходящим на захлащенный задний двор, вдали которого квадратами белели полуразваленные поленницы дров.

Кладовка со времен построения школы не убиралась, не чистилась, была забита старыми ведрами, тряпками, вешалками, ломаной мебелью и на праздниках отслужившими, небрежно свернутыми плакатами и другим невообразимым хламом. В ней пахло тлелым деревом, мочой, мышами, гнилыми вениками. Все барахло надо было убирать и приводить в жилой вид кладовку конечно же самой Марине.

Возвратившись в чистенькую, тепло натопленную, прибранную зимовку, Марина не плакала, не билась о стенку головой. Она принялась перебирать свое небогатое наследие, отдельно отложила чистое белье: рубашку, ситцевое платье в крапинку, материю на которое купил ей Даня с первой своей рабочей премии, выходные туфли, чулки, девичью сестринскую косынку с алым крестиком в середине. Долее и труднее всего дело обстояло с фотографиями, их и немного вроде бы, но все памятные, все бесценные, в альбомчике с бархатной обложкой на лобовой стороне, вторую, с заду, Марина содрала, когда соорудила подушечку для Данилиных наград. Альбом этот подарили ей в госпитале к какому-то, уж не вспомнить, торжественному дню, скорее всего к женскому празднику 8 Марта. Госпиталь был бабий, хоть и командовал им мужик, Женский день тут справлялся пусть и не каждый год, зато торжественно и шумно.

На первой же странице обложки в пол-листа величиною, глянецом покрытая и украшенная в уголке аккуратным знаком немецкого фотографа встретила Марине девушка, в которой она не вдруг узнала себя. Конечно, фотографии свойственно приукрашивать все, в том числе и человека, но все же ничего деваха была, глаза открытые, голубые — такие же, только посветлее, потом у Аркаши были, губы улыбочивые или, как в романах пишут, чувственные, нос ровненький, не маленький и не большой, прическа бигуди взбодрена и волнисто, гордо откинута вбок и назад.

Она никогда не вздыхала о прошлом, не жалела себя и своей молодости, никому не жаловалась на жизнь, но тут вдруг тихо и как-то само собой заплакалось, и уж не утихали слезы, текли и текли, что березовый сок, пока она перебирала фотографии и бросала их в печку. Труднее всего было с прошлогодней фотографией, на которой сняты они были трое, Марина с полузаплетенной косой и в новом платье у тумбочки с искусственными цветами, Данила, сидящий на стуле, на коленях у него Арканя, лупится глазенками в аппарат, ждет, когда из него птичка вылетит, как дядя-фотограф обещал.

Она не позволила себе разрыдаться. Ослабев. Располоснула на четыре части фото, бросила клочки в печь, отряхнула руки о передничек и вдруг начала неумело бросать кресты на себя, глядя на картонную иконку, которую сама же и купила за двадцать рублей после смерти Аркаши. Мимолетом подумала, что надо было, наверное, идти в церковь, к Богу. Но уж чего соваться с верой, когда вся вера потерялась, изошла, да и о Боге вспомнила она сейчас вот, когда приспичило. Это что же, опять спекуляция, снова приспособленчество, желание прожить с чужой помощью. Нет, это уж пусть Мукомолы и все прочие, на них похожие, живут, она, уж раз отрешенная, жизнью рыбешка затертая, будто льдом в ледоход, как-нибудь сама со своими невеликими делами справится.

Ночь была длинная, тихая, только с пруда иногда доносило звуки оседающего и лопающегося льда. Похоже на войну, только опять же на войну ночную с редкой перестрелкой, на войну, изнемогающую от войны, саму себя обессилевшую.

Раза два, стуча палкой, проходила в туалет Виталия Гордеевна, на всем пути пропаще, ржаво, с железным уже скрипом кашляющая. Один раз заглянула в зимовку, тихо спросила: «Спишь, Марина? Ну, спи, спи».

В час, когда начинали гаснуть звезды по краям неба, когда ни одна собака не гавкала и за прудом светилось всего два-три огонька, Марина поднялась на старый сеновал, где в дождливую пору и в очень уж сгустившийся смог сушили белье. Чтоб не очень-то сквозило на давно заброшенном сеновале, Данила зашил старыми вагонными досками старые прорехи, щели в глушине сеновала; в общем-то, было и безветренно, и покойно.

Она отвязала Данилой же протянутую по сараю бельевую веревку и начала забрасывать ее на второй от лаза бревенчатый брус, но мерзлая ве-

ревка все соскользала и соскользала вниз. Марина закружилась по сеновалу, обо что-то запинаясь, и упала, наткнувшись на какой-то ящик. Она ощупала ящик и вспомнила — не ящик это вовсе, самодельная деревянная тележка, в которой, должно быть, папа и мама катали Мукомолова-младшего еще во младенчестве. Марина нащупала на тележке колесо, оно оказалось оковано, легко сняла его со сгнившей палочки-оси.

Все время державшаяся спокойно, отрешенная уже от всего на свете, закаменелая, перекинув веревку с колесиком через брус, Марина вдруг зашепила, зашептала, увязывая веревку в петлю:

— Счас, счас, счас, миленькие мои. Я к вам, я к вам. Что же я здесь одна и одна? Я к вам, я к вам.

Долго ли медицинской сестре, умеющей вязать бинты, хозяйке, самостоятельно везде управляющейся, увязать петлю? Прежде чем надеть на шею холодную, от белья стылую веревку, она посидела на детской тележке, дала себе успокоиться, словно после тяжелой работы, и решительно сказала:

— Н-ну, посидела — и довольно.

Никаких записок Марина не оставила, она знала: милиция вынет ее из петли, засвидетельствует смерть, доискиваться же ни до чего не будет. Не стоит эта худенькая бабенка, изошедшая до заморенного подростка, того, чтобы ею заниматься, да и Владимир Федорович, хозяин здешний, недоволен будет. Марина знала, что Виталия Гордеевна все сделает по уму, положит ее рядом с Аркашей и Данилой, да и сама, судя по всему, скоро рядом с ними ляжет. И добро, и ладно. Вместе дружно и не тесно, может, и теплее будет на другом свете, приветливее, чем на этом, давно проклятом и всеми ветрами продутом.

\* \* \*

Шел одна тысяча девятьсот сорок девятый год.



---

---

ИРИНА РАТУШИНСКАЯ

\*

## ГОВОРIT ВЕТЕP

\* \*  
\*

Так просто, так просто создать нашу землю:  
Пускай она странных сердец не приемлет —

Но в колоб тугой закатать, да покруче,  
А то, что осталось, — пустить бы на тучи

Немыслимых форм, сумасшедших изгибов —  
Чтоб помнились мальчикам, грянув и сгинув.

Да зябких ракиг подпустить наваждение,  
Да льдам обозначить ночное движение,

Да перечной россыпью птиц — на полсвода,  
Да детского плача, да смутного года.

\* \*  
\*

Ах, как наша планета мучительно невелика:  
Все ребячьи качели похожи одни на другие,  
И все те же гуляют по душам четыре стихии,  
И все так же внимательно смотрят на нас облака.

Мы въезжаем в весну, и сужаются рельсы на юг,  
Но на север направлены птичьи тревожные стаи.  
Мы апреля не ждем,  
Но сердцами в него прорастаем —  
Так счастливо и трудно, как будто во славу Твою.

### Говорит ветер

Доигрался, князь, до рабской клячи,  
И, по чести, так тебе и надо!  
Если бы не то, что Фрося плачет, —  
Я б тебе, бессмысленное чадо,

---

Ратушинская Ирина Борисовна родилась в Одессе. По образованию физик. Поэт, прозаик, эссеист. В 1982 году арестована и осуждена на 7 лет лагерей за публикацию в самиздате и за рубежом. Освобождена в 1986 году. Была лишена советского гражданства и жила в Англии. Книги изданы в 17 странах. В настоящее время живет в Москве.



Благодарствую. Но я как-то уже привык  
Жить под косматым солнцем у ледника.  
Вы говорите — необратимый сдвиг?  
Это вы просто считаете на века.

А века мелковаты для единиц судьбы.  
Чем за ними гоняться — уж лучше я постою  
На своем.  
До самого дня последней трубы  
Будет племя мое трубить на закате в моем краю.

До свидания.  
Желаю вам травы и воды,  
И счастливого млекопитания, и лобастых детей.  
Остаюсь, признательный вам за ваши труды.  
С нетерпением жду через тысячу лет вестей.

\* \*  
\*

Наши машины огромны и неуклюжи,  
Как футболисты двадцатых — в трусах до колен.  
Наши печали в обмотках бредут по лужам.  
Наши тела называются словом тлен.  
В наших садах одуванчики да крапива,  
Как малолетние воры, вершат набег.  
Нашим глазам — расплавить зло и счастливо  
Тот, адресованный свыше, великий снег.





---

---

АНДРЕЙ ВОЛОС

\*

## НЕДВИЖИМОСТЬ

*Роман*

А ведь счастья много, так много, парень, что его на всю бы округу хватило, да не видит его ни одна душа!

*А. П. Чехов, «Счастье».*

### 1

**М**ихалыч взял два молотка и принялся часто-часто колотить по капоту. Капот гремел, железо гнулось, а краска осыпалась.

— Ты что же делаешь, Михалыч? — спросил я непослушными губами. — Разве так ремонтируют? Ты же только машину портишь!

Михалыч оскалился и забарабанил с новой силой.

Я хотел оттолкнуть его, и рука, кое-как протырившись между завесами отлетающего сна к яростному дребезгу телефона, схватила трубку.

— Алло!

— Идущие на смерть приветствуют тебя, — торжественно сообщил Кастаки.

Я перевел дух. Потом сказал, глядя на часы:

— Жалко, вас раньше не укукошило.

— А что такое? Девятый час, голуба. Другие уже труждаются. Тебе письмо пришло.

— В такую рань? — безрадостно спросил я.

— Вот тебе раз! Можно подумать, я навязываю свои услуги!.. Если бы у меня самого не было постоянного адреса, я бы вел себя скромнее. И снисходительно относился к тем мелким неудобствам, что доставляют мне верные друзья. Которые, между прочим, находят время получать мои письма на свой адрес. А также должны озабочиваться моим о них уведомлением!

Я прямо-таки видел его ликующую рожу: руку бы дал на отсечение, что он сидит, развалясь, за накрытым утренним столом перед недопитой чашкой кофе.

— Озабачиваться, — буркнул я.

— Это если бы от слова «бачить»! — снова возликовал Шура, смеясь, будто гавкая. — А поскольку мы, я надеюсь, говорим по-русски, то есть на языке «Капитанской дочки» и «Героя нашего времени»...

— Ну все, все. Спасибо.

— Из «спасибо» шубы не сошьешь, — вздохнул он. — Так что, заедешь?

Я посоображал.

— Сегодня — точно нет. Завтра?.. не знаю... Как-нибудь заскочу. Знаешь, прочти, пожалуйста. Может, что срочное. Откуда письмо-то?

— Известно, откуда. С родины героя, — ответил Кастаки, хрустя конвертом. — Ну что, слушаешь?

— Слушаю.

— Грамотно читать или как написано?

— Как-нибудь уже читай, а!

— Значит, так... — сказал он как ни в чем не бывало. — Начинаю. «Сереженька, дорогой, здравствуй! Как ты там живешь? У нас все хорошо. Еще раз тебя прошу, не звони так часто. Только деньги на ветер бросать. Все равно по телефону ничего толком не скажешь. Лучше выбери часок, сядь и напиши все как следует. И не говори мне, ну какой из меня писатель. Знаешь, как приятно нам письмо от тебя получить. А то все телефон да телефон. Что по нему скажешь? С пятого на десятое. Я вот лучше сяду да напишу все как следует...»

Все у них всегда в порядке, подумал я, прижимая к уху мембрану. Что бы ни происходило в граде и мире — у них все всегда в порядке.

— «Осень на удивление теплая, газ идет без перебоев, свет тоже редко отключают. Совсем не как в прошлом году. Я тебе не говорила, а прошлой зимой три недели не было ни света, ни газа. Чуть не замерзли. Очень было смешно. Я как-то с утра начала на балконе возиться с дровишками. Приготовила кое-как еду, все кастрюльки закоптила. Потом нагрела воды, перемыла, копоть отчистила. А стала под дверь подметать, Мишка Ибрагимов идет по лестнице. Я говорю, когда уже газ дадут, сил нет. А он говорит, вы чего, тетя Наташа, со вчерашнего вечера пустили. Я чуть в обморок не упала. А теперь все в порядке...»

Закрыв глаза, я слушал хриловатый Шурин голос.

— «За нас не волнуйся, у нас все хорошо. Ты ведь знаешь, в газетах такого напишут, а ничего страшного-то и нет. То, что ты говоришь — мятеж, так это какие-то дурачки пошумели, и все кончилось. Говорят, что постреляли немного за девятой автобазой, где поворот на хазэ, но мы там не бываем, ничего, слава богу, не видели и не слышали. Транспорт уже ходит, и все в порядке...» А что такое хазэ? — спросил Кастаки голосом собеседника, а не чтеца.

В порядке. Все всегда в порядке. Вот так.

— Хлопкозавод.

— Ага. Ясно. Далее... «Транспорт уже ходит, и все в порядке. Про съемную квартиру отец сказал, чтобы ты не выдумывал. Не поедem мы в съемную квартиру. Мы тут, слава богу, замечательно живем, чтобы на старости лет мотаться по съемным квартирам. Зачем нам это. Живи себе спокойно, о нас не думай, у нас все хорошо, все есть, ни в чем не нуждаемся. Так что выкинь из головы. Если будешь посылать продукты, обязательно положи хотя бы бутылочку растительного масла. Куда эти черти запротырили все, ума не приложу, масла днем с огнем не сыскать, а только в коммерческих за доллары. А так все есть. Лето было изобильное, помидоры — шесть, огурцы — четыре. Корзинцевы уезжают в город Изборск, это под Псков, там их Светка, ты ее не помнишь, купила полдома каких-то развальных. Я думаю, вот была им охота туда тащиться. От добра добра не ищут. Жили бы себе и жили. Помнишь ли ты сестру Насти Кречетовой, Катю, прихрамывает. Настя-то давно уехала, а Катя живет с матерью возле горсада в доме химиков. Нашли покупателей на квартиру и продали. Очень удачно — их покупатели деньги прямо Насте отправили, в Минск. Потому что здесь страшно деньги получать, ты знаешь. Скоро уедут. Зачем им это нужно, не знаю...»

Я слушал Шурин голос, а видел не Шуру Кастаки... и даже не округлые буквы мамино почерка... я видел лица, лица...

— «Что-то давно ничего не слышно от Павла. Болит у меня за него душа. Как он там теперь один управляется? Аня все же какая-никакая была, а жена, царство ей небесное. Вика, по-моему, совсем бестолковая, и ему от нее никакой помощи, только морока. Надеюсь, она где-нибудь учится или работает. Ты ему позвони, здоров ли. Что-то у меня душа болит за него. Надеюсь, он исправно отдает тебе деньги. Ты ему напоминай, а то ведь знаешь как. Своя ноша не тянет, а чужая тем более. Я все время думаю, что не нужно было тебе этого делать. У тебя своя жизнь, у него своя. Очень мне его жалко, но кто же виноват, что так получилось. Ничего страшного. Отсидел бы пару лет и вышел. Не он первый, не он последний. В конце концов, мог бы и у кого-то другого эти деньги взять. Как будто у тебя денег куры не клюют. Целуем тебя крепко. Не звони часто. До свидания».

Кастаки замолчал и снова принялся шуршать бумагой.

— Все?

— Все, — вздохнул он. — До последней буковки.

— Спасибо.

— Не за что... Ладно. — Шурин голос вдруг погрузнел. — Давай. На службу опаздываю. Достала эта служба. Надо бы выпить, а?

— Что значит — достала? Ты это брось. Нужды стариков и младенцев — превыше всего.

Кастаки выругался.

— Подумаешь, у меня тоже дел невпроворот, — сказал я. — Не огорчайся. Будет повод — выпьем. Давай...

Я положил трубку и потер лицо ладонями. Павел, Павел... да, действительно. Дня три назад... нет, больше недели прошло... в прошлый вторник, что ли? Снова звонил — и опять никого.

В коридоре стояла успокоительная тишина.

Ночью я пробирался к своей комнате на цыпочках. Моя осторожность пропала зря — судя по всему, Анны Ильиничны не было.

Бедная старушка. Ничто меня не может так порадовать, как ее отсутствие.

Застилая постель, я размышлял о том, что Анна Ильинична сама виновата. Втемяшилось ей, что перед тем, как сдавать мне комнату, соседи должны были спросить у нее разрешения. Не знаю... Кой толк спрашивать у нее разрешения, если большую часть времени она живет у дочери. И только когда они там уже готовы друг другу в суп стекла накрошить, эвакуируется сюда. И внучка с собой привозит. Полагаю, дочь хочет иметь личную жизнь. А мальчик мешает. Симпатичный такой паренек лет примерно четырех. Этакий бутуз. Деструктивист этакий. Кокнул мою любимую голубую чашку. «Севгей! — кричит. — Севёжа!..»

Ладно. Какая позиция является лучшей, чтобы начать день? Вот именно: руки перед собой, ноги — на ширине плеч... Сто лет назад учитель физкультуры, дав эту команду, хмуро сказал, глядя на мои кеды: «Капырин, если б у тебя были такие плечи, ты бы уже в олимпийском резерве людям нервы мотал. Ну что ты растопырился?»

## 2

Ленинградка в этот относительно ранний час оказалась на удивление свободной. Ветер свистел в оконную щель, а бурые липы по сторонам слились в монотонные полосы.

Светофор переморгнул на желтый.

Я начал притормаживать, подумав, что однажды от моей Асечки отлетит переднее колесо и я угожу как раз в одну из этих лип или вылечу на встречную полосу лоб в лоб с каким-нибудь бронированным «юконом», которому, в отличие от меня, ничего при этом не сделается.

По зебре пешеходного перехода семенила старушка с мохнатой собачкой и зонтиком, а я нетерпеливо подгазовывал, размышляя о том, что десять лет назад, когда у меня не было машины, жизнь моя, возможно, находилась в несколько большей безопасности.

Впрочем, в любом случае она (то есть жизнь) в конце концов перемалывает человека в никому не нужный фарш. Я давно уже не могу доказать себе, что долг всякого живущего — стремиться к долголетию. Сомнительно, что целью жизни является продление самой жизни, а вовсе не, положим, скорый ее конец. Во-первых, слишком много времени. Я имею в виду время вообще. Будяев, правда, твердит, будто никто на самом деле не знает, что такое время. Но это не важно. Так или иначе, его слишком много. Тебя не было — а оно уже текло. Тебя не станет — а оно будет течь дальше. Жизни отведен в нем совсем незаметный кусочек. Будь тебе хоть девять, хоть шестьдесят девять, хоть девятьсот шестьдесят девять лет — в сравнении с тем, что осталось, эта крупница представляет собой чистый нуль. Почерпни из вечности хоть сколько — ее все равно не убудет. Ну и какой смысл доживать до беззубой старости? Итоги долголетия прискорбны.

Зажегся зеленый, и я отпустил сцепление. Набирая ход, я чуточку вильнул, чтобы не задеть давешнюю старушку, — прижимая к иссохшей груди собачку, она все так же поспешала к бордюру... Ладно, эта хотя бы ходит. Еще и песика таскает. Моя личная бабушка последние годы путешествовала только до унитаза. Она дотянула до девяноста трех — и что толку? Смолоду жизнь ее была тяжела и довольно безрадостна: последние тридцать пять лет терзали мучительные недуги, а за четверть века до кончины она обезножела. Вот так. Можно возразить: зато она оказалась долговечной. Да, она оказалась долговечной. А что это значит, если вдуматься? То, что ей пришлось пережить смерть мужа, одного из сыновей и даже кое-кого из внуков. Незадолго до собственной кончины она быстро и основательно спятила. Деменция. Говоря по-русски — процесс превращения мозга в овсяную кашу. Пока были силы, бабуля все порывалась куда-то идти: упрямо сползала с кровати, падала и расшибалась. Меня она узнавала до последних дней. Даже время от времени интересовалась: а ты не падаешь?

Я миновал трамвайные пути, свернул направо, расплескал четыре большие лужи, въехал в арку, увидел вишневую «девятку» Константина и извинительно моргнул фарами: опоздал на четыре минуты.

Николай Васильевич выбирался из машины. Неловко пригнулся, шляпа упала и покатила по асфальту. Он догонял ее, передвигаясь, наподобие кенгуру, большими скачками, неожиданными при его возрасте и комплекции.

— Последний бой? — негромко спросил я, кивнув в его сторону. — Он трудный самый?

Константин покачал головой:

— Смеешься... Еще три посмотрели. Все ему не то. Все не то...

— Так берите нашу, — шуточно предложил я. — Чем не квартирка? Долго приглядываетесь...

Николай Васильевич уже возвращался, на ходу смахивая какой-то мусор с тульи шляпы рукавом своего доперестроечного пальто.

— Здравствуйте, Сережа, здравствуйте, — тоном безнадежно больного сказал он, нахлобучил шляпу и сперва было жестом отчаяния махнул рукой, словно отказываясь от рукопожатия, но потом спохватился, сообразив, видимо, что даже скорбь должна знать разумные границы, и ответно протянул мне вялую ладонь.

— Ну что? — спросил я. — Пойдемте?

В подъезде воняло кошками, наружная дверь была нараспашку (она всегда была нараспашку), а прочие (общим числом, если считать до лифта, четыре штуки) сильно покорезены. Николай Васильевич во всякий

свой визит, переступив порог, невольно отшатывался, спотыкался, морщился, разглядывая исписанные стены. Проходя в очередную дверь, тайком поглаживал алюминиевые косяки, будто пытаюсь определить, сколько они еще продержатся. Однажды я слышал, как он бормотал: «Господи, да за что же они все это так ненавидят?..»

— Да-а-а-а... — протянул он и на этот раз, озираясь из-под всклокоченных бровей, как если бы видел все это впервые. — Обстановочка!

— Вам же не в подъезде жить, — заметил Константин, нажимая кнопку лифта. — Теперь по всей Москве домофоны ставят. Поставят домофон — и дело с концом.

— Когда это еще будет... — вздохнул Николай Васильевич, следя за тем, как огонек индикатора переваливается с одного этажа на другой. — А пока вон как: живи в дерьме... Нет, все-таки это неправильно.

И он огорченно отвернулся к узкому грязному окну. За окном золотились деревья во дворе, и ветер горстями подбрасывал листья.

— Что неправильно? — устало переспросил Константин.

По идее, Константин должен был бы сейчас испытывать острый охотничий азарт: зверь-подранок в лице Николая Васильевича, теряя силы, бежал по кругу, вот уже в пятый раз как заколдованный возвращаясь на то самое место, что грозило ему погибелью. По всем понятиям риэлторского дела, именно здесь в конце концов нужно было его завалить, чтобы встать ногой на теплый труп и протрубить финансовую победу. Однако Николай Васильевич никак не валился, а все кочевряжился. Поиски подходящей ему по всем статьям квартиры продолжались уже три месяца, и было понятно, что отношения хищника и жертвы потеряли первоначальную остроту: успели друг другу осточертеть до невозможности.

— Так что неправильно?

— А то и неправильно...

— Что именно неправильно?

— А то и неправильно, — глядя в сторону, пробормотал Николай Васильевич тем безнадежным тоном, каким неверующие читают молитвы. — У меня какой подъезд — видели? У меня дом ЦК... консьержка сидит... домофон. Холлы!.. — воскликнул он, оглянулся и показал на алюминиевый косяк: — Двери! Разве у меня такие двери?

Лифт долго стоял на шестом этаже, потом вдруг двинулся вверх.

— Опять за рыбу деньги, — ответил Константин. — А сколько метров теперь у вас, вы считали? А доплату считали? Вот смотрите. — Он стал привычно загибать пальцы: — Я вам за вашу четырехшку в доме ЦК уже купил двушку в доме ЦК для вашей дочери. Купил?

— Дом ЦК! — возмущился Николай Васильевич. — Это разве дом ЦК? Это дом ЦК, да, согласен... только для дворников! Для шоферов! Что вы сравниваете?! Дома ЦК тоже разные бывают. У меня дом ЦК — так это дом руководящих работников аппарата ЦК! А что вы дочке купили — это дом обслуживающего персонала аппарата ЦК! Есть разница?

— ЦК — оно и есть ЦК, — холодно возразил Константин. — Знаете, как мой приятель говорит?

— Да не надо мне ваших дурацких поговорок!

— Я в оттенках говна не разбираюсь! — все же закончил Константин.

Николай Васильевич шмыгнул носом, как беспризорник.

— Что говорить, что говорить... — пробормотал он.

— Двушка шестьдесят пять метров со всеми пирогами, — продолжал его агент. — Мало? Эту трехкомнатную покупаю — это что, не квартира? Я не могу разгрузить четырехшку в доме ЦК и при этом купить вам двушку ЦК, трешку ЦК да еще дать денег. Я не фокусник. Давайте соблюдать хотя бы законы физики! Если в одном месте прибыло, в другом же должно убыть?

Николай Васильевич бросил на него возмущенный взгляд — должно быть, в свете происходящего упоминание законов физики показалось ему предельно циничным.

— Что говорить, что говорить...

— Вы просили — центр и чтобы не панельный. Вот, пожалуйста: «Новокузнецкая», три минуты от метро. Кирпичный дом Моссовета! И сорок пять тысяч доплаты! И это все — неправильно?! Если неправильно, то знаете почему? Да потому, что мне ваша четырехшка одни убытки принесет. Я вами бесплатно занимаюсь!.. Дело ваше. Если неправильно — так и скажите: все, расселяться не хочу, не буду, квартиру, что дочери куплена, отдам, неустойку заплачу...

— Какую неустойку? — вскинулся Николай Васильевич.

— Обыкновенную. Что же, по-вашему, я сто двадцать тысяч на три месяца за просто так заморозил? Я двушку в доме ЦК зачем на свои бабки выкупал? Чтобы вам понравиться? Платите неустойку, и кончим на этом.

Загорелась лампочка первого этажа.

— Что говорить, что говорить... — трагически шептал Николай Васильевич, совершая те мелкие телодвижения, что предшествуют посадке в лифт. — Понятно, понятно... За просто так ничего не бывает...

Скрежеща, стали раскрываться двери.

— Почему же? — ввинтил Костя. — А сыр в мышеловке?

Николай Васильевич и впрямь уже всех донял. Ныне мы направлялись смотреть объект недвижимости в пятый раз. Первые четыре к успеху не привели. Николай Васильевич приезжал один, потом с женой. Зачем была нужна жена, я не понял: Николай Васильевич приказал ей стоять в коридоре, а сам блуждал по квартире; когда она из коридора задавала какой-нибудь вопрос — например, велика ли кухня, — Николай Васильевич резко ее одергивал. Каждый раз после просмотра он, неприязненно косясь на терпеливо стоящего за его спиной Константина, с горечью объяснял мне, что от стоимости квартиры напрямую зависит сумма получаемой им доплаты. Поэтому ему нужна квартира несколько дешевле. Кроме того, очень желательно, чтобы она была большей площади и, если это возможно, в лучшем доме. С консьержкой и ближе к метро. Я отвечал, что лично у меня в настоящее время таких квартир нет, крепко жал ему руку, с облегчением прощаясь — и всякий раз надеялся, что теперь уж навсегда.

Желающих прицениться было много, и я таскался на «Новокузнецкую» каждый божий день, привозя то каких-то неприветливых чеченов, после визита которых Елена Наумовна долго и громогласно пилила меня за неосторожность, то японца, которым Елена Наумовна долго и искренне восхищалась, поскольку ей удалось блеснуть своим английским, то парочку разряженных тульских бизнесменов, то шалых расселенцев с Кутузовского, то высокомерную жену мурманского адмирала, то молчаливого юношу на «ягуаре»... Затем снова звонил Константин и сообщал, во-первых, что Николай Васильевич, будь он трижды неладен (вот заколебал так заколебал!), совершенно уже склоняется к нашему варианту, только напоследок хочет взглянуть еще разочек; а во-вторых — спрашивал, нельзя ли опуститься тысячи на три-четыре. Мы привычно морочили друг другу голову: Константин толковал, что, если б нам договориться с ценой, ему бы точно удалось уломать клиента; а я рассказывал байки, будто у меня на эту надоедную квартиру покупателей хоть отбавляй, того и гляди, внесут задаток, одни обещали вчера, да что-то пока не доехали — кто их знает: может, в пробку попали, — но все равно — о снижении цены не может быть и речи. На самом-то деле я уже давно уступил бы и три тысячи, и четыре, да не мог сломить Елену Наумовну: старуха, заливаясь непрерывным своим хохотом, твердо стояла на прежнем: соседи-де три года назад точно такую же квартиру продали вон аж на сколько дороже, и потому дешевить ей нет никакого резона... Снова приезжал Николай Васильевич, снова ша-

тался по квартире, упорно отказывался снять пальто, прел, подробно осматривал углы и выглядел, по обыкновению, так, словно упал с Луны в страну обманщиков, точно знает, что его надуют, но жаль ему не грядущих убытков, а того лишь, что он не в состоянии догадаться, как именно его облапошат...

Я почему-то шагнул в лифт первым.

— Какой этаж? — обиженно спросил Николай Васильевич, помавая полусогнутым пальцем над кнопками.

— Шестой, как и раньше, — буркнул Константин.

С первого раза кнопка не сработала. Николай Васильевич издал негромкий звук недоумения и навалился на нее всем телом. При этом он задел меня локтем. Щелкнуло реле, двери поехали навстречу друг другу. Я прижался к стенке и независимо сунул руку в карман. Двери сошлись, где-то внизу загудел двигатель.

— Хоть лифт не исковеркан, — вздохнул Николай Васильевич.

— Нормальный лифт, — сказал Константин.

— Ну да.

Кабина отчего-то вздрогнула. Должно быть, высоко над нами наматывающийся на барабан трос, щелкнув, соскользнул с предыдущего витка.

— А понарисовали, понаписали... и все матом, все матом.

— У вас тоже лифты исписаны, — упрямо сказал Константин. — Хотите ЦК.

Николай Васильевич отмахнулся.

— Что? — переспросил я.

Кабина покряхтывала.

— Еле ползет, говорю, — повторил Константин.

Лифт дернулся и встал.

— Ну, Господи сохрани, — пробормотал Николай Васильевич, снимая шляпу и проводя по лысине подрагивающей ладонью.

### 3

Голос Елены Наумовны стал слышен сразу после того, как я нажал кнопку звонка, — сначала сравнительно тихо и неразборчиво, затем, когда она распахнула дверь, одновременно отступая в прихожую, пронзительно громко. Беда была не в том, что Елена Наумовна не жалела голосовых связок, а в том, что ни на минуту не давала им роздыху. Кроме того, она пребывала в убеждении, что понимает людей с полуслова, почему и начинала запальчиво отвечать при первых попытках собеседника что бы то ни было произнести. Перекричать ее не было никакой возможности, да я и не пытался, а просто всякий раз тупо начинал все с самого начала. Если бы я не знал, как общаются люди в сумасшедшем доме, то легко мог вообразить это, перекинувшись с ней словечком. Все, что она говорила, я давно приспособился пропускать мимо ушей, поэтому не испытывал никаких неприятных ощущений, если не считать той кратковременной головной боли, что исчезала, как только я снова оказывался на улице.

— Николай Васильевич! — завопила она, упирая руки в необъятные бока и счастливо похохатывая. — Вы ли это! Я к вам уже так привыкла! Я с вами чувствую себя уже так friendly! Раздевайтесь, пожалуйста, раздевайтесь!

Николай Васильевич, по своему обыкновению, позволил себе избавиться от одной только шляпы, а затем сиротливо сложил руки на животе и сказал:

— Да уж спасибо, спасибо... ладно... Я уж так как-нибудь.

Пригладил седой хохолок, потоптался, затем осторожно сделал несколько шажков, задрал голову и стал пристально смотреть на выпирающую из потолка конструкционную балку.

Эта безобразная балка всякий раз привлекала его внимание, всякий раз Николай Васильевич тщательно исследовал ее по всей длине, то и дело переходя для этого из коридора в кухню и обратно; и всякий же раз, исследовав и вдосталь набормотавшись какой-то невнятицы, вынужден был с ней смириться — ну куда ее, в самом деле, было девать?

Зазывно смеясь, Елена Наумовна проследовала в гостиную, где, как всегда молчаливо, сидел ее муж Аркадий Семенович, сухощавый господин лет семидесяти, одетый в спортивный костюм и шлепанцы. При нашем появлении он поднял глаза от газеты и отчетливо моргнул, что традиционным заменяло приветственный кивок.

— Николай Васильевич пускай смотрит квартиру! — возгласила Елена Наумовна, одновременно делая страшные глаза и крутя пальцем около виска. — Ты не возражаешь, Адичка? Ведь в таком деле нужно быть очень careful, не правда ли? Ему в этой квартире жить!.. Правда, Николай Васильевич? — выкрикнула она в коридор. — Лучше, как говорится, семь раз отмерить, а уж потом один раз ошибиться! Снявши голову, по волосам не плачут! — Она залихватски подмигнула мне и загорланила: — Ах, жалко, вы не знаете английского! У англичан такие чудные поговорки!

— Я знаю, — далеким гулким шелестом отозвался Николай Васильевич — по-видимому, из кухни. — Я вам уже говорил...

— Вот именно! Вот именно! — продолжала Елена Наумовна. — Язык, язык! Это так важно! Сколько языков — столько жизней, не правда ли? Язык, язык! Это стихия, стихия!.. Как ваша дочка, Константин?

— Спасибо...

— О! О! О! — оживленно завоптала Елена Наумовна, заламывая руки. — Вы говорили, она учит языки? Как жаль, что мы уезжаем! Ах, зачем, зачем мы едем в эту враждебную Германию?! Я бы еще поняла — в Англию! Ах, туманный Альбион, гордые британцы!.. Но в Германию? Чужая страна, чужие люди!.. Я могла бы поставить девочке произношение! Я должна вам признаться: главное в языке — это произношение! Я знаю, поверьте! У меня большой опыт! Кажется, я говорила вам, что занималась с внучкой Черненко?

Выискивая скрытые пороки, Николай Васильевич всякий раз таскался по квартире не меньше часа, и все это время Елена Наумовна безжалостно развлекала нас светской беседой.

— Говорили, — хмуро подтвердил Константин. — Как же.

— Вот видите! Вот видите!.. Ах, что я могу сказать! Прелестная девочка! Вы понимаете: в ту пору это был такой уровень! Такой уровень!.. Нет, конечно: партийные бонзы!.. Отвратительно, отвратительно!.. Но все же: это был такой уровень! Разумеется, нам, людям интеллигентным, понятно, откуда ноги растут. Но все же очень высокий уровень! Конечно, нельзя говорить об этой публике без отвращения... элементарная порядочность!.. фи, господа! Но все же уровень, уровень, господа!.. Не правда ли?

Свой image Елена Наумовна лепила, видимо, с лучших образцов — со скрупулезных знатоков английского, с титанов свободного духа; однако в процессе лепки по свойственной ей глупости то и дело заезжала совсем в другую колею. Из-под субботы вечно вылезала пятница, из-под крышки новенького чемодана высовывались краешки каких-то неприглядных тряпок. Из нее выпрыгивали то названия легендарных крымских санаториев, в которых она некогда отдыхала, то закрытая поликлиника, к которой была прикреплена; однажды прозвучало совершенно определенно: «Что вы! Что вы! Разве у нас в ВПШ...»

— Я и помыслить себе не могу интеллигентного человека без good English! — провозгласила она. — Ну это же nonsense, господа, nonsense!

Мне неудержимо захотелось встать, выйти в коридор, взять тяжелый грязный ботинок, вернуться и со всего маху дать ей по голове. Поэтому я на всякий случай откинулся в кресле и закрыл глаза.



Я давно научился отмечать то особое придыхание, с которым лгут пожилые полные женщины, и знал, что все, что произносилось Еленой Наумовной, — произносилось звучным, богатым чувственными интонациями голосом, — все, что сопровождалось громким переливчатым смехом, придававшим ее словам особую сердечность и искренность, — все это было чистой воды враньем. Когда она при наших первых встречах восторженно пересказывала лестные рекомендации, полученные на мой счет от каких-то ее знакомых; или уверяла, что я являюсь последней их с Адичкой надеждой; или, всплескивая мучнисто-белыми руками («Как вы могли подумать!»), стыдила меня за то, что я прошу о вещах, которые меж приличными людьми сами собой разумеются (то есть, если я берусь за дело, она ни в коем случае не станет обращаться к другим риэлторам — именно это она объявляла мне вещью само собой разумеющейся); или, будучи грубо поставленной перед вопросом, почему, если она не обращалась к другим риэлторам, в рекламных газетах, наравне с моими, появляются еще чьи-то объявления, касающиеся ее квартиры, в ответ хохотала, самым смехом показывая, о каких пустяках мы собрались рассуждать, отмахивалась, объясняла, что это давно... это они сами... она запретила еще полгода назад... но вы же знаете — люди бывают такими наглými, такими настырными... такими противными! — короче говоря, и в первом, и во втором, и в третьем, и во всех остальных случаях Елена Наумовна беспардонно врала. Напустить туману она умела как никто, а ловкостью, с которой уходила от сколько-нибудь серьезных обещаний, напоминала ветер; она в любой момент могла меня кинуть, а я, твердо зная, что лучше всего было бы держаться от нее подальше, все-таки связался: квартира была дорогая, и работа в случае удачи обещала быть выгодной.

И даже то, что было враньем только наполовину или даже на четверть — то есть Черненко, внучка Черненки, вообще вся эта славная страница ее биографии, которую Елена Наумовна вот уже в третий раз громкогласно открывала перед Константином (глядящим на нее с выражением угрюмой обреченности) и кое-какие события которой и впрямь могли иметь место в действительности, — даже это звучало для моих ушей необыкновенно лживо. Да что там: если бы она сказала, что дважды два — четыре, а Волга впадает в Каспийское море, я бы и тогда ей не поверил, поскольку точно знал, что стоит лишь мне закрыть за собой дверь, как тут же выяснится, что со стороны Елены Наумовны сказанное и сопровождаемое глубоким грудным смехом было просто небольшой уловкой, безобидным притворством, направленным на то, например, чтобы я решил, будто мы — я и она — одной крови; на самом же деле дважды два — восемь или около того, Волга течет в Байкал, но при посторонних об этом приходится молчать, а говорить можно только в узком кругу по-настоящему близких ей людей — то есть с глазу на глаз с молчаливым Адичкой.

В этом можно было убедиться на примере любого из посетителей: каждого из них, стоило ему только распроситься, Елена Наумовна начинала с жаром поливать грязью, изобретая неожиданно гнусные мотивы его слов и поступков, на мой взгляд, совершенно невинных. Адичка одобрительно моргал черепашьими веками, изредка, при особо изощренных пассажах, снисходя до едва заметного кивка.

При первой встрече с Николаем Васильевичем, когда тот, переступив порог с оторопелым и обиженным видом, полностью соответствующим поговорке «Без меня меня женили», стал озираться, безуспешно пытаясь понять, какую именно гадость на этот раз приготовил ему Константин, Елена Наумовна осыпала его бодрящими возгласами и самолично стала показывать квартиру, чего обычно не делала, потому что если видела в человеке самоуверенного нахала (а чаще всего так и случалось), то предоставляла это мне. Через минуту выяснилось, что Николай Васильевич является доктором исторических наук — то есть человеком интеллигентным,

и следовательно, Елена Наумовна не ошиблась, решив иметь с ним дело напрямую. Диалог их — благодаря, во-первых, некоторой умственной замедленности Николая Васильевича, который вообще-то был бы рад избежать этого быстролетного conversation и сосредоточиться на достоинствах и недостатках квартиры, и, во-вторых, необыкновенной оживленности Елены Наумовны — складывался, если можно так выразиться, с переклестом: Елена Наумовна уже спешила сказать о себе нечто следующее, в то время как Николай Васильевич не поспевал еще отреагировать на нечто предыдущее, а только жевал губами и оглядывался. Поэтому, мельком спросив, где он работал и что заставляет столь милого человека таскаться по Москве в поисках подходящего варианта, Елена Наумовна, придыхая и похотывая, уже высказала предположение, что Николай Васильевич, будучи видным историком, должен, по ее педагогическим понятиям, в совершенстве владеть английским. Николай Васильевич потюкал ногтем указательного пальца по облупившейся ванне и огорченно ответил, что прежде он трудился в Институте истории партии, работа его закончилась по не зависящим от него причинам, ныне пенсионер, а квартирными проблемами отягчен потому, что им тесно с сыном, дочерью и ее двумя детьми в их четырехкомнатной, в доме ЦК возле метро «Кунцевская». Потом он заглянул в сортир, потянул носом, поглядел на потолок, поковырял шпаклевку, озабоченно крикнул и подтвердил: мол, да, английский он знает довольно порядочно. Если бы он сказал про английский раньше, чем про Институт истории партии и дом ЦК (а еще лучше — вовсе бы о них умолчал), то с ним было бы то же самое, что и с японцем: его бы до последней минуты душили неукротимым стремлением доказать, что английским языком способны овладеть не только англичане. Однако он этого предполагать не мог, брякнул, что было, тут же занял в иерархии ценностей Елены Наумовны подобающее ему место, и в знании английского, как в самом святом, ему было молча, но безусловно отказано.

Впрочем, способность окатывать собеседника, как мыльной водой из ведра, каскадами переливчатого смеха ей совершенно не изменила, и только когда Николай Васильевич с Константином в тот самый первый раз простились и ушли, Елена Наумовна стала воздевать руки и саркастически спрашивать, что помешало этому мерзавцу заглянуть в ее кастрюли и не сложилось ли у меня впечатления, что если слизьяку коммуняке дать волю, так он и грязное белье полезет исследовать. «О, я этих людей знаю! Я их насквозь вижу! — повторяла она, не сообщая, впрочем, где обрела эту рентгеноскопическую способность. — Их нужно держать на коротком поводке! О, imagine, Сережа! Вы как интеллигентный человек...» До следующего показа было минут сорок, и все эти сорок минут она усиливала мою головную боль тем, что на разные лады уличала Николая Васильевича в разных сортах низости. «А шкафчик! — восклицала она. — Вы видели, как он разглядывал мой шкафчик?! Он что же думает, я ему оставлю шкафчик?!» И опять хохотала, и касалась толстыми пальцами желтых висков, и поводила широко раскрытыми выцветшими глазами.

— Это такой уровень! Такой уровень! — толковала теперь она, снова принимаясь бездумно звенеть ключами от тайн. — Ах, мы уже стали забывать, а ведь там было все самое лучшее, да, да! Ведь важен круг, круг! И что касается преподавателей, что касается учителей! Да, да! Все самое лучшее!.. Поэтому вы понимаете, что я была им нужна как воздух — просто как воздух! И это было так... что, Адичка?

Аркадий Семенович поднес сухой кулак ко рту и покашлял.

— Я согласен, — проговорил Николай Васильевич, стоя в дверях и вытирая потную лысину красным платком.

Он жалко улыбнулся.

— О-о-о? — протянула Елена Наумовна, одобрительно его рассматривая. — Да вы бы сняли пальто!

— Что пальто, что пальто, — пробормотал он. — Разве дело в пальто? Я посмотрел на Константина.

— Согласны? — переспросил Константин. — Ну что ж... Квартирка-то неплохая, Николай Васильевич.

— Да, да... Я согласен, — пробормотал Николай Васильевич, потерянно кивая. — Что делать, что делать!.. Комнатки-то маленькие... шестнадцать, семнадцать... что это такое! — И он горестно поджал губы.

— Ну, тут уж ничего не поделать, — развел руками Константин. — Да не намного меньше ваших.

— Очень, очень теплая квартира! — воскликнула вдруг Елена Наумовна и, похоже, простив ему коммунистическое прошлое, увлекла его к батарее: — Вы пощупайте! Очень тепло! И ведь ни одно окно не заклеено! Ни одно!

— Да ладно, — отмахнулся Николай Васильевич. — Конечно, да... вижу. Только вот мне бы..

— А тихо как! тихо!.. — перебила его Елена Наумовна.

— Мне бы вот что... я ведь... — тянул Николай Васильевич. — Я-то сам ладно...

— Ну что же, господа... — сказал Константин, уже не слушая. По-видимому, он уловил главное: согласен! Посмотрел на меня и вдруг хитро улыбнулся: — Задаток?

— Конечно, — сказал я, безразлично пожав плечами.

И, не удержавшись, добавил:

— Еще бы!..

#### 4

Чертыхаясь, я снова объехал вокруг поломанной ограды детского садика. Попробуем сначала. От печки. Значит, улица Техническая, дом четырнадцать. Двенадцатый есть — вот он. Шестнадцатого два корпуса тоже наличествуют — вон они. А четырнадцатый — как корова языком слизнула. Двинулся направо — уже вопреки здравому смыслу. Дорожка миновала гаражи и уперлась, как я и предполагал, в грязный бетонный забор. За ним громоздились темные корпуса какого-то завода.

Ну и местечко!

Делать было нечего — сдал назад, выехал к свалке, вернулся к шестнадцатому. Безо всякой надежды на успех стал пробираться проездом вдоль забора теплостанции, из трубы которой валил серый дым. Обогнул ее кирпичную коробку — и обнаружил наконец еще одну пятиэтажку.

Я попал в большую пробку на Дмитровке, опаздывал больше чем на полчаса, и шансы, что Нина Михайловна меня все-таки дождетя, были очень невелики — тем более, что она ни разу меня не видела и ничем не была мне обязана.

Нина Михайловна возникла накануне. Она позвонила вечером, представилась и сообщила, что обратиться ко мне ей посоветовали Кондрашовы. Только сейчас, подруливая к подъезду, я вспомнил, кто это такие. Одна милая семейка. Года два назад я развозил их из трешки на Красносельской. К тому времени они уже были готовы порубить друг друга топорами, поэтому не особенно упирались, и дело сделалось быстро — месяца за два. А теперь вот от них Нина Михайловна... Так всегда. Бабка за дедку, дедка за репку... Нина Михайловна желала продать квартиру. Деньги, как водится, нужны ей были срочно. Это она мне сообщила по телефону. Что же касается, как она выразилась, деталей — а на мой взгляд, именно сути дела, — то о них она почему-то была согласна говорить исключительно при личной встрече, — должно быть, опасалась козней спецслужб или криминальных структур. Значит, тащись за тридевять земель лишь для того, например, чтобы убедиться, что ее поганую квартирку по тем или

иным причинам продать нельзя... Однако я не стал спорить: чертыхнулся про себя, а вслух сказал, что она совершенно права, и нечто еще в том же духе — мол, удовольствие иметь дело со здравомыслящей женщиной ни с чем не сравнимо. Но этой фразы она, кажется, просто не поняла.

Я поднялся на пятый этаж, позвонил, и дверь открылась сразу же — так, словно Нина Михайловна стояла за ней, прижав ухо к филенке и прислушиваясь.

— Сергей? — спросила она, отступая на шаг. — Заходите.

Ей было лет сорок пять. Или около того. Впрочем, я ни копейкой бы в этом не поручился, потому что современные средства косметики позволяют сбить с толку кого угодно, а она их использовала в полной мере.

— Извините, — сказал я, глядя в ее очень аккуратное симметричное лицо с маленькими и сильно подведенными глазами. Если Нина Михайловна и владела возможностями мимики, то никак этого не показывала — лицо было неподвижным; может быть, она боялась, невзначай улыбнувшись, обрушить на пол всю свою штукатурку. Довольно длинные черные волосы были стянуты на затылке тугим узлом, и белый, сильно напудренный лоб был от этого неестественно гладким. — Опоздал. Насилу нашел. Местечко тут у вас...

Она безразлично пожала плечами под цветастым шерстяным платком. Но глаза смотрели настороженно. Даже испуганно. Понятное дело. Ведь она ступила на путь торговли недвижимостью. А на этом пути человека поджидает немало опасностей. Например, захочешь купить квартиру, подсунут паленую — либо из армии в нее вот-вот кто-нибудь заявится, либо из дурдома. Захочешь продать — тоже не сахар: денег жулики не дадут, а квартирки как не бывало... таскайся потом по судам да комиссиям!.. В общем-то, правильно гражданка боится. Зря только она думает, будто ей страшнее всех. Слышала звон, да не знает, где он... А вот рассказать бы ей, как мне самому бывает боязно!..

— Ну-с, — весело произнес я, потирая руки жестом доброго педиатра. — Показывайте ваши хоромы, Нина Михайловна.

— Вот, — отрывисто сказала Нина Михайловна, останавливаясь у стола. Ее лицо немного ожило: на нем появилось такое выражение (к счастью, давно мне знакомое и уже не способное ни удивить, ни обидеть), будто она отчетливо понимала, что я пришел сюда ее обмануть, и была решительно настроена не допустить этого. — Смотрите. Пожалуйста. Я вам ничего не обещаю. Я обязательствами себя связывать не хочу. — Она подняла ладонь и решительно ею помотала справа налево, как если бы навсегда прощалась со мной или останавливала поезд, чтобы не допустить крушения. — Мне деньги нужны срочно. Но меньше чем на тридцать я не согласна! Я цены знаю! Мне — тридцать, а сами можете хоть за сорок продавать! — Она вздернула подбородок и добавила язвительно: — Я понимаю: за просто так ничего не бывает.

Я вспомнил Константина и хотел спросить: «А сыр?» Но вовремя прикусил язык. Что скажешь? Глупость принимает самые неожиданные формы. Однако та, что я наблюдал сейчас, была совершенно заурядной. Я не собирался спорить. Ни к чему было и учить кого бы то ни было вежливости. Поэтому я только засмеялся и поднял обе руки жестом безоговорочно сдающегося.

— Подождите, Нина Михайловна, подождите! Давайте хоть взглянем для начала!

— Да пожалуйста, — холодно ответила она. — Ведь для того и приехали. И отвернулась к окну.

— Кто-нибудь прописан? — спросил я, осматриваясь.

Как-то раз я вошел вот так же по делу в чужую квартиру и, оказавшись в пустой и жаркой кухне, увидел на голом полу двух годовалых детей, деятельно пытавшихся отобрать у двух добродушных собак две боль-

шие обглоданные кости. Стена возле черной плиты была выкрашена в необычный цвет — она казалась переливчатой, пятнистой и как будто лакированной. Подойдя ближе, я понял, что это тараканы.

Здесь по крайней мере не было ни собак, ни младенцев.

— Что?.. Нет, никто не прописан, — сказала она. — Раньше жили... э-э-э... Теперь нет никого.

Я кивнул.

Я догадывался, каким будет ответ. Для того чтобы превратить городское жилье в черную, засаленную и вонючую пещеру, требуется немало времени. Было понятно, что последние годы здесь жил человек, у которого не было ни сил самому позаботиться о себе, ни кого-нибудь из близких, кто мог бы ему в этом помочь. Кое-какие детали подсказывали, что это был мужчина: учебник шахматной теории на запыленной полке, палка с большим, явно не под женскую руку, набалдашником в углу... Наверное, он был болен и стар. И, наверное, ждал смерти, которая снимет наконец все вопросы, и уже не обращал внимания на то, как именно придется провести остаток жизни — тем более что остаток, судя по всему, должен быть очень коротким. А жизнь-то все тянулась и тянулась... Коричневый продавленный диван с отломанной боковиной был завален грудой клокастого тряпья. На письменном столе лежали несколько грязных ложек, наполовину исчерпанный отрывной календарь за позапрошлый год, россыпь разнородных таблеток и комок заскорузлых бинтов. Часть стены возле окна была черной, паленой, обои вокруг пятна вывернулись угольными лепестками — должно быть, когда-то по неведомой мне причине загорелась занавеска. Гарью не пахло: значит, это было давно. В ванной почему-то нескончаемо шумела горячая вода: оттуда тянуло паром, и воздух в комнате стоял влажный, как в бане.

— Понятно, — сказал я и пробрался в кухню.

Лампочка, свисавшая с потолка, не загорелась, когда я щелкнул выключателем, поэтому разглядеть детали мне не удалось. Однако запахи живут и в темноте — и уж их-то я ощутил в полной мере.

Заглянул в ванную. Кран был сорван, вода лилась бурно и беспрестанно, фанерная рамка мутного зеркала набухла и растрескалась.

— Да... — протянул я. — Надо бы слесаря вызвать.

Впрочем, это было не мое дело.

— Надо, все надо!.. — отозвалась она. — Он и раньше-то горячую воду лил. Тут стены-то тонкие — одна видимость... Рефлектор сгорел, так он воду открутит на полную катушку — вот она и хлещет целыми днями... Пару полная квартира, а ему хоть бы хны. Мерз он, видите ли. — Она вздохнула и сердито закончила, передернув плечами под цветастым платком: — Люди-то какие бывают... ничего не докажешь.

Я кивнул. Про «не докажешь» — это она точно сказала. Особенно если кому холодно.

В конце концов старик умер. Собственных детей у него, видимо, не было. Но ему не хотелось, чтобы квартира пропала, и он почему-то завещал ее Нине Михайловне. Может быть, она его знакомая... или даже соседка, что вероятней, — заходила иногда по бабьей своей беспричинной доброте, проводывала. Время от времени покупала пакет молока. Буханку хлеба. Доброта ее не осталась без награды. Воздалось сторицей. И это справедливо. Теперь она вступила в законные права... оформила бумаги... хочет продать... Ясно как божий день.

— Значит, вы являетесь владелицей этой квартиры? — спросил я как можно приветливой.

— Да, являюсь, — с непонятным, но привычным вызовом в голосе ответила Нина Михайловна.

«Старая ты бессмысленная калоша», — сказал я про себя. И задал второй вопрос, по-прежнему улыбаясь:

— А документики можно посмотреть?

Приветливость, приветливость и еще раз приветливость.

Она насторожилась:

— Паспорт, что ли?

— И паспорт тоже, — ответил я. — Паспорт — это очень важный документ. Один из самых важных. Паспорт, Нина Михайловна, — это удостоверение личности. Кроме того, данные паспорта часто фигурируют в...

— Это что же? — Нина Михайловна явно почуяла какую-то опасность: никогда я не мог понять, какую опасность чувствуют такие вот тетки с белыми лбами, когда их просят об элементарнейшей вещи: показать на секунду паспорт, чтобы можно было убедиться в отсутствии расхождений. — Зачем вам паспорт? Я-то у вас паспорта не спрашиваю!

— Да вы не поняли! — сказал я, улыбаясь шире. — Я же не в том смысле... не как в милиции!

— Паспорт не дам! — отрезала она.

— Да почему же вы не дадите паспорт? — Я дурашливо посмеивался: мол, какие диковинные разногласия у нас возникли. — Да что вы! Ну хотите — вот вам мой паспорт, пожалуйста!

Она секунду или две смотрела на меня в упор, по-видимому решив низать, как сардельку, на взгляд своих маленьких и непонятно чем возмущенных глазок, затем порывисто вздохнула и стала, бормоча что-то о доверии и недоверии, с оскорбленным видом копаться в сумочке. Даже лоб немного наморщился.

В конце концов извлекла паспорт и протянула его вместе с какой-то жеваной бумаженцией.

Бумага оказалась ксерокопией свидетельства о наследстве. В этом не было ничего удивительного. Я и думал о наследстве. Удивительное заключалось в другом: наследство не по завещанию, как я предполагал, а по закону. Вот так: по закону. В сущности, меня это совершенно не касалось. То есть никто никому ничего не завещал. Человек умер — и его имущество перешло к законному наследнику. Как явствовало из свидетельства, наследодателя звали Михаилом Кондратовичем. Из всего этого можно было сделать только один вывод: покойный приходился Нине Михайловне родным отцом, а она ему — дочерью.

— Так, так, — сказал я, читая про себя строки документа и не вдумываясь в их давно привычный, неизменный от раза к разу смысл, а представляя себе почему-то, как старик доживал свои дни: через силу, с запинками кружась по тому черному кольцу старости и нищеты, которое и представляло собой его жизнь. Это движение становилось все медленнее, все монотонней, и даже светлых пятен памяти становилось все меньше, потому что все труднее ему было вообразить, что когда-то он жил совсем иначе — был моложе лет на десять (это еще кое-как вспоминалось), а до того — еще моложе, а перед тем — совсем молод, нравился женщинам, зарабатывал деньги, щедро тратил, был не прочь гульнуть, обожал жену и любил дочь... Я зажмурился на секунду — и картинка возникла перед глазами словно мутный, слишком плотный и вдобавок исцарапанный черно-белый негатив, на котором почти ничего нельзя было разглядеть, но который при этом производил все-таки тягостное и пугающее впечатление: как будто зная, что на нем сфотографировано нечто ужасное, ты одновременно и хочешь, и боишься разобрать детали...

— Отлично, — кивнул я дочитав. — Все в порядке. Нина Михайловна, а скажите мне, пожалуйста, вот что...

Я достал блокнот и стал задавать вопросы. Она отвечала. Мне казалось, что в голове, как в компьютере, что-то попискивает и движется: разнородные данные должны были в итоге свестись к одному знаменателю и выразиться некоторой денежной суммой, более или менее соответствующей тому, сколько стоит эта грязная конура в ее нынешнем состоянии.

- Капремонт был?
- Что?
- Трубы, спрашиваю, меняли?
- Нет, не было...
- Школа далеко?
- Да вон она, школа-то! — обрадовалась она. — Вон, из окна видно!..
- А поликлиника?

Закрыв блокнот, я возвел очи горе и сказал затем, что Нина Михайловна может рассчитывать примерно на... В голове еще что-то пощелкивало, а ошибиться я не мог. То есть мог, но не должен был. Ошибаться мне было никак нельзя. По крайней мере в большую сторону. Лучше ошибиться в меньшую. Тогда в результате сделки она получит на пару тысяч больше, чем рассчитывала. Приятные сюрпризы приятнее неприятных... Я еще тянул время: порассуждал о состоянии рынка, о конъюнктуре; отметил, что она, конъюнктура, оставляет желать лучшего. Но, с другой стороны, конъюнктура конъюнктурой, а жизнь жизнью. Жизнь есть жизнь, как говорила моя бабушка. Жизнь не остановится, какой бы ни становилась конъюнктура. А что это значит? Это значит, что, несмотря на негодную конъюнктуру рынка, я берусь продать эту квартиру, как в рекламе «Аэрофлота», — быстро, выгодно, удобно... Тут же пожалел, что брякнул про «Аэрофлот». Черт меня дернул за язык: она не поняла, при чем тут «Аэрофлот», но усильно пыталась понять, и пока я оценивал вслух местоположение, состояние, а также прочие параметры этой несчастной квартирешки, Нина Михайловна смотрела мне в переносицу затуманенными работой мысли глазами, совершенно не схватывая того, что я говорил по делу.

— Я пошутил, — попытался я исправить положение. — «Аэрофлот» тут совершенно ни при чем. Так вот, что касается местоположения...

И, подводя черту, сообщил, что Нина Михайловна может рассчитывать максимум на... Это было очень важно — назвать верную сумму. Очень важно. Я вовсе не хотел ее обманывать. Да практически и не смог бы, потому что уже сказал, что мой гонорар составляет известный процент от суммы сделки, а я всегда честно придерживаюсь договоренностей. Кроме того, объект был такого свойства, что срубить на нем хоть сколько-нибудь левых денег не представлялось возможным. Короче говоря, я был совершенно честен. Однако в нашем деле честность — это что-то вроде спирта. В том смысле, что спирт в обыденной жизни всегда содержит сколько-то воды. Даже неразведенный, он не бывает стопроцентным — только девяносто шесть. Из него можно выгнать воду с помощью специальных химических процессов. Но затем придется вечно хранить в запаянной посуде и любоваться: смотрите, вот стопроцентный спирт! А если на мгновение откупорить, он тут же схватит свои четыре процента воды непосредственно из воздуха. Ну хоть что ты с ним делай — обязательно схватит.

— Вы можете рассчитывать на двадцать две тысячи, — сказал я, закрывая блокнот. — Или немногим больше. Но точно не менее двадцати двух.

Она недоверчиво смотрела на меня, и вдруг я отметил, что ее накрашенные глазенки ненадолго приобрели совершенно человеческое выражение.

— Да вы что! — сказала Нина Михайловна неожиданно неприятным нутряным голосом. — Как же так? Мне говорили совсем другое!..

— Дело в том, что...

— Двадцать две! Это невозможно!

Приветливость, приветливость. И терпение.

— Как хотите.

— Это во сколько же мне ваша помощь обойдется?!

— Четыре процента от суммы, — повторил я. — Вы поймите, я не настаиваю. Мне...

— Двадцать две! Как же так — двадцать две? Ну пусть не тридцать... ваши услуги, я понимаю... пусть двадцать девять, в конце концов! Что вы! Я цены знаю! И потом: мне нужно срочно! Через неделю!

Ну вот, так и вышло: все, что я битых полчаса пытался внедрить в ее слабый мозг, Нина Михайловна попросту пропустила мимо ушей: информация, которая казалась правильной, не могла проникнуть в ее обтянутую головенку. Похоже, это была женщина железной воли и негибаемого характера. Единственное, на чем бы я не стал настаивать, — что она намного умнее большого злого попугая.

— Понимаю, — сказал я, застегивая куртку. — Но это невозможно по многим причинам. Видите ли...

— Хорошо, давайте с вами договоримся! — с досадой воскликнула она. — Вы же мне просто руки выкручиваете! Что это такое, в самом деле! Я же уже сказала! Мне неинтересно знать, сколько вы получите! Давайте мне двадцать восемь — и все! Я согласна! Это может быть очень выгодно для вас! Хорошо?

— Я не покупаю квартир, — объяснил я. — Понимаете? Я их продаю. И беру четыре процента от суммы. Вы уловили? — четыре процента. А покупать у меня у самого — как бы поточнее выразиться? — денег нет. Моя покупательная способность крайне невысока... если угодно... если вам так понятнее. До свидания.

Похоже, Нина Михайловна взошла в тупик: лоб окончательно наморщился и даже порозовел.

— Ну хорошо, хорошо!.. — нетерпеливо сказала она. — Ну а сколько тогда?

Даже когда все против этого, потенциальный клиент должен оставаться потенциальным клиентом.

— Двадцать две. Может быть, чуть больше. Я уже объяснял: выставим за двадцать пять. За двадцать четыре купят. Если повезет. Не повезет — двадцать три. Вычтите мой гонорар... Это несложно, это арифметика. Еще раз до свидания. Позвоните, если надумаете. Всего хорошего.

Дверь за спиной сильно хлопнула — сильнее, чем нужно, чтобы просто закрыть.

В туманном воздухе окруженные мглой фонари казались слоистыми, словно разрезанные луковицы. Над крышей пятиэтажки напротив стояли кривые серые дымы.

В центре замусоренного двора — должно быть, когда-то там была круглая клумба — бегала большая коричневая собака, весело таская за собой на длинном поводке спотыкающуюся незрелую девочку в тигровой куртке.

Я открыл машину и сел.

Девочка совладала наконец с разгулявшимся псом, схватила его за ошейник и погрозила пальцем. Теперь они чинно шагали к подъезду. Пес огорченно оглядывался.

— Ну что, Асечка, — сказал я, — поехали.

Стартер скрежетнул, и двигатель завелся.

Поток машин медленно тянулся по мокрой эстакаде. Двинулись... снова встали... Случайный мелкий дождичек штриховал пятна фонарного света. Бурый массив Ваганьковского кладбища справа от эстакады. С севера фонари, фонари... утрюмая земля, часто расчерченная прямыми линиями железнодорожных путей. Два поезда медленно ползут навстречу друг другу. Над крышей дома за светофором торопливо пробегают желтые буквы: «ДИАНА: РЕКЛАМИРУЕМ В СООТВЕТСТВИИ СО ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ». И опять то же самое... и опять... и опять. Двинулись... четыре, пять



метров... семь. Встали... «ДИАНА: РЕКЛАМИРУЕМ В СООТВЕТСТВИИ СО ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ». Я снова и снова читал этот текст, понимая все слова по отдельности, однако никак не мог совладать с идеей всего утверждения в целом. Встали... опять двинулись... А, понятно. Правая сторона проезжей части больше чем наполовину перегорожена тремя нелепо развернутыми машинами. Пульсирующая мигалка гаишного «форда» плавила асфальт переливчатым пунцово-синим огнем. Я осторожно объехал фургончик «скорой» и нажал на газ.

...Будяев открыл дверь и отступил, широко улыбаясь и как-то так по-особому приглашающе откинувшись назад, отчего черная борода его задралась кверху, а халат разошелся на груди, обнажив бледную кожу, покрытую седыми волосами. Я все никак не решался спросить — бороду-то он красит, что ли? или как?

— Добрый вечер, Дмитрий Николаевич. Я чуть раньше, извините.

— Какие разговоры! — медленно проговорил Будяев и сделал руками движение, словно растянул тугую резинку. — Что вы, голубчик! Заходите, заходите! Мы вам рады! Как раз и поговорить есть о чем...

Он уже не улыбался, и лицо стало таким, как всегда, — усталым и озабоченным.

— Ах вот как, — вздохнул я. — Есть о чем поговорить... Всегда-то у вас есть о чем поговорить.

— Ну не сердитесь, не сердитесь. — Будяев перевел дыхание и закончил: — Раздевайтесь.

— Сережа, милый! — пропела Алевтина Петровна, выходя в коридор. — Это вы!

— Добрый вечер, — ответил я, снимая куртку.

Будяев был из числа тех всегда встревоженных людей, чья жизнь отравлена переживанием будущих несчастий. Правда, когда Дмитрий Николаевич улыбался, в его лице мелькало что-то, позволяющее заподозрить, что некогда он был жизнелюбцем и озорником. Однако улыбался он крайне редко. Как правило, глаза из-под нахмуренных бровей смотрели не настороженно даже, а просто-таки обреченно, и в них читалась уверенность, что вот-вот должно случиться нечто непоправимое, после чего вся жизнь окончательно рухнет и то ли кончится вовсе, то ли превратится в кошмар. Видимо, именно уверенность в наступлении неминуемого несчастья, с одной стороны, а с другой — мужество попытки хоть как-то противостоять ему и заставляло Будяева подробнейшим образом предполагать, а затем исследовать все последствия (включая самые нелепые и невероятные) того или иного, в свою очередь предполагаемого, поступка. Если бы не состояние совершенной серьезности, в которой пребывал Дмитрий Николаевич, а также те мрачные краски, в которые окрашивались его пессимистические рассуждения, то сам ход их можно было бы сравнить с игрой на компьютере — из тех детских развивающих игрушек, по ходу которых приходится строить крепости и захватывать новые территории, имея в виду, что какой бы успешной ни выглядела эта деятельность, в конце концов она приведет к неминуемой катастрофе.

Алевтина Петровна тоже была женщиной чрезвычайно мнительной, — на мой взгляд, они друг друга стоили.

— Видите ли, Сережа, — сказал Будяев, когда мы сели вокруг стола. — Я, собственно говоря...

— Может быть, чаю? — озабоченно улыбаясь, спросила Алевтина Петровна. Было заметно, что она готова всплеснуть руками, сорваться со стула и мышиной своей побежкой кинуться за чайником.

— Нет, спасибо.

— Видите ли, Сережа. Гм-гм... Собственно говоря, мы...

— Горячего! С вареньем! Яблочное варенье! Вы пробовали варенье из яблочка?

— Варенье? Нет, нет, спасибо... Так что вы хотели сказать?

— Дело вот в чем. Я, видите ли...

— Это старинный, стари-и-и-и-инный семейный рецепт: без воды! Еще бабушка меня учила! Представляете? — бабушка! А? Ложечку?

— Нет, спасибо.

— Это, так сказать, вот какое дело.

— Ло-о-о-о-ожечку!

— Нет, нет, спасибо.

— Дело в том, что наше отношение ко всей этой затее...

— Если здесь не хотите чаю, мы можем пойти на кухню!.. Я согласна: на кухне всегда как-то уютней. Просто Дмитрий Николаевич себя не очень хорошо чувствует, а в кухне газ.

Будяев посмотрел на жену. Было видно, что Алевтина Петровна вовсе его не раздражает: он просто переживал ее, как переживают порыв ветра или большую волну, то есть такие явления природы, на которые человек в силу ограниченности своих возможностей не может оказать никакого влияния.

— Ах, не буду вам мешать! Димочка, расскажи же Сереже!..

— Да. Так вот. Видите ли, Сережа...

— Мы ведь уже говорили вам, правда? Димочка, ты не помнишь, мы говорили Сереже или не говорили?

— Не помню, — сказал Будяев и так потряс головой, будто хотел проснуться.

— Кажется, говорили, — задумчиво протянула она. — Ну не важно. Дело в том, что...

— Нет, это совершенно не обязательно, — включился Будяев. — Просто есть такая вероятность...

— Разумеется, нам могут попасться очень порядочные люди, — сказала Алевтина Петровна тоном, который выдавал, что она ничуть в это не верит.

— А поскольку такая вероятность есть — пусть и очень незначительная, — мы не можем вовсе сбрасывать ее со счетов, ибо...

— Ведь так не хочется, так не хочется людей ни в чем подозревать! Но жизнь-то какая стала! Невольно задумаешься. Не правда ли?

— ...положении следует попытаться предусмотреть хотя бы, так сказать, это.

Будяевы обладали непостижимой способностью, ведя общий разговор, высказываться одновременно, причем нередко на совершенно разные темы. Друг другу они этим совершенно не мешали: может быть, именно потому, что оба зачастую говорили такое, из чего вышелушить смысл было чрезвычайно трудно — в силу удручающего несоответствия количества слов мизерности предмета, о котором шла речь. Поначалу я терялся, пытаюсь уследить за их ветвистыми мыслями, расползающимися в разных направлениях, и на третьей минуте разговора у меня начинали ныть все зубы: я нервничал и ничего не понимал. Однако потом стал вести себя иначе: пристально смотрел на сахарницу или в чашку, иногда кивал, а думал о вещах посторонних. Как ни странно, это было именно то, что требовалось: встрепенувшись минут через двадцать, я обнаруживал, что суть разговора, на который они потеряли столько времени, уже сидит у меня в голове. Обычно это была какая-нибудь ерунда, не стоящая и пятисекундного обсуждения.

Поскольку сейчас все равно приходилось ждать (свернуть их с этой стези, как я давно понял, было мне все равно не под силу — Будяевы непреклонно толковали свое, хоть им кол на голове теши), я расслабился, превратившись в некое подобие мембраны, в которой монотонно звучащая с двух сторон речь вызывала слабые, почти незаметные колебания, отра-

жавшие попытки сей супружеской четы предусмотреть все вплоть до событий, которые принципиально не могут быть предусмотрены.

— ...Так вот: не могли бы мы себя как-то от этого обезопасить? — спросил Будяев и щелкнул зажигалкой.

Я вздрогнул.

— От чего? А-а-а... Видите ли, Дмитрий Николаевич...

Когда позвонили в дверь, я еще продолжал нарочито монотонное изложение некоторых фундаментальных основ гражданского права; Будяев ошеломленно побрякивал, в особо нравившихся ему местах брал из пепельницы сигарету и делал неглубокую затяжку, чтобы затем пустить дым носом; Алевтина Петровна меланхолично кивала, и на лице у нее застыло скорбное выражение вежливой, но непоколебимой уверенности, что в тех случаях, когда она чего-то не может понять, непременно найдутся люди, которые этим воспользуются для собственной выгоды.

Звонок ее, как обычно, всполошил: Алевтина Петровна вскочила, беспомощно озираясь, будто застали ее не в собственной квартире, а в чужой, где она к тому же занималась каким-то постыдным делом — воровала или прелюбодействовала; ахнув, с мелким топотом кинулась к дверям, скрылась было в прихожей, затем наполовину высунулась и взволнованно спросила:

— Отпирать?

Если б я не знал, в чем дело, то, посмотрев на Будяева, несомненно решил бы, что пришли его арестовывать — столько смятения было в его взгляде.

Я кивнул, и тогда он отчаянно махнул рукой — мол, отпирай, чего уж: где наша не пропадала!..

Послышались соответствующие звуки, затем голоса. «Вот так оно! Вот так!..» — обреченно бубнил Дмитрий Николаевич, поднимаясь для встречи. «На вешалку! — повторяла Алевтина Петровна. — На вешалочку! Пройдите!..»

Первой появилась невысокая плотная женщина с потрепанным пухлым блокнотом в руках. Она была в стоптанных сапогах и растянутой трикотажной юбке, которые вкупе с кособокой кофтой придавали ее внешности чрезвычайно простецкий вид. Дойдя до середины комнаты, женщина поздоровалась и тут же хрипло закашлялась, поднеся ко рту кулак. Откашлявшись, она повторила приветствие — уже не так сишло.

Следом за ней ступала высокая худощавая девушка лет двадцати пяти в черном поблескивающем платье и в черных же туфлях на каблучках; лаковую сумочку она неловко держала перед собой обеими руками, словно для того, чтобы прикрыться; она шагала медленно и плавно — даже как-то слишком медленно и плавно, как если бы ее прежде сняли рапидом, а теперь прокручивали на обычной скорости. Мне сразу показалось, что от нее веет неудовольствием и смутой.

— Ой, а вы курите? — спросила женщина в стоптанных сапогах у Будяева. — А можно я тоже? А то уши пухнут. — А сама уже повалилась в соседнее с Будяевым кресло, сунула в рот сигарету и чиркнула зажигалкой. Затянувшись, выдохнула вместе с дымом: — А это Ксения. Наш клиент. — Еще раз затянулась и приветливо посмотрела на меня черными-черными глазами. — А вы Сергей? Я Марина. Мы с вами договаривались.

Я кивнул.

Ксения медленно повернула голову. У меня что-то сжалось в груди, как от испуга. У нее было тонкое лицо, обрамленное вьющимися темными волосами, нос с небольшой горбинкой, высокий чистый лоб. Довольно полные губы были тронуты едва заметной улыбкой, но строгие складочки в уголках подсказывали, что это, скорее всего, иллюзия. Лицо было правильным, даже геометричным, то есть как будто изначально собранным из параллелограммов, треугольников и овалов, а затем окутанным неким чу-

додейственным туманом, в котором строгие очертания этих фигур несколько смягчились, — короче говоря, лицо классических пропорций; выющиеся пряди только подчеркивали это. В ее красоте была какая-то несомненность, которая в первую секунду действовала даже несколько удручающе; несомненно, она была красива, настолько несомненно, что я почувствовал не радость, не возбуждение, не желание, не готовность к тому, чтобы чем-нибудь обратить на себя внимание, сделав тем самым первый шаг к близости, а прилив смутной и приятной грусти, как если бы кто-то близкий доверчиво нашептал мне, что время идет зря, что-то очень важное остается в стороне, жить нужно как-то иначе — и все в таком духе. У нее были длинные черные ресницы и карие глаза, и смотрела она прямо и долго, не моргая, не меняя и не отводя взгляда. В глазах можно было прочесть какое-то, во-первых, не ясное мне ожидание и, во-вторых, сожаление о том, что тот, на кого она сейчас взглянула — то есть я, — этого ожидания оправдать никак не сможет. Я улыбнулся и кивнул и, кажется, даже шаркнул ногой; а ее лицо совсем не изменилось — не просветлело и не нахмурилось, губы не шевельнулись, веки не дрогнули: короче говоря, мое приветствие на нем никак не отразилось. Секунды через три она отвернулась и точно так же немигающе и с тем же самым выражением уставилась на Марину.

— Вот, — сказала та и приглашающе махнула окурком. Она крутила головой, озираясь, и мне показалось, что Марина почему-то избегает смотреть на Ксению, свою клиентку. — Как вам? — почему-то спросила она у меня. — Кажется, не очень плохо.

— Вентиляция! — громко сообщил Дмитрий Николаевич. — Я говорю, замечательная здесь вентиляция.

Ксения с усилием оторвалась от Марины, перевела взгляд на Будяева, наморщила лоб, как будто хотела что-то вспомнить или понять, долго смотрела, а потом переспросила:

— Вентиляция?

Будяев ступешался.

— Собственно, квартира, как говорится, без недостатков, — вступил я. — Обратите внимание. Комнаты большие. Удобное расположение. Балкон. Три минуты от метро. Лифт. Окна на две стороны. Тихий двор.

Не слушая меня, Ксения проследовала в коридор. Марина загасила окурочек, с кряхтением встала и двинулась за ней. Я пристроился следом. Марина обернулась и подарила меня общнической улыбкой — мол, обращай внимания. Мол, ты и я — одного поля ягоды. Мол, наше дело риэлторское. Мол, сам понимать должен, не маленький.

Ксения остановилась у дверей в кухню.

— Это кухня? — спросила она равнодушно.

— Кухня. Десять метров.

Ксения повернула голову и уставилась с прежним выражением: опять эта надежда, это ожидание — и одновременная уверенность, что оно совершенно бесполезно.

— Здесь не десять, — сказала она примерно через полминуты и отвернулась.

— Не десять, — согласился я. — Девять и девять в периоде.

Она пожала плечами и все так же замедленно двинулась к дверям в другую комнату.

— Документы-то в порядке? — спросила Марина. — Что там у вас? Опекунского-то нету?

— Альтернатива, — сказал я, протягивая папку. — Легкая.

Ксения вернулась в кухню и встала посередине. Она могла бы подойти ближе к окну, и тогда ей стал бы виден заросший двор и дом напротив, проглядывающий сквозь золотисто-желтую листву нескольких старых берез. Но она просто смотрела в стекло и, должно быть, видела лишь даль-

ние крыши, провода, высотки и несколько ключев темно-голубого вечернего неба в окружении розовых облаков. Не знаю, что еще.

— Поня-я-ятно, — протянула Марина через минуту с таким выражением, словно бумаги ее ни в чем не убедили. Потом заговорщицки понизила голос: — А что, нормальная квартирка. Должна согласиться. Я с ней уже намучилась. Ездим, ездим... То не так, это не этак. Сначала трешку нашли ей. Уже хотели разгружать — а там мужик с девяностого года не выписан. Уехал куда-то — и нет его. Это чего? Юридический факт устанавливать? А вернется он потом — тогда что? Ну куда? А она уперлась — дай, и все. Едва отговорила... Потом за двушку залог внесли, а она передумала... Штуку потеряла — хоть бы хны. — Марина зачем-то посмотрела одну из бумаг на просвет и тут же озабоченно осведомилась: — А цена? Что с ценой?

— А что с ценой? Цена в объявлении указана.

— А подвинуться?

Я пожал плечами.

Не дождавшись более внятного ответа, она опять принялась усердно шуршать документами, задавая по ходу дела кое-какие небесполезные вопросы. Некоторое время мы беседовали так, словно пробирались навстречу друг другу по болоту — сначала ткни впереди себя палкой, а уж если нашлась опора, ставь ногу. Привычная игра, единственной целью которой было убедиться, что соперник знает ее правила. Скоро выбрались на твердое — Марина оказалась далеко не новичком. Обсудили сроки, возможные осложнения и вероятность благоприятного исхода. Если бы к нашему разговору прислушивался знаток, он бы наверняка отметил, что беседа прошла на высоком профессиональном уровне. К сожалению, профессионализм свой мы могли покуда засунуть куда подальше, поскольку ничто не предвещало быстрой развязки: Ксения сомнамбулически плавала из комнаты в комнату, озирая углы, Будяев по-прежнему с энтузиазмом махал перед ней зажженной сигаретой, чтобы на факте продемонстрировать наличие мощной вентиляционной системы, а Алевтина Петровна толковала, что, если девушка надумает покупать квартиру, она по совершенно символической цене уступит ей свои облезлые шкафчики... Внезапно остановившись, Ксения долго на нее смотрела (Алевтина Петровна все долдонила про шкафчики, входя в самые незначительные подробности их совершенно заурядного устройства), затем, не дослушав, плавно повернулась на каблучках и пошла к дверям. Сумочку она все так же неловко держала перед собой.

— Что, уходим? — спросила Марина, догоняя и обеспокоенно заглядывая ей в лицо. — Ксения, уходим?

— До свидания, — сказала Ксения не обернувшись.

Я все же подал плащ. Перекладывая сумочку из одной руки в другую, она долго укутывала шею прозрачным шарфиком; вот наконец сунула руки в рукава. Ее затылок был совсем близко. Я почувствовал горьковатый запах духов. Длинные тонкие пальцы одну за другой продевали пуговицы в петли. Напоследок Ксения снова уставилась, будто чего-то от меня дожидаясь, а когда я сказал: «До свидания», — молча шагнула за порог.

— Прозвоню, — бодро сообщила Марина, возвела глаза к небу и мученически покачала головой.

— Прозвони, — сказал я и закрыл дверь.

Будяев, сунув руки в карманы синих штанов и выставив бородавку, стоял на пороге комнаты.

— Не покупают? — спросил он с утвердительной интонацией.

— Пока не знаю.

— Ну ничего, купят. Не одни, так другие. А?

— Ну просто припадок оптимизма, — съязвил я, подходя к окну.



душу бы упекли. А сколько из этих десяти он бы там при его здоровье протянул? — говно вопрос: немного...

Ах, по-дурацки его угораздило! Ну совсем по-дурацки!.. черт его тогда дернул. Аня позвонила совершенно не в себе. Меня самого затрясло, когда я услышал ее дикий, переливчатый, будто у сирены, вой, сквозь который разобрал наконец: «Ой, Сереженька, Павел двух детишек убил!..» Два с лишним года прошло, а я и сейчас отлично помню: по-овечьи хекал в телефонную трубку, пытаюсь выговорить: «Ты что?! Как — убил?! Кого — убил?!»

Ну и конечно — полный бред. Это надо было так сформулировать — убил!.. Ни черта не убил. Сами они въехали на перекрестке под его «ЗИЛ». За водилу был паренек четырнадцати лет (естественно, пьяный, поскольку все стряслось Первого мая позапрошлого года: как говорится, на майские). А у него за спиной, на заднем сиденье мотоцикла, — его двенадцатилетняя сестренка. Они на высокой скорости проследовали под знак «STOP». А грузовик геодезической партии двигался по главной дороге. И будь Павел трезв, все, быть может, разрешилось бы иначе.

Конечно, я не сдержался и с досадой ему выговорил: «Ну зачем же ты такой поехал-то?!» Павел нахмурился, посмотрел, как только он умеет — любовно, но все-таки исподлобья, — и сказал примиряюще: «Сереж, ты пойми, мой-то ребята вообще никакие были!.. Им приспичило: даешь еще пяток бутылок — и все тут! Праздник! Не удержать. Я думаю: да ну вас всех к монахам!.. Им же все до лампочки — и машину угробят, и сами покалечатся. Лучше уж, думаю, съезжу, привезу — жрите... я же все-таки начальник. Там и ехать всего три километра. До второго перекрестка. Кто ж знал, что эти-то как раз на первом повстречаются. — Он расстроено цокнул языком и закончил, вытаскивая вторую сигарету из пачки „Примы“: — Вот тебе, выходит, и съездил».

— Да уж, — сказал следователь Краско и вздохнул.

Мы сидели втроем в его пыльном кабинете. Павел, даже куря, нервно позевывал. Он именно тогда так сильно поседел — прежде волосы только чуть серебрились.

— В общем, дела такие, что особенно не разбежишься, — сказал Краско. — Два или более погибших в результате грубого нарушения. От четырех до десяти лет. В зависимости от смягчающих. Только я пока смягчающих что-то не вижу.

— Они должны были пропустить, — сказал я.

— Верно, — согласился Краско. — Должны были. А вот гражданин Шлыков пропускать, — он выразительно пощелкал пальцем по горлу, — никак не должен был. Вопреки чему есть соответствующий акт экспертизы. Ведь есть?

— Есть, — вздохнул Павел.

— Вот если бы его не было... — протянул Краско. — Тогда другое дело.

— А могло бы не быть? — спросил я.

— Могло бы и не быть, — ответил Краско. — При других обстоятельствах. Но ведь есть?

— Есть, — снова покаянно вздохнул Павел. — Тут уж, как говорится...

Однако довольно скоро акт экспертизы исчез, а вместо него появился другой, совершенно такой же, только в нем уже было написано, что через сорок минут после ДТП, повлекшего человеческие жертвы, концентрация алкоголя в крови Шлыкова П. И. составила ноль целых ноль десятых промилле, что подтверждает... и т. д.

Деньги я перед тем передавал адвокату Бабочкину — шестнадцать тысяч зеленых в бумажном пакете. Именно Бабочкин вел все переговоры, сам же я со следователем больше не виделся. Гонорару Бабочкин запросил всего две тысячи, из чего я заключил, что Краско достались не все шестнадцать. Так или иначе, мера пресечения была изменена на подписку о

невыезде, которую в свою очередь через две недели не продлили — видимо, по забывчивости. Павел получил два года условно. Разведя руками, Бабочкин пояснил, что его подзащитного должны были бы оправдать вчистую; если разбираться всерьез, нестандартная оплетка рулевого колеса, к которой они придрались, вовсе не является нарушением; но, сам понимаешь, когда двое погибших... да черт с ними, всем ясно, что это только для того, чтобы родителей успокоить.

В ту пору я насчет всего этого не особенно расстраивался, потому что дела шли довольно живо, и покою мне не давала только мысль о... вот и они.

Да, вот и они.

Я взглянул на часы. Семнадцать минут как одна копеечка.

Вкатившись в арку, красная «девятка» повернула, взяла левее и резко встала у бордюра.

Изнутри доносились раздраженные голоса, сквозь запотелые окна чудились жесты. Однако никто почему-то не делал попыток выйти.

Минуты через полторы распахнулась водительская дверца. Мрачный Константин покинул машину, закурил и только после этого кивнул, расстроено спросив:

— Ну что?

— Да ничего, — сказал я. — Порядок. Все на месте. Дом стоит. Квартира ждет.

Он сокрушенно покачал головой и отвернулся.

Между тем раскрылись и остальные двери.

— А вот и годится! — плачущим голосом повторял Николай Васильевич, выбираясь с переднего сиденья. — Вот и годится!

Шляпы он на этот раз каким-то чудом не потерял, и было похоже, что в ряду прочих обстоятельств его жизни это событие является одним из самых радостных.

С заднего появились двое: во-первых, жена Николая Васильевича — полная женщина в кургузом пальто и по-деревенски повязанном платке, придававшем ее круглому (а сегодня еще и заплаканному) лицу несколько изумленное выражение, и недовольный молодой человек лет двадцати трех — в линялом плаще и черной матерчатой кепке.

— Пожалуйста, — сказал Николай Васильевич, разводя руками. — Мария Петровна. Вы ведь знакомы? Да. Вот. А это сын. Знакомьтесь. Женюрка... э-э-э... Евгений Николаевич. Как договаривались. Пожалуйста. В самом пылу, так сказать, жизненных решений. Прошу вас.

Мы кивнули. Я даже улыбнулся.

Сын Женюрка посмотрел на отца с угрюмой миной человека, привыкшего к незаслуженным оскорблениям, и мне подумалось, что сейчас он сплюнет под ноги, но Евгений Николаевич только шмыгнул носом. Его широкоскулое лицо было будто специально приспособлено для рекламы мази от угрей.

— Ну вот так, — говорил Николай Васильевич, то озирая домочадцев, то поглядывая на меня. — Вот и слава богу. А то что же? Вот теперь все честь по чести... посмотрим... Сын тоже интересуется. — Он показал пальцем на сына. — А как же... ведь нам жить? А? Нам ведь не в гости, правда? Что ж так-то... тяп-ляп... Не на день ведь, а? Хоть разглядим как следует... ведь надо.

Он опять посмотрел в мою сторону, ожидая подтверждения.

— Да ладно, слышь, — насморочно сказал Женюрка и на этот раз все же сплюнул. — Заладил. Пошли, что ли?

В лифт не поместились, и семейство Большаковых поехало первым. Как только двери со скрежетом сошлись, снова послышались взвинченные голоса. Загудел мотор.



— Во собачатся, — пробормотал Константин. — Нет, я так больше не могу. Достали. Ну что он уперся? Все на мази... Ведь совсем, совсем до задатка дело дошло — все хорошо, все согласны... так нет! Освободи ему теперь в две недели! А? Нет, ну что же такое! Кто ему две недели-то обещал? Я всегда толковал — месяц, месяц, не меньше! А то и полтора! Нет — давай две недели! Что ж это такое-то, а! — повторил он плачущим голосом. — Нет, ну не могу, все! Достал!

Индикатор добрался до шестого и замер.

— Да ладно, — сказал я, нажимая кнопку. — Не расстраивайся. Сегодня-то уж, может, кончится.

— Ага. Кончится! Держи карман шире. Как же. Теперь этот придурок уперся... Прыщавый-то.

Константин безнадежно вздохнул и с отвращением посмотрел на грязное табло. Огонек перескочил с шестого на пятый.

— С лица не воду пить, — сказал я.

А чем еще я мог его утешить?

\* \* \*

Когда мы вышли из лифта, дверь квартиры все еще была нараспашку, а Большаковы толклись в прихожей.

— Да что вы, что вы! — вопила Елена Наумовна. Богатое светлое платье подробно обтягивало ее подрагивающие тела, которыми она, судя по всему, находила причины гордиться. — Что вы, что вы! Не надо разуваться! Это же так по-советски — разуваться! Что вы!

Вопреки ее оглушительному курлыканию Николай Васильевич ворчал что-то неразборчивое, согнувшись в три погребели над запутавшимися, как всегда, шнурками. Он не мог знать, сколько грязи выливает Елена Наумовна на головы тех, кто имеет неосторожность последовать ее призывам («Ну свиньи, свиньи! — обычно кричала она по их уху, победно хохоча и упирая руки в боки. — Скоты! Навозу нанесли! Грязи! Трудно разуться?!»), однако то ли догадывался об этом, то ли просто неуклонно следовал некоторым своим принципам.

— Прошу, — сдавленно бубнил он от полу, теребя второй узелок. — Жена Мария Петровна. Знакомьтесь. Большакова. Евгений Николаевич. Сын. Недавно из армии. Прошу.

— О! О! — восклицала Елена Наумовна, смеясь и вздевая руки. — Из армии! Какое совпадение! У меня муж полковник! Это так strange — такие совпадения! Я так люблю офицеров! Офицеры! О-о-о! Вы офицер?

— Он рядовой, — прохрипел Николай Васильевич, разгибаясь. — Не обученный. Рядовой, да. Пожалуйста. Жена. Мария Петровна. Вы ведь знакомы.

— Как я рада видеть вас снова! — воскликнула Елена Наумовна. — Проходите же!

Мария Петровна озиралась у дверей, не делая даже попыток раздеться.

Между тем Женюрка, шмыгнув по обыкновению носом, снял кепку, плащ и оказался одетым неожиданно празднично: поверх черной кружевной рубахи на нем был тесный зеленый пиджак, а внизу роскошные темно-красные брюки, которые, правда, ему то и дело приходилось поддерживать. Затем он избавился от штиблет и неспешно двинулся по квартире, оставляя почему-то на паркете влажные следы.

— О-о-о-о-о?! — изумленно пропела Елена Наумовна, упираясь в меня сверлящим взглядом.

Я независимо пожал плечами.

Но, конечно, на сей раз она была права: стоило лишь взглянуть на этот пиджачок, на эту рубашечку, на то, как Женюрка (то бишь Евгений Николаевич) шагал — озираясь, ссутулившись, как-то по-особому расхля-

банно приволакивая ноги и сунув руки в карманы широченных штанов, стоило лишь глянуть в его насупленную физиономию и поймать ответный, брошенный исподлобья настороженный взгляд, чтобы уяснить, что Николай Васильевич (даром что историк) врет как нанятый: из парня такой же дембель, как из дерьма пуля, и вовсе он не из армии явился, а, напротив, только что откинулся — еще, пожалуй, и нары на зоне не остыли...

— О-о-о! — вторично пропела Елена Наумовна и с необыкновенной даже для нее живостью устремилась за ним — по-видимому для того, раскусил я, чтобы приследить, как бы малый чего не попятил.

Тем временем Николай Васильевич, потоптавшись и в результате своих мелких движений выдвинувшись на полтора метра вперед, задрал, как обычно, голову и уставился на конструкционную балку, выпирающую из потолка, — на лице у него, как всегда, было написано мучительное изумление.

— Коль, — жалобно спросила Мария Петровна. Она позволила себе только распустить узел, и теперь платок свободно, по-банному, свисал с головы. — Слышишь, Коль? Я говорю: здесь балкон-то большой?

— Ах, да подожди ты с глупостями! — неожиданно резко, хоть и вполголоса, отозвался Николай Васильевич. — Что балкон! Ты это-то видишь?

— Что?

— Что! Да вот же!

Он ткнул пальцем вверх.

Мария Петровна недоуменно подняла голову:

— А-а-а...

— Вот тебе и а-а-а! — передразнил Николай Васильевич и пошел по коридору, расстроено бормоча.

Я устроился на диване, а Константин сел напротив меня в кресло. В другом кресле, у окна, сидел невозмутимый Адичка. Время от времени он поднимал брови, прислушиваясь к тому, что происходит в других комнатах. Был он при этом похож на старого художого кота, прошедшего все огни, воды и медные трубы, убедившегося в том, что нет правды на земле, но нету и на крыше, и следящего теперь только за тем, чтобы кто-нибудь, не дай бог, не наступил ему на хвост.

Константин придвинулся ко мне. Было похоже, что Николай Васильевич и впрямь его достал — вместо прежнего спокойного, вальяжного, хорошо одетого и, судя по всему, удачливого риэлтора в ухо мне, похрустывающая суставами пальцев, взволнованным шепотом бухтел взъерошенный нервный человек.

— Он не понимает, что с ним по-хорошему. Я сто двадцать тыщ своих ради него заморозил. А он кобенится чуть ли не третий месяц. Ему бы нормальные люди попались — он бы уже не кочевряжился тут на Новокузнецкой... он бы давно в Марьине куковал со своим семейством, козел старый... Другие с ним бы чикаться не стали. Вон у меня ребята знакомые есть. Знаешь, как расселяют? Выменяли комнату в неприватизированной четырехшке. Квартирка-то классная. Только там все рогом упираются — хрена их растащишь. Я говорю: да зачем же вам эта комната, вы же никогда их не развезете, они все по трешке потребуют под приватизацию, и будете валандаться полгода, пока не плюнете!.. Смеются. Мы, мол, в эту комнатку алкашочка подселим, он на кухоньке-то на общей обделается пару раз, да разочек его эпилепсия при детишках прихватит — и разъедутся как миленькие, еще спасибо скажут, что избавили. Понял? Нет, ну ты понял, как с ними надо? Разве можно так над людьми издеваться? Третий раз соглашается — и третий раз на попятный. Сколько можно?

Я кивал, вполуха слушая да поглядывая на часы. Сказать мне особо было нечего. Я мог только посочувствовать. Мне бы со своими клиентами как-нибудь разобраться. А уж с Николаем Васильевичем пусть разбирается Константин. Мне наплевать, кто эту квартиру купит. Да кто угодно. Были

бы деньги. Хочет Николай Васильевич — пожалуйста. Пусть покупает. С нашим удовольствием. Все здесь всем понятно. К Константину я привык, он ко мне — тоже. И слава богу... оформили бы за милую душу как нечего делать... Ну а на нет и суда нет. Не покупает Николай Васильевич — не надо. Другой придет... Жалко, что вчера с задатком не вышло. Совсем было столковались — ан нет. А в этом деле главную роль играет задаток. Деньги то есть. Бабки, иными словами. Бабульки. Хочешь покупать — подтверди деньгами. Задатком. Есть задаток — я весь твой. А нет задатка — извини. Сколько раз бывало — наговорят с три короба... и того, и сего... и что все их устраивает, и что другой-то такой не найти, и что цена-то подходящая, и что деньги-то есть, и все-то вообще сейчас в порядке, а будущее сулит и вовсе лучезарные перспективы... а потом бац — и ни слуху ни духу. Как сквозь землю провалились. Бог ты мой. Чего только не бывает. Как-то раз возил одну тетку. Квартира — под чертями... где-то в глуши на Рязанке. Дом-то сам хороший. Немцы после войны строили. Но в такой дыре — боже сохрани... Пока мы жарились в пробках, она все прыгала от нетерпения, толковала, что ей именно там-то и нужно, что это большая удача — ну просто огромная... все волновалась, не перепродадут ли квартиру кому другому, считала расходы на ремонт, даже мебель расставляла, — а потом выпшла из машины, поднялась на второй этаж и через три минуты умчалась оскорбленная, заявив, что совсем не того ожидала. И что? А ничего. Жизнь переменчива. Рынок большой. Квартир полно. Покупателей навалом. Все обольщаются. А потом разочаровываются. Или наоборот: сначала недооценивают, а потом проникаются. Всего этого в бадье намешано в каких угодно пропорциях. Потому принцип прост: нет задатка — нет и отношений. Можно сидеть здесь на теплом диванчике, и чесать языками, и симпатизировать друг другу, и даже быть готовым на дружеские услуги... но если позвонит телефон и кто-нибудь спросит, нельзя ли сейчас принести деньги, — я крепко пожму Константину руку и поблагодарю за интересный разговор. А задаток получу от другого.

— Что?

— Я говорю, его бы засунуть в какую глухомань, он бы почесался, — толковал Константин. — Он бы тогда не кочевряжился. Привыкли в цекашниках... выпендриваются. Его бы в Братеево, — сказал он с мстительной мечтательностью. — Ты в Братеево-то не жил? А-а-а... А я жил. Край земли... Как-то раз ко мне одна подруга приезжает... ну знаешь, как всегда — сначала туда-сюда, тыры-пыры... а потом то-се, пятое-десятое — и начинается у нас какая-то разборка... уже и не вспомню. Слово за слово, хреном по столу, я одно, она другое... про мою прежнюю что-то ввинтила... я и говорю: да ладно, говорю, не гони, ты мне тоже, говорю, не девушкой досталась. А она мне в ответ: ага, говорит, размечтался, говорит, губищи, говорит, раскатал, ха-ха-ха! — да кто же к тебе сюда девушкой-то доедет?

## 7

Я счел, что на Ленинском уже не протолкнуться, и погнал переулками к набережной. Моросил дождь, машину кое-где заносило на мокрой листве. Я рассчитывал пробраться к Большому Каменному, однако на Кадашевской дороге перекрыла большая авария — мерцали синие огни милицейских «фордов», стояла «скорая», — и всех заворачивали куда-то направо. Я представил себе толчею набережных и повернул назад. Тут тоже было яблоку некуда упасть, однако через пять минут меня все же вынесло на Садовое и поволокло в сторону Парка. Поток шел на удивление быстро, и я уже посматривал на часы, прикидывая, когда именно смогу наконец расшнуровать туфли. Через десять минут я был у Маяковки. Поколебавшись, все-таки взял правее туннеля — левым поворотом на Брестскую.

Будяев любит повторять, что будущее известно нам — но не в деталях. И он совершенно прав: при подъезде к Белорусскому в ранних сумерках меня ждала пробка, большим вонючим спрутом распространившаяся по прилегающим переулкам.

Музыка потренькивала, а я барабанил пальцами по рулю и смотрел сквозь лобовое стекло. Время от времени щетки стеклоочистителя смахивали капли. Воспаленные огни теснящихся впереди стоп-сигналов были окаймлены розовыми ореолами.

Все не слава богу с этим Николаем Васильевичем... Уж о чем они там толковали с Женюшкой этим его?.. черт их знает. В итоге Николай Васильевич дал согласие. Однако и тут не просто так: выговорил себе еще срок до завтрашнего утра. Завтра в одиннадцать он готов дать задаток. Старый ишак... почему завтра? Что ему эта ночь?

Машины то глушили моторы, то заводились снова, чтобы проехать еще три или четыре куцых шага. Вот какой-то джип перевалил бордюрный камень, истерически бодро прокатил метров двадцать по тротуару, уперся в тумбу, разочарованно попятился и начал внедряться обратно в поток. Ему бешено сигналили и яростно моргали фарами. Дальше, у площади, и вовсе стоял многоступенчатый и непрерывный вой клаксонов, похожий на разноголосые звуки настраивающегося оркестра.

— Бога ради, на пропитание...

Я опустил стекло и сунул монету в холодную ладошку. Старуха привычно осенила меня крестным знамением и перешла к следующей машине. За ней двигался рослый парень в камуфляже. Руки были заняты костылями, зато на груди висел пакет для подаваний. Лицо ровным счетом ничего не выражало: оно, понятное дело, не было мертвым, но и назвать его живым не поворачивался язык; это было лицо человека, спящего тяжелым сном — тяжелым и вязким, как кусок мокрой глины. Оно оставалось таким до той самой секунды, пока я не кинул в пакет рубль, — тогда по нему мгновенно скользнула презрительная усмешка.

Он двигался как испорченный механизм, рывками — оперся, качнулся... и опять — оперся, качнулся...

Разве я заслуживал его презрения?

Я отвернулся, снова подумал о Ксении — и она, пронизанная дробящимся пламенем ночной улицы, отчетливо, словно фотография на стене, появилась перед глазами: вьющиеся темные волосы, тонкий нос с едва заметной горбинкой и это смутное, оставшееся мне непонятным ожидание во взгляде: да, смутное ожидание, смешанное с такой же смутной безнадежностью.

Я уже несколько раз вспоминал о ней со вчерашнего дня. Зачем? Не знаю. Вспоминалась. С одной стороны, ничего странного: Ксения — потенциальная клиентка. Более того — поскольку Ксения есть потенциальная клиентка, думать о ней следует неотрывно. С другой стороны — клиентка вовсе не моя, есть у Ксении Марина, вот пускай Марина о своих клиентах и думает: ей за это деньги получать. С третьей — Ксения не только чья-то там клиентка, но и весьма привлекательная женщина. Да еще с загадками во взорах. Такую не каждый день встретишь. С четвертой — клиенты клиентами, загадки загадками, но уж вот на кого она не похожа, так это на ту, с которой бы мне хотелось связать свою судьбу. Даже при всей фантастичности этого предположения в целом — то есть о возможности с кем-либо еще связать свою судьбу. В общем, с какой стороны ни поглядеть — все совершенно зря...

Я смотрел сквозь мокрое стекло и видел все то же самое: красные пятна стоп-сигналов, разноцветные блики мокрого асфальта, мокрые бока машин, мутное сияние над площадью. Нет ничего противнее, чем в конце длинного и тяжелого дня стоять в пробке. Пять минут ты проявляешь терпение. Затем минут пятнадцать более или менее успешно глушишь нарастающий протест. Затем впадаешь в кратковременную ярость. Однако

ярость не находит себе выхода. Поэтому еще через три минуты ты погружаешься в болезненное оцепенение, вызванное продуктами ее распада. И начинаешь думать. О чем можно думать, когда стоишь в пробке? Обо всем. То есть ни о чем. Мысли цепляются друг за друга, пользуясь любым поводом. Даже самым случайным — словом, созвучием... Нет выхода ярости. Вот так. Говорят, в автобусах должно быть написано над дверями: «Выход с другой стороны». Потому что когда написано «Выхода нет», люди склонны кончать с собой прямо на кругу. Доехали до конечной — да и айда. Видел же я однажды женщину. Ужас жизни проявляется именно в обыденности. Обыденность всякого может довести до ручки. Это точно. Что говорить. В каждой руке у нее было по сумке. Автобус мотало, она морщилась, переступая, чтобы удержать равновесие. Ей нужно было куда-нибудь деть глаза, и в конце концов она не нашла ничего лучше, как упереть их в надпись на стекле: «В случае опасности разбейте стекло молотком». Долго шевелила губами, а потом негромко и растерянно спросила: «Господи, да неужели же еще и молоток с собой возить?..» А тут еще над дверями: «Выхода нет». Ну и куда деваться?.. В сущности, от обыденности, от этого ужаса истекающей жизни есть только одно средство. Да, одно. Нет, два. Два надежных выхода. Один — в непроглядную тьму. Ближе, ближе... еще шаг — и ты мгновенно растворяешься. Так падает в воду капля с ладони. Капнула — и попробуй теперь ее найди. Nihil. А другой выход? Другой, надо полагать, к свету. В жизни значительно больше несчастья, чем счастья. Нет, наоборот. Отсутствие несчастья есть счастье. Значит, счастья больше. Но и в это не верится. Молодость несчастна в силу малых своих возможностей. Позже обнаруживаешь, что в мире вообще нет возможностей сделать тебя счастливым. А уж несчастней старости и вовсе ничего не бывает. Поэтому так и тянет схватиться за любую возможность счастья. Счастье — это где сияет пронзительный свет любви? Да. А где тут сияет пронзительный свет любви? Здесь? Да, наверное, здесь... ведь где-то должен! Хватить — а это просто раскаленная конфорка на грязной плите. Каково?.. Разве я не любил? Тысяча лет прошло, а я отлично помню: был четвертый час ночи, поезд отбывал без чего-то восемь, я лежал без сна, и мои губы и щеки пахли духами Леночки Двиганцевой. Я боялся уснуть, чтобы не потерять этот запах, а вместе с ним — и блаженную память о том, как мы говорили и целовались, и меня переполняла нежность к ней, продрогшей, но не хотевшей меня покинуть в эту ночь перед расставанием. «А знаешь, — сказала она. — Я всегда на школьные встречи ходила как на сватовство. Как будто знала, что так и будет!» Я целовал ее мягкие губы, удивляясь, почему не признался раньше. «Мне остался год, — сказал я. — Потом мы поженимся». Она засмеялась. «Это и правда совсем недолго, — сказала она. — Смотри: сейчас февраль, потом март, апрель, май, июнь...» — «В июле я приеду, — перебил я. — Я уже договорился насчет преддипломной». — «Ну вот... В июле ты приедешь... потом сентябрь, октябрь...» — «До зимы, — счастливо подхватил я. — Зимой каникулы, а потом уже в мае — раз, и готово!» Она спокойно поцеловала меня и сказала: «Ну и хорошо. Это правда совсем недолго». Утром я уехал и вернулся через несколько месяцев, как обещал, когда пришло время практики, но с Леной Двиганцевой уже не...

Я отпустил сцепление и рывком бросился догонять рванувшую с места «Волгу». Что-то наконец где-то лопнуло. Плотину прорвало. Поток машин покатился к площади, я последним успел выскочить под гаснущий зеленый, повернулся от бешено сигналящего «мерседеса», сунул руку между двумя джипами... тут переключился второй светофор!.. давай, Асечка, давай!.. погнались, погнались!.. И мы вырвались на простор Ленинградки!..

Через пять минут я щелкнул замком и включил свет в прихожей.

За дверью Анны Ильиничны послышался частый нарастающий топот, похожий на работу хорошего барабанщика, потом дверь с треском распах-

нулась — и Дениска замер на пороге, растопырив руки, вывернув ладони так, словно ждал проверить, не идет ли дождь, и улыбаясь недоверчиво и радостно:

— Севгей! Севе-е-е-ежа!

— Привет тебе, — сказал я. — Как живешь?

— Пойдем игвать в «монополию», — предложил он, сосредоточенно хмурясь. — Много домов, заводов...

— Нет, нет, нет! — Анна Ильинична тоже выступила из комнаты. — Мы уходим, Денис. Да? Нас мама ждет. Добрый вечер.

— Добрый вечер, — ответил я. — Вот видишь, братан. Вам пора.

Дениска, будто свеча, на которую пахнуло адским жаром, весь оплыл, одновременно скручиваясь в коленках, с легким шлепком приник к двери как распятый и сказал, запрокидывая ко мне голову:

— Ну вот. Опять.

— Пойдем ко мне на пять минут. Хочешь? Анна Ильинична, можно на пять минут?

Дениска воспрял.

— Телефон звонит не переставая! — сообщила между тем Анна Ильинична, делая страшные глаза и прикладывая пальцы к вискам. — Просто не переставая!

— Дикая люди, — сказал я. — Да вы бы у себя выключили.

— Я и выключила! Что вы! Что вы! Это же совершенно невозможно!

Анна Ильинична была женщиной чрезвычайно впечатлительной и благовоспитанной — из тех, что даже в слове «сортировка» способны усмотреть некоторое неприличие. Но это бы полбеды. Беда была в ее маниакальной чистоплотности — так, например, яйца перед варкой она мыла с мылом. Я ждал, что она сейчас снова заночует о том, будто нашла пятнышко на раковине или мусоринку на полу, поэтому сделал попытку пойти воясья, однако она меня остановила.

— Сергей, вы ведь по недвижности? — спросила она, затем нацепила очки и уставилась, ожидая ответа.

Я кивнул.

— Дело вот в чем. У моей племянницы есть квартира. Там сложная ситуация. Видите ли, она...

Мне не хотелось ее перебивать, и все же, мгновенно положив на одну чашу весов ее справедливое неудовольствие, а на другую — удовольствие вникать в ее путаные и наверняка фальшивые разъяснения, я приложил руку к груди и воскликнул:

— Анна Ильинична! Я вас умоляю, не рассказывайте мне ничего об этом! Вы что-нибудь обязательно напутаете... верно? Пусть она мне сама позвонит — и мы все разложим по полочкам.

Осекшись на полуслове, Анна Ильинична вскинула голову, затем горделиво сдернула с носа очки... а затем Денис завопил от моей двери:

— Ну скво, что ли?!

— Пять минут, — строго сказала ему Анна Ильинична. — Слышишь, Денис? И мы уходим.

Я отпер дверь и включил свет. Денис забрался в кресло. Сам я вынул из холодильника банку пива и тут же щелкнул крышечкой. А ему протянул большую сушеную инжирину.

— Это пиво? — спросил он жуя.

— Пиво.

— Я знаю. Я пил. Сладкое?

— Горькое.

— Непвава.

Я пожал плечами.

— Дай попвобовать.

— Сопливым не положено.

— Ну ка-а-а-апельку!

Я обмакнул палец.

— Открой рот.

Он зажмурился и высунул сладкий инжирный язык. Я стряхнул каплю.

— Ну и что! — сказал Денис, морщась и качая ногой. — И совсем не говкое. А зачем ты пьешь?

Я вздохнул.

— Понимаешь, Дениска... Пока не выпьешь, мир вокруг такой большой, страшный... а душа маленькая, испуганная. А как выпьешь — мир становится маленький, а душа — большая-большая! И ничего не страшно. Понял?

— Понял, — торопливо согласился Денис, дожевывая (из коридора уже слышался зов Анны Ильиничны). — Знаешь, Севежа, пойдем к нам жить. А то у нас живет дядя Валева, а он мне не нравится.

— Вот тебе раз, — сказал я.

Послышался деликатный стук.

Анна Ильинична приоткрыла дверь и поманила его пальцем. Денис с сожалением пополз с кресла вниз.

— Так вы с ней поговорите?

— Обязательно, — сказал я. — Не думайте об этом. До свидания.

Я знал, что увижу в зеркале — серую усталую физиономию, на которой вечерняя щетина похожа на паршу, — поэтому смотреть туда мне не хотелось. Намыливая ладони, я размышлял, почему с рук смывается столько грязи. Даже странно. Как будто целыми днями занимаюсь разгрузкой угля. Или погрузкой шлака. А вовсе не таким чистым и одухотворенным делом... Повесив полотенце, я вернулся в комнату, достал вторую банку пива и щелкнул крышечкой. Расшнуровывая ботинки, я поочередно косился то на телефон, то на пиво. Вот наконец вытянул ноги и осторожно налил полный стакан. Недолго полюбовался. Поднес к губам и отпил как положено — большими глотками и сразу половину. Перевел дух. И лишь после этого нажал гашетку.

Автоответчик сохранил девять сообщений. Три были пустышками — скрежет, хрип, короткие гудки; два интересовались Будяевской; на четырех оставшихся бесцветный, но от раза к разу все более настойчивый голос требовал связаться с его обладателем по поводу квартиры на «Новокузнецкой».

Я еще размышлял, стоит ли сейчас этим заниматься, а телефон уже зазвонил, и, сняв трубку, я услышал все тот же голос.

— На «Новокузнецкой»? Да, да, конечно. Но, видите ли, квартира... э-э-э... как бы это сказать поточнее... Короче говоря, почти продана квартира и...

— Задаток получили? — строго спросил голос.

Ишь ты!

— Задаток-то? — Я зачем-то переложил трубку в другую руку — должно быть, чтобы не выругаться. — Нет, не получили. Но все равно... Давайте мы это до завтра отложим и тогда уже, так сказать...

— Э-э-э! — насмешливо протянул он. — Вы чего? Разве так делают? Если нет задатка, кто же откладывает? У меня живой клиент, с живыми деньгами. Торопитесь! Вы чего? Показывать надо! Давайте в девять покажем. А?

Вот тебе раз — еще и в девять! А Николай Васильевич обещал разродиться к одиннадцати.

— В девять? Нет. Знаете что?.. Давайте так. М-м-м-м-м... Так. Вы мне позвоните часиков в двенадцать, и мы...

— Да не может он в двенадцать! Клиент занятой, понимаете? В девять он хочет. Что ж я ему буду предлагать в двенадцать, если ему надо в девять? Ну у вас же нет задатка-то, я просто не понимаю!..

Э, черт бы тебя побрал!.. Голос был удивительно настырный. Тем более не хотелось признавать его неоспоримую правоту: нет задатка — нет покупателя.

Я невольно закричал, потом сказал грубо:

— От вас, похоже, не отвяжешься... Ладно. Точно приедете?

— Да о чем речь! — возмутился голос. — Тратил бы я с вами время!

— Пишите адрес, — буркнул я. — Как зовут-то вас? Ага. Меня Сергеем. Там арка такая... так вот у арки.

Разумеется, затем мне пришлось договориться об утреннем визите. Как всегда, это дело, не требующее, по идее, и полутора минут, отняло больше четверти часа. Ну зачем, зачем люди произносят такое количество слов? Унять Елену Наумовну, вулканически извергающую клокочущий смех и самые черные подозрения насчет Николая Васильевича (я никак не мог привыкнуть к тому, что она всякий раз изобретает новые), было невозможно. Кроме того, от показа она упорно отказывалась, ссылаясь на слишком ранний час. «Вы знаете, что говорил Ландау? Когда его звали к девяти — знаете? — бушевала она с такой уверенностью, как если бы Ландау был если не мужем ее, то братом. — Так вот знайте, Сережа, он говорил: я! по ночам! не работаю!..» Мы оба выдохлись, но в конце концов я ее кое-как уломал. Однако Елена Наумовна завершила разговор следующей фразой: «В этом нет смысла, ну да как хотите». И положила трубку. Я недолго поразмышлял насчет ее слов. Долго думать было не о чем, все уже давно продумано и решено: совести у Елены Наумовны нет ни на грош. Она без колебаний обует меня при первом удобном случае. Поэтому такого случая ей предоставлять никак нельзя. Поспешать, поспешать нужно!.. Я рассеянно допил пиво. Ах, Николай Васильевич, Николай Васильевич!.. без ножа режет!.. Ну что б ему не согласиться сегодня на задаток! Ведь до всего договорились! до всего! окончательно! — нет, уперся, старый крокодил, — дай ему ночь на раздумья, и хоть ты кол на голове теши. На какие раздумья? ведь вы согласны? — Согласен, да. Полностью готов. Но задаток не сейчас, а завтра в одиннадцать... Бли-и-и-ин! Константина чуть удар не хватил... Адичка все косился, будто сказать что хотел... вот нескладица!.. Что ему эта ночь? Ну да ладно — хоть бы завтра в одиннадцать уже все решилось... Я вспомнил противный голос Елены Наумовны и снова было расстроился, но тут опять зазвонил телефон. Интересовались «Коломенской». «Продана!» — отрезал я. Звонок. А как вообще насчет переодеться?

— Я от Владимира Николаевича, — сказал женский голос.

— Ага, — отвечал я, прыгая на одной ноге, чтобы снять вторую штанину. — Как же, как же...

Кто такой? — убей, не вспомню.

— Вы его невестке купили квартиру, он вас очень хвалил...

— Ну что вы! — сказал я. — О чем говорить!

Двадцать три минуты по часам ушло на то, чтобы объяснить этой милой женщине, во-первых, разницу между панельным и блочным строительством, во-вторых, что квартиры на первых этажах всегда дешевле и, в-третьих, что она никак не сможет купить трешку в Крылатском, продав двушку в панельной девятиэтажке на «Бауманской».

— Но вы поймите: это же центр! — в третий раз воззвала она к моему здравомуслию.

— До свидания, — отрезал я. — Позванивайте.

Телефон послушно зазвонил. «Продана!» — сказал я. Опять звонок. Господи. Иногда так и подмывает записать на автоответчик сообщение: «Сергей Капырин покончил с собой. Дождитесь сигнала, положите трубку и никогда больше сюда не звоните!» Я презрительно посмотрел на аппарат и открыл холодильник. Сделал бутерброд. Телефон звонил. Права Нина Михайловна, права: ну просто удивительно упрямые попадают люди.



— Алло! — сказал я, отпив. — Да, да... есть такая квартира... Нет, не свободна. Альтернатива. Смотреть? Можно завтра. Ах, через неделю! Позвоните через неделю. Хорошо? Договорились.

Звонок.

— Черт бы вас всех побрал, — сказал я, глядя на часы.

— А можно Сергея Капы-ы-ырина? — спросил незнакомый женский голос.

Я почему-то сразу подумал: «Вот этого мне только не хватало!»

Я вообще не люблю незнакомых женских голосов. Должно быть, потому, что почти всегда далекий женский голос звучит мелодично и немного волнующе и всякий раз хочется наделить его обладательницу необыкновенной внешностью и умом. А это неминуемо влечет за собой горькое разочарование. Сейчас, правда, был другой случай: судя по всему, дамочка была слегка навеселе. Во всяком случае, говорила она с интонациями половозрелой второгодницы.

— Ах, это вы Сергей Капы-ы-ырин? А я от Вики, — сообщила незнакомка, хихикнув. — Знаете Вику? Ну как же, Вика! Вика из Ковальца, дочка Павла Иваныча! Вы знаете, что Павел Иваныч в больнице? Можете перезвонить? — а то мне очень дорого. Пожалуйста...

— Скажите номер, — попросил я, садясь.

Я перезвонил.

То жеманно мяукая, то говоря низким трагическим голосом, она поведала, что недели две назад Павлу стало плохо и его госпитализировали. Сначала подозревали инфаркт, потом воду в легком; затем воду в легком отменили — то ли не было никакой воды, то ли она куда-то делась; и с инфарктом непонятно — не то был, не то не было; в общем, Павел Иванович в больнице, а Вике даже не на что купить фруктов, чтобы ему отнестись; и не мог бы я выслать денег.

— А где Вика?

Вика уж который день у нее, у Ларисы.

— А раньше где была? — спросил я. — Я несколько раз звонил...

Вика, может, и дома была, да ведь телефон-то выключили, вот в чем дело... уже дней десять, за неуплату.

— Черт возьми... А почему она у вас живет, а не дома?

А дома ей никак нельзя, просто никак, — квартиру-то обокрали, и она боится там оставаться одна, потому что замок сломан.

— Так что же, так открытая и стоит квартира?

Ну да, стоит... денег-то нет замок купить (в ее голосе прозвучал вызов). Но ничего: Вика ходит иногда, проверяет; это близко — в соседнем подъезде.

— А что украли? — спросил я, и впрямь не в силах сообразить, что от туда можно было украсть.

Телевизор. И кое-что по мелочи — ложки там какие-то... посуду... Она, Лариса то есть, говорила: как же так, открытую-то квартиру бросать!.. Вика теперь все плачет, плачет — просто заливается: голодная, холодная, и в больницу к Павлу Иванычу боится идти, потому что он сердиться будет, что телевизора нет. И не мог бы я прислать немного денег: Вика купит фруктов, цветов и пойдет рассказывать; а то Павел Иваныч в больнице один, и как-то это не по-людски: ведь не звери, чтобы больному человеку не принести ни цветов, ни фруктов.

— Так она не была еще в больнице-то, что ли?

Пауза, шушуканье.

— Нет, не была, — нехотя подтвердила Лариса.

— Откуда же известно про воду, про инфаркт?

Как же: это все Людмила рассказывает, объяснила она. Людмила, покойной Ани сестра. Знаете?

— Ну, пусть Вика к телефону подойдет, — попросил я после короткого раздумья.

Пошептались, и Лариса с траурным сожалением ответила: нет, не может — плачет девка, заливаается, говорить не в силах. И ни копейки денег на цветы и фрукты.

Я положил трубку и задумался.

Вот уж точно: именно этого мне и не хватало. С одной стороны, какой-то неприятный бред... с другой — ничего загадочного. Видал я перевидал эти квартирки в пятиэтажках, этих подружек-алкоголичек... Входные двери без замков — должно быть, потому, что вечно теряются проклятые ключи, — с расколотыми косяками, с большими дырками, из которых тянет на лестничную клетку дымом... нескладным гулом пьяных голосов... Припомнил по случаю одного типа — о замке он уж давно и не мечтал, а дверь закрывал обломком швабры: ставил ее в распор и очень радовался, что нашлась такая замечательная палка. Потом она у него сгорела.

Посмотрев на часы, я все же рискнул, и Людмила заспанным голосом подтвердила, что все так и есть: Павел в больнице, диагноз не ставят, домой не пускают, — в общем, неясное какое-то положение. А мне звонить Павел не велел — вот она и не звонила. А эта-то лахудра, Вика то есть, с этой, прости господи, Ларисой, звезда она пятиугольная... и т. д.

— Ну хорошо, — сказал напоследок я. — Что-то я ничего не пойму. Короче, скоро увидимся. Извини, что разбудил.

Я погасил свет и закрыл глаза. Ехать в Ковалец завтра все равно не было никакой возможности, поэтому и думать сейчас об этом не имело никакого смысла. Значит, послезавтра. Или в пятницу. Да, послезавтра... Нет, не электричкой... Да. Пораньше. Выехать пораньше. Двести километров — подумаешь... Перед глазами побежала серая полоса асфальта. Вот она зарябила, поплыла... и вдруг кто-то сипло сказал в ухо: «Опомнися! Это ж, блин, направо!...» Я вздрогнул, силясь понять, как проскочил поворот, и тут же провалился в беспросветный мрак.

## 8

В прошлый раз он встречал меня на вокзале.

Я увидел худую фигуру в старом болоньевом плаще с поднятым воротником — птичий поворот седой головы и тревожный ищущий взгляд: высматривал меня в окнах медленно подползающей электрички. Вот махнул рукой и торопливо пошел вдоль перрона за вагоном, и на лице у него было такое взволнованно-испуганное выражение, словно поезд мог не остановиться, а, наоборот, наддать ходу и увести меня невесть куда. Через несколько секунд состав дернулся, лязгнул и окончательно встал; я сошел на перрон, — и тут же Павел схватил меня, оперевшись подбородком в плечо, и мы стояли так минуту или полторы, обтекаемые толпой, валившей из вагонных дверей.

— Почему же ты не позвонил, не дал телеграмму? — спросил я.

Павел чиркал спичками, прикуривая.

Он, видите ли, не хотел никого обременять своим горем. Аня нам всем была, выходит дело, чужая. Поэтому Павел решил сам все сделать. А уж потом известить.

Он сильно похудел.

Я смотрел в окно.

Спорить с ним было бесполезно.

Трамвай неторопливо постукивал от одной остановки к другой, город был серо-черным, но деревья кое-где уже не казались мертвыми. Мы перекидывались случайными словами. Говорить всерьез было не о чем, потому что круг тем был беспощадно очерчен, и все, имеющее отношение к жизни, звучало сейчас как бесполезный шум — словно крики тонущего,

который и в самом деле обречен утонуть, и знает это, и чисто инстинктивно напрягает голосовые связки. Я смотрел в окно, а иногда поворачивал голову, чтобы спросить, что это за дом или ограда. И видел худое и близкое лицо со сросшимися бровями, бобрик серебристых волос.

— Это больница, — говорил Павел, и как только кончалось звучание последнего слога, глаза его снова мертвели. — Это парк.

Он тянул меня за рукав, повторяя: «Да не надо!.. Да чего ты! Да не надо!..», но у ворот кладбища я все же купил цветы. Мы неспешно шагали по асфальтированной дороге мимо длинных рядов оград, пирамидок, холмов, черных каменных плит, на которых были где лица, где самолеты, где просто надписи. Потом свернули направо — здесь больше всего было именно холмиков, заваленных венками. Павел остановился возле одного из них, опустил сумку на подтаявшую землю и виновато сказал:

— Вот видишь.

Мы молча стояли у могилы, и я вспоминал Аню — белокурую женщину в блестящих анодированных очках, неизменно выглядевшую веселой и деятельной. По крайней мере она часто и шумно смеялась. Я не всегда понимал причины ее смеха и привык списывать его на общую ее жизнерадостность. Я бывал у них считанные разы, приезжая на пару дней, — пятнадцать лет назад... девять лет назад... четыре года назад... два года назад, когда раскручивалась эта бредовая история с тюрьмой и судом... — и всякий раз с огорчением обнаруживал, что Аня снова до крайности назойлива в попытках выказать свое хлебосольство. Это была какая-то чрезвычайно простая и утомительная народная игра, по правилам которой я, видимо, должен был отказываться поднести ложку ко рту и упираться до последнего, даже если б умирал с голоду; а партия Ани состояла в том, чтобы все-таки накормить меня во что бы то ни стало — хоть бы даже и до рвоты: на одном куске сижу, другой изо рта торчит. Потому что если не изнасиловать меня пирожками и сосисками, то я на весь мир ославлю за скарденность и бедность. Так что лучше уж потом все в помойку, чем подумают, будто она чего-то пожалела.

Как-то раз я имел дело с одним простым и милым человеком из деревни под Кимрами; он и попросил: мол, как еще приедешь, привези бутылку водки, которой в ту пору в Кимрах было днем с огнем не найти; я привез, отдал и не хотел брать денег, но потом понял, что, если не возьму, мне придется с ним спорить об этих деньгах до скончания века, — и тогда взял, чтобы он только отвязался; а через неделю знакомые, жившие неподалеку, сказали, что Федор, обычно не баловавший их вниманием, на этой неделе заходил четырежды и всякий раз подолгу, с витиеватыми подробностями рассказывал, какой я жадный: привез бутылку водки и взял с него за это деньги; и, по их словам, в его устах этот поступок выглядел очень некрасиво...

Оставшись ночевать у Павла, я просыпался с заведомым чувством досады: как бы рано ни было, с кухни уже доносились запах жареного и осторожный лязг; это означало, что минут через десять Аня, по обыкновению смеясь, поставит передо мной громадную тарелку, на которой будут лежать штуки четыре полукилограммовых котлет поверх маслянистого террикона свежего картофельного пюре. Всем было понятно, все в глубине души соглашались, что такие количества еды не практикуются в нормальном, неэпическом обиходе. Кроме того, это был просто бессмысленный расход, а жили они всегда бедно. Аня работала по торговой части, однако на таких мизерных должностях, которые позволяли только *достать*, а не украсть. Павел платил алименты на Таньку и старался больше времени проводить в разездах, потому что в этом случае к его окладу приплюсовывались командировочные или полевые. Кроме того, когда его отряд выполнял топографические изыскания по договорам с колхозами — как правило, проектировку ирригационных осушительных каналов, — он всегда

мог столкнуться с председателем насчет того, чтобы купить по себестоимости оковалок мяса или пару мешков картошки. В результате всех ухищрений их жизнь можно было назвать сытой — но никак не богатой... Но так или иначе, любые попытки уменьшить порцию вызывали с Аниной стороны нескончаемые уговоры, протесты, громкие настаивания и обиды — и все это как нельзя лучше портило аппетит.

А теперь Аня умерла, и мне было жалко Павла, потому что он выглядел совершенно растерянным и, похоже, не понимал, как ему жить дальше.

— Что Вика? — спросил я, когда мы сели неподалеку на скамью, которой уже была оборудована одна из свежих могил.

— А-а-а... Я же ее в экспедицию к себе устроил, — сказал он морщась. Достал из сумки бутылку водки, пару соленых огурцов, луковицу и хлеб. — Прими-ка... А она... вон видишь чего... опять... Я ей говорил: смотри, от тебя зависит! Ну, помянем.

Вика была Анина дочь от первого мужа — сначала немного странная девочка, потом девушка со странностями. Теперь — странноватая тетка лет под тридцать, чье гордое имя казалось насмешкой судьбы: жизнь Виктории представляла собой многозвенную цепочку горьких поражений. Кое-как окончив восемь классов, она поступала в техникум, да не поступила; пошла телеграфисткой — тоже не потянула и переквалифицировалась в почтальоны; кончила курсы и работала вязальщицей — да и там что-то не заладилось; а потом дальше, дальше — теми странными скачками профессиональной эволюции, которые обычно совершают люди, ничего не знающие и не умеющие. Она была тяжелого бабьего строения — большая грудь, широкие покатые плечи, оттопыренный зад, полные руки, полные и довольно стройные ноги; ее можно было бы назвать миловидной, если бы не слишком простое, какое-то карикатурно русское лицо из мультфильма — с веснушками, белой кожей, рыжиной, великоватым носом и протодушным взглядом чуточку раскосых зеленых глаз. Когда я заметил, что она может часами каменно сидеть на стуле, по-удавьи неподвижно глядя в одну точку, то сначала решил, что в эти минуты Вика о чем-то напряженно размышляет. А потом понял, что она просто на время выключается, как выключается прожектор или лампа, — гаснет, и, должно быть, в голове ее воцаряется полная тьма, — ну, может быть, только изредка разрежаемая случайными сполохами неуясненных желаний и чувств.

Лет в девятнадцать она собралась выходить замуж. Вокруг этого много чего было говорено, но потом все расстроилось, и когда по прошествии недолгого времени я спросил, как там насчет устройства Викиной судьбы, Павел только развел руками и с досадой сказал слова, на многие годы ставшие для меня образцом фразы, невнятной по форме, но кристально ясной по содержанию: «Я ж их не буду любить, если они сами друг друга не любят!..»

Как правило, она была покладистой и доброй, и когда начинала по указанию матери или Павла что-нибудь делать — чистить картошку или собираться в угловой за сосисками и хлебом, — то проявляла какую-то тараканью порывистость: двигалась быстро, но не ровно, а вроде как перебежками: схватит нож, схватит картошку, вдруг замрет и надолго задумается. В общем, она была странной, но когда не пила водки, эта странность могла сойти за своеобразие душевного устройства — пусть и не очень привлекательное; когда же выпивала, кровь, текущая в ее теле близко под кожей, прилиwała к лицу, и она становилась совсем неуправляемой: стремилась куда-то, плакала, хлопала дверями, срывалась на крик и ночевала у подружек — совершенных, по словам Павла, оторв.

— Ну и как всегда, — сказал Павел. — Неделью поработала спокойно, пока никого не знала... Что там за работа-то вахтером? — сиди себе восемь часов книжку читай!.. А потом присиделась, и пошло: шоферы с ней познакомились, каждый день веселье... вот и уволили к чертовой матери. Я

ей говорил: от тебя зависит. — Он бросил окурок, вздохнул и добавил: — Ей тоже, знаешь, теперь не сладко. Мать есть мать, никуда не денешься. Ну, помянем.

Мы выпили.

— Сидит на шее у меня теперь, зараза, — сказал Павел морщась. — Нет бы работать пойти. Что я получаю? — Он пожал плечами. — У нас же вон чего: то денег нет, то есть, да не все... то вон хотели зарплату тарелками выдавать. Сделали для фарфорового завода какую-то работу, он и расплатился тарелками. Бартер. А на черта мне эти тарелки? — спросил он и замолчал, глядя на меня, и мне в качестве ответа пришлось пожать плечами. — Я вон на похороны-то у Вальки Семенихина деньги занимал. Валька Семенихин-то ее, — (он кивнул на могилу), — двоюродный брат... бабы Шуры сын... да ты не знаешь. Он майор милицейский, хороший мужик.

— Денег я тебе привез.

— Не надо, зачем, — спокойно удивился он. — Я и те-то тебе никак не отдам... Видишь как. То одно, то другое.

Я достал конверт.

— Ну спасибо, — сказал Павел безрадостно. — Это сколько же здесь на наши? Ага. Значит, Вальке я верну сразу... и еще там кое-чего. Спасибо.

Часам к двенадцати выглянуло солнце, и все вокруг немного повеселело.

— А знаешь, — воодушевился вдруг Павел. Лицо его оживилось, и он смотрел на меня с неясной надеждой. — Рванем на дачу? Айда? Это близко.

Мы постояли еще несколько минут у могилы, а потом повернулись и пошли назад, к воротам и остановке.

Дача была на другом конце города, далеко от кладбища, да зато близко от Павлова жилья. Сойдя на конечной, двинулись по кривой дорожке вдоль заборов и покосившихся стен серых сараев; и скоро вышли на край пологого старого оврага.

Очень широкий, он мягко сползал вниз, к тинистой речушке. По бортам оврага лепились мелкие домишки в палисадниках, тянулись столбы с проводами. Сам овраг был разбит на участки сотки по три, по четыре, отгороженные друг от друга где веревками, где проволоками на палках и столбиках. Сверху казалось, что участки все кособокие; должно быть, так оно и было. Снега уже нигде не осталось — склоны под солнцем были зеленые, живые, а вскопанные квадраты резко выделялись влажной чернотой. Кое-где стояли и дома: на каких участках более или менее настоящие — маленькие щитовые домики с крылечками; но больше было корявых хибар, собранных из старых дверей, почернелых расщеперенных досок и ржавых листов утильного железа.

Мы спустились по натопанной грязной тропинке и остановились у одной из таких.

— Во-о-от!.. — воркующе протянул Павел. — Вот и дома! Добрались. Видишь, там у меня чесночок был в прошлом году... и в этом посажу.

Он с удовольствием озирался, оглядывая свою землю. Земли было немного: неправильной формы лоскут, глядя на который я невольно вспомнил дядюшку Пороя. Павел открутил проволочку, которой была замкнута фанерная дверь на ременных пеглях, распахнул ее, и мы, пригнувшись, вошли в темную сараюшку. Там на нескольких обколотых кирпичках, как на ножках, плашмя лежала ржавая панцирная сетка, несколько чурбаков и ящичков; большая часть помещения была завалена каким-то неразличимым хламом, предназначавшимся, должно быть, для дальнейшего строительства, но пока еще невостребованным. Голубоватые спицы света из дырявой крыши разбивались на бугристом земляном полу в неровные пятки.

Павел поставил один из ящичков на попа и постелил газету, которую вытащил откуда-то из горы этого самого хлама: оказывается, там был тайник, куда приходилось прятать от окрестных воров все мало-мальски цен-

ное — несколько рюмок, солонку, нож без ручки; а газета, как предмет совсем уж бросовый, лежала в тайнике просто для комплекта.

Мы долго сидели на чурбаках: допивали водку, доедали хлеб и лук; то и дело начинали рассказывать друг другу о том, что происходило в тот год или полтора, что не выделись, и вдруг оказывалось, что ничего интересного не происходило — так, чередование мелких забот и обязательств, о которых неловко вспоминать, потому что они не стоят внимания даже близкого человека, — и поэтому слов говорилось довольно мало; а солнце ползло по небу мимо: сначала оно светило в распахнутую дверь, а потом перестало, но пологий склон оврага оставался по-прежнему золотист и зелен. Было тихо, безветренно, казалось, что уже совсем тепло; яркий солнечный свет и алкоголь вызывали во мне стихийное, животное довольство — и еще какие-то смутные мысли о том, что жизнь все-таки разумна, хоть и непоправима. Павел не пьянел, а только становился рассудительнее.

На следующий день я уехал. Я стоял у окна электрички и смотрел на Павла: лицо его было темным и осунувшимся, и даже те несколько рюмок, что он выпил с утра, не сделали его розовее. Поезд заскрипел и двинулся, Павел пошел было следом, но потом прощально махнул и тут же отвернулся — и я видел только его сгорбленную спину в болоньевом плаще. Я сел на дерматиновое сиденье и закрыл глаза. Легли поздно, да и спал я плохо, бесконечно ворочаясь и пряча нос то так, то этак; это были поиски пятого угла, потому что не только постель, но и вся квартира пропиталась навязчивой, отчетливой вонью — запахом застарелой сырости, прогорклого табачного дыма, вообще чего-то несвежего. Может быть, если б в погожий день раскрыть настежь все окна, да вывесить тряпье на балкон под солнце, да помыть окна и полы, все стало бы выглядеть иначе; но сейчас это была затхлая грязная квартирка из двух конурок-комнат. Здесь и прежде не было видно признаков богатства или следов чрезмерной аккуратности; а с тех пор, как я в последний раз приезжал в Ковалец, жизнь тут окончательно похилилась: все, кроме нескольких насыщенных предметов, напрямую необходимых для поддержания жизни (плита, водопроводный кран, две кастрюльки, чайник и телевизор, хрипло комментирующий передвижение по экрану каких-то дрожащих привидений), пришло в совершенную негодность. Если полочка, то висящая наискось, потому, вероятно, что кто-то ее случайно шибанул, да так и оставил; если унитаз, то расколотый; если бачок, то такой, в который, чтобы спустить воду, нужно по локоть сунуть руку и нащупать резинку на дне; если окно — то без пары стекол во внутренних створках; если шпингалет — то не способный ничего закрыть... Я проснулся от каких-то лязгающих звуков с кухни и чертыхнулся сквозь сон, подумав, что Аня снова взялась за свое. Но Аня умерла две недели назад: Павел вернулся вечером с работы и нашел ее на диване в мирной сонной позе, ничуть не выдававшей того, что сон этот наступил навсегда. Я потряс головой и сел на постели. Одевшись, вышел на кухню. Было около девяти. Павел покрикивал на Вику, Вика беззлобно огрызалась, а общий смысл их торопливой утренней деятельности сводился к тому, чтобы пожарить нарезанную синими кусками утку и сварить картошку-чугунку.

— Вот сейчас, сейчас, — говорил Павел. — Сейчас будет готово, накормим тебя.

Потом мы ели утку, Павел немного выпил, Вика иногда что-то производила по-своему — очень быстрым и скомканным говором, и мне, если я хотел узнать, что именно, приходилось переспрашивать. Скоро у Павла возникла идея снова поехать на кладбище, а уж оттуда на вокзал, и я согласился — потому что к тому времени готов был ехать куда угодно, только бы уехать. И вдруг Вика вскочила и стала торопливо, чуть ли не бегом, ходить из кухни в комнату и обратно, и если ей на пути попадались ка-

кие-нибудь вещи — одежда или подушка, — она злым швырком перекидывала их с места на место. При этом, заскочив в кухню, она сердито проговаривала что-то неразборчивое, обиженно глядя исподлобья, и тут же резко — так что толстая коса описывала полукруг — разворачивалась и вылетала в коридор.

— Ты тоже, что ли, хочешь ехать? — недоуменно спросил Павел. — Ты бы так и сказала; поедем, конечно.

Вика тут же успокоилась и села, а Павел объяснил: «Пусть уж с нами едет; мать есть мать, чего же ты хочешь», — словно я противился тому, чтобы Вика ехала с нами.

Минут через десять мы пустились в путь.

На улице Вика выглядела так, что никто бы не усомнился, что эта женщина совсем недавно испытала на себе все ужасы какой-то страшной стихии — войны или пожара: об этом свидетельствовал ее неподвижный, отсутствующий взгляд и то, как она была одета — куцее подростковое пальто, темно-коричневые шершавые чулки, растресканные кроссовки с красными клиньями, голова повязана грубым кричаще желтым платком... Центр города оказался перекрыт каким-то забегом, по проезжей части неспешно трусили художавые люди в белых майках с красными номерами на спинах, а трамвай ходили через пень-колоду. В конце концов мы сошли у кладбищенских ворот. Пройдя длинной аллеей, мы свернули направо и скоро, как вчера, остановились у Аниной могилы. Небо поблескивало синевой, со стороны города тянулись светлые облака. Темнела частая штриховка голого прозрачного леса. Вздохнув, Павел присел на скамью и закурил. Вика недолго постояла, потерянно озираясь, и вдруг преобразилась. Она вытрясла из сумки какие-то тряпки, пустую пластиковую бутылку, детскую лопатку и вот уже, напевая, принялась приводить в порядок могилу: собрала пожухшие цветы, старательно подровняла мокрую весеннюю глину, похлопала лопаткой сверху, чтобы было гладко; с бутылкой сходилла к водопроводному крану над ржавой бочкой, вернулась и, помогая себе высунутым языком и сохраняя на лице выражение радостной озабоченности, чисто-чисто вымыла прямоугольную жестянку с торопливой белой на-малевкой: «Шлыкова А. С. Уч. 3-754». Взгляд ее ожил, из-под платка выбилась русая прядь; и вообще она действовала с таким удовольствием и тщанием, с каким дети лепят из песка куличи и строят башни.

...Электричка покачивалась, и, наверное, у всех, кто подремывал на этих коричневых, порезанных острыми ножиками сиденьях, в головах тоже мелькали какие-то картинки, — может быть, чем-то похожие на мои, — да только никому здесь не было дела до того, что в голове у другого.

## 9

День был теплый и пасмурный. На лобовое стекло нападали листья. Время шло к половине девятого.

Поток машин скользил по асфальту пестрой рекой.

Зря, все зря, механически думал я, заворожено глядя в красный значок светофора. Совершенно зря. Чистый бесплатняк... Откуда он взялся? Черт его вынес. Ну ладно, допустим, подойдет его клиенту квартира. Ну и что? Все равно всегда требуется время подумать. А когда клиенту думать, если уже к одиннадцати Николай Васильевич обещал окончательно созреть?..

Я переулками объехал пробку на Тверской, зато встал у Никитских. Правда, ненадолго. Поток полз под мост. За бульваром оказалось неожиданно просторно...

У арки никого не было. Понятное дело — покупатель. Покупатель имеет право.

Я выбрался из машины.

Прошло десять минут. Прохаживаясь, я посматривал по сторонам. Потом еще раз взглянул на часы и выругался.

Что за проклятье с этой квартирой!..

Гена появился в двадцать две минуты десятого. Это был долговязый парень лет двадцати пяти в желтой кожаной кепке, придававшей его внешности что-то заливхатски-летчицкое.

— Это вы? — запаленно спросил он и сообщил, возмущенно оглядываясь: — Полчаса автобуса ждал!

— Безобразие с этими автобусами, — согласился я. — Такой бардак на транспорте — ну просто нельзя на них положиться... А где клиент? Он электричкой едет?

— Да ладно, какой электричкой, — хмуро возразил Гена. — Будет, будет. Не волнуйтесь...

И, протянув ладонь, сделал твердо-успокоительный жест.

— А что мне волноваться? — спросил я. — Мне волноваться нечего. Я еще пять минут жду — и до свидания.

Гена оглянулся:

— Да ладно, ну чего вы сразу... Опаздывают иногда люди, — заметил он примирительно. — Человек немолодой, мало ли... Я сам вот, видите, полчаса автобуса ждал! С ними разве угадаешь?

Последнюю фразу ему пришлось крикнуть, потому что мимо нас проезжал трамвай, производя грохот, приличествующий разве что целому железнодорожному заводу. Гена сморщился. По выражению светло-голубых глаз было понятно, что в его мозгу зарождается какая-то важная мысль.

— Скажите, — попросил он, деловито хмурясь. — А окна-то во двор?

— Ах, окна-то? Вы об окнах?

Гена кивнул:

— Ну да, об окнах... Я вчера-то забыл спросить... а ведь им обязательно, чтоб во двор. Понимаете? Так прямо сразу и сказали — во двор чтоб окна, и никаких. Тут ведь трамвай.

— Трамвай? — удивился я. — Разве?

— Ну да, трамвай, — раздраженно втолковывал он. — Видели, проехал? Так что окна-то обязательно во двор. На трамвай-то они не согласны. Понимаете? Шумно!

— Понятно, понятно, — любезно кивал я, продолжая между тем леденить его улыбкой. — Во двор-то лучше, понятно... не на трамвай... правильно. А то ведь на трамвай-то шумно... а если во двор — тогда, понятное дело, тихо... Некоторые любят, когда шумно... трамвай им подавай обязательно... или еще чего такое же — самолет там какой... турбину... вынь да положь, как говорится... да? А другие не любят. Правильно, что ж. Одни одно любят, другие — другое. Ваши вот хотят, где потише... да? То есть не на трамвай, а во двор. Я вас правильно понял?

— Да что такое? — обозлился Гена. — Не можете по-человечески сказать? Куда окна-то? Вы чего?

— А то, что самое время выяснять про окна, — сказал я. — Самое время! Вот именно когда я сюда приперся к девяти, а сейчас без двадцати десятых! И от вашего клиента — ни слуху ни духу! Вот сейчас-то и пора выяснить все про окна. Все подробности. Да? Самое времечко! Во двор или не во двор? А? Если не во двор — вам не годится? Да? И, значит, я примчался, чтобы удовлетворить ваш справедливый интерес. Да? А по телефону вы спросить забыли об этом. Да? Понятное дело — нешто все упомнишь? Вы еще и про этаж у меня не спрашивали. Может, осведомитесь?

Гена вскинул подбородок и некоторое время играл желваками.

— Так во двор окна-то? — тихо спросил он потом.

— Во двор, во двор. Успокойтесь.

Гена бормотнул что-то невнятное, отошел, потоптался у витрины. Покрутил головой. Посмотрел на часы. Вернулся. Шаркнул зачем-то ногой. И спросил смущенно:



— А правда, какой этаж? Я что-то как-то...

— Шестой, — безнадежно ответил я.

— Шестой... ага... понятно. — Вытянув шею, как жираф, он посмотрел в сторону метро. Потом сказал: — Маленько запаздывает.

Большая стрелка ползла к десяти.

— Ничего себе маленько... Ладно, не будем зря время терять. Не придет ваш покупатель.

— Чего вы сердитесь? — обиженно спросил он.

Святая простота. Та самая, что хуже воровства. Черт с тобой, еще пять минут. Что ты с ними поделаешь!..

Зря, зря пройдут эти пять минут, думал я, медленно шагая вдоль дома. Нет, ну правда. Квартира почти продана... почти... То-то и оно, что «почти»! Если б не это «почти», я бы не топтался здесь за бесплатно, дожидаясь не то морковина заговенья, не то когда рак на горе свистнет, а был бы занят основательным и солидным делом: сидел бы в мягком кресле, толковал с Константином о подробностях будущей сделки, прихлебывал свежий кофе из фарфоровой чашечки, вдумчиво читал соглашение о задатке, решительно корректируя и улучшая те пункты, что призваны гарантировать как безопасность моих клиентов, так и мою собственную безопасность... а затем с достоинством получил бы на глазах у вожделеющей Елены Наумовны и сам задаток — двадцать... нет, тридцать новехоньких стадолларовых бумажек!.. Посчитал бы их... помусолил бы каждую чуткими пальцами... потом сунул бы обратно в конверт, а конверт — в карман. А почему? А потому, что задаток в первую очередь идет на оплату услуг риэлтора. Вот так... Лучше всего было бы сделать это еще вчера. Как грели бы сейчас карман эти двадцать... нет, тридцать бумажек! Но еще теплее было бы в душе: все, господа, черта подведена! дело к сделке, господа!..

Я вздохнул и посмотрел в сторону арки — там Гена беспрестанно вертел головой и приподнимался на цыпочки. Навязался на мою голову... Еще, не приведи господь, и вправду — ведь чего только в жизни не бывает! — придется иметь с ним дело... не обрадуешься. А вот с Константином все прошло бы как по маслу...

Ах, если бы бессмысленный Николай Васильевич сказал вчера твердое «да»: все, мол, Константин, Костечка ты мой любезный, согласен я на эту поганую квартиру, девятую, не то десятую по счету! и родные мои согласны! и сын мой Женюрка согласен! и нет больше духу мотаться по матушке Москве из конца в конец! и совсем уж разошелся я умом, силясь понять, что лучше, что хуже!.. черт с тобой, заломал ты меня, как зеленый куст!.. так что отдавай уж задаток — кровные свои денежки — в чужие руки и не сомневайся: не пойду я, Костюша, на попятный!.. Ах, если бы он вчера!..

— Идет, идет! — закричал Гена. — Приехал!

По тротуару к нам торопливо шагал человек в шляпе, в сером кургузом пальто, с большим мятым портфелем в правой руке... с красным платком в левой!..

— Батюшки! — сказал я. — Николай Васильевич!

— Опоздал, опоздал, — одышливо повторял он; поставил портфель между ног, снял шляпу и стал утирать пот. — Жарко, жарко... опоздал, опоздал... извините...

Вот тебе раз.

— А где же Константин? — не выказывая ехидства, спросил я.

— Что Константин... что Константин! — отвечал Николай Васильевич, нервно комкая красный платок. — Что Константин? Видите, какое дело: не может мне Константин хорошую квартиру найти! Ездим, ездим — а все не то!.. Все не то! Не может Константин! Ему б только денег сорвать, вот ведь какое дело! А куда меня сунуть — до этого ему дела нет! Хоть в трущобу! Ему что!.. Гена вот... Гена мне хорошую квартиру нашел... Ну, думаю, напоследок-то взглянуть... А то ведь поздно, поздно будет! Жмет меня Константин, ой жмет! Давит — сил нет!

— Ага, — кивнул я, — понимаю.

Николай Васильевич нахмурился и недоуменно посмотрел на Гену. Судя по всему, Гена пребывал в легком помертвении. На лице у него было отчетливо написано, что он, Гена, понимает: денежки уплывают из рук, потому что клиент, как только что обнаружилось, связан с продавцами напрямую; но он, Гена, за них, за денежки-то, еще побьется, чего бы ему это ни стоило.

Николай Васильевич перевел взгляд на меня и так же недоуменно спросил:

— Сережа! А вы-то здесь зачем?

Я хмыкнул.

— Приехал квартиру Гениному клиенту показывать. Вам то есть.

— Мне, — растерянно повторил Николай Васильевич. — Так что же, значит... Это какой же этаж?

— Шестой, как и раньше.

— Ты ж говорил — на десятом! — взревел профессор.

— Я перепутал, — сказал Гена. — Но это не важно...

— Да как не важно! — Николай Васильевич воздел руки к небесам. — Как не важно! Ты что?! Я же эту квартиру видел! Знаю я ее как облупленную, эту квартиру! — Он отчаянно нахлобучил шляпу и потряс перед лицом Гены сжатыми кулаками: — Это же Константина, Константина квартира! Это же вот его квартира, Сережина! Я в нее тыщу раз ездил! Ты чего?!

«Та-та-та-та-та, лик ужасен», — мелькнуло в голове.

Гена, однако, умел держать удар. Только губы немного подрагивали да глаза часто перескакивали с меня на Николая Васильевича и обратно: шелк-шелк, шелк-шелк.

— Ничего! — бодро отвечал он. — Ничего! Ну и что, что видели? Лишний раз не помешает. Бывает, раз не увидишь, два не увидишь, на третий такое увидишь! Чего там? За погляд денег не берут.

— Да не пойду я никуда, господи! — плачуще крикнул Николай Васильевич. — Не пойду!

— Как это! — Гена схватил его за рукав. — Вы что?! Непременно надо, непременно! А перекрытия посмотреть?! А планировку?!

— Да видел я, видел я перекрытия! И планировку видел, — жалобно лепетал Николай Васильевич, упираясь. — Я-то думал: другая квартира! Ты же сказал: десятый... вот я и думал... Да подожди же, Гена, подожди!

— Планировка! — волновался Гена. — Перекрытия!

— Не тяни ты меня, Гена, не тяни!.. Видел я, видел сто раз... и жену возил, и сына...

— Ну ладно, — сказал я. — Разобрались? Пойдемте, Николай Васильевич, я вас к метро подброшу.

— Да, да... К метро... конечно... Вот как вышло-то, а! Ну хорошо, Гена... до свидания. Видишь как. Это же не десятый... это шестой... а на шестом я был. Что ж... — Он обреченно поднял портфель. — Если бы десятый — другое дело... извини... конечно, планировка, перекрытия... я понимаю. А шестой — ну куда! Все, все... До свидания, Гена, до свидания! Извини, дорогой. Ошибка вышла. Ведь шестой?

Николай Васильевич беспомощно оглянулся.

— Шестой, — подтвердил я, легонько подталкивая его к машине.

— Я-то про десятый думал, — все еще толковал он, безжалостно комкая платок. — Понимаешь, Гена? Про десятый. Если бы десятый — так оно, конечно... а то ведь шестой!

Гена постоял еще минуту, как будто надеясь, что сейчас мы повернем назад, потом ссутулился и побрел к трамваю.

\* \* \*

— Полтора месяца! Полтора! — повторял Николай Васильевич, обняв портфель. Мы сидели в машине. — Я к ноябрьским хотел переехать! А теперь и к Новому году не получится... И ведь что за квартирка? Там комнатки-то какие?! Вот вы бы в мою квартиру заглянули, вы бы сами сказали! У меня ведь комнаты — ого! А тут? Тут комнатенки, комнатешки какие-то, а не комнаты... конурки...

Я тупо смотрел перед собой и отчетливо чувствовал, что у меня ссыхаются мозги.

— И что Гена? Что Гена? Что вы про него так? Гена как Гена. Не хуже других... Почему я с одним Константином должен?! Если он не может мне хорошую квартиру?! Если мы ездим-ездим, а толку — кот нагадил!.. Что Гена? Парень-то он вроде неплохой... Разгильдяй, разгильдяй!.. Я ведь как думал? Думал, этаж-то десятый! Если б десятый, так там, глядишь, и комнаты побольше. А тут — опять комнатульки... комнатешки... конурки эти... что делать, что делать!..

Николай Васильевич приложил ладони к глазам и сидел так с минуту.

— Да что уж... Да, да... наверное... что уж... Комнатки куцые, куцые комнатки, вот беда-то! Ведь у меня-то комнаты — у-у-у, хоть на велосипеде... Я ведь говорил ему, говорил: только чтобы комнатки побольше... ведь у меня-то вон какие... А он все талдычит про вторую квартиру-то эту, для Верки-то... Если Верке отдельно, так нас в конуру запихать надо? Ладно, пусть... ладно... Я уж и сам согласился... и жена тоже... и Женюрку уломали... ой, уломали — со скандалом... мать плачет, он орет... господи, господи!.. Сколько крови он мне, мерзавец, попортил! — вдруг на тебе: согласился. Черт с вами, говорит, вместе так вместе. Не хотите мне отдельно — и ладно, я себе сам скоро квартиру куплю... А? Каков? Купит он! На что купит? Семь классов едва кончил, отсидел четыре года... ларек ограбили, дурачье. На что купишь-то, оглоед? — усмехается... Ладно квартиру, ты на хлеб бы себе заработал! — лыбится, и все тут...

Он надрывно вздохнул.

— В общем, решили... А тут Гена этот еще откуда ни возьмись... я с ним когда еще дело имел... уж забыл, как зовут... на тебе: звонит. Пожалуйста вам, в том же доме, только все гораздо лучше!.. Не нужно, говорит, на первое попавшееся кидаться... мол, дело серьезное, не спичек, говорит, купить... Какой этаж? Десятый, отвечает... Я ему: ведь утром ответ дать должен... а он: что ж они вам руки-то выкручивают? мол, разве так с людьми можно? Успеем, говорит... Вот тебе и успели: шестой.

Я каменно смотрел в лобовое стекло.

— Что же в самом-то деле, — бубнил Николай Васильевич, обняв портфель и не замечая, что по его уже старчески румяным щекам неожиданно сбежали две радужные слезинки. — В конце концов, что ж... хоть какая определенность... а то уж сколько между небом и землей... Константину — ему б только деньги сорвать. А куда, что, зачем — кого волнует? Затянули все, затянули... Все решить не могли, как лучше. Конечно, лучше было бы вовсе разъехаться. Верку с детьми отдельно, Женюрку — тоже отдельно. Нам с женой — отдельно... Да ведь Женюрке одному нельзя! Нельзя Женюрку одного бросить! — Николай Васильевич тревожно встрепенулся: — Он-то сам только того и хочет, мерзавец! Мол, зачем нам тесниться!.. Давай ему отдельную, паразиту! Чтоб он оттуда опять в тюрьму!.. Я от этих разговоров уже спать не могу. Ложусь — и начинается... Уже чего только не переговорили! Он ведь парень-то хороший, Женюрка наш, но въедливый — сил нет! Рассорил нас: знает, что мать без меня ничего не решает, а все равно между нами — зу-зу-зу, зу-зу-зу! И как не устает? Ведь каждый божий день одно и то же. О чем ни заговоришь — все опять на

одно съезжает. И что нам без него лучше будет, и что он к нам каждый день в гости будет приходить... как же! Его лишний час дома не удержишь — снова связался с каким-то ворьем, чует мое сердце! Зу-зу-зу, зу-зу-зу... потом, конечно, скандал... И вдруг — бац! согласился! — все, говорит, давайте в эту... я потом себе отдельную возьму... Ой, паразит! ой, паразит!.. Возьмет он... до смерти на шее сидеть будет, вот он чего возьмет... Но все равно, все равно... Конечно, вместе жить — не сахар. Но когда три отдельные... ничего, ничего. Нельзя, нельзя Женюрку одного оставлять! Пусть лучше так, на глазах!.. Что делать?.. так жизнь складывается.

Он с надеждой посмотрел на меня. Я пожал плечами.

— Ладно... все... Сколько тянуть? Комнатки, правда, куцые... что говорить. Но ведь с Константином мы как? — сорок пять тысяч доплаты! Старость-то — вот она... Я Женюрке-то и не говорил, и жене заказал строго-настрого... Сорок пять, это же деньги, как вы считаете, Сережа?

— Деньги, — кивнул я.

— И все. И с плеч долой, — бормотал Николай Васильевич. Он вздохнул и кулаком вытер щеки. — Теперь другие заботы пойдут. Это же переезд! Переезд — как два пожара, недаром говорится. Упаковка, упаковка. Так-то, посмотришь, вроде бы немного вещей... а тронешь — матушка святая! Двадцать пять лет на одном месте сидим. Обросли, будь оно все неладно... Коробки, мешки, веревки... Женюрку-то помочь не допросишься, он все занят, мерзавец. Под утро придет, завалится... сначала не добудишься, а потом хватать — уже и след простыл. Еще пейджер у него этот, будь он проклят... запищало — и полетел. Куда?! Надо! — и весь разговор... Да машину заказать... да еще в одну-то, пожалуй, не поместится. Да грузчики... И все деньги, деньги... Вот и потекут сейчас эти сорок пять как вода. Куда ни сунешься — деньги, деньги. Что делать, что делать... Видите, как оно все... Ладно, ладно. Я согласен. Ну действительно — какая разница? Неделей раньше, недель позже... Черт с ним! Я готов! Пускай! Что уж, как говорится... На распутье-то на этом. Все. Давайте. Звоните ей. И Константину. Все. Встретимся в последний раз. Задаток так задаток. Что уж...

Он замолчал.

Я молча кивнул — мол, конечно, что там... правильно. Да и жалко мне его стало, старого дурака.

Однако предчувствие было нехорошее.

## 10

Коробка давно уж у меня была припасена: порядочная такая коробка из-под импортных макарон.

Я остановился у первого попавшегося магазинчика.

Внутри было пусто. Две старушки у окна по очереди нюхали общую селедку. Девушка-продавщица курила, скрестив руки на груди и прислонившись к полкам с кетчупом и банками сладкой кукурузы.

Когда я поставил коробку на прилавок, девушка стряхнула пепел и посмотрела на меня с некоторым интересом.

— Надо бы наполнить, — пояснил я. — Товару хватит?

— Еще останется, — успокоила она, гася сигарету.

— Тогда начнем. Две бутылки масла. Нет, лучше, пожалуй, четыре...

Она выставляла, а я плотно, как кирпичи, укладывал бутылки, пакеты с рисом, макаронами и гречкой, бульонные кубики, банки с тушенкой и молоком, палки сухой колбасы, пачки сахару...

— На полкус? — поинтересовалась она, наблюдая за моими действиями.

— Две бутылки «Московской», — сказал я вместо ответа, прикидывая, сколько осталось места. — Не поддельная? И какая тут у вас карамель полнее? Полтора кило. Нет, два с половиной.

Конфеты я высыпал сверху и позатыкал ими остаточные поры.

— Монолит, — восхищенно сказала продавщица. — Вы грузчиков заказывали? Или сразу кран подьедет?

Насчет крана она резвилась напрасно: когда коробка была окончательно уложена, я привязал к ней припасенную на этот случай складную тележку и покатыл к Асечке.

Над вокзалом уже густились сумерки; пласты и колонны белесого воздуха бесшумно ворочались над площадью — как ноздреватые влажные камни, тут и там размытые или расколотые светом фонарей; их слоеный пирог в трех местах был пронизан поблескивающими белыми шпилями; фары, вспышки стоп-сигналов, мерцание витрин, красные огни на иглах высоток; в прерывистом и нервном гуле автомобильного потока то и дело слышались хлопки и удары — и тогда казалось, что этот поток несет и ворочает камни. Я выгрузил коробку и двинулся к дверям. Галдеж и толчея подступов сменились толчеей и вязкой вонью подземелья; тысячи и тысячи людей текли по коленчатым гранитным человекопроводам, торопливо унося с собой свою жизнь; тысячи и тысячи других упрямо катили им навстречу свои собственные жизни; вынырнул я уже под сводами Казанского — кое-как взвололся по ступеням и встал передохнуть, озираясь и вытягивая шею по направлению к первому пути, откуда отбывали заграничные.

У перрона густилась разношерстная толпа, понемногу, как в песочных часах, просыпающаяся через узкую щель таможенного пункта. Толпа волновалась и плескала, перекликаясь; желваки сгущений с протяжным аханьем прокатывались по ней, пошатывая телеги носильщиков. Черт знает чем пахла эта толпа — гарью, чадом, степью, кочевьем? грязью, страхом?..

— Сали-и-и-им! Э-э-э, Сали-и-им! — натужно завопил в ухо какой-то чернявый потный человек. — Оба тащи, оба! — Он перехватил поудобнее тюк, который держал в объятиях, и гаркнул: — Скорей давай!

Меня затянуло в толпу, как щепку затягивает водоворот; я беспокойно перетаптывался вместе со всеми, понемногу проникаясь общим ритмом; когда чернявый перехватывал проклятуший тюк, его смуглая шея превращалась в связку жил, а черные глаза вылезали из орбит; потом он выругался, бросил тюк под ноги и, обернувшись, снова заорал:

— Сали-и-и-им! Ну что ты там?!

Через несколько секунд ему снова пришлось подхватить свою ношу, потому что толпа шатнулась влево; моя собственная тележка не доставляла мне особых хлопот. Так мы провели минут десять или пятнадцать; взглянув на часы, я понял, что до отправления осталось не так уж много времени. Должно быть, эта мысль пришла не мне одному — толпа нервно пульсировала, в недрах ее то тут, то там зарождался ропот; справа начала пронзительно голосить женщина; от рогаток доносились какие-то возгласы, команды; встав на цыпочки, я смог увидеть, как счастливики, миновавшие таможеню, с муравьиной сноровистостью волокут свою кладь вдоль вагонов.

Наконец притиснули к самым загородкам; владелец тюка опережал меня на пол-локтя; три дюжих омовца стояли справа и слева от прохода, покачивая стволами.

— Что у вас? — выкрикнул таможенник.

— Ай, что у меня? — воскликнул чернявый. — Шарам-барам, туда-сюда! Тряпье, старая одежда детям!..

— Открывай! — И тут же мне: — Проходите!

Я уже понял, что досматривают примерно каждого третьего, и не стал медлить. Колеса тележки весело подпрыгивали на неровностях перрона.

— Брат! — услышал я, как взмолился за моей спиной чернявый. — За чем открывать? Зашило, заклеено!..

Я уже не видел его лица. Я быстро шагал по перрону. Тепловоз стоял в хвосте состава. Моторный отсек ровно гудел. Машинист, выставив голые локти, смотрел сверху. Дверь первого вагона была почему-то закрыта. Я побежал дальше.

— Брат! — крикнул я через головы людей, теснящихся у тамбура. — Посылку возьмишь?

Усатый проводник выругался и негодуяще махнул рукой.

Я торопливо шагал вдоль облезлых вагонов. Каждое третье окно было выбито; вместо грязного до непрозрачности стекла в них торчали скатки матрасов.

— Брат, не возьмишь посылку?

На шестом вагоне виднелись остатки крупной белой надписи; некогда она звучала горделивым названием края, откуда приходил этот поезд; ныне надпись почти облупилась, но, сделав усилие, можно было угадать несколько последних букв: «...ИСТАН».

— Брат, возьми посылку, а? Денег дам, брат.

— Нет, братан, запрещено.

Восьмой.

— Братан, не возьмишь посылку? Очень надо, братан!

Десятый.

— Посылка, брат!..

Двенадцатый.

Я катил свою тележку вдоль этого проклятого поезда, уже понимая, что мне не удастся ее отправить: что-то в очередной раз изменилось в мире поездов, вагонов, проводников, степей, таможен и рельсов; то, что было возможным вчера, стало невозможным сегодня; никто не хотел брать мою коробку: одни извинительно прижимали руки к груди, другие презрительно отворачивались или равнодушно сплевывали.

— Брат, возьми посылку!

— Нельзя, братан...

— Возьми, а! Ну не бесплатно же, братан!

Проводник посмотрел вдоль перрона. Это был молодой парень в лоснящемся от грязи черном пиджаке.

— Дорого будет, брат... шмонают четыре раза. Всем платить. Понимаешь?

— Сколько?

Он сказал.

Это было почти вдвое больше того, что я оставил в магазине.

— Бери!

Я сунул ему ручку тележки, торопливо отсчитал купюры.

Буфера лязгнули.

— Какой вагон? пятнадцатый?.. Братан, подойдет женщина такая... ну, узнаешь... седая такая. Фамилию скажет. Вон, на коробке написано: Капырина!

Двинулись — медленно-медленно.

— И денег, денег тебе еще немного даст, ты понял? — повторял я, шагая за тамбуром. — Ты понял, братан? Капырина ее фамилия! Ты не потеряйся! Ты ей отдашь!

— Ладно, брат, — отвечал он, уплывая. — Все ништяк будет.

Я обессиленно махнул рукой и встал.

Состав набирал ход.

Проводники хлопали дверями. Кто-то, надрывно воя, еще бежал по перрону.

Потом проплыли красные огни.

Я повернулся и побрел назад.

Под сводом вокзала грохотали слова ненужных мне сообщений.

\* \* \*

Михалыч сидел за столом. На столе был расстелен полиэтиленовый пакет. На пакете лежала четвертинка черного и примерно вдвое меньший шмат сала, а также нож с почерневшей деревянной ручкой (ручка, должно быть, была когда-то крашеной, а узкое, съеденное жизнью лезвие — широким). Справа стоял граненый стакан, в котором еще не было чаю, однако уже наличествовало четыре куска сахара и мятая алюминиевая ложечка. Судя по звуку, чайник на электрической плитке вот-вот должен был закипеть. На плече у Михалыча сидела природно белая, но необычайно чумазая кошка. Она легонько перебирала лапами — месила тесто — и шурилась на желтую лампу. Все элементы натюрморта (не исключая Михалыча и кошки, в силу своей неподвижности могущих также быть отнесенными к явлениям мертвой природы) были покрыты налетом неистребимой гаражной грязи. Несмотря на это, картина все же производила исключительно благоприятное впечатление.

— Марусечка, — проговорил Михалыч, неторопливо жуя. — Смотри, кто пришел. Сала хочешь?

Последнее, надо полагать, относилось ко мне.

Я закрыл дверь и сказал, приваливаясь к косяку:

— Михал Михалычу!

Он отозвался:

— Сереге батьковичу... Так будешь? Давай, а? Кусочек? С хлебушком?

— Ну давай.

Сало оказалось жестковатым. Но чеснока не пожалели. Михалыч не сводил с меня глаз, и его заинтересованность позволяла сделать некоторые выводы.

— Сам солил-то? — невнятно спросил я.

— Что? Ты прожуй, прожуй...

Я прожевал.

— Солил-то сам, спрашиваю?

— А вкусное?

— Гм... что надо сальцо.

— Жена-а-а, — морщась, протянул Михалыч. — Я ж ей говорю — в тряпицу заверни... нет! Что ты с ними сделаешь! Сало-то хорошее, хлебное. Мать у меня знаешь как солила...

Марусечка мурлыкнула, потянулась и, свесив голову, несколько раз мягко ударила лапкой пуговицу, норовя подцепить ее когтями. Однако пуговица к ватнику была пришита крепко.

— Балуется, — умиленно констатировал Михалыч. — Во жизнь у Марусечки, а! Ух ты хулиганка такая! Котят принесет — и опять на блядки. Ну что, ну что?... жмурится, ишь!.. Колбасы натрескалась, молока напилась... теперь сидит и в пуговички играет. Нам бы так, а?.. — Он помолчал, прислушиваясь к сипению чайника, потом продолжил посмеиваясь: — Серег, а Серег! Я говорю — нам бы так, а! Колбасы натрескался от пуза — и в пуговички играть. Серег, а Серег!..

— Да, Михалыч, — кивнул я. — Нам бы так, да. Только времени у нас с тобой нет, вот чего. Не придется нам в пуговички.

— Да ну, да ну, ты чего! — сказал он отмахиваясь. — Ты и не думай даже, Серег. Даже и не замышляй. Я весь день сегодня как бобик. Да еще Антон заболел — я тут вовсе один сегодня... и ворота, и телефон, и все про все. От скуки на все руки. Нет, давай завтра... И вообще — пора тебе Асечку менять. А что? Вот тут один «форда» продает. Хороший «форд». Хочешь покажу? Не ржавый, не битый. За шесть тысяч отдаст. Да он уступит еще! — оживленно воскликнул Михалыч. — Уступит, точно! Купи у него «форда», Серега! Отличный «форд»! Он себе новую какую-то японскую присматривает... купи!

— Купишек нету, — сказал я. — Михалыч, кончай. Я ведь сию минуту «форда» все равно не куплю, верно? А завтра мне...

— Вот и я говорю — завтра. А что? Да походит еще твоя Асечка, чего ты! Это если из-за каждого пустяка новые машины покупать... ты что! Все сделаем за милую душу, и побегит как миленькая! Лучше новой побегит! Еще и «форда» этого обставит! Утречком приедешь, закатым на ямку, — продолжал он, радостно повышая голос будто в предвкушении чего-то чрезвычайно приятного. — Сделаем все! Что у тебя? Шаровые, что ли?

— Шаровые, — кивнул я. — Я тебе когда еще говорил, что стучат.

— Говорил! Мало ли что — говорил. Тогда же непонятно было. А теперь понятно. Я тебе тоже говорил — хороший стук сам наружу выйдет. Вот и вышел. А то бы мы гадали с тобой на кофейной гуще — что ж это такое стучит? где стучит? почему стучит?

— На кого стучит, — машинально вставил я.

— Во-во... А теперь и к бабке не ходи, понятно — шаровые стучат! Без вопросов. Главное ведь что? Главное — определенность. Завтра приедешь — и сделаем все честь по чести! Завтра как раз Валерий Валентиныч придет... так мы с ним за милую душу. Распатроним твою Асечку в лучшем виде... что ты!.. И маслице поменять... давно масло-то меняли?

— Давно.

— И маслице, и шаровые, значит... сход-развал после шаровых оформим честь по чести... а то всю резину у тебя пожрет Асечка к Елене Марковне... и будешь потом на кривой резине. А, Серега?

Я уселся поплотнее и сказал:

— Значит, так, Михалыч. Ты пойми. Мне ехать завтра с утра. А они стучат — сил нет. Я ведь не доеду.

— Вот чудак человек! — воскликнул Михалыч и вдруг толчком ладони смахнул кошку с плеча: мявкнув, она плавно перелетела на засаленную кушетку и потерлась головой о спинку, нервно подергивая хвостом, — должно быть, обиделась. — Я же тебе русским языком! Я и вчера весь день здесь торчал, Петровичу мосты меняли. Едва разобрались с его байдой. И сегодня дежурство, а Антон, говорю тебе, заболел. Вот я один тут с самого утра, как папа Карло, — ворота открой, ворота закрой... потом этот прибежал, как его... ну лысый-то такой! Ну дочка-то у него на джипе!..

— Черт его не знает, лысого твоего...

— Вот!.. прибежал — не заводится! А я и отойти не могу от гаража-то. Потом Степаных свою лайбу прикатил... рихтовали, красили... Да еще краскопульт у меня дурит — фыр, фыр! — а толку чуть. Ковырялись целый день... ну я ж не железный. Нет, Серега, даже и не думай... Потом этот козел, как его... ну, бекает-то все — бе! бе!.. «Волга»-то у него... не знаешь, что ли? Тоже досада. Ну длинный такой... как его, черта!.. Мы с ним договорились за девятьсот — у него дверь и крыло. Прождал его целый день — нету. А я ведь рассчитывал! Зачем он договаривался? Что за люди! Завтра припрется — а завтра я уже не могу с ним вошкаться, мне завтра Семеничеву козочку до ума доводить... Вот и считай — девятисот как не бывало! Ну не козел?.. А тут ты еще с Асечкой в девятом часу — давай шаровые менять! А где ты раньше-то был? Раньше бы приехал — другое дело. А теперь — куда? На ночь глядя... Я вот только сел, можно сказать... нет, Серега, не получится. Извини. Приехал бы с утра, честь по чести, не торопясь, и...

Я тупо слушал его и думал, что до советов Михалыч все-таки не опускается. Только рассказывает о сложностях жизни. Это благо. Шура Кастаки, тот бы уже посоветовал: «Почему это, Серега, у твоей Асечки все всегда не слава богу? То одно, то другое. Опять трамблер?! Ну, это уж точно дело нечисто! Ты бы к церкви подъехал. Обедню простоит — как рукой снимет!..»



Я и сам бы мог много чего всем кругом порассказать. Например, как провел день. И сколько потерял. И почему. Две штуки зеленых — это минимум. Мало?.. Мог бы, если кому охота послушать, осветить ход наших бесед с Константином — все-таки полтора часа переливали из пустого в порожнее. А также вспомнить Николая Васильевича, старого пенька... Описать ситуацию на Казанском вокзале. До кучи — обстановку в будявском РЭУ, где я упрямо потел в плотной очереди умалишенных с половинны третьего до пяти. Это чтобы получить три плевые бумажки... Я бы рассказал. За мной бы не заржавело!..

Но зачем? Есть такая поговорка: у кого суп жидкий, а у кого жемчуг мелкий. Я давно понял ее. Она вовсе не про то, что один богат, а другой беден. Нет, совсем нет. Она о том, что все мы одинаково несчастны — хоть и по разным причинам. Причины разные — а несчастье такое же. Все несчастны. Кто из-за супа, кто из-за девятисот, кто из-за двух штук зелеными... Честное слово, я очень хорошо могу вообразить несчастье человека, у которого весь жемчуг мелкий. Нет, ну в самом деле: у всех кругом, куда ни плюнь, крупный. А у него посмотришь — плакать хочется, какой мелкий!..

— Михалыч, — вздохнул я. — Я тебе уже говорил. Ты просто не помнишь. Повторяю: всем нам хватает мужества переживать чужие несчастья. Так что ты меня не лечи. Я сам кого хочешь вылечу.

Он хмыкнул. Поднялся, подошел к плитке, где уже в полную силу валил пар из чайника.

— Чай-то будешь?

Громыхнул, матюкнулся, схватил какую-то замасленную тряпку. Не иначе, ею кардан протирали. Бормоча, налил кипяток в заварочный. Той же тряпкой и накрыл, чистюля. Брякнул чайник назад на плитку. Дернул шнур. Дно чайника только что было розовым. Теперь стало медленно пригасать.

— Михалыч, — сказал я, — ты прости меня, дурака. Понимаешь, мне завтра в Ковалец ехать. Туда двести верст. Да обратно двести. И я либо туда не доеду, либо обратно. А не ехать не могу. И про шаровые я тебе еще недели три назад говорил. Ведь говорил? Стучали уже шаровые... Ты все — завтра, завтра... вот и дозавтракались. Теперь я поеду — у меня колесо на яме завалится. И буду куковать посреди дороги. Ну не знаю... давай по двойному тарифу. А?

От ворот требовательно засигналили.

Михалыч опять матюкнулся и с досадой щелкнул рубильником. В окошко сторожки было видно, как медленно разъезжаются створки. Разъехались. Какая-то большая черная машина плавно и медленно скатилась по аппарели, осторожно пробралась внутрь, стараясь не задеть акульми боками раскрытых ворот подземного бокса.

— По двойному, — буркнул Михалыч и щелкнул рубильником в другую сторону. — По десятерному... Делать тебе нечего — в Ковалец! Сидел бы себе дома. Пива купи — и сиди. Как хорошо!

— Ага. Самые дешевые советы знаешь какие?

— Ну?

— Которые ничего не стоят.

— А чего бы ты хотел, Серега, — вздохнул он. — Страна Советов все-таки.

— Была когда-то, — сказал я. — Так что, загоняю?

## 11

Телефон и будильник взорвались одновременно. Чувствуя, как ватылке рушатся какие-то многоэтажные пространства, я выпростал из-под одеяла ватную руку, хлопнул по кнопке, обнаружил, что звон не прекращается, испытал отчетливый ужас и сел на постели, трясая головой.

Трубка едва не вывалилась из непослушных пальцев.

— Алло, — хрипло сказал я. — Слушаю. Кого?

— Доброе утро, — торопливо проговорил женский голос. — Я не рано? Я согласна.

Спросонья мне помстилось, что это голос Елены Наумовны. Замутненный мозг успел нарисовать несколько лучезарных картин альтернативной жизни: катастрофы не произошло... Николай Васильевич дал задаток... Елена Наумовна согласна... все честь по чести... скоро будет сделка... я получу комиссионные.

— Вы слышите?

Нет, нет, это был совершенно другой голос. Я поднес ладонь ко лбу — и все встало на свои места. Принять нас для получения задатка Елена Наумовна отказалась, сделки не будет, все пошло прахом. Мне она рассказала какую-то басню про родственника из Германии. Хохоча и курлыча, то и дело повторяя: «Нет, ну вы представьте! Вчера прямо с поезда — и покупает!» — и, похоже, предлагая разделить с ней ее долгожданную радость. Я кратко объяснил Константину, что меня кинули, как лопату говна на огуречную грядку, — подвернулся ей, должно быть, прямой покупатель, и она решила сэкономить на моих услугах... а вот если б они с Николаем Васильевичем не телились столько времени, тогда... но что об этом попусту говорить? Константин сначала вломился в амбицию. Потом впал в законный транс. Николай Васильевич между тем... впрочем, что мне до Николая Васильевича? Век бы его не видеть. Жалко, что вместе с Николаем Васильевичем я не увижу и комиссионных.

Выплыл квадрат окна, за которым брезжил серый свет.

— Слышу, — ответил я, силясь разобрать, который час. — Вам кого?

— Нина Михайловна это. Вы квартиру мою смотрели на Технической. Я согласна. Сергей! Вы сегодня сможете подъехать?

Четверть восьмого.

— Куда подъехать?

— Сюда, к нам...

— Зачем?

— С сыном поговорите, — плаксиво сообщила она. — Ведь сын у нас всем заправляет. Я-то что понимаю? Он меня отругал: зачем, говорит, его не послушала... вас то есть... звони, говорит, договаривайся. Сыну деньги срочно нужны. У нас тут такая история, что ужас один...

— Сегодня не получится, — перебил я. — Скажите телефон, я перезвоню.

— Нет, нет! — неожиданно звонко заголосила Нина Михайловна. — Сегодня! Сегодня! Сергей, вы слышите? Сын ни в чем не виноват, а они говорят, что виноват. И деньги нужны срочно, потому что...

— Как хотите, — сказал я. — До свидания.

— Да как же?! Подождите! Сережа, подождите, бога ради! Я вам сама вечером позвоню. Можно?

— Можно. До свидания.

Натягивая штаны, я проговаривал про себя несколько похожих фраз. Приспичило ей. Вынь да положь. Вот сейчас все брошу и полечу ее поганой квартиркой заниматься. Посмотрел в зеркало, погладил щеку, поморщился. (Нет, ну какая же сволочь эта Елена Наумовна!..) Поплескал в физиономию горячей водой, вдумчиво намазался пеной. Ишь полыхнуло. Подавай немедленно — и все тут. А я, между прочим, со вторника ехать собираюсь. А все никак... Вытряс в ладонь озерцо одеколona, растер. Среда, четверг, пятница. Прособирался. То одно, то другое. Эх, Николай Васильевич, старый бабуин... А теперь у нее пожар. Наводнение. Дед говаривал: говны в жопе загорелись. Все, хватит. Забыли... Ага. Как же! Про такое забудешь... Напомнит. Не открутишься теперь от нее.

За окном было уже совсем светло. Я посовал в сумку термос, бутерброды. Что-то еще, что-то еще хотел... Да! Полез в ящик, нашел старый врезной замок, пощелкал ключом туда-сюда. Щелк-щелк. Работает. Вот теперь все.

День обещал быть ясным.

По сложной ломаной — Тверская, бульвары, Знаменка, Полянка — я пересек сизую влажную Москву — полупустую, сонную, еще не пришедшую в себя после оглушительной суматохи и последующего обморока пятницы, — и вырвался на Симферопольское.

Оказалось, осень была такой густоты и силы, что при взгляде на прозрачный кристалл неба в кованой оправе золотых лесов перехватывало дыхание. Дорога летела с холма на холм, с холма на холм, всякий раз предвеляя новые богатства, разбросанные вокруг, и глаз уже привыкал к этому блеску и жару, — как вдруг горизонт распахнул настежь, чтобы открыть огромное пространство, перевязанное поблескивающей лентой неправдоподобно синей и широкой Оки, сгустившей вокруг себя весь огонь и сияние медленной и роскошной смерти.

За мостом ремонтировали дорогу. Съехав с гладкого асфальта, машины тянулись друг за другом в гору по рытвинам мимо куч гравия. Я рулил, объезжая колдобины. Подвеска покрякивала. У жирной полосы свежего асфальта стоял насупленный гаишник и помахивал палкой. Я подумал, что вот и Павел жил так, будто ему было воспрещено выезжать на асфальт: словно кто-то пристально следил за тем, чтобы он весь свой век ковырялся по бездорожью и, не дай бог, хотя б ненадолго свернул туда, где поглаже.

Одна за другой машины выбирались на полотно и прибавляли газу. Снова шуршал воздух в щели приопущенного окна, выдувая из салона надоевший запах горячей солянки и пыли. Бронзовая и золотая листва кружилась над дорогой, вихрилась за пролетевшим грузовиком.

Вот и Павел всю жизнь хотел выбраться — чтобы шуршал ветер, чтобы весело кружила листва, чтобы мелькали деревья... чтобы вот так же лилось в глаза все новое и новое золото. Судьба, судьба, повторял я. Судьба. А как еще это назвать? Свобода человека на водных лыжах. Он виляет и крутится, он кувыркается и выделывает кульбиты, но от катера ему не оторваться. Судьба, судьба... Я повторял это слово, и почему-то становилось тревожно, даже страшно — словно я летел не по надежному, гладкому, залитому солнцем шоссе, отчетливо представляя все его изгибы на много километров вперед, а в сплошном тягучем тумане, в котором движение заведомо губительно, потому что я ничего не вижу перед собой.

Но все-таки я гнал и гнал свою Асечку — старую, тяжеловато идущую машину, на восьмидесяти начинавшую жалобно кряхтеть, а на ста десяти — постанывать и опасно трепетать. Сначала я звал ее Васечкой, но очень скоро понял свою ошибку и признал женственность этой сложной природы. Мне было жалко останавливаться лишней раз, потому что минута или две, потерянные на глоток чаю, отнимали завоеванное преимущество, и мимо меня со свистом проносились все, кого я только что с такой натугой обгонял: пенсионерская «Волга», загаженный колхозный грузовик, клоунски вихляющий всеми бортами, лихой самосвальный «ЗИЛ», из кузова которого то и дело шлепались на асфальт плюхи свежего раствора... Но если кто-нибудь стоял на обочине, голосуя, я без раздумий тормозил: дорога становилась все длиннее и длиннее. Я уставал месить в голове одно и то же и был не прочь перекинуться словом. Однако все попутчики (сначала некрасивая девушка с большой синей сумкой, потом прыщавый парень в зеленом егерском кителе, потом старик с прозрачными голубыми глазами) были одинаково напряжены и неразговорчивы — должно быть, думали, сколько с них запросят; но денег я не брал.

С очередного холма вместо новых деревушек открылись вдруг пригороды Ковальца. Над городом стояла дымная туча. Золото листвы здесь было покрыто пылью. Скоро оно и вовсе превратилось в бурю лохмотья. Один поселок перетекал в другой, и заборы всюду были похожи. Тянулись серые корпуса военных заводов, торчали высокие красные трубы со спицами громоотводов на самом верху, и кое-где струился из них жидкий дым...

Павел стоял в коридоре у окна и, завидев меня, неприветливо поморщился, немного согнувшись при этом в поясе — будто хотел встретить гостя поклоном.

— Ты чего? — спросил я сердито. — Ты чего же опять скрываешься?

Он распрямился, выдохнув, и только теперь его лицо приняло то выражение, что я, поднимаясь по лестнице, ждал увидеть: встревоженная улыбка и удивление.

— Да ты как сюда попал? — радостно спросил Павел, пожимая мне руку. — Вика позвонила? Вот зараза! Я ж ей говорил, заразе: не звони Сергею, не дергай его! Ну ее к монахам!..

Я рассердился:

— При чем же тут — дергай, не дергай! При чем тут Вика? Ты сам должен был позвонить и сказать: так, мол, и так! Или Людмилу попросить. Ты что как чужой?

Павел снова сморщился и стал сгибаться, и тут я понял, что его время от времени прихватывает какая-то боль, и тогда ему становится не до улыбок.

— Что с тобой?

— А-а-а!.. — прокряхтел Павел распрямляясь. — Третий день живот крутит, понимаешь... ох и крутит!.. а толку никакого. Да ладно, дай я на тебя посмотрю хоть. Как ты там? — Он похлопал меня по плечу и обнял. — Эх, Серега, Серега!..

— Врачи-то что говорят? — спросил я.

— Врачи! Да ну их к монахам! Что они могут говорить? — Он махнул рукой. — Ладно, не обращай... все нормально.

Полез в карман халата за сигаретами. Пустил дым и спросил шурясь:

— Что там Вика-то без меня? Ни разу не зашла, мерзавка... Людмила говорит, болеет она, что ли?

Я кивнул.

— То болеет, то не болеет... В общем, не разбери-пойми. — Павел глабоко затанулся, стяхнул пепел и рассеянно сказал: — Видишь вот, попал я сюда не вовремя... Разделяться мне с ней надо, вот что. Разделяться. Не хочу я с ней. Пусть сама живет как хочет. А?

— Не знаю, — сказал я.

— Квартиру-то я на себя оформлю... ясное дело. Но это ведь и матери ее квартира. Значит, должен я ей уступить. Это ладно... Да ведь она и на счет дачи ко мне подкатывалась! — Павел возмущенно посмотрел на меня. — Мол, давай дачу продадим, а деньги поделим... мол, мне жить не на что: работы нет, денег ты мне не даешь... Да я и не буду давать! Почему она не работает?

Он сморщился, согнулся — и по тому, как неловко топырилась в его пальцах сигарета (будто кто-то попросил недолго подержать), я понял, что ему сейчас даже не до сигареты.

— Уф... — выдохнул Павел через несколько секунд и распрямился. — Вот же крутит, гад... что ты будешь делать... Но нет, дачу я продавать не собираюсь. Дача моя. Я сам эту дачу получал... я там строил, копал. Да если разбираться, она вовсе никакого права не имеет! Если разбираться, то в самом крайнем случае Танька может эту дачу получить! Правда ведь? А? По наследству-то? Ну, я хочу сказать — если что. Правда?

— Правда, — кивнул я. — Танька тебе дочь, она и должна получить. Если что. Да только на черта ей эта дача? Дача здесь, Танька — за тыщу верст... Не ехать же ей сюда жить из-за этой дачи! Да и вообще: плюнь ты пока на все на это, не расстраивайся. Сколько она стоит-то, дача-то эта? — спросил я и щелкнул пальцами, чтобы жестом показать несерьезность предмета.

Павел как раз подносил сигарету ко рту — и не донес, замер; поднял брови, долго смотрел на меня так, словно я сморозил отъявленную несурзину, а потом протянул неодобрительно:

— Сколько, сколько... Миллионы!

Наверное, это была правда, потому что и впрямь почти все — кроме разве что совсем мелких повседневных вещей — шло на миллионы.

— Ну, в общем, да, — согласился я. — Наверное.

— Конечно, конечно! — Павел обрадованно закивал. — Что ты! У-у-у-у! Что ты!.. Это же земля! Понимаешь? Зем-ля! Что ты! Мне ее уже сколько раз продать предлагали! Да что я — чокнутый? Земля, сам понимаешь, — не шутка! Как это по-вашему? — недвижимость!..

— Ну хорошо, — сказал я. — Подожди ты со своей землей. Не уйдет от тебя земля. Кто здесь-то тобой командует?

Врач оказался невысоким, чисто выбритым круглолицым мужиком лет сорока, в свежем халате. Войдя в кабинет, я поставил на стол бутылку коньяку, которую тот, вопросительно на меня поглядев, взял в руки с единственно приличным в такой ситуации выражением лица: равнодушно снисходя к принятому порядку вещей. Затем ловко сунул бутылку в ящик, задвинул его, ученически сложил руки на столе и сказал:

— Слушаю вас.

— У меня здесь родственник, — пояснил я. — Павел Шлыков, в седьмой палате.

— Шлыков, Шлыков... — несколько раз повторил врач, неторопливо перебирая тонкие книжечки историй. — Ах, Шлыков! Да, да... Родственник. Понимаю. Значит, так. У вашего родственника, то есть у Шлыкова П. И. — Он взглянул на обложку и снова поднял глаза, будто ожидая подтверждения.

— Да, да, — кивнул я.

— Наблюдаются серьезные проблемы с деятельностью кишечника, — продолжил врач.

Затем Игорь Вячеславович (так его звали) сказал, что упомянутые явления объяснимы именно как осложнение после инфаркта, хотя, с другой стороны, с самым инфарктом дело до конца пока еще не прояснено, несмотря на все старания: клиническая картина чрезвычайно темная, путаная, и разобраться в ней непросто. Не вполне понято даже, был ли на самом деле инфаркт. Может быть, инфаркта как такового не было. Однако, так или иначе, не следует заблуждаться насчет сложившегося на сегодня положения: да, заключил он, положение довольно серьезное.

— А что же тогда он ходит и курит? — спросил я. — И вообще, подождите: может быть, его лучше в Москву?

Врач вздохнул.

— Я вот жду ребят из областной, — сказал он, глядя в окно. — На консилиум. А что — в Москву? В Москве клиническая картина, что ли, улучшится? От московского воздуха, что ли, улучшится? — Он вздохнул и побарабанил пальцами по столу. — Подождите вы с Москвой, подождите. Здесь разберемся. Вы вот лучше на всякий случай лекарства привезите. У нас нету. Вот это, если можно, быстрее. Может, оно и в Ковальце есть, только поискать надо.

И написал на бумажке несколько названий, а одно подчеркнул красным.

Через час или полтора, когда я привез пока только один, но самый нужный, подчеркнутый красным, препарат, в кабинете у Игоря Вячеславовича происходил неожиданно крупный разговор. Сам Игорь Вячеславович сильно раскраснелся, и редкие волосы вокруг лысины стояли дыбом. Кроме него в кабинете находились два очень резких парня в салатных халатах и таких же шапочках.

— Да он у вас после стимуляции через три часа откинется! — жестко рубил тот, что держал в правой руке небольшой брезентовый саквояж. — Кто ж так делает, коллега? Явная непроходимость, явная, из учебника! Что вы долдоните: парез, парез! Немедленно, вы понимаете?! Немедленно!

— Я не позволю так с собой! — отвечал Игорь Вячеславович. — Прекратите! Это несерьезно — в таком тоне! Вы не в курилке, коллега! Возьмите себя в руки!

— То-то и оно, что не в курилке, — буркнул второй. — Хорошо, тогда давайте срочно эндоскопию. Срочно.

— Надо же подготовиться!

— Ничего не надо, — отрезал тот. — Я сам сделаю. После эндоскопии подпишете?

— После эндоскопии подпишу, — согласился Игорь Вячеславович. И добавил язвительно: — Если будет такая необходимость!

Он заметил меня, топтавшегося у приоткрытой двери, и раздраженно сказал:

— Положите сюда, положите. И не мешайте, пожалуйста!

Павел лежал на кровати и за то недолгое время, что я сидел рядом, успел раза четыре повернуться, бормоча сухими губами: «Ох, крутит, гад!.. Ох, крутит!..», и в глазах его стоял отчетливый страх. Скоро в палату заглянула немолодая сестра, оглядела шесть коек, на которых в разных позах сидели и лежали люди — все больше немолодые, и почему-то четверо из них в фиолетовых майках, — а затем спросила недовольно: «Шлыков кто?.. На процедуру!»

Павел кое-как поднялся, сунул ноги в тапочки.

— Ох, крутит, — проскрипел он сгибаясь. — Ох, гад.

Они вышли, и сестра решительно направилась по коридору направо. Павел поковылял за ней. Я смотрел ему в спину. Павел не оборачивался. Я повернулся и пошел к выходу.

У меня, слава богу, было дело: я ведь добыл только одно лекарство из означенных в бумажке, и теперь оставалось найти еще три.

Я жег бензин, мотаясь по городу, и в каждой следующей аптеке мне равнодушно разъясняли, что таких лекарств в городе Ковалеце нет и быть не может, а то, что час назад я купил это вот, подчеркнутое красным, можно объяснить разве что вмешательством потусторонних сил. В четвертой или пятой более или менее приветливая провизорша посоветовала съездить на другой берег, в Белые Курочки.

— Это улица? — спросил я.

Она ненадолго задумалась.

— Нет, не улица... Да вы поезжайте, там спросите. Там все знают — Белые Курочки.

— Куда ехать-то?

— А вот так и поезжайте, вот по этой улице.

— А телефонного справочника у вас нет?

— Зачем это? — не поняла она.

— Я бы позвонил, — разъяснил я. — Чем ездить-то...

— А-а-а... — протянула провизорша, вздохнула и раскрыла блокнот, в котором у нее были записаны телефонные номера других аптек. — Только вы не дозвонитесь.

Так и вышло. Я убил полчаса, однако там, где не было занято, трубку не поднимали.

Я поехал в Белые Курочки, оттуда — на Прудище, а с Прудища — в Старый Завод. Каждый переезд давался с трудом, потому что дороги я не знал, а расспросы заводили в обычный тупик топографической рекурсии: «Прудище? Так это до Корытинских, а там налево через Пройму!» В свою очередь дорога до Корытинских и до неведомой Проймы объяснялась с помощью давно знакомых Прудищ: «Так это же перед Прудищами, где винно-водочный!»

Город Ковалец густо зарос тополями и кленами и был разлапист, запутан, застроен сплошь пятиэтажными домами и населен простодушными нищими людьми. Большая часть военных заводов стояла, и если зарплата

не задерживалась, то рабочие получали простойные деньги, суммы которых легко воображались с помощью нескольких буханок хлеба. Притормозив спросить дорогу, я через раз получал предложение купить какую-нибудь железную вещь, вынесенную с завода: сначала микрометр в хорошем деревянном футляре за полбутылки водки, а потом неизвестный мне, но явно очень сложный и точный прибор за бутылку, — его обладатель, невеселый трезвый мужик, поседевший под бобра, степенно разъяснил, что прибор этот замеряет чистоту обработки поверхности, и горделиво заметил, что американцы до такого еще не дотумкали.

В начале четвертого, проклиная себя за то, что такая простая мысль не пришла в голову с самого начала, я добрался наконец до городского аптечного склада и был к тому времени настолько взвинчен, что попросту въехал в закрывающиеся уже ворота вслед за каким-то грузовиком. Грузовик покатило к эстакаде, а я затормозил у будки вохровца, заполошно выскочившего навстречу с резиновой дубинкой в руке.

— Слушай, мужик, где тут лекарства продают, а? — спросил я, протягивая купюру.

Охранник сразу сник и стал меньше ростом. Он опустил дубинку, отвел глаза и, бормоча что-то про некоего Сидора Степановича, показал пальцем.

Через десять минут я снова сел в машину. Вохровец распахнул ворота и у же совсем по-свойски помахал рукой.

Двери лечебного учреждения были по-прежнему нараспашку, — похоже, войти сюда мог кто угодно и когда вздумается. Дверь палаты — тоже настезь. Все еще радостно переживая свою небольшую, но, быть может, значимую для Павла победу, я командорски прошагал к койке, остановился и, похолодев, несколько секунд смотрел в лицо, почему-то ставшее неузнаваемо чужим, пока, содрогнувшись, не понял, что и впрямь на месте Павла лежит совершенно чужой человек.

— А где же Шлыков? — спросил я, растерянно оборачиваясь.

Фиолетовые майки стали пожимать плечами. Потом кто-то пробубнил неуверенно (но и с какой-то вызывающей угрюмостью, словно мой вопрос имел в себе нечто обидное и злое), что, мол, Шлыков-то... это который утром-то был?.. так он как ушел на процедуру, так и не пришел... а вместо него этого привели — вот он и давит ухо с тех пор. Что ему! — ишь!.. И уж тогда все фиолетовые майки забормотали невесть чего хором.

Кабинет Игоря Вячеславовича был открыт. Сам Игорь Вячеславович сидел перед знакомой мне бутылкой коньяку, что-то писал и, похоже, время от времени отхлебывал из мензурки.

— А где же Шлыков? — спросил я. — Я вон лекарства достал, а его нет...

— А! Это вы! — хмуро отозвался врач, кладя ручку на лист. — Присыдьте.

Я сел на стул и устало вытянул ноги.

— В областную Шлыкова перевели, — сказал Игорь Вячеславович. — Выпьете?

Он кивнул на бутылку.

— Почему в областную?

— Непроходимость кишечника. Сделали эндоскопию и... Короче говоря, опухоль у Шлыкова. Опухоль, несколько дней назад перекрывшая кишечник. Понимаете?

— Так это вы о нем, что ли, днем орали? — оторопело пробормотал я. — Эти молодые-то парни тогда — это о Шлыкове, что ли?

— О Шлыкове, — кивнул Игорь Вячеславович. — О нем. Выпейте, чего вы... Хороший коньяк. Даже странно — теперь ведь такая все отрава... Некоторая для меня неожиданность: не парез у него, а непроходимость.

Коллеги правы были, правы... Что уж тут. Клиническая картина... м-да. Вопреки многолетнему опыту. Не понадобились эти лекарства, извините.

— А что теперь?

Игорь Вячеславович посмотрел на часы.

— Не знаю. Может быть, уже прооперировали. Приезжайте завтра утром в областную. В хирургии скажут.

— Понятно.

Я двинулся было к дверям. Вернулся и стал выкладывать на стол аптечные коробочки.

— Видите, как получилось, — повторил Игорь Вячеславович. — Такая вот петрушка. Дело в том, что парез кишечника — это обычная картина после инфаркта. Типичная вещь! Неоднократно встречал на практике. Чертовня какая-то, честное слово. М-да... Вы бы выпили, правда... А?

## 12

Никто не спорит: осень была золотая. Но все равно уже довольно рано смеркалось, и город сразу расплывался, терял определенность своих простых очертаний и превращался в неясное переплетение темных пустырей, проулков, улиц, неожиданных поворотов и тупиков. Я позвонил Людмиле — и никого не застал. Тогда, недолго поразмыслив, купил в какой-то затхлой лавке картонный параллелепипед кефира, кусан колбасы да полбуханки хлеба — и поехал к Павлову дому.

Окна были темными.

Я захватил кое-какой инструмент и поднялся в квартиру.

Достаточно было легонько толкнуть дверь, чтобы она покорно распахнулась. Точно, так и было — квартира стояла открытой, и я напрасно рассчитывал врезать новый замок: расколотый косяк требовал серьезной плотницкой работы.

Телефонного аппарата тоже не нашлось — один только мертвый провод, из которого никакими силами нельзя было выбить даже малой искры.

Лампочки в патронах, слава богу, оставались. Правда, свечей по пятнадцать. Дед говаривал, будто такие вешают специально для того, чтобы, включив, в темноте на них не наткаться.

Я покумекал, как бы все-таки закрыться на ночь. Взял с подоконника газету, с которой определенно что-то ели, сложил вчетверо и плотно прикрыл дверь, надеясь, что она не будет по крайней мере распахиваться от сквозняков.

Никакой посуды, кроме железного чайника, двух грязных кастрюль и нескольких гнутых столовых вилок, в квартире не обнаружилось. Стулья тоже все куда-то пропали. Я принес из кухни табуретку и сел к столу.

Хорошего было мало. Оставалось лишь радоваться тому, например, что я не обнаружил здесь свежий труп отравившегося синюхой алкаша или веселую компанию местных бомжей. Впрочем, что касается бомжей, то им еще не поздно было заявиться.

Я нарезал хлеб и колбасу. С лестничной клетки время от времени доносились голоса, а то еще гулкой грохот ступеней под чьими-то торопливыми ногами: бу-бу-бу-бух! бу-бу-бу-бух! Потом сиплый бас начал орать этажом ниже, энергично призывая неведомого Сашку: «Сашка! Са-а-ашка! Мать-перемать, Са-а-ашка! Ну какого ты!..» Разбилось что-то стеклянное. И опять: «Са-а-ашка! Ну я же говори-и-и-л! Так-перетак, Са-а-ашка!..» Сашка наконец отозвался — и тоже матом.

Все это мне не мешало, потому что, когда ешь с газеты (у меня своя была, утром купленная), а за окном стемнело, и в окнах безмолвно отражается залитая тусклым желтым светом разоренная нищета, так или иначе чувствуешь неприютность.



Я попробовал вспомнить, что происходило на прошедшей неделе, — и оказалось, что все, происходившее на прошлой неделе, превратилось в мелкую труху вроде опилок. Вот так. Целая неделя, между прочим. А оглянешься — как термит поел. Что было? Да ничего. Ну спешил. Ну опаздывал. Гонял как бешеный на «Новокузнецкую» к этой, как ее... будь она трижды неладна... Перерывал кучи рекламы в поисках подходящего варианта для Кеттлеров. Голубятникову показал несколько квартир... одну, кажется, удачно. Что еще? Да, Будяевых таскал на просмотр. Для пробы. И сам к ним таскался несколько раз...

Вообще у Будяевых, похоже, дело шло к завершению. Как и всякая другая квартира, квартира Будяевых наконец-то вызрела.

Объяснить феномен вызревания квартиры с помощью сколько-нибудь рациональных соображений невозможно. Да никто и не пытается. Риэлторская жизнь вообще не предполагает долгих раздумий и глубокого анализа. Не до того. Вызрела квартирка — и хорошо. А почему вызрела — черт ее знает. Нет, ну в самом деле — ведь не огурец! А все равно — должна вызреть... Зреют квартирки по-разному. Какая побыстрее, а какая и помедленней. Обычно чем дороже — тем дольше зреет. Будяевской потребовалось больше двух месяцев. Пока не вызрела, ее никто не замечает. Как будто в природе нет. Как будто нельзя три раза в неделю прочесть о ней в нескольких рекламных изданиях. Как будто в этой квартирке люди не живут, не терзаются сомнениями насчет своего настоящего... не томятся нехорошими предчувствиями в отношении будущего... Странно, но факт — не видят квартирку. Хоть что делай. Хоть каждый день объявления печатай — не замечают. А если замечают, то примерно с такой же заинтересованностью, как проплывающее по небу облако: ну плывет — и что? Плыви себе. Никому не нужно... Однако время идет. И все на свете ему подчиняется. Посмотришь однажды на огурец — ба! эка вымахал! Потом на квартирку глянешь — то же самое: месяц назад все только нос воротили, а теперь от покупателей отбою нет. Почему так? Загадка.

Так или иначе, народ повалил валом, и на Всеволожском мне пришлось бывать частенько. Излишне говорить, что каждый просмотр повергал Будяевых в смятение и трепет. Дмитрий Николаевич раз от разу становился мрачнее. Похоже, в его сердце тлела робкая надежда, что вся эта затея кончится ничем: я, как прежде, буду приезжать по два раза на дню, мы станем пить чай и чесать языками, а дело между тем мало-помалу сойдет на нет. Тогда можно будет справедливо сетовать на судьбу и без конца рассуждать о переезде как о некотором весьма и весьма неопределенном будущем; что же касается добычи коробок, упаковки книг и имущества, стояния в милицейских очередях за пропиской и еще сотни мелких и маятных дел, — то все это, слава богу, осталось бы хоть и страшным, но все же только призраком... А оно теперь вон как поворачивается: накатывает!..

Ксения приезжала еще дважды. В первый раз явились втроем — Марина, Ксения, подруга Ксении Оксана.

Подруги почти всегда похожи. Шура Кастаки еще в студенческие годы построил теорию, объясняющую этот феномен. По его словам, красивой женщине выгоднее иметь подле себя дурнушек; однако дурнушки тоже считают себя красавицами (как правило, не без оснований) и в свою очередь ищут кого пострашнее; эта несомненно рекурсивная процедура в конце концов разрешается следующим образом: красотки дружат исключительно с красотками...

Внешность Ксениной подруги как нельзя лучше подтверждала верность его простого учения. Такая же высокая и худощавая, с короткой стрижкой, открывающей длинную шею (она была блондинкой, но, сдается, несколько ненатуральной), Оксана ходила по квартире с почти такой же блуждающей улыбкой на чуть подкрашенных губах и с почти той же плавной замедленностью. В отличие от Ксении, Оксана то и дело находи-

ла случай попользоваться чарами своей привлекательности: заставила Будяева таскаться за ней с хрустальной пепельницей, над которой время от времени рассеянно потряхивала сигареткой (Дмитрий Николаевич весь как-то взъерошился и стал говорить басом, на что Алевтина Петровна по-доброму заметила: «Ишь распетушился»), а меня рекрутировала на двадцатиминутную консультацию по поводу возможных решений ее собственного жилищного вопроса.

Почему-то именно Оксана, строго поглядывая на Будяева, долго и настойно интересовалась всякой всячиной — мусоропроводом, толщиной перекрытий, газом, электричеством, квартплатой, чертом, дьяволом и прочими попутными мелочами. Говоря, она плавно перемещалась из комнаты в комнату (тогда нам приходилось следовать за ней), а то ненадолго замирала в коридоре или на пороге кухни в задумчивой позе. Заведя речь о возможности некоторой перепланировки, она без раздумий принялась отрезать мыслимые ею ломти пространства плавными взмахами тонкой руки, тут же возводя призрачные стены новых конфигураций. В завершение осмотра Оксана села в кресло, закинула ногу на ногу и, насмешливо щурясь, стала требовать от Будяева признания, что он в восторге от ее идеи межкомнатных арок, одна из которых будет в этой стене (которая встанет не там, а здесь), а вторая в той, которая сейчас тут, а будет двумя метрами дальше. Будяев с готовностью признавался — а что ему еще оставалось делать?

Что же касается Ксении, то она не проявляла к происходящему никакого интереса. Ей почему-то не нужно было знать толщину перекрытий и стоимость киловатта электроэнергии. Она тоже сидела в кресле (опустилась в него, едва поздоровавшись), вытянув скрещенные ноги и положив на колени свою черную сумочку, и наблюдала за Оксаной, когда та появлялась в поле ее зрения, с выражением снисходительного любопытства, с каким занятые серьезные люди смотрят на детские забавы. Иногда она подносила пальцы к правому виску и хмурилась, но когда я предложил ей что-нибудь от головной боли, Ксения отказалась, причем снова посмотрела своим долгим-долгим и беспокоящим взглядом ожидания и безнадежности. Из нескольких слов, брошенных Мариной неделю назад, когда мы заговорили о ее клиентке, я заключил было, что у Ксении все в полном порядке — молода, хороша собой, работает на телевидении, ездит на лаковой японской машине. Жилье снимает — двухкомнатную где-то на Ломоносовском; но ведь не век снимать? — и то правда; захотелось своего, так пожалуйста: давай приценимся, во что встанет хорошенькая двушечка в престижном районе. Причем она не собирается ничего продавать, а следовательно, располагает соответствующей свободной суммой — что само по себе немало. Что еще нужно человеку, чтобы испытывать ну хотя бы минутное счастье?.. По идее, не подруга Ксении Оксана, а именно сама Ксения должна была бы сейчас настырно влезать во все подробности своего красивого будущего, бодро расхаживать, размахивать руками, отсекая слой воздуха, планировать улучшения, предвкушать ремонт, отделку, мебель, множество покупок и хлопот, — но почему-то вместо всего этого она принужденно сидела в кресле, вытянув длинные ноги и ссутулившись, с плохо скрытой тоскливой скукой слушала рассуждения Оксаны — и опять казалось, что от нее физически ошутимо струится ток какого-то несчастья.

Через день или два Ксения и неперемнная при ней Марина появились снова. Третьим теперь был ремонтный подрядчик — хмурый лысый мужик лет пятидесяти в лоснящейся кожаной куртке и такой же кепке. Он с недовольной миной блуждал по квартире, озирался стояки, качал головой над унитазом, топал ногами по паркету, скреб желтым ногтем оконные рамы, стучал кулаком в стены, будто проверяя прочность, и всякий раз, сделав то

или другое, одинаково угрюмо тянул довольно-таки душераздирающее: «Да-а-а-а-а...»

Марина сопровождала подрядчика, подвергая легкой критике его бессловесный пессимизм и указывая на кое-какие плюсы. В конце концов она его разговорила, и подрядчик стал время от времени возмущенно восклицать, поскреживая глазами из-под густых черных бровей: «Да разве это стояки?! Это ж труха, а не стояки!» Или то же самое про подоконники и штукатурку: «Да разве это штукатурка?! Труха это, а не штукатурка!..» По его словам выходило, что квартира прогнила насквозь, ничего такого, что можно было бы использовать впредь, здесь нету (Будяев клекотнул возмущенно: «А паркет?!» — на что мужик только фыркнул), и уж если что-нибудь делать, то делать от и до — всю заново и чуть ли не с самого фундамента. Звучало это все чрезвычайно угрожающе. Понятно, что подрядчик хотел обеспечить себе максимально широкий фронт работ. Марина же хотела совершенно иного, а именно, чтобы Ксения купила наконец эту чертову квартиру, найденную с таким трудом; сделать же это Ксения могла только в том случае, если ей хватит денег не только на саму покупку, но и на последующий ремонт. Я с удовольствием следил за их бескомпромиссной схваткой, да и Будяев, изумленный накалом страстей, заинтересованно побрякивал, переводя взгляд то на мужика-строителя, то на Марину. Короче говоря, Ксенина агентша тоже оказалась не лыком шита, пахала не за страх, а за совесть, и ее усилия не пропали даром: с первоначальных восемнадцати тысяч подрядчик нехотя съехал до двенадцати на круг.

И в этот раз Ксения, словно речь шла не о ее деньгах и не о ее квартире, сидела в кресле вытянув ноги, и на лице у нее было написано, что она ждет не дожидается, когда все это кончится и Марина отпустит ее во-свояси. Черная лаковая сумочка, как всегда, лежала на коленях. Все галдели, и я едва расслышал, как в сумочке вдруг приглушенно, но все равно довольно противно запиликал мобильный телефон. Именно в эту секунду я случайно повернулся к ней и заметил, во-первых, что она вздрогнула, а во-вторых, был удивлен, как изменилось ее лицо при этом гнусавом и неприятном звуке: в первое мгновение исказилось испугом и побледнело, затем просияло мгновенной радостью, и кровь прилила к щекам; что-то негодуяюще шипя сквозь полуразомкнутые губы, она уже рвала застежку сумки мелкими суетливыми движениями (напоминающими птичье трепыхание — куда подевалась вся замедленность и плавность?), а застежка почему-то не поддавалась; телефон все пиликал, настойчиво выпевая несколько тактов из «Шербурских зонтиков»; сумочка раскрылась, и пиликанье стало громче, а потом смолкло, потому что Ксения отщелкнула крышечку и, прикинув к мембране с жадностью, с какой, пожалуй, только погибающий от жажды мог бы прикинуть к воде, выдохнула: «Алло!»

Раньше мне казалось, что человека нужно специально учить, чтобы он мог использовать все возможности мимики, и именно этим занимаются в актерских школах. Ксения не была актрисой, да и играть ей здесь было не перед кем — Марина, подрядчик и Будяев шумели в коридоре, а я стоял на пороге, по мере сил участвуя в обсуждении степени износа дверных коробок и самих дверей, и совершенно случайно повернул к ней в этот момент голову. Радость на ее просветлевшем лице жила не более четверти секунды: она услышала голос в телефонной трубке, и лицо тут же помертвело — как лампочка, когда резко падает напряжение. «О, привет, — сказала она через секунду. — Ага, я узнала. Квартиру смотрю. Ага. Что? Ой, я забыла. Давай завтра, о'кей? Ну ладно, Танюш, не сердись. Я позвоню». Разочарованно щелкнула крышечкой и сунула телефон в сумку.

Когда они ушли, Будяев усадил меня в кресло (это было то самое, в котором только что сидела Ксения) и стал с обычной своей куриной встревоженностью искать ответы на вопросы, которые могли возникнуть в будущем как следствие вероятных событий. Я, по обыкновению, отклю-

чился, время от времени отмечая свое участие в беседе кивками или заинтересованным мычанием. Я устал, спешить уже было некуда, за окном стемнело, шел дождь, и ничто не мешало мне побыть здесь еще минут десять. Я вытянул ноги, скрестив их точно так же — правую поверх левой, положил руки на колени и сконцентрировался, пытаясь уловить остатки ее тепла. Это ведь очень просто: если хочешь понять какое-нибудь явление, нужно просто попытаться стать им — и если попытка удастся, понимание придет само собой. Я попытался представить, о чем она думала. На меня навалилось сонное оцепенение — Будяев ворковал, мерно помахивая тлеющей сигаретой, в конце каждой фразы (как правило, чрезвычайно длинной, поскольку Дмитрий Николаевич был истинный виртуоз придаточных предложений) интонация его хриплого голоса становилась вопросительной; следовала пауза, которую я бессознательно заполнял кивком или агаканьем, и Будяев, наподобие аварийного самолета, вновь и вновь пытающегося выпустить шасси, заходил на новый круг.

...А теперь я сидел в пустой квартире на окраине города Ковальца перед своей газетой с колбасой и хлебом, смотрел в темное грязное окно, отражавшее внутренность тускло освещенной комнаты, — и вдруг почувствовал, что думаю о Ксении совсем не так, как еще несколько дней назад. Я понял, что мне хотелось бы увидеть ее снова. Это было ясное, простое и сильное желание. Настолько ясное и простое, что не могло потерпеть никаких отлагательств и требовало исполнения несмотря ни на какие, пусть даже самые серьезные, препятствия.

Черт возьми!

Я даже со стула вскочил — так ударило. Походил по комнате, потом порылся в кухонном шкафу и нашел-таки смятую пачку с остатками чая. Чайник имел место быть. Наличествовали также несколько стаканов.

Ну да, она красива, конечно... но что из этого следует?.. Странная, странная вещь. Загадка. Вообще меня всегда занимало: именно эта красота, отлитая именно в эту форму, — ну, руки, ноги, грудь, бедра... все округлости, все подрагивания... голос, запах, шелест, взгляд и даже молчание, — этот образ красоты единствен или нет? А если бы они были совершенно другими? Если бы вовсе не походили на себя теперешних, а имели бы, например, семь тонких волосатых ног и какой-нибудь такой кривой хитиновый крюк на заду, также покрытый длинными блестящими волосинами, то я (тоже, разумеется, с семью ногами, с крюком на заду, неуклюже ползающий и шипящий) и в этом случае был бы подвержен таким ударам? И в этом случае ни с того ни с сего меня пронизывало бы желание шагнуть в огонь? подпасть под владычество? — да что угодно! — только бы касаться, нежить, ласкать, любить и в припадках безумия полагать исключительно своим? Тоже, что ли?..

Я ополоснул чайник, налил свежей воды, зажег огонь.

Вода была холодной. Чайник ненадолго покрылся испариной. Через минуту он высох и довольно засипел.

Что за глупые мысли? Зачем она мне нужна? Зачем мне ее видеть? Я вообще не знаю, кто она такая. Человек всегда тащит с собой свое прошлое — что тянется за ней? Это не река: в реку палкой потычешь и брод найдешь. Или спасательный круг кинут дураку. А тут спасательных кругов не бывает. Так закрутит, что... в общем, мало не покажется.

Вот говорят, что женщины не помнят родовой боли. Иначе род людской должен был бы непременно прекратиться: где найти идиотку, чтобы стала рожать, помня о том, что было с ней в прошлый раз... А мужики? Тоже, выходит, ни черта не помнят. Потому что, если бы помнили, человечеству точно каюк.

Я прихлебывал чай и старался откопать в памяти что-нибудь впечатляющее. «Доктор, что мне делать?» — «Примите это, вам полегчает».

Наталья? Ну да. Почему же нет. Например, Наталья. Конечно. Еще бы. Я вспомнил ее ясные лживые глаза — и мне стало значительно лучше. Да — Наталья!..

Ночами я без сна ворочался на сбитой и скомканной горячей простыне. Я пытался думать о чем-нибудь ином — об Индии, о теореме Ферма, о других женщинах; но о чем бы я ни думал, все в итоге сводилось к ней: Индия напоминала ее солоноватые губы и прохладные смуглые щеки, теорема Ферма не имела для нее никакого смысла, поэтому не стоило тратить время на доказательство, а другие женщины были просто безнадежно испорченными, изначально неудачными ее подобиями. Проклятое воображение угодливо подсовывало мне ее всю — от кончиков пальцев на ногах до облака душистых волос, — нагую, любящую и покорную. Если бы человеческая мысль могла действовать напрямую, без посредства губ и пальцев, Наталья должна была просыпаться в таком состоянии, будто всю ночь ее насиловали целой бандой какие-то лихие и безжалостные люди, — мятая, в синяках, беспощадно замученная, вылизанная с ног до головы, обслюнявленная, как леденец... Она долго тиранила меня, ускользая, и вдруг ошеломила доступностью; и потом, беря сигарету, меланхолично заметила, что наслаждение схоже с огнем, поскольку и то и другое можно добыть трением.

Вот уж за кем тянулся шлейф прошлой жизни!.. Так тянется дым за горящим самолетом. Я надеялся, что когда-нибудь все-таки удастся запустить систему автоматического пожаротушения, и дыма не станет. Не тут-то было. Однажды по пьянке она пожаловалась: «Знаешь, я так долго была девушкой... Думала, что уж если начать с одним серьезно, то все другие сразу откажутся...» Радость этого открытия — что никто не отказался — пронизывала все ее существо. Я готов даже допустить, что она мне не изменяла — разумеется, кроме того единственного раза, когда я стал невольным свидетелем. Однако несказанно трепала нервы. Нет, правда, — если бы она хоть ненадолго оставила меня в покое, я бы тут же сделал ноги. Однажды пропала на сутки. Звонить в морги ночью было бесполезно — ее обожаемое мною тело туда еще конечно же не поступило... К утру я смирился с тем, что увидеть ее живой уже не доведется, и поневоле стал искать плюсы этого положения. Ноябрьское утро было холодным и сизым, в пронзительном ртутном свете можно было бы, наверное, делать рентгеновские снимки. Я понял, что она жива. И догадался, куда могла деться. На горизонтах нашей жизни то и дело возникала фигура ее первого мужа. Этот настырный господин пребывал в искреннем заблуждении насчет того, что их разрыв если и представлял собой ошибку, то весьма и весьма поправимую. Теперь бы у меня достало аргументов его переубедить, однако важно другое: теперь бы я не стал этого делать. А тогда я позвонил Магаданцу — и мы поехали. Дверь открыла сама Наталья — в белой институтской блузке и колготках. Виновник происшествия, а именно первый муж, человек высокого роста, с напряженным лицом исхудавшего патриция, сидел за столом и курил. Поднося ко рту сигарету, невольно демонстрировал, как дрожат пальцы. Должно быть, он ждал нехорошего оборота — Магаданец тяжелой глыбой маячил у дверей. Наталья натянула юбку, мы спустились к такси и поехали пить какую-то желтую наливку. Кажется, это была айвовая. «Ну?» — сказал я, ожидая объяснений. Объяснения были простыми. Она вышла из института, а он подбехал на *парламентской* «Волге» и усадил в машину. «Ты кукла, что ли? — спросил я, горько недоумевая. — Как можно живого человека усадить в машину? Он позвал тебя и ты пошла?» Наталья презрительно усмехнулась моему непониманию: сзади шествовала группа преподавателей, и она не могла на их глазах участвовать в какой-либо безобразной сцене. Я допил желтую наливку и спросил: «А почему ты была в колготках?» — «А в чем мне спать прика-

жешь? — огрызнулась она. — В юбке? Чтобы все помялось? Или так всю ночь и сидеть на кухне?..»

Должно быть, она говорила чистую правду. Можно сформулировать иначе: должно быть, она не сказала ни слова лжи. Я никогда не знал, что лучше: обидеть близкого недоверием или позволить оскорблять себя обманом.

Эти чертовы колготки фигурировали и при нашей последней встрече, которая произошла примерно годом позже. Я приехал на дачу не вечером пятницы, а в середине четверга. Дорожка от калитки вела мимо окна, и, заглянув туда мельком, я увидел, что сосед-майор рвет ее приспущенные колготки танками на погонах. Оттоманка скрипела, и оба они деловито покрхтывали.

### 13

Я каплю за каплей смаковал остатки чайной горечи. Что толку вспоминать? Ни черта не поможет. Так человек у игорного стола все кладет и кладет монеты: разумеется, он помнит разочарования прошлых поражений, но почему-то уверен, что будущее принесет радость побед.

Я ополоснул чашку и завернул в газету остатки провианта.

Потом погасил свет и лег на продавленный диван, положив под голову скомканную куртку.

Диван был тот самый, на котором умерла Аня, и мне хотелось верить, что это случилось во сне: она прилегла вздремнуть и уснула и во сне перестала быть.

Сам я долго не засыпал, смотрел в мутное окно, где стояла серо-голубая мгла, думал о Павле: удачно ли прошла операция, и сколько продержат его теперь в больнице, и когда выпишут, и что сейчас в этой квартире жить невозможно, и, значит, нужно много чего сделать и привести в порядок.

Половинка луны неподвижно стояла в небе, но стоило ненадолго закрыть глаза, как оказывалось, что она уже переползла на несколько сантиметров, оставаясь при этом все в той же координатной плоскости оконного переплета. На полу лежал светлый прямоугольник и тоже понемногу смещался и скоро должен был захватить ножку стола. Луна жила и двигалась, но ее движение не могло открыть ничего нового, потому что она катилась по раз и навсегда заведенному кругу, словно человеческая жизнь. Я думал о том, что люди стараются жить так, словно все давно и окончательно известно и уже не стоит ни о чем задумываться; а между тем несколько самых важных вопросов остаются открытыми, и всякий раз, как хочешь решить для себя какую-нибудь пустяковину, непременно на них натыкаешься. Я не знал, боится ли Павел смерти и думал ли когда-нибудь о ней.

В конце концов я уснул, а разбудил меня скрип открывающейся двери. Луна пропала, в комнате стоял плотный мрак, но на лестнице горел желтый свет, и в этом свете мне была видна женская фигура. Спросонья я решил было, что это Ксения. Но потом подумал — бог ты мой, да откуда же ей здесь взяться?

Дверь тихо закрылась, и снова стало совсем темно.

— Ты чего? — сказал я. — Чего тебе надо? Ты живешь у подружки — ну и живи себе там! Нечего сюда шляться!

Ответа не было, но я слышал легкие шаги: Вика осторожно пробиравалась к дивану.

— Чего тебе надо? — повторил я негромко. — Ну что ты молчишь, я тебя все равно узнал. Зачем ты пришла? Тебе не стыдно? Ты в какое состояние квартиру привела, видела?

Вика негромко хихикнула и, пошарив рукой, села в ногах. В комнате стало немного светлее. Ее халат распахнулся, открывая глазам тяжелые влажные груди с большими темными сосками и плоский живот.

— Я просто так... — прошептала она. — Я же не мешаю. Просто посмотреть, как ты здесь устроился. Ты спи, спи.

Я приподнялся на локте, вглядываясь в ее лицо. В полумраке оно казалось светлее и глаже.

— Ты почему глаз-то не открываешь? — спросил я.

— Потому что я совсем голенькая, а смотреть мне стыдно, — проговорила Вика детским капризным голосом. — Подвинься, я лягу.

Она и в самом деле уже была без ничего — я не заметил, как халат то ли соскользнул, то ли просто растворился.

— Только ты мне денежек дай... Дашь? — спросила она. — Я Павлу снесу. Ты ему скажи, чтобы дачу мне оставил. Скажешь? Нет, ну правда — скажешь? Это ведь земля. Недвижимость. Ее продать можно.

Вдруг она схватила меня за волосы и потянула к себе:

— Скажешь? Скажешь?

— Да ты что! — крикнул я. — Пусти!

— Па-па! — произнесла Вика, и ее белое лицо с закрытыми мраморными глазами, похожее на древнегреческую скульптуру, еще больше приблизилось к моему. — Па-па-па! Па-па-па!..

Я дернулся, высвобождаясь, и проснулся. Окно было совсем светлым, на лестнице уже бухали чьи-то шаги, где-то невдалеке тарахтел на холостых тракторный движок, и его шум отдавался в голове неприятным звоном.

Я посидел минутку позевывая; затем чертыхнулся, встал, помахал руками, кое-как умылся над ржавой раковиной и утерся носовым платком. А потом вышел на лестничную площадку и не колеблясь позвонил в соседнюю квартиру.

Дверь открыл плотный старикан в фиолетовой майке. Похоже, обитатели города Ковальца ничего другого не носили.

— Добрый день. Я из девятой квартиры. Не знаете, где плотника можно найти?

— Плотника? — Старик неторопливо разглядывал меня с головы до ног, словно прикидывая, можно ли с незнакомцем разговаривать. — Это на какой же предмет плотника тебе, голубь ты мой?

— На предмет починки двери, отец, — бодро отрапортовал я. — Вот этой вот самой двёрки. Видите?

Старикан почесал лысину.

— Вижу, как не видеть... Давно уж присматриваюсь. А сам-то где? — незаинтересованно спросил он. — Вроде не видать.

— Сам-то в больнице, — с готовностью пояснил я. — Приболел малость. А я вот хочу тем временем двёрку в порядок привести.

— А девка где? — спросил старик. — Бедовая девка-то.

— Бедовая, точно. У подружки живет. Так что насчет двёрки?

— Сколь же стоит такая работа? — задумчиво произнес дед и подошел к Павловой двери. — Это ж разве сюда бобышку какую-никакую врезать... — пробормотал он, оглаживая широкой ладонью разбитый косяк. — На шпунты разве ее посадить... Бобышку-то я найду, это не беда... — толковал он, шупая саму дверь заскорюзлыми пальцами. — Клея нет, вот дело-то. Разве что эпоксидку у Петровича взять... Сколь же такая работа стоит будет, голубь ты мой? — спросил он, твердо глядя в глаза мне своими плотницкими буравчиками.

— Не знаю, отец. Скажи сам.

Он сказал. Я поделил на три и вернул. Старик прищурился, снова почесал лысину и чуточку прибавил. Сумма получилась странная — некруглая какая-то сумма.

— Договорились, — сказал я.

— Надо бы аванец, — заметил старик.

— В каком размере?

— В каком, в каком... На бутылку.

— Э-э-э, не пойдет. Никаких авансов. Через два часа приеду, если будет готово, приплачу за скорость.

— Сколько? — заинтересовался он.

Я сказал.

— Ишь ты! Ну, это дело другое... Как тебя звать-то, голубь ты мой?

— А так и зови, отец, — голубем, — предложил я. — Ну, можно и Сергеем.

— Ну что это: голубем! — возразил старикан. — Ты ж не птица! Серегой-то лучше. А меня, значит, Михаил Герасимович... Вот и познакомились, Серега. Значит, так: через два не через два, а часам к одиннадцати сделаю. — И добавил деловито: — Замок-то где?

Я отдал ему замок и вышел из дома. Утро было холодное, сырое. Я действительно рассчитывал вернуться часа через два. Но из этого ничего не вышло, и уже снова смеркалось, когда я залил полный бак на маленькой заправке при выезде из Ковальца и погнал Асечку по пустому черному шоссе. Столбики ограждения мельтешили в желтоватом свете фар, редкие встречные слепили проницательным сиянием галогенок. На лобовом стекле начали появляться мелкие волдыри дождевых капель — гуще, гуще, — и скоро дождь хлестал вовсю: было видно, как он черными полосами бежит по дороге, и ветер швыряет его вправо и влево. Мне пришлось сбавить скорость, но через полчаса, когда струи дождя дочиста отмыли асфальт, я снова прибавил газу и гнал, гнал в темноте, ничего не боясь и думая только о том, что этот долгий ливень сорвет с земли всю красоту и позолоту и уже завтра леса будут стоят черные и пустые. Было невозможно понять и представить себе, что, когда полгода назад мы с Павлом сидели на чурбаках и пили водку, закусывая луком и хлебом, и чувствовали тепло солнца, свежесть воздуха, влажную теплоту пара, поднимавшегося от черной земли, ощущая все бесчисленные тонкие каналцы вселенной, по которым струится то, что называется жизнью, — уже тогда, оказывается, Павел был обречен. Три часа я стоял с Людмилой в коридоре, дожидаясь хирурга, и теперь, глядя на черный лоснящийся асфальт, бешено рвущийся под колеса, то и дело повторял про себя то, что смог понять из его торопливых слов. Хирург сказал, что в чисто техническом смысле операция прошла успешно: она, несмотря на свою вынужденность и паллиативность, позволила сохранить пациенту жизнь, находившуюся под серьезной угрозой вследствие непроходимости кишечника. Однако на данном этапе не было возможности зачистить метастазированные участки, поэтому в скором времени потребуются вторая операция. Если пациент эту вторую операцию переживет — что, исходя из общего его состояния, представляется маловероятным, — то все-таки следует помнить о том, что процесс метастазирования находится в заключительной стадии и не вызывает никаких сомнений в скором исходе болезни... Все это он отбарабанил в попытках как по писаному, а потом замолчал и вдруг положил руку мне на плечо жестом сожаления; но тут открылась дверь в дальнем конце коридора, и звонкий женский голос прокричал: «Косталенко! Косталенко!..» Хирург устало извинился и поспешил туда, а мы все стояли в коридоре у окна. На подоконнике кто-то глубоко вырезал слова «ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ»; подоконник с тех пор был заново покрашен и, может быть, не один раз; но глубокие буквы отчетливо читались, а проведя ладонью, я каждую из них угадал на ощупь. С другого краю шариковой ручкой на белой краске был нарисован футбольный мяч в обрамлении пальмовых ветвей. Людмила все повторяла: «Вот тебе раз, вот тебе раз...» — и смотрела на меня со смешанным выражением непонимания и возмущения: словно требуя, чтобы я объяснил ей, что же, черт возьми, происходит. «Видишь, какая ерунда, — сказал я, чтобы не молчать. — Видишь как». Она вынула платок из кармана коричневого вязаного платья, неровно сидевшего на ее



тумбообразной фигуре, и стала вытирать мокрые глаза. Я смотрел на ее широкое растерянное лицо и думал, что она совсем не похожа на покойную сестру. Потом мы медленно пошли к выходу. «Я смогу приехать только послезавтра, — сказал я. — Я тебе сейчас дам денег, чтобы платить нянечкам. И если купить что...» В машине я протянул деньги. Людмила испуганно округлила глаза. «Ну зачем это, ну зачем?» Потом положила конверт в сумку не считая. Мы заехали в ближайшую аптеку, чтобы приобрести какие-то специальные полиэтиленовые пакеты. Павел еще не приходил в себя и поэтому не знал, что в результате операции он лишился некоторых способностей, свойственных взрослому человеку. В этом отношении он был теперь не самостоятельнее младенца: конец кишки вывели в живот с левого боку; к ее-то отверстию и нужно будет два или три раза в сутки приспособлять эти чертovsky пакеты. Хирург мельком заметил, что и это-то сделать было довольно трудно из-за того, что очень большой участок кишки потребовал иссечения. В его усталом голосе отдаленно звучала законная гордость: было трудно, но все-таки он смог это сделать, чтобы продлить человеку жизнь; а я старался не думать об открытии, которое ждет Павла, когда он очнется, потому что все равно не мог представить себя на его месте; и не мог вообразить, как в подобной ситуации ответил бы на вопрос о том, чего мне больше хочется: умереть или жить с дыркой в животе, из которой сочится жидкое дерьмо. Впрочем, как я заключил из слов хирурга, никто никого ни о чем не спрашивал. Пакетов не оказалось ни в ближайшей, ни в следующей. Я двинулся знакомой дорогой к аптечному складу. На этот раз ворота были закрыты. «Куда это ты? Куда это? — в испуге спрашивала Людмила. — Это что же?» У нее была очень широкая, словно смятая переносица, и глаза казались совсем маленькими. Я оставил ее в машине, а сам пошел барабанить в калитку. Вохровец на посту стоял уже другой, но это, как выяснилось, не имело значения. Важным было лишь то, что пакетов не оказалось и здесь. Мы купили в каком-то киоске несколько больших пластиковых бутылок воды и вернулись в больницу. Был уже второй час, но к Павлу не пускали. Я нашел старшую медсестру, оказавшуюся молодой некрасивой женщиной с пышным многоярусным строением белокурых волос на голове. Она сидела за столом в кабинете, заполняя какие-то бумаги. Я кашлянул, и тогда она раздраженно обернулась и пальнула в меня: господи! вот ходят целый день! вы не видите, что я занята?! Я молча положил на стол деньги и только после этого высказал свою просьбу. Должно быть, я дал ей слишком много. Старшая тут же вскочила и принялась добросовестно квохтать, без конца повторяя, что именно собирается предпринять в целях улучшения ухода. «Да, и пакеты! — вспомнил я. — Я привезу послезавтра или в крайнем случае в четверг. На пару-то дней у вас найдется?» Она все кивала: «Конечно, конечно! О чем вы говорите! Конечно же! Все, что только можно!..» Глаза ее светились преданностью, и было понятно, что теперь Павел без пакета не останется: в крайнем случае она отнимет этот проклятый пакет у другого — у кого не нашлось ни копейки, чтобы дать ей. Я попятился и быстро вышел, не сказав ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ; мне было одинаково противно и смотреть на нее, и понимать, что это мои деньги — деньги, протянутые моей рукой, — оказали на нее столь сокрушительное воздействие. Может быть, для нее лучше было бы не получить их и остаться такой, какой она была пять минут назад: раздраженной и злобной теткой с белой башней на башке, одинаково равнодушной к несчастьям любого. Но я знал, что этим все равно нельзя было добиться справедливости: придет кто-нибудь еще и посулит ей денег; и она возьмет их и тогда отнимет пакет у Павла, чтобы дать другому...

Михаил Герасимович уже кончил работу и сделал все аккуратно и с умом: треснувший косяк был в четырех местах расsverлен и зашпунтован, а в дверь врезан свежеструганый кусок дерева взамен расщепленного. Про-

ведя пальцем, я не нашел шва. Сам Михаил Герасимович, на котором теперь поверх фиолетовой майки был надет старый пиджак с несколькими побрякивающими медалями, стоял рядом, смущенно улыбаясь и разглядывая свою работу с таким видом, словно и не ожидал, что все так ловко выйдет. Деньги он поначалу недоуменно крутил в руках, а потом свыкся, свернул трубочкой и сунул в нагрудный карман.

— Отлично, отлично, — в третий раз устало повторял я. — Просто очень хорошо.

— Нет, Серега, ты посмотри: бобышка-то какая!.. — не унимался он. — Я ведь что? Я хватился: нет бобышки! Ну, к Петровичу — так и так, мол, выручай! Да за такую бобышку ста сот не жалко!

— Знатная бобышка. Ну спасибо...

— Нет, ты взгляни: лучше новой дверь-то! А? На дубовых шпунтах!

В конце концов он удалился, несказанно довольный, и было похоже, что сегодня его ожидало еще много радостей.

Я отцепил от связки один ключ, чтобы оставить себе, а другие три протянул Людмиле. Замок открылся с масляным пощелкиванием. Пройдя в комнату и оглянувшись, Людмила сонно протянула: «Та-а-а-а-а-ак...» — и сомнамбулическим движением подоткнула длинный подол своего вязаного платья. Это могло бы придать ее внешности игривый вид, если бы не синие-черные узлы варикозных вен на обнажившихся толстых ногах. Уже через секунду она с места в карьер принялась вывозить грязь с той носорожьей бабьей ухваткой, что всегда наводила меня на мысли о конце света. Все вокруг нее рушилось, падало и затем вставало обновленным — как из огня чистилища; сначала она смела мусор, подняв столбы пыли, а потом наплескала из ведра воды и стала яростно гонять ее по линолеуму большой грязной тряпкой. Время от времени с ее губ слетали непечатные идиомы — это случалось в те моменты, когда Людмила в очередной раз сталкивалась с вопиющими, на ее взгляд, примерами неряшества. «Ну уж нет, с балконом я не буду разбираться, ну его, пускай Вика», — сказала она и немедленно полезла туда, гремя стеклом и железом, и стала со скрежетом выдирать что-то из горы тлеющего хлама и шумно кидать вниз. «Это что же, — выкрикивала она время от времени, заглядывая на секунду в комнату раскрасневшимся лицом. — Это что же! Из больницы выйдет, так ему и посидеть на воздухе негде!» Затем опять несколько минут была видна за мутными стеклами только ее большая мужичья фигура да вновь слышался тот же самый скрежет и уханье падающих предметов. «Как же ему после операции на четвертый-то этаж пехом! — ненадолго всунувшись, возмущенно спрашивала она. — Это что ж за гуляние! Не натаскаешься!..»

Потом она ринулась искать Вику и скоро привела ее. Я услышал неразборчивый крик, поначалу доносившийся с лестницы. «Ты видишь? — спрашивала Людмила у племянницы, стоявшей в дверях с тупым и взъерошенным видом. — Ты видишь, до чего ты довела? Видишь? Обокрали тебя? Вот какое несчастье! А почему я тут два часа твое говно вывозила?! Ты как себя ведешь?! Ты как жить-то будешь? Ты с голоду сдохнуть хочешь? Под забором околеть?.. Все! Хватит! Собирайся, ко мне поедешь! Пока Павел в больнице, будешь у меня жить! Быстро, я сказала! Что — „нет“?! Я тебе дам „нет“! Я тебе сейчас такое дам „нет“, что ты света белого не взвидишь! Быстро! Ты хочешь тут остатки порушить, сучка?! Где твои шмотки?! Дожилась!.. Вот мать-то небось радуется, на тебя гляючи! Смотрит сейчас с облачка — как там моя дочка? А дочка вот вам — пожалуйста! Спасибо, что не пьяная! Тебе Павла не жалко?! Себя-то не жалко тебе?! Павел из больницы выйдет — как жить будете?! Телевизор — украли! Телефон — украли! Ты почему не работаешь? Почему, я тебя спрашиваю! Как жить-то будете?! Все друзей сюда водила, лахудра! Доводилась! Хорошо, саму-то не убили! Да, может, и лучше было бы — убили и убили,

ничего не поделаешь: поплакали бы, похоронили, да и дело с концом! Чем на твою опухшую-то рожу смотреть!.. Быстро собирайся, я тебе говорю!.. Стой, погоди!.. беги вниз, перетаскай из-под балкона все на помойку! Быстро!..»

Напуганная Вика, хлюпя носом (плачущей она становилась почему-то похожа на старуху, — должно быть, из-за выражения полной беспомощности, что накатывало на мокрое лицо) и так же по-старушечьи покряхтывая, чтобы сдержать рыдания, поплелась вниз, а Людмила устало села к столу, закурила и стала говорить, что девочкой Вика была просто прелесть, не налюбуйешься: славная такая девчушка; а теперь видишь как — совсем от рук отбилась, лахудра. И еще — что Вика похожа на воду: куда ее вольешь, такую форму она и принимает: если дураки кругом, так и она дура, если злые — так и она злая, а если живет с нормальными людьми, тогда и сама становится совсем другой, и нельзя заподозрить, что она может быть злой и пьяной дурой... И что ей племянницу жалко: уж очень она неудалая, все у нее наперекосяк, вся жизнь, просто сил нет смотреть; уж ей под тридцать, а что у нее есть? И что, мол, не дай бог, с Павлом что случись, так даже дачу получит Танька, Павлова дочь, хоть он с ней жил всего до году, а потом только видел пару раз, да и то, можно сказать, случайно; а с Викой сколько лет бок о бок, одной семьей бытовали, заместо отца ей был, а она ему — дочерью; и все равно Вика ничего не получит, потому что такие дурацкие у нас законы; хотя, конечно, если разбираться, то Вике эта дача куда как нужнее; да и вообще это во всех отношениях было бы справедливее, потому что Вика там и горбатилась, и все, и Павлу помогала — взять хотя бы, как таскали они вдвоем туда сетки от кроватей: Павел привез их поначалу домой, в квартиру — ведь сарая-то еще в ту пору не было, — взволок и поставил на балконе; а потом уж они с Викторией (Аня-то не могла, потому что вечно болела, — тут Людмила безнадежно стряхнула пепел на чистый пол) носили их по очереди сначала к трамваю, а через две остановки сгружали и волокли к участку — ну просто как мураши; вот как; да и вообще, случись что с Павлом, дай ему бог здоровья на многие года, так Вика окажется у нее, у Людмилы, на шее — как говорится, в полный рост; а кормить ее надо? а одевать надо? сама-то она — сам видишь какая; в общем, была бы эта дача большим подспорьем — да хоть бы картошки весной насадить, а осенью выкопать... Да уж что говорить... И она горько махнула рукой и загасила сигарету о каблук.

Я слушал ее, думая о том, что физика жизни проста: тело Ч обречено переместиться из точки Р в точку С, назначенную ему в качестве конечного пункта, за время Ж; тело Ч может, если способно и хочет, размышлять о том, что траектория его движения верна и справедлива или неверна и несправедлива, или в чем-то верна и справедлива, а в чем-то — нет; или верить в одно из этих утверждений; однако каким бы размышлениям и верованиям ни предавалось тело Ч, само оно изменить свою траекторию не в состоянии. Павел родился в сороковом, а в сорок шестом был голод, и он с малолетства хлебнул лиха: долго еще прятал сухари под матрас, и никакими силами его от этого нельзя было отучить. Как началось — так и пошло: звезда его была неясной, тусклой бедняцкой звездой. Может быть, родился он в другой день и час... жаль, что нельзя прожить вторую жизнь, а потом и третью. А впрочем, если б и можно было, то и вторую, и третью пришлось бы проживать точно так же: вслепую и на большой скорости — как сумасшедший мотоциклист в тумане.

Я сказал, что обсуждать это не хочется, но если уж начали — то, конечно, резонно, чтобы дачу в случае чего получила Вика; даже лучше не Вика, поскольку Вика ничем толком распорядиться не сможет, а сама Людмила; и что так оно и будет, — не дай бог, конечно. Людмила посмотрела, словно я рассказывал небылицы, недовольно хмыкнула и перевела



же я остаток жизни под капельницей провести? Сами посудите. Это и физически невозможно, и... да что говорить! А раз невозможно — тогда вот... пожалуйста бриться. Пластыречек забугорный. А?

— Понятно... Послезавтра можно будет посмотреть две квартиры. По описанию подходящие.

— Во сколько приедете? — забеспокоился Будяев.

— Позвоню.

— А завтра не поедем?

— Завтра не поедем. Завтра мне в Ковалец нужно ехать.

— Ого!.. Опять в Ковалец! Все по тем же делам?

— Все по тем же, — кивнул я.

— Эх-хе-хе... Да уж, делишки...

Будяев стряхнул пепел и уставился на тлеющий кончик сигареты.

— Видите ли, Сережа, — сказал он. — Все это, конечно, шелуха... все равно существуют неизбежные окончания... Зачем мне вечная игла для примуса, если я не собираюсь жить вечно. Помните? — Он хмыкнул. — Тут ведь вот такая смешная штука. Личная смерть — это событие громадное, конечно. Очень, очень значительное... Но все же гораздо любопытнее размышлять о человечестве в целом. А?

— Не знаю, — ответил я. — Разве?

— Конечно! — оживился Будяев. — Несомненно! И что интересно? Человечество в целом ведет себя точь-в-точь как большая колония дрожжевых бактерий. Ну, вы знаете: стоит этим закукленным тварям оказаться в подходящей среде, как они встрепetyваются и начинают жить полноценной и радостной жизнью. Что касается среды, то это, допустим... — Он махнул сигаретой. — Допустим, это виноградный сок.

— Допустим, — кивнул я. — Еще бы. Очень подходящая среда.

— Вот-вот. Ожив, они без усталости поглощают сахар и непрерывно размножаются. А вместо сахара выделяют алкоголь. Чем больше их становится, тем быстрее идет дело. Сахар, понятное дело, убывает. Зато увеличивается концентрация алкоголя. Должно быть, каждая... гм... гм... особь? — Будяев посмотрел на меня, словно ожидая, приму ли я это слово; я принял. — Каждая особь озабочена тем, чтобы сожрать как можно больше. Вещь экзистенциальная: надо полагать, именно в этом видится им смысл их короткого, но бурного существования.

Часы в соседней комнате пробили четыре. Будяев поднял брови и пристроил дымящийся окурок на пепельницу. Затем свинтил крышки с четырех или пяти склянок, которые стояли возле, и методично вытряс из них множество разноцветных таблеток. Как только он положил на блюдечко последнюю, раздался голос Алевтины Петровны:

— Димулечка, время!

Тут же и она сама появилась на пороге с большой кружкой в руках.

Удовлетворенно мыча, Будяев высыпал таблетки в рот и припал к воде.

— Вот так, — сказал он, ставя кружку и облизываясь. — Их становится больше. С каждым днем. Не исключено, что по мере размножения, то есть по мере снижения доли сахара, приходящегося на душу населения, эти существа тоже начинают относиться друг к другу все более нервно и подозрительно. Можно предположить, что уличенных в воровстве бьют смертным боем. Между тем процесс идет. Отдельные случаи нехватки сахара переходят в его тотальный дефицит, поэтому и единичные стычки перерастают в широкомасштабные столкновения. Что дальше, Сережа? Дальше они неизбежно стихают. Я имею в виду столкновения. Не подумайте, что никто уже не хочет сахара. Нет. Просто концентрация алкоголя достигла такого уровня, что серьезно сказывается на всеобщем самочувствии. И как следствие на способности вести боевые действия. Понимаете? Наступает период вялой мирной жизни, духовным содержанием кото-

рой становятся болезненные воспоминания о том, как много прежде было сахара и как мало — алкоголя...

— Ну да, — кивнул я. — Где же ты, утраченная юность?

— Вот именно. Вот именно. Но оказывается, утрата юности — не самое большое зло. Есть и большие. Следующий этап — это уже преддверие последней катастрофы. Ведь тут какая вещь? Все предшествующие периоды тоже воспринимались как катастрофы. Согласитесь, что всякое уменьшение доли сахара всегда воспринимается как катастрофа. Но теперь грянет истинная катастрофа. Объективная. Массовые обмороки... коллективные отравления... беспричинные смерти, — перечислял Будяев, ровно помахивая дымящей сигаретой. — Паническое замешательство... разрушение элементарных связей... утрата целей и святынь... распад морали и падение нравственности. Только у самых тренированных и живучих представителей этого быстро угасающего племени хватает сил, чтобы все-таки перерабатывать, перерабатывать, перерабатывать сахар в алкоголь!.. Понимаете?.. Сахара, как правило, хватает. Даже к тому времени, когда концентрация спирта становится окончательно смертельной, его еще немного остается. А? — Дмитрий Николаевич замолчал, взял из пепельницы сигарету и протянул. — Вот такое алиготе...

— И где же, по-вашему, мы сейчас находимся? — спросил я. — На каком этапе? Меня, собственно, вот что интересует: сделку-то мы успеем провести? Или уже не суетиться?

— Кто его знает, — вздохнул Будяев. — Я, собственно, имел в виду модель. Людей становится все больше, еды нужно им все больше, одежды нужно все больше, машин, пластмасс... все больше заводов дымит и вырабатывает отходы... Модель, модель мне нравится! Процесс накопления побочного продукта, вот что красиво! И однажды — бац! Двенадцать процентов... А сколько накопили сейчас — я не знаю. Пять, шесть.

— Угу. На полпути, значит.

— Да вы не расстраивайтесь, — хмыкнул он. — Может, как иначе дело пойдет. С ускорением. Слышали, американцы хотят черную дыру организовать?

Я пожал плечами.

— Было что-то такое...

— Как же, как же! Вы представьте! Это ведь как? В один прекрасный день где-то там в Оклахоме, черт ее знает... в исследовательском центре... происходит запуск самоновейшего ускорителя элементарных частиц. Разгоняет до несусветных скоростей. Победа новых технологий. Теоретики, правда, сомневаются — как бы, говорят, черная дыра часом не возникла. Тогда нам всем каюк. Но что теоретики? Не останавливать же из-за них все дело?.. И вот однажды утром некий молодой человек в белом халате... аккуратненький такой... рубашечка, галстучек при нем... улыбочка... Настроение радужное — ведь не каждый день такой ускоритель запускается. Блокнотик у него, ручечка — все честь по чести. Подходит он, значит, к пультам... Конечно, он знает о сомнениях этих маловеров теоретиков. Но гонит от себя мрачные мысли. Теории теориями, а диссертацию все-таки писать надо? — надо. Материал нужен? — еще как нужен! Никуда не денешься: дело, как говорится, житейское... а раз житейское, то какие могут быть сомнения?.. Подходит он, значит, к этому пультам, тянет палец к кнопке... нажимает... И вдруг — хлоп! И все на свете слепляется в один комок размером с футбольный мяч: Греция, Турция... Канада-Италия... музеи-выставки, книги-фильмы... Толстой-Достоевский, Кафка-Дюрренматт... западники-славянофилы, капиталисты-социалисты... Земля-Луна, Марс-Фобос, черт-дьявол, господь-батюшка!.. А? И этот мяч, как в матче «Спартак» — «Динамо», летит себе в космосе... да еще и все вокруг стремится пожать. Не страшно?

Я пожал плечами.

— Правильно, — обрадовался Будяев. — Если быстро — чего бояться? Бац — и готово дело, а после нас хоть потоп. Страшно — это если медленно. Если, например, эта черная дыра окажется не мгновенного действия, а замедленного. Вот тогда страшно. Скажем, каждые сутки увеличивается в диаметре на один метр. Только на один — но постоянно. Вот это страшно! Вот уж бактерия-то загоношится! — Он потряс кулаком. — Вот уж забега-ет! Как?! Что?! Да ничего — черная дыра! Каждые сутки — на метр! Через неделю — нет исследовательского центра. Через год — городка. Через два — Оклахомы. Через три — Атлантики... А? Вот что страшно: знать, что и до тебя скоро доберется!

— Жизнь и без черной дыры так устроена, — сказал я. — Известно, что доберутся. Вопрос только — когда.

— Это вы опять об индивидуальном, — отмахнулся он. — Вы об общем, об общем подумайте!.. — Дмитрий Николаевич расстроено почмокал, пустив напоследок несколько клубов дыма. Потом осторожно загасил окурок и сказал со вздохом: — Правда, сколько себя человечество помнит, столько и толкует о скором конце света... И, как правило, относит его в самое близкое будущее. А себя полагает живущим при окончании дней. И объясняет тем самым ущербность морали. И разложение нравственности. Мол, что вы хотите — ведь конец света не за горами. А раньше, дескать, когда до конца света было далеко, все мы демонстрировали высокую нравственность и соответственно безупречную мораль... Это все чепуха, конечно. Никогда никто не демонстрировал ни высокой морали, ни безупречной нравственности. Да вон возьмите хотя бы десять заповедей. Конечно, большая часть из них утратила актуальность. Сотворение кумиров мало кого касается... суббота опять же. Но — не укради! Но — не убий! А? Как-ково? Уж за тысячи-то лет можно было привыкнуть к запретам?.. Черта с два. Поглядите вокруг — убивать можно. И красть можно. Нет, ну правда взгляните! Можно, можно! Нет наказания! Бог отвернулся, люди сла-бы, — наказания нет, убивай, кради!.. Поневоле задумаешься — а уж и впрямь: сейчас как трубы затрубят, как бездны распечатаются к чертовой матери!..

Он замолчал и принялся выщупывать новую сигарету.

— Короче говоря, ничто не меняется. Не движется. Вашими словами говоря: недвижимость кругом. — Вытащил одну, зачем-то понюхал, сунул обратно в пачку. — А то, что пророчат конец света не сегодня-завтра, — так это просто от эгоцентризма. От ячества. Я, я — самый важный в галактике! Мне, мне страшнее всего!.. А ничего не я. И ничего не мне. Вон, слышали, астрономы обнаружили загадочные вспышки где-то там на окраинах Вселенной? Прикинули — и ахнули: вышло, что такие энергии могут выделяться только при аннигиляции очень крупных объектов. Вот где страшно-то...

Помолчал, тщательно разминая выбранную, потом вздохнул:

— Правда, я-то, грешным делом, по-стариковски-то думаю, Сережа, что все проще. Какая там аннигиляция! Просто мы со всеми нашими земными потрохами живем где-то вроде как внутри электрона — понимаете? Или протона, допустим, один черт. Но внутри. А снаружи кто-то время от времени втыкает вилку в розетку. Понимаете? Допустим, рубашку ему погладить надо или штаны, вот он и включил утюг. Погладил — выключил. Читать захотел — лампу воткнул. А розетка всякий раз искрит. Не вполне исправная розетка. Искрит, сволочь. Только и всего. А у нас — вспышки на окраине Вселенной. А мы сидим и ужасаемся — вот какая ужасная аннигиляция. Вот какая большая Вселенная. Вот какие мы маленькие. А?

Я рассмеялся.

— Ничего смешного, — невнятно сказал Будяев, вновь чмокая над вспыхнувшей спичкой. — Не маленькие мы... То есть нет, вру: маленькие, конечно, — но въедливые, как клещи. Клещ! — милая такая букашка.

Способна тридцать лет провалиться без воды и пищи в совершенно иссохшем виде. А стоит ее положить на живое, как она и сама немедленно оживает и начинает пить кровь. Тридцать лет! А может быть, и триста, — ведь никто не пробовал. Терпения не хватает... Человек, конечно, не таков... тридцать лет не протянет. Но тоже ведь живуч, бродяга! Все-таки похож, похож на клеща! Что с ним только не делают, а ему хоть бы хны!.. — Будяев покачал головой. — В общем, я не знаю, сколько осталось до конца света.

Он стряхнул пепел и заключил:

— Но ведь тут вот такая вещь, Сережа...

Помолчал. Почмокал.

— Тут вещь-то, знаете ли, такая...

Вздыхнул.

— Что, если мы его просто не заметили? А?

Под окнами завывла автомобильная сигнализация.

Через минуту она замолкла.

Снова стало слышно, как в кухне капает вода — ды, ды, ды, ды.

— Не ваша? — спросил Будяев.

— Что?

— Машина, говорю, не ваша?

— Какая машина?

— Да вот гудела-то! Не ваша?

— Нет.

— Ну, слава богу. Ага... Ладно, не будем о грустном. — Он вздохнул и откинулся на спинку кресла: — Так вы не договорили — и что же?

Теперь вздохнул я.

— Да, собственно, я уже сказал... Ксения дозрела. Квартира ее устраивает. Задаток хочет дать. Все ей вроде подходит... И по срокам удобно. Условия хорошие. Так что вот...

— М-м-м-м... Задаток, задаток... — Будяев взял бороду в кулак, легонько потянул, потом ссутулился и жалобно продолжил неожиданно дребезжащим, блеющим голосом, к каковому он прибегал в случаях, когда, по его представлениям, на него надвигались те или иные опасности. Всяк по своему себя ведет. Ящерицы отбрасывают хвосты, жуки притворяются дохлыми. Будяев начал блеять, как умирающий от изнеможения баран. — Задаток, говорите?.. Ага... То есть деньги. Де-е-еньги... Ведь деньги? Это ж деньги, черт бы их побрал... Ой, не хочется нам денег брать. Зачем нам эти деньги? Это ведь не фунт изюма, а? Нет, ну в самом деле — это ж деньги, де-е-е-еньги!.. Зачем? Мы и так на все готовы. Нет, ну правда. Что ж мы? Вы им объясните, что мы люди приличные и...

— Ну уж нет, — сказал я. — Вот именно потому, что все кругом приличные люди. А приличные люди подтверждают свои обязательства деньгами. Иначе не получится.

— Какие обязательства? — пролепетал Будяев, поглядывая в сторону кухни.

— Я уже рассказывал, Дмитрий Николаевич. Вы обязуетесь продать вашу квартиру конкретному лицу в оговоренный срок. А себе купить другую.

— Да как же я могу взять на себя такое обязательство! — возмутился он. — Вы что, Сережа! Вы же нас под монастырь подводите! Как же так — продать?! Мы-то куда денемся?!

— Вы. Себе. Одновременно. Купите. Другую, — отделяя слово от слова, сказал я. — Мы с вами это уже сорок раз обсуждали. Я вам подыщу другую квартиру. Несколько уже подыскал. Послезавтра две поедем смотреть... Ну вы что, Дмитрий Николаевич! Это же не я хотел вас переселять! Это вы хотели, чтобы я вас переселил. Вот я и переселяю. И для этого



нужно сделать ряд конкретных шагов. В частности, получить задаток. Неужели непонятно?

— А задаток-то... он что же? Я помню, вы говорили... Если что не так, вдвое, что ли, отдавать?

— Вдвое, — безжалостно подтвердил я.

— Вот видите! — тонко воскликнул Будяев и с треском раздавил окурок в пепельнице. — Что-то как-то легко у вас все получается! Вдвое! А мы ведь не миллионеры! Как же так? Мы специально, чтобы...

— Не откажетесь от сделки — так ничего никому отдавать и не придется.

— Не откажетесь! Мы-то не откажемся... Нет, ну в самом деле, Сережа, как вы можете такое говорить! Почему же мы откажемся?

— Говорить не о чем, — согласился я. — Разумеется, вы не откажетесь. И разумеется, вам ничего не грозит. И все будет хорошо. Я вам подыщу чудную квартирку — и вы в нее переедете. Мы ведь так договаривались?

— Переедете... На словах-то оно легко, — буркнул Будяев. — А если не найдете? Нас тогда на улицу? А не на улицу, так задаток вдвое отдавать! Снова здорово. Веселенькое дело.

— Да на какую улицу? И почему же я не найду? Всем нахожу, и вам найду.

— Сами говорите, у нас требования сложные, — не сдавался Дмитрий Николаевич. — И этаж, и площадь, и что там? — да, сквозное проветривание нам нужно... вы же знаете... нам без сквозного проветривания просто никуда... еще консьержка чтобы в подъезде... а? Вдруг не найдете?

— Ладно, это моя забота, Дмитрий Николаевич. Давайте заниматься своим делом. Я своим. Вы — каким угодно, только не моим. Договорились?

— Ну, вы сразу в амбицию... Вы поймите, мы же не можем вот прямо так, с закрытыми глазами — да в омут! Какие-то деньги чужие брать... да нас и убьют потом за эти деньги! Чертовня какая-то получается, честное слово! — Он огорченно пожевал губами и проронал: — А вы-то не можете эти деньги сами взять?

— Нет, — вздохнул я. — Я не могу.

— А почему?

— А потому, что это ваша квартира и обязательства относительно ее тоже должны быть ваши.

Будяев обиженно посопел.

— Ну да, а нас потом добрые люди по башке за эти обязательства... Тэк-с, тэк-с... вот ерундистика какая... Вы говорили, что бумагу какую-то подписывать придется?

— Естественно. Вам же деньги дадут. А вы подпишете соответствующую расписку. Мол, взял столько-то у такого-то — у гражданки Чернотцовой в данном случае... у Ксении то есть... при чем обязуюсь в такой-то срок продать ей то-то и то-то — квартиру именно, — а если не продам, верну вдвойне, а если покупатель не купит — задаток останется у меня, а если...

— Мы подписывать ничего не будем, — резанула Алевтина Петровна. Она стояла на пороге, нервно теребя кухонное полотенце. — Вы знаете, сколько разных случаев? Вы знаете, что из-за квартир сорок тысяч пенсионеров убили и...

— И съели! — рывкнул я, вставая. — Все понятно. Лыко да мочало! Хватит! Где моя сумка?

— Вы куда? — встревожился Будяев. — Подождите, Сережа!

— Хватит, — повторил я. — Баста. Все имеет свои границы. Вы шутите? Я вам ничего нового не сказал: я с самого начала вам это все рассказывал! Описывал схему наших будущих действий. И не один раз. Было это? Было! Вы соглашались? Соглашались. Отлично. Теперь, когда я...

— Да подождите же, Сережа! — взмолился Будяев. — Никто ничего такого не хотел сказать! Просто мы...

— ...когда я два с лишним месяца продаю вашу дурацкую квартиру!.. и в конце концов нахожу покупателя!.. то есть все идет к сделке!.. и не дешево, не дешево продал!.. и вы теперь мне заявляете, что не будете брать задаток! Чудесно! Замечательно! Сейчас я уйду...

— Может быть, чаю? — растерянно брякнула Алевтина Петровна.

— ...я уйду, а вы продавайте вашу квартиру сами или обратитесь к другому риэлтору, и когда он...

— Господи, да что ж такое-то!..

— ...и когда он вам ее продаст, а вы ему скажете то же самое, что скажали сейчас мне, посмотрите, что он с вами после этого сделает!.. До свидания. Всего хорошего. Где моя сумка?

— Подпишем! — крикнул Будяев. — Алечка, ну что же ты стоишь, родная! Ну скажи Сереженьке, что мы подпишем! Ну хорошо, мы подпишем, подпишем! Но так же тоже нельзя, Сережа! Нас-то куда?! Куда нас-то?!

Вот такой вопрос.

Мне рассказывали про одного мальчика. Бабушка привела его на Красную площадь, поставила лицом к Мавзолею и торжественно сообщила:

— Митя, здесь лежит тело Владимира Ильича Ленина!

— А голова? — удивился мальчик.

Я сел и обхватил затылок руками.

## 15

«Самсон трейдинг» располагался где-то в тесных недрах помоечных дворов на Селезневке, и сколько раз я ни приезжал сюда, столько совался не в ту подворотню. А как их различить? Чертыхнувшись, я сдал задом, выбрался на улицу, проехал еще сорок метров и снова нырнул в туннельобразный въезд под покосившимся трехэтажным домом.

Гулкий туннель заканчивался почти таким же сумрачным и гулким колодцем двора, обставленным кривобокими домишками.

Я заметил знакомый «ниссан» и встал вплотную.

В торце одного из этих не внушающих доверия зданий металлический козырек прикрывал ступени, ведущие в полуподвал.

— Слушаю вас, — прохрипел динамик, когда я нажал неприметную кнопку.

— Кастаки у себя? — спросил я. — Откройте.

Замок щелкнул.

Миновав неодобрительно посмотревшего охранника, я прошел длинным коридором и оказался в прохладном холле. Секретарша сидела за полукруглой стойкой.

— К Александру Васильевичу.

— Вы договаривались?

— Он ждет, — соврал я.

— Направо по коридору, — сказала она.

И здесь же, тыркнув клавишу, преданно донесла в селектор: «Александр Васильевич, к вам...»

Дверь кабинета была открыта. Шура сидел за столом. Ноги, на американский манер, лежали на столе.

— Здравствуйте, дядя босс, — сказал я.

— Дядя босс и гол, и бос, — пробормотал он в ответ. — Здорово, здорово... Кофе будешь?

— Я еще не обедал, — сказал я. — Письмо давай.

Кастаки опустил ноги и сел по-человечески.

— Второе пришло, — сказал он, роясь в карманах пиджака. — Хотел звонить. А ты сам заявился.

И протянул два конверта.

— Спасибо, — сказал я. — Все, погнал.

— Слушай, что-то мы с тобой все как не родные? — спросил Шура. — Ты вечером что делаешь? Может, посидим где? Пивка, рыбки... а?

Я развел руками:

— Сегодня точно не могу. Да погоди, вот повод какой-нибудь будет...

— Повод, повод... Ты, Капырин, не понимаешь. Какой повод? Наше обоюдное желание — это не повод? Мы же не можем вечно ждать милостей у природы...

— Александр Васильевич, извините, — строго сказала голубоглазая девушка, заглянувшая в кабинет. — Шульман звонил, у него на таможенные проблемы. Просил с ним связаться.

Шура чертыхнулся и потянулся к телефону, махнув рукой: пока, мол...

Я сел в машину и разорвал конверт:

«Сереженька, дорогой, здравствуй!

Поговорила с тобой и все не могу успокоиться, села сразу за письмо.

Болит, болит у меня душа за Павла, и не знаю, что делать. Уже по-всякому думала. Ведь родная кровь Павел, своя. Кто за ним ухаживает, как? Я Людмилу никогда не видела, но если они с Аней-покойницей похожи, то такая же волоха, наверное. Как бы я хотела поехать в Ковалец! Но как бросить здесь все?

Какая все-таки жизнь страшная, Сереженька. Откуда такая гадость у Павла взялась? Хорошо, что вовремя прихватили, сделали операцию. Если ранняя стадия, то, может быть, обойдется. Помнишь Коломийцев? Они теперь где-то под Калугой живут. Так вот Витиному отцу тоже делали такую операцию. И ничего, жил себе и жил, пока не умер от инфаркта. Бедный Павел. Как мне его жалко. Вечно он у нас был какой-то обсевок. Уехал, всю жизнь там один, не особенно-то у него все складывалось. Я достала альбом, смотрела фотографии. Какой Павел был мальчишкой красивый — глаза большие, взгляд серьезный, задумчивый. Ему бы в артисты. А он какую тяжелую жизнь прожил. Завтра Таньке напишу, но куда она с малым дитем из Воронежа поедет? Ей тоже нет никакой возможности.

Смотрела фотографии, даже всплакнула. Помнишь, где ты в матроске и бескозырке? Ты очень гордился этой матроской. Однажды к нам пришли гости — Валя Кострова с мужем и сыном, Красновы, Лешка Гарипов. Все дети большенькие, а тебе годика четыре всего было. Ты к ним и так, и сяк, а они с тобой играть не хотели. Они взрослые, им с тобой неинтересно. Ты постоял, постоял, посмотрел на них. Я думала, ты плакать сейчас будешь. А ты подходишь ко мне и говоришь таким упрямым-упрямым голосом: „А я играю в паровозик! Ту-ту-у-у-у-у-у-у!“

Помнишь ли ты сестру Насти Кречетовой, Катю, прихрамывает. Я тебе писала, что они квартиру продали. Несколько дней назад к ним ворвались какие-то бандиты и убили и ее и мать. Наверное, кто-то узнал, что они квартиру продали. Думали, у них денег много. Но у них денег никаких не было. Деньги за квартиру они Насте переправили и собирались уезжать. А другие деньги у них откуда? Всегда жили бедно, а теперь уж и говорить нечего — сколько лет пенсий не платят. Наверное, это случайно. Но с другой стороны, я всегда говорила: лучше не рыпаться. Сидишь — и сиди, от добра добра не ищут.

Сереженька, пожалуйста, думай о себе. По крайней мере ешь вовремя. Ты все время в беготне. Испортишь, не дай бог, желудок, это очень плохо. Целую тебя. Павла за меня поцелуй крепко-крепко, скажи, пусть держится. Он из хорошей породы — шлыковский. Скажи, пусть помнит: Шлыковы — люди железные, их об дорогу не расшибешь. Скажи, еще встретимся с ним обязательно. И вообще — пускай выздоровливает да к нам приезжает. А что? Отлично мы здесь заживем. О нас не беспокойся, у нас все в порядке. Целую тебя».

Я сунул письмо в конверт и завел двигатель. По Краснопролетарской поток еле полз. Я смотрел в лобовое стекло. Мысли как цепные собаки прыгали на одном и том же месте. Передо мной тащился зеленый «Москвич». Минут через десять мы встали у самого светофора. «Об дорогу не расшибешь». Если бы. Из «Москвича» выбрался мужик и стал неспешно протирать стекла оранжевой тряпкой. Садовое гудело, серый асфальт лоснился, вылизанный колесами. Москва лежала окрест на многие километры, громоздя к мутным небесам лоснящиеся камни. Все всегда у них в порядке. Зажегся зеленый. Через несколько минут я свернул на бульвары, думая о том, что сегодня все должно наконец определиться.

Вопреки ожиданиям отперла мне вовсе не Алла Владимировна, а Голубятников: узнав, молча отступил к своей комнате. Дверь туда была полуоткрыта, изнутри тянуло куревом, а на полу в коридоре лежал сизый параллелограмм тусклого света. Лампочка в прихожей отродясь не горела. Сам же Голубятников и объяснил однажды почему: ему, видишь ли, надоело покупать на свои, а соседям эта лампочка до лампочки, им не до лампочек, им бы только глаза залить, вот и вся иллюминация.

— К Алке, что ли? — спросил он, одной рукой берясь за ручку, а другой почесывая загривок.

Я кивнул.

— Смотреть поедете?

— Ага.

— Согласится?

— Кто ее знает.

— Ну-ну, — мрачно сказал Голубятников, переступил порог и решительно закрыл за собой дверь, ликвидировав тем самым последний источник света.

Должно быть, Голубятников уже не верил в успех предприятия, хотя сам был готов на все, только б выбраться из коммуналки. Огромная сумрачная квартира на четвертом этаже старого дома на Пречистенке представлялась лакомым куском, а на поверку оказывалась совершенно дохлой: я не первым ломал об нее зубы. Жильцы давно перессорились, Аллу Владимировну дружно возненавидели, и мне стоило немалого труда уговорить всех еще на одну попытку. Наличествовало шесть лицевых счетов. Четыре комнаты пустовали — хозяева их жили по другим местам и были согласны получить взамен своих гнилых углов по однокомнатной квартире в любом районе. Голубятников тоже не упирался: четырежды, по счету предпринятых мной попыток, соглашался на предложенный вариант. Качество их раз от разу хужало: не потому, что я хотел сделать Голубятникову хуже, а потому, что приходилось за счет Голубятникова и прочих пытаться улучшить будущие жилищные условия Алки, то есть Аллы Владимировны Кеттлер, — а иначе она и думать о разъезде не хотела. С чертовой этой Аллой Владимировной просто не было никакого сладу — именно на ней все попытки-то и обламывались...

Чертыхаясь, я кое-как пробрался по коридору и постучал:

— Алла Владимировна, можно?

Как и брат ее, Валентин Владимирович, она была из какой-то очень мелкой человечей породы. Когда они, как сейчас, сидели рядышком на продавленном диване, казалось, что это два ссохшихся щуплых ребенка, ненадолго притихших перед тем, как разыграться с новой силой. Оба были медлительны, с тихими, робкими повадками, только брат по мере увеличения дозы становился невыносимо рассудительным и подробно, а сестра обретала способность к вспышкам беспричинного гнева, удивительного на фоне ее обычной вялости. При первой встрече, произошедшей едва ли не год назад, они вот так же сидели на диване, немного навеселе, но честно стараясь сосредоточиться. Примерно полчаса я убил на то, чтобы растолковать, как могу помочь им выбраться в отдельную квартиру; подробно

разъяснял, что сколько стоит; раскладывал, как пасьянс, возможные варианты. Я старался не употреблять слов, которые не были бы понятны второкласснику, говорил короткими ясными фразами и почти каждую повторял дважды. Поначалу Алла Владимировна понятно кивала, но потом чело ее стало хмуриться, на бледном лице появилось выражение растерянности, голубовато-белесые, как свежевывстиранное белье, глаза обиженно повлажнели, и вдруг она спросила, обратившись к брату и недоуменно указав на меня пальцем:

— Валечка, а что это он такое говорит?..

Теперь мы были давно знакомы. Брат и сестра Кеттлер были удивительно нежны друг с другом — должно быть, алкоголизм обоюдно резонировал в них, порождая волны доброжелательности. К прочим явлениям мира они относились с достаточной степенью равнодушия, чтобы можно было говорить о беззлобности, и в целом вполне годились для такого рода общения, каким является риэлторское дело. Конечно, время от времени Алла Владимировна по существу пустяку готова была взвиться и понести по кочкам; этого у нее не отнимешь — чрезвычайно вздорная женщина. Однако в глубине души я все-таки был уверен, что мне уже удалось бы их развезти, если бы не Голубятников, который, посмотрев первую попавшуюся из ряда более или менее подходящих ему квартир, зачем-то похвастался этим Алле Владимировне. Услышанное породило в ее помраченном сознании некий туманный образ, совершенно не соответствующий тому, что предложили ненавистному соседу в действительности, но почему-то ставший для госпожи Кеттлер эталоном ее собственных безумных требований.

— Значит, так, — сказал я, демонстративно глядя на часы. — В чем дело? Который час, знаете? Почему не готовы?

— А что такое? — холодно протянула Алла Владимировна, надменно хлопая жидкими ресницами.

— Как — что такое? Мы опаздываем! Алла Владимировна, я вам вчера два раза звонил. Вы на бумажке записывали. В час дня! Квартира на Кожуховской! Пора ехать. Опаздываем! Вы чего ждете? Вы издеваетесь?! Я вас год на себе таскаю! Вы что?! Быстро собирайтесь!

— Валечка, где моя бумажка? — спросила Алла Владимировна и, легонечко икнув, поднесла ко рту голубой кулачок.

— Я не знаю, — ровно и тихо ответил Валентин Владимирович. — Какая бумажка?

— Он говорит, бумажка, — безмятежно пояснила сестра, по обыкновению показывая на меня пальцем.

— Какая к черту бумажка! Собирайтесь, говорю! Или вы будете вечно тут сидеть?! Пожалуйста! Сидите! Вы что?! В коммуналке своей хотите жить?! С чужими тараканами? С Голубятниковым? Сколько можно надо мной издеваться?! Мы с вами договаривались или нет? Я что, просто так на ухах стою из-за вас?! Для своего удовольствия?

— А что такое? — удивилась Алла Владимировна. — Я готова. Валечка, давай на посошок...

— Все-все-все! Никаких посошков! — Я подхватил со стола бутылку и поставил на шкаф. — Сначала съездим. Так же лучше, Алла Владимировна! Привезу вас — сядете без спешки... а?

— Хорошо, — неожиданно легко согласилась она и встала, пошатнувшись. — Поехали.

Валентин Владимирович был по кожевенной части и всякий раз норовил растолковать мне разницу между шевро и лайкой в самых тонких деталях, поэтому в машине, как всегда, рассуждали о процессах дубления: то есть Валентин Владимирович, кляня носом, неразборчиво бормотал, а я угукал; когда же брат Кеттлер угасал, помаленьку начиная валиться на бок, я реанимировал его давно отработанным приемом: упоминал о каком-ни-

будь кожаном предмете из обихода — о перчатках или ремнях. Он немедленно оживал и пускался в дальнейшие подробности. Алла Владимировна, слава богу, молчала, глядя в окно, за которым проносились встречные машины и мелькали вывески, с тем же озадаченным выражением бледного лица, с каким обыкновенно кошки наблюдают за рыбками в аквариуме.

У подъезда давно ждала девушка-агентша; в квартире оказалось чисто и уютно; кухонный гарнитур, состоявший из нескольких висячих шкафчиков, стола и мойки, было предложено оставить, если нужно. «Даром? — удивлялась Алла Владимировна. — Даром, что ли?» Я перебрался с девушкой парой слов и посмотрел документы. «Матрас тоже оставим, — с готовностью предложила девушка. — Хороший матрас. Почти новый, а хозяевам ни к чему». Она указала на пружинный матрас, который стоял на чурбачках у окна. «Хороший матрас какой... — недоверчиво протянула Алла Владимировна, переступая по облезлому паркету тонкими ногами в перекрученных чулках и грязных летних туфлях. — Совсем новый матрас. Валюша! Смотри, матрас еще. Даром, что ли?.. Ой».

— Какая хорошая квартирка, — сказала она, садясь в машину.

— Хорошая, — согласился я и завел двигатель. — Очень хорошая. Рядом с метро...

— И балкончик, — заметил Валентин Владимирович.

— Шкафчики, — умильно протянула его сестра.

Она повернулась к брату.

— И ремонт недавно был, — сказал брат.

— И подъезд чистый, — вставил я.

— Матра-а-а-асик, — пропела сестра, прикладывая ладошки к щекам.

Я победно выруливал в подворотню.

— Это откуда же такая хорошая квартирка взялась? — плаксиво спросила Алла Владимировна. — Это где же ты, Сережа, такую квартирку нашел?

Голос ее дрожал.

— Такую мне хорошую квартирку подыскал! Мне! — такую хорошую квартирку! Валюша! Видишь, какую хорошую квартиру нам Сереженька нашел! А ты говорил — обманет! Видишь? Балкончик, и чистенько все так!

— И от метро близко, — вставил брат-кожевник. — И балкончик.

— Сереженька! — воскликнула Алла Владимировна, валясь в мою сторону и припадая к рулю. Мне пришлось отодвинуть ее локтем, чего она в припадке восторженной благодарности не заметила. — Это же какая мне хорошая квартирка будет! Где ты такую нашел? Сережа! Да как мне тебе спасибо-то сказать! Это же какое дело-то, Сережечка!

Слезы катились по ее бледным щекам.

— Я о такой и думать не могла! Разве я мечтала?

Я прибавил газу, обошел грузовик, перестроился еще дальше влево. Светофор мигнул. Притормозив, я вклинился между каким-то «Запорожцем» и возмущенно гуднувшим «крайслером».

Алла Владимировна была так явно сражена моим предложением, что я невольно начинал преисполняться к ней довольно теплыми чувствами. Готово дело. Готово. И на всякий случай незаметно поплевал через левое плечо.

— Мамочка моя! — голосила она, размазывая слезы кулаком. — Мамочка моя если бы видела!.. Валюша! Ты помнишь мамочку?

— Помню, — отвечивал брат ее Валентин. — Еще бы.

— Она бы умирать не захотела! Такая квартира у доченьки ее, у Аллочки! Балко-о-о-ончик! Матра-а-а-асик! Чи-и-и-и-истенько!..

— Конечно, — согласился Валентин Владимирович. — Жить и жить в такой квартирке. Что говорить...

— Как благодарить-то? Чем ответим? Валюша!

— Да уж... конечно... квартирка что надо.

— Не то что раньше! Раньше-то Сереженька не нам, а Голубятникову хорошие квартирки предлагал. А теперь нам вот такая квартирка, а Голубятникову... — Алла Владимировна икнула и вперила в меня взглядом голубых и совершенно безумных глаз. — А что Голубятникову? Сережа, что Голубятникову? А что Голубятникову, Сережа? Что Голубятникову? Голубятникову-то что? — снова и снова настырно повторяла Алла Владимировна.

— Голубятникову? — как можно более равнодушно переспросил я. — Да ничего особенного... Позавчера показал ему одну квартиру. На первом этаже, правда. Но он согласен.

— А сколько метров? Метров-то сколько у Голубятникова?

— Да какая вам разница, Алла Владимировна! Вам ведь ваша квартира понравилась? Уверяю вас: у Голубятникова хуже.

— Нет уж, Сережа, вы скажите!

— Ну сколько метров однокомнатная в панельной пятиэтажке? — раздраженно поинтересовался я. — Тридцать с половиной.

На самом деле было тридцать два.

— А у нас?

— А у вас тридцать четыре. Только в полноценном кирпичном доме, на четвертом этаже, с балконом. С кухней! С лифтом! С матрасом! Есть разница?

— Ага. Здесь у меня комната двадцать три. А у него пя... пятнадцать. Теперь ему три... тридцать. А мне, значит, тридцать четыре?

— Ну и что? — спросил я, яростно вруливая в арку. — Вы о себе подумайте, Алла Владимировна! Вы же не первый день расселяетесь! Вам мало, что ли?

Алла Владимировна опять икнула, а потом выговорила басом, обращаясь:

— Валентин! Это что же такое у нас получается?!

## 16

Степаша запаздывал, я слушал доверительное бормотание Нины Михайловны, иногда кивал и поддакивал, а думал все о ней, о ней, проклятой! — об Алле Владимировне Кеттлер.

Господи, ну почему ее заклинило на Голубятникове?..

Конечно, Алла Владимировна Кеттлер — это особый случай. Это как бутылка с прокисшим шампанским. Того и гляди, даст в потолок и всех уделает...

Вот и дала.

И дала просто-таки с необыкновенной силой!..

Я снова вспомнил, как подвез их к дому... Алку уже разобрало как следует. Нет, ну откуда в такой субтильной дамочке столько голоса? И ведь какого — пронзительного, как железом по стеклу... бр-р-р-р!.. Я понимал, что урезонивать ее — это все равно что уговаривать самум или землетрясение. Единственным выходом было бежать без оглядки. Но я даже и убраться не мог! То есть не мог без ущерба для ее здоровья: из машины Алла Владимировна, вопя, все никак не могла вылезти целиком: раскорячилась впополам — одна нога уже на асфальте, другая на полке. В конце концов мне пришлось ее немного подтолкнуть... А пока она в этой позиции разъясняла, кто чего стоит, кто чего хочет и кто что получит в итоге, брат ее Валентин мирно стоял у водительской, у моей то есть, дверцы, склонив голову набок и прислушиваясь к визгливым воплям своей бешеной сестры с явным интересом, — хотя в том, что она говорила, ничего нового не было.

Ну что с ней, с безумной теткой, поделаешь? Да и зачем ей, если вдуваться, отдельная квартира? Ни к чему. Ей все равно, где водку трескать.

В коммуналке даже лучше — будет кому «скорую» вызвать, когда вальтов погонит...

Дустом таких посыпать! Как тараканов.

— Да, да, — сказал я. — Конечно.

Дустом, дустом... Однажды я привел покупателя в квартиру, лишь накануне освобожденную жильцами. Это была однушка в панельке, и прежде жили в ней пятеро — муж с женой, двое детей и кошка, — и если кто-нибудь из них хотел ненадолго присесть, ему приходилось взять на руки что-либо из скарба. Покупатель волновался — квартира, по его словам, совершенно ему подходила, цена тоже устраивала, и ему не хотелось бы упустить выгодную покупку. Мы воодушевленно переговаривались в предвкушении удачи. Я отпер дверь и легонько подтолкнул его вперед жестом гостеприимного хозяина — ведь всегда приятнее входить первым. Когда он шагнул через порог, ему на голову с притолоки с неприятным шорохом обрушился рой тараканов — конечно, если слово «рой» применимо к плотно слепившемуся сообществу этих милых насекомых. Случившееся произвело на него сильное впечатление — во всяком случае, с тех пор я его не видел. Что же касается меня, то я понесся в ближайший хозяйственный, купил огромный баллон какой-то ядовитой жижи и обильно залил ею все, до чего мог дотянуться. На следующий день к вечеру я сметал их веником в кучи и ведрами спускал в канализацию...

Вот такой бы штукой — и Аллу Владимировну Кеттлер!

— Естественно, — кивнул я. — Еще бы.

Прав Константин — есть же люди, что умеют работать с таким контингентом! В сущности, это не трудно. Денег дать в долг... пару недель поить... втереться в дружбаны. Потом р-р-р-раз — перемена участи: пора за все хорошее бабки на стол! Нет бабок? Ну извини, брат, извини, сестра... тогда переедем в славный город Павлов Посад. Нет, что вы, никто никого не неволит. Полная свобода. Хочешь — в Павлов Посад. А не хочешь — послезавтра у помойных баков найдут. Говорят, все выбирают Павлов Посад...

Но я не умею.

А чисто теоретически интересно, конечно, вообразить, что бы сказала Алла Владимировна, обнаружив, что я хочу стать ее другом. Сидеть в ее записной книжке, гонять в магазин, выпивать и беседовать о бесчестии коварного Голубятникова... Да ничего бы не сказала. Подумаешь. И почище дружили. Нормально. Всякому человеку есть чем гордиться...

— Что?

— Я говорю, такие люди попадают, что просто нет с ними никакой возможности!..

Я снова согласно кивнул: вот уж что да, то да.

Нина Михайловна продолжала монотонно ворковать, совершая руками мелкие взмахи и время от времени возмущенно трясая головой. Ничего содержательного она не говорила, и поэтому я все кивал, а думал между тем о своем. У Огурцова я взял тысячу авансом под расселение Алкиной квартиры... тысячу теперь придется отдать, будь она трижды неладна, эта тысяча... Где ее взять-то? Вообще, почему все время нет денег? Этот вопрос оставлял после себя в груди ощущение неприятной сухости. Нужны, ой как нужны — и много; а нету. Опять вляпался, почти равнодушно поставил я диагноз. Степаша запаздывал, а матушка его несла что-то с Дону, с моря... занимала время. Тоже хороша, ничего не скажешь. Та еще штука. Бог ты мой, откуда же столько придурков на мою голову?..

— Нет, ну вы представляете?!

— Да-а-а...

— А ведь до четвертого класса он замечательно учился! Вы не поверите: учителя души не чаяли.

— Да, да...



До четвертого класса. Понятно. Спиноза. Яблочко от яблоньки...

— И очень, очень скромный всегда был мальчик. Другие, знаете... самонадеянные такие — не надо того, не надо сего! Молодость-то играет в одном месте. Вот они и топырятся — я сам, я сам!.. А Степаша так и сказал: нет, мама, я без репетиторов не поступлю. Он мальчик серьезный, может силы свои оценить. Все сам рассудил: так и так, говорит. Сели мы с ним, поговорили по душам... Нет, мама, давай нанимать. Ему четыре экзамена нужно было сдать... первый математика. Ну, конечно, на пятерку-то я не рассчитывала. Там, знаете, как все так устроено?.. ужас! Своих-то тянут... сват-брат... знаю я это все! Они-то своих, а о моем кто подумает? Он ведь сын! Сын есть сын, никуда не денешься. Ребенок! Ребенку и сорок лет будет, а для матери все дитя!.. А потом, знаете: ведь без отца. Кто же ему еще поможет?

Нина Михайловна мелко рассмеялась и вся вдруг пошла добрыми морщинами — ну просто как Ленин на фотографиях.

— Мать есть мать, — добавила она со вздохом, снова расправляя свой белый лоб до прежнего состояния. — Что делать? Полгода репетиторы ходили. Все в один голос: мальчик очень одаренный. Особенно физичка. Очень, очень, говорит, одаренный! Его бы, говорит, прямо в спецшколу какую! Только ленится немножко. Светлана Иванна. Пальчиком так, знаете, погрозит — немножко, говорит, ленится... А с математиком-то мы промазали. Я уж ему и так и этак: Альфред Семеныч, вы уж помягче... мальчик одаренный... ну, знаете как?.. нервная система все-таки. Пырфыр! Я, говорит, не сиделка. При чем тут сиделка?.. Я, говорит, все делаю, что могу. Бессердечный какой-то человек оказался... знаете как? люди-то разные.

Она вопросительно смотрела на меня, ожидая подтверждения, и я кивнул — конечно, мол, разные. Еще бы не разные. Как-то раз я стоял в набитом вагоне рядом с каким-то старичком. Со скамьи поднялась женщина, а на ее место сели две. Старичок тогда тоже покачал головой и потрясенно пробормотал: «Какие все-таки люди разные!..»

— ...И вот итог: на математике-то и срезали. Я без памяти! Что? Как? Куда? Я к брату! Только руками разводит. Нет, ну вы представляете? Вот такие родственники. Когда кому что-нибудь, так сразу, а когда мне какой пустяк... ах, да что говорить!.. Я на апелляцию! Понимаете?

— Ну да, — подтвердил я. — Куда ж еще?

— Никому нет дела! У ребенка жизнь ломается — им хоть бы хны! Особенно одна там женщина... вот фамилию не помню... змея! Просто змея! Какие дети у такой вырастут? Тычет мне Степашину работу — а что мне тыкать? Я в этом ничего не понимаю. Намалевали красным как для быка — вот и вся комиссия!..

Нина Михайловна перевела дух.

— Какой-то, знаете, он у меня невезучий. На других посмотришь — прямо в руки все идет. Другие как-то за себя сказать что-то могут... я, я! Только и слышишь — я, я! Раньше-то говорили: я — последняя буква в алфавите... А мой — ну просто теленок, честное слово. Вот и с машиной с этой тоже. Или девушек его взять... Вы понимаете: ведь приличному юноше не с кем завести отношения. Разве это девушки? Проститутки, а не девушки. — Нина Михайловна брезгливо сморщилась и настойчиво повторила: — Прос-ти-тут-ки! Как одеваются! Как смеются! Курят! Тут у него появилась эта... — Нина Михайловна сделала короткую паузу, вытянула губы дудочкой и произнесла почти так же, как предыдущее: — Мо-дель. Представляете? Без юбки ходит. Труссы вот такие, вот досюда только, — и сапоги. А? Можете представить? Я говорю: Степашенька! Ну где же твои глазыньки? Где ж, говорю, глазыньки-то твои, сынок!..

В прихожей послышалось щелканье замка, скрип двери, и через пять секунд Степаша появился в комнате, заорав с самого порога так, что я вздрогнул от неожиданности:

— Ну что? Договорились?

Это был худощавый юноша лет двадцати трех, коротко стриженный и довольно броско одетый: розовая майка с синими разводами, фиолетовые джинсы и необыкновенно продвинутые в техническом отношении кроссовки: при каждом его шаге (а на месте Степаша почему-то не стоял, мотаясь, словно заведенный, из угла в угол) они музыкально мурлыкали, одновременно поражая воображение голубыми вспышками в глубине толстых прозрачных подошв. Поверх майки была надета хорошей кожи желтая куртка, которую, на мой взгляд, сильно портило подробное изображение златоперого орла с растопыренными стальными когтями, хищно свергающегося с небес на геральдическую змею. На шее у Степаша поблескивала золотая цепь, простота которой не искупала сложности часов на левом запястье. Этот сверкающий механизм жил полнокровной самостоятельной жизнью: то и дело попискивал, позванивал, иногда что-то бормотал и безостановочно гнал мелкие радужные картинки по цветному дисплейчику. Время от времени Степаша смотрел на него или между делом зачем-то нажимал одну из многочисленных кнопок сбоку. Смисла его действий я не постиг, однако было очевидно, что к банальному «который час» они не имели никакого отношения. Кроме того, в левой руке Степаша держал бутылку пива «Корона», из которой в процессе беседы время от времени отхлебывал, причем на шее у него двигался большой острый кадык. Надо сказать, меня всегда занимал вопрос: если в двенадцать часов дня человек пьет пиво, то что он пьет в двенадцать часов ночи? И если ничего, то как ему это удастся? Впрочем, интересоваться этим сейчас было явно не ко времени.

— Ну что? Столковались, что ли? — повторил Степаша хриплым уверенным голосом, за которым, закрой я глаза, мне помстился бы солидный муж.

— Чу, чу, чу, детинушка! — сказала Нина Михайловна, любовно глядя на сына и в то же время скованно улыбаясь в сторону гостя, в мою то есть, отчего лицо ее приобрело черты окоченелости. — Вот какие мы быстрые! А что нужно сказать, когдаходишь? Ну ладно, ладно... Сразу в бутылку. Ты же сам хотел поговорить, Степашенька. Я же тебе говорила, что Сергей, — (теперь она попросту показала на меня пальцем), — говорит, что...

Я ошеломленно вертел головой по мере безостановочных и резких Степашинных проходов от двери к окну и обратно.

— Говорила, говорит! — зычно воскликнул он, возмущенно махнув на ходу бутылкой. — Ма, что ты гонишь? Опять под клавишу косишь? Может, у тебя критические дни?! Так пойдипослипай! Я тебя сколько напрягать буду? Мне бабки нужны — бабки, а не рамсы! Не догоняешь, что ли? Мне пацаны счетчик включают! Тебе по барабану? Нет, конечно, — (голос Степаша обрел неожиданную глубину, он выпятил живот и закачался из стороны в сторону, желая, видимо, показать то состояние беззаботности, в котором находилась мать), — ты тут сидишь клавиша клавишей, мумишься! Тебя-то на счетчик не ставят! Тебе что стрематься? Это ж у кинда матка до кадыка, а тебе до банки. Так, что ли?.. Ты что, ма? Я просто офигеваю! Ты прикинь: им кал встряхнуть — как два пальца обоссать! Этого хочешь? Ты будешь лишние три кола из своей кислой хавиры выжимать, а мне беду под ребро?! Так, что ли?

— Ты что! — закричала в ответ Нина Михайловна, начав ни с того ни с сего подпрыгивать, как крышка на чайнике. — Ты как с матерью разговариваешь, скотина! Я для тебя все, а ты! Ты сам что! Сколько можно?! Ты что?! Как ты говоришь! Приди в себя!..

— Не надо меня лечить! — гаркнул Степаша. — Ты лучше себе башню поправь! Что, блин, не втыкаешься? Что вы тут шуршите? Мне бабки, бабки нужны, а не шуршание ваше!

— Почему все время деньги?!

— Нет, пожалуйста: ты давай кочуймай, а мне вилы! Для начала пару раз отмаздают, а потом по келдышу не глядя! Ха-ха-ха! Ништяк! Из-за того, что я их поганую лайбу коцнул, мне кеды в угол ставить. А ты будешь тут сидеть и считать копейки. Правильно! Тебе-то что!

— Копейки?! Это для тебя — копейки! Какие кеды?! Что ты сам? Ты когда? Сам?! Тебя!!! Это все, что у меня! Что ты сам?! Где есть?! Почему? Ко-пей-ки?! Я тебя спрашиваю — ка-а-а-а-пе-е-е-ей-ки?!

— Ты на это запала? Ништяк, пусть я лапты склею!

— Пусть!

— Вот именно — пусть!

— Да, пусть!

Выкрикнув это (похоже, на пределе сил), Нина Михайловна пошатнулась.

Я чувствовал неприятное сердцебиение, вызванное тем, что, с одной стороны, мне хотелось вникнуть в суть произносимого, а с другой, еще не вникнув толком, я уже с большим трудом пересиливал острое желание схватить Степашу за ворот роскошной куртки, подтащить к балконной двери (это можно было бы упростить, дождавшись момента, когда Степаша именно возле нее и находится; в крайнем случае одним коленом подлых и здесь же, переступив, вторым — в нос, чтобы не брыкался) и рывком перевалить поганца за перильце. «Чтоб вас обоих разорвало!» — подумал я, но все же вскочил и поддержал Нину Михайловну под локоть.

— Степашенька! — простила она, опираясь. — Степаша!

— Что Степаша? Двадцать пять лет Степаша! — отвечал сын. — Опять Степаша! Ты что? Лажать меня сколько можно? Мы ж с тобой запрессовали — а ты опять динамишь! Не, ну я от тебя съезжаю! Ты что, ма? Ты годами этот флэтуху толкать собираешься? Так и скажи: мол, так и так, не будет тебе ни хруста, пусть тебя режут лучше, чем я хоть рубль отсвинарю!

— Боже!

Нина Михайловна схватилась за виски и села на стул.

Степаша неожиданно замер на месте и долгим взглядом посмотрел в лицо матери. Должно быть, увиденное его удовлетворило, и он зашагал дальше.

— Мне для тебя ничего не жалко, — сказала Нина Михайловна, глядя мокрыми глазами почему-то не на сына, а на меня. — Ты знаешь! Я терплю все твои выходки! Я позволяю сидеть на шее! Ты не работаешь! Не учишься! Ты...

— Вот! Ну давай, давай еще об этом! Давай! Опять сначала! Сколько можно? Ну ты что, в самом деле такая дура?! Мантулить! Где я могу мантулить?! Что, ящики таскать? Спасибо!

— Почему ящики?! Почему ты ушел с курсов?! Я платила репетиторам, тянула тебя! Зачем? Учись тогда! Почему не учишься? Ты должен!..

— Ты меня долгами не грузи! Я ничего никому не должен! От винта! Заладила — учиться, учиться! Ты не сечешь, что в отчизне?

Он метал тяжелые фразы, успевая на лету отрубить у каждой хвост резким ударом ладони.

— Когда облом в полный рост, букварить без мазы! Не волочешь? Тебе объяснить? Это ж геморрой: пять лет драть — а куда потом впишешься? Или, может, мне в гужатник?.. Все, хватит митрофанить! Заколебала гонками своими. Мне воздуха нужны, а не советы! Грины, понимаешь? Повторяю: день-ги!

— Я не могу тебе все время давать, давать! Ты хочешь, чтобы я квартиру! За бесценно! А это все, что у меня есть! Все!

— Что же ты такая убитая? — язвительно спросил Степаша. — Не, ну правда, я не введу. Ты вот все талдычишь: учишь, учишь! А на себя посмотри — ты ж ученая! Ты же череп была! А что толку? Выучилась — и не в кассу. Сколько выгоняешь? Твоих дрожжей на берло не хватает. Поче-

му? — снова спросил Степаша и сам же наставительно ответил: — Да потому, что ты голимый совок. Ты знаний своих не умеешь применить. У тебя психология чисто совковая! Тебе горбатить-то влом. А ведь за просто так-то денег не платят! Надо инициативу проявлять, чтобы башли отстеги-вали! — воскликнул он и посмотрел на меня, словно ища поддержки. — Верно? А ты что? Сидишь себе... Так и будешь сидеть за горчичник, пока не попрут. Въезжаешь? А на пенсию выйдешь, что тогда? Тебе сколько до пенсии-то осталось? Это кажется, что долго, а потом не успеешь оглянуться. И что? Что тебе за пенсию назначат? Три копейки? Курам на смех. Ты прикидывала, как жить-то тогда будем? Куда мы с этими тремя копейками, а? Побираться пойдем? Ты прикинь к носу-то, прикинь!..

Он помолчал, потом сказал с мягкой укоризной:

— Не, ну правда: сама виновата, а сама теперь чешешь грудь табуреткой... Эх ты! Тоже мне: *не могу давать!* Вот как удобно-то! Классная позиция! Мое дело, значит, сторона... *Не могу давать!* А зачем ты тогда вообще нужна? Не задумывалась? Зачем тогда родители-то? Нет, вот ты скажи прямо сейчас, при посторонних: не задумывалась?

Замолчав, Степаша жестом рассеянного горниста поднес к губам бутылку пива «Корона», вытряс на розовый язык две светлые капли, а потом, недоуменно оглянувшись, с размаху катнул под диван.

Нина Михайловна всхлипнула и закрыла лицо руками.

## 17

Давно стемнело, и огни светофоров отражались в мокром асфальте. С черного неба густо летела серебряная морось. Дворники мерно шаркали, сгоняя воду.

Жизнь сводила нас с достаточно устойчивой периодичностью — раз примерно этак лет в шесть-семь (Огурцов по этому поводу при последней встрече даже пошутил: «Ты, Серега, будто носом чуешь: как мне с женой разводиться — так ты непременно на горизонте!»), — и с каждым витком мы становились немного ближе. Первый раз — во ВНИПНИ. Познакомились на овощной базе. Огурцов явился почему-то в джинсовом костюме, и было страшно подумать, во что превратится этот роскошный «врангель» к концу рабочего дня. «Не жалко?» — спросил я. «Что? — рассеянно отозвался Огурцов. — Это? Да нет, не жалко. Ты лучше вот чего... Сеструха недавно сапоги итальянские взяла, а ей велики. Тебе не нужно? Недорого». Пока я размышлял, появилась угрюмая нарядчица. «Стоите?» — неприязненно обратилась она к собравшимся. Собравшиеся в ответ так же неприязненно загудели. «Это вам не на машинке печатать, — злорадно повторила она, распределяя нас по хранилищам. — Тут думать надо!» Когда ученые потянулись к свекольным буртам, Огурцов поманил ее в сторонку и о чем-то кратко переговорил. «Ну что, не надумал? — спросил он затем, снова подходя ко мне. — Думай, думай. Если что, найдешь меня завтра. Я в секторе переработки... Да, чуть не забыл! — хлопнул он себя ладонью по лбу. — Не в службу, а в дружбу. Справочку вечером будешь получать, мою тоже возьми, лады? Она выпишет». Он кивком указал в сторону нарядчицы, после чего помахал ручкой и двинулся к воротам...

Что касается института, то там он либо стоял в коридоре, щелкая кроссворды, либо с озабоченным видом мелькал по этажам, вступая со своим братом исследователем в некие мимолетные отношения. Жизнь Огурцова изменилась, когда институту передали соседнее здание, из которого выселили рабочее общежитие. Ремонт этой развалюхи предполагалось произвести «хозяйственным методом», то есть силами института. К овощным базам прибавилась нескончаемая стройка. За день работы полагался отгул, но всегда кто-нибудь из немолодых тряс справками и скандалил, отказываясь. Огурцов тоже, сколько мог, увиливал от этого пыльного меро-

приятия. Но однажды все же принял участие и вернулся задумчив. Скоро его стало не узнать: рвался вне очереди, заменял заболевших, а через неделю и вовсе пропал, появляясь в отделе только в дни зарплаты. К тому времени он уже ничем не отличался от трех или четырех штатных институтских плотников: был хмур, неразговорчив, обут в пыльные сапоги, кепку и потертый ватник, и ничего временного в его облике не усматривалось. Еще недели через три Огурцов сделался в новом здании кем-то вроде прораба, то есть самым главным, если не считать заместителя директора по хозяйственной. Отныне по утрам его можно было увидеть не у подоконника с кроссвордом, а на втором этаже административного корпуса, где Огурцов пылил сапогами на летучке: что-то просил, что-то требовал, в чем-то отчитывался. Теперь при нем всегда была машина — бортовой «УАЗ», — на которой он то и дело куда-то уезжал; в конце концов и зарплату Огурцову стали платить не по отдельской ведомости, а по той, где администрация. Когда года через полтора проклятая стройка закончилась и пыль осела, Огурцов не вернулся к проблемам переработки, а попросту исчез.

Через несколько лет, уже в другую эпоху, я заехал в типографию, где с грехом пополам печатался юбилейный институтский сборник. У дверей на лестнице какой-то нетрезвый человек в черном халате показывал Огурцову большой красочный плакат-календарь, на глянце которого нагая девушка картинно боролась с мясистым удавом: голова животного закрывала ей причинное место, а одно из толстых колец — грудь. Огурцов раздался в плечах, погрузнел, говорил быстро, громко, неразборчиво и недовольно. «Вы чего, ребята? Это работа? — спрашивал он, брезгливо тыча пальцем девушке в пупок. — Это говно, а не работа! У тебя вторая краска ползет, не видишь? Ты глаза разуй! Вы цветоделение-то зачем делали? Подтираться такой работой! Мне-то по фигу, бумага ваша, хоть всю переведите, но за такую печать хрена вы от меня получите!..» Узнав меня, Огурцов типографского отстранил (тот безропотно отшагнул к стеночке), принял неожиданно обрадованно меня тормошит и распрашивать. Между делом высыпал несколько предложений: продать полторы тысячи пар джинсов из расчета двадцати процентов комиссионных, от чего я отказался сразу; пойти к нему мастером в пошивочную, что я тоже отверг без раздумий; взяться вместо Огурцова за печать вот таких плакатов; последнее предложение завязло в объяснениях: «У вас лицо-то есть?» — торопливо спрашивал Огурцов, а я никак не мог взять в толк, о каком лице идет речь: оказалось в конце концов — о юридическом. Огурцов спешил привлечь меня в свою деятельность — кривясь от нетерпения, толковал о сети реализации, стоимости тиражей, днях оборота и процентах прибыли. Я напряженно отшучивался. Тут, слава богу, появился главный инженер, которого я, собственно, и дожидался. На прощанье Огурцов протянул визитку и сказал с неясным сожалением: «Давай звони, поработаем». Уходя, я слышал, как он снова набросился на типографского: «Что ты смотришь? Ты предмет искусства изучаешь?! Ты на качество, на качество взгляни! Это качество? Колбасу в такое качество заворачивать!..»

Прошло шесть или семь лет, и однажды теплым воскресным утром меня остановили на Кутузовском проспекте. Чертыхаясь, я выбрался из машины и пошел навстречу сержанту. Плотный и розовощекий, он холодно, с прищуром, смотрел — и вовсе не на меня, а по-прежнему в сторону дороги, где время от времени проезжали машины. «Документики», — сказал сержант. Величественное безразличие, обращаемое ко мне, резко контрастировало с тем пристальным вниманием, что уделялось им довольно пустынной в эту пору проезжей части, и окончательно переводило сержанта в разряд явлений стихийных, на которые человек в силу ограниченности своих возможностей не может оказать сколько-нибудь значительного воздействия. «Пожалуйста», — вздохнул я, протягивая права, как вдруг он

взорвался целым вихрем суетливого движения и шума: побежал, оглушительно засвистел, стал махать палкой — и все для того, чтобы остановить баклажанного цвета джип, летящий со стороны гостиницы «Украина». Джип вильнул, затормозил — напоследок со скрипом и заносом — и взвыл задней передачей, подъезжая.

— Ну что ты машешь? — брюзгливо спросил большой и довольно упитанный человек в черных очках. — На хрена вас тут столько понатыкали?! Через каждые пятьсот метров!

— Превышение скорости, товарищ водитель, — сдержанно ответил сержант.

Казалось, он был несколько покоробен развязностью нарушителя.

— Что?! — изумился человек в очках. — Какое на хрен превышение? Как ты можешь знать, что превышение? Где радар?

— Пожалуйста, — ответил сержант, еще больше подбираясь. — Вот.

— Знаю я ваши радары! У вас же ни один радар толком не работает... тоже мне — радары!.. Где?

— Да вот же, — сержант указал на индикатор. — Девяносто пять километров!

— Ну а я что говорю? Я и говорю, что не работает! — захохотал тот. — Ты что, командир! Я сто двадцать шел — минимум! Минимум, понял? Ты видел, как я шел? Видел? А ты говоришь — девяносто пять! Где логика? Тараканов твоим радаром ловить, а не нарушителей! Понял? Хрена ли ты меня таким радаром ловишь? Таким радаром знаешь чего? Ковыряться кой-где таким радаром, вот чего! Ну уморил!..

Снял очки и повернулся. Это был Огурцов.

— А ты тут что? — спросил он, не удивившись.

— Да вот, — я пожал плечами. — Превысил...

— На чем?

— Вон... бежевая, — с безразличием затаенной гордости ответил я, махнув в сторону Асечки.

— На этом?! — показывая пальцем, спросил Огурцов и, помолчав, снова повернулся к сержанту: — Ты что, командир? У тебя совесть-то есть? Ты не видишь, на чем человек ездит? Заря автомобилизации! Да как он мог превысить, паря? Его с какой горы катить нужно, чтобы он превысил? Ты вот что, командир... ты отдай правешки-то да и... Не взял еще? Ну все, командир! Всех благ! Так держать, как говорится!..

Сержант смущался, пожимал плечами, чуть только не брал под козырек, а когда отъезжали, сердечно помахал жезлом.

Тормознули у ближайших ларьков. Огурцов был не один — в машине осталась сидеть какая-то красotka, скучно смотревшая в сторону и на третьей фразе разговора вполголоса аттестованная Огурцовым как «моя волчара».

— Ловят нас, мужиков-то, — весело сообщил он при этом. — Не успеваешь продохнуть. Небось даже карась какой-нибудь, если один раз с крючка сорвался, хрена потом к червяку подплывет. Ему мозгов хватает. А мы все лезем на ту же приманку. Чудно... Сам-то как? Все по тому же делу горбатишься?

— По тому же, — кивнул я.

— Отлично! — обрадовался Огурцов. — Есть для тебя работа!

— Да я работаю...

— Перестань, — отмахнулся Огурцов. — Что ты работаешь? Я вижу, как ты работаешь. Как работаешь, так и едешь. Нужно так работать, чтоб зарабатывать. Нет, ну просто обидно смотреть. Ты же головастый, Серега! Знаешь, какая шваль безмозглая крутится в делах? Три на пять правильно умножат — уже победа. Разума над этим... как его... Короче, там, конечно, одним умом не обойтись... хватка нужна, чутье... дороже ума стоит. Но все равно. Что ты сидишь как гнилой пень? ВНИПНИ! Внипенек! Ты чего?

Ты думаешь, это вечно будет? Ни хрена не вечно. Скоро устаканится — и все, уже не пролезешь. Ты давай, давай сейчас шевелись. Нароешь бабок, а уж потом своими бирюльками... цацками этими... уж я забыл, как и называлось-то, честное слово!..

— Да почему бирюльками, — сдержанно возразил я. — Ничего подобного. У нас контракты с тремя фирмами, и мы скоро...

— Ладно тебе! — снова отмахнулся Огурцов, великодушно предоставляя мне, как оппоненту, возможность не говорить глупости. — Высосут из вас соки эти фирмы, и вся любовь. Ну даже если не высосут, не украдут ничего — что тогда? Твоими железками-программками и в Америке-то не миллионы люди зарабатывают. Нет, ну на жизнь-то зарабатывают, конечно, зарабатывают! — Он поднял руки, немного уступая. — Так то в Америке! А ты не в Америке. И делать нам в Америке нечего... Все, все, все, мне некогда! Дай я скажу и поеду, а ты тут будешь рассуждать. Смотри сюда. Имеется эн объектов, случайно разбросанных на площади эс. Требуется автоматизировать обмен информацией между каждым из них и центром цэ. Сорок шесть бензоколонок! Ежечасные сводки о движении товара, раз в сутки — отчет. Все по локальной сети. А? Такая немудреная задачка для парочки-троечки головастых мужичков. Это не на день, как понимаешь. И не на год. Поддержка, расширение... Если возьмешься, включу в совет директоров. Получишь акции. Это кроме зарплаты.

— Да я же не специалист по таким делам, — поморщился я. — Ты пойми, Василий, я...

— Отсылаю в пункт первый, — равнодушно сказал Огурцов. — Про рассуждения. Порассуждай. А потом давай звони, поработаем.

Протянул визитку и пошел к машине. Банку безразлично кинул на тротуар — трудно было в урну ее бросить, что ли?..

Джип рванул с места в карьер, а я, помнится, допил воду, размышляя: а не позвонить ли и в самом деле Огурцову?

Но так и не позвонил, и уже трудно вспомнить почему. Должно быть, как всегда: сначала все как-то руки не доходили, а когда недели через полторы хватился визитки, ее уже не было: куда-то запропастилась, черт ее знает...

Еще лет через пять я стоял у подъезда. Клиент запаздывал. Было довольно холодно. Я поставил последний срок — еще пять минут, и все, — когда во двор медленно, будто крадучись, въехал черный «мерседес». Откуда-то едва слышно доносилась музыка, и поэтому было особенно заметно, как бесшумно — только мягко поскрипывал снег под широкими колесами — он прокатился мимо. Снежинки безмолвно кружились и скользили по его лакированному телу. Польшнули стоп-сигналы. Обе задние дверцы раскрылись. Из правой, крутя головой, выскочил бодигард. Из левой между тем с кряхтением выбирался какой-то крупный господин в черном пальто... без шапки... вот повернулся, блеснув залысынами...

— Это ты, что ли, показываешь? — недоуменно спросил Огурцов, озираясь. — С тобой секретарша договаривалась? Понятно... Ну тогда в этот раз я работы тебе, Серега, не предлагаю. Работу ты нашел себе лучше некуда. — Он хмыкнул. — Молодец... Ладно, что ж... давай показывай.

Располнел; да и взгляд был загнанный.

Та квартира не подошла; через пару дней я показал ему коммуналку на Пречистенке. Еще через три дня получил аванс...

Я въехал во двор, забитый дорогими машинами, кое-как притиснулся. Шагая к подъезду, поднял голову. Окна третьего этажа полыхали в полную силу.

— К Огурцову, — сообщил я вопросительно смотревшему охраннику. — Двадцать седьмая...

— Фамилия?

Парень потыркал клавиши переговорного устройства, сказал несколько слов, услышал ответ. И нажал кнопку, впуская.

Дверь квартиры почему-то была открыта.

— Дома? — крикнул я. — Эй!

Огурцов выставил из кухни пузо и призывно махнул рукой.

— Не закрывай, — глухо крикнул он, что-то между тем мощно дожевывая. — Дворничиха тудой-сюдой шляется... одежонку кой-какую отдаю. Заходи, заходи.

В коридоре валялись ключья шпагата и обрывки газет. Я мельком посмотрел в зеркало и пригладил волосы. Проходя мимо, заглянул в комнату. Свет горел вовсю, шкаф стоял нараспашку, из ящиков свисали до полу какие-то тряпки. На огромной кровати высился террикон какой-то рухляди и тряпок: я различил угол чемодана, ручку зонта, лаковый женский сапог... Мусора тоже хватало.

— Заходи, заходи! — невнятно повторил Огурцов, заталкивая кусок в рот указательным пальцем. — Что ты там междуешься! Давай! Я уж и не ждал...

В углу возле заваленной посудой раковины лежала на полу неряшливо сметенная куча битого стекла. Большую ее часть слагали зеленые и коричневые осколки бутылок, однако в немалом количестве посверкивал и хрусталь. Бутылки побились далеко не все: целые, числом около шестидесяти, выстроенные в каре, плечом к плечу стояли у балконной двери, исключая всякую возможность выбраться на воздух. Рядом с ними пристроился большой картонный короб, наполненный какими-то отходами. Снизу короб подмок и раскис, а сверху в нем густо воняла креветочная шелуха. Ярусом выше — то есть на столе, на поверхностях кухонного гарнитура и подоконнике — снова высились разнообразные бутылки (здесь порожних не было; что с крепким — большей частью раскупоренные; но выглядывали и непочатые), стояли тыркнутые наискось тарелки с зачерстневшей икрой (в одной торчало несколько окурков), пепельницы, вскрытые консервные банки. Валялись куски хлеба, мясные деликатесы в полиэтилене, маринованный чеснок, объедки пирожных, а также рюмки, чашки, стаканы. Стена была щедро заляпана чем-то вроде тертой свеклы с майонезом, чесноком и орехами. В целом эта большая кухня выглядела так, как если бы по ней проехал, отступая с боями, продовольственный обоз армии противника.

— Давай-ка я тебе стаканчик, — говорил Огурцов. — Который почище. Выпьем напоследок... Садись.

— Я на машине, — сказал я. — Почему напоследок?

— Ну и дурак, — сказал Огурцов, не услышав вопроса. — Хрена ли тебе в машине? Самая лучшая машина — такси. Ну, будем.

Припал к стакану, вытянул содержимое и стал закусывать.

— Дрянь огурцы, — сообщил он, морщась и что-то между делом сплевывая из набитого рта. — Помнишь, Серега, какие раньше были огурцы? То были огурцы. А это разве огурцы? Гандоны это, а не огурцы... Мяса хочешь? Давай, чего ты... Вон посмотри на меня. — Он похлопал ладонью по брюху. — Жрать надо, вот что. Сил не будет, если не жрать.

— Да ладно тебе, — сказал я. — Пиво есть?

— Под столом погляди. Ладно, ладно... вот тебе и ладно. Ни хрена не ладно. Сейчас посмотрим... — Он поднялся, тычком вилки сбил со стоящей на плите жаровни крышку, с металлургическим грохотом обрушившуюся на конфорки, и полез туда. Обернулся: — Гусь будешь? Гусь. Давай жри гуся, чего ты...

Я понял вдруг, что Огурцов пьян в дым.

— Гусь. Это ведь не страус. Верно? Что такое гусь? Птица. Такая ма-а-а-аленькая птица. Птичка. Ласточка с весною в сени к нам летит... Нет, я что хочу сказать? Вот мне все говорят — худей. А зачем? А то еще: из-за



стола вставить с чувством легкого голода... Хорошо, я согласен. Но ты прикинь: ведь легкого же! А? Лег-ко-го! Понимаешь?

Он тяжело сел, нагнулся к тарелке, взял обеими руками коричнево-золотую ногу пернатого и стал громко рвать ее зубами. Застонал, фырча и встряхиваясь, цапнул бутылку — мизинцем, чтоб не замарать, — налил, выпил, засопел, зачавкал. Но и гостя не забывал — косил на меня глазом, когда утирался тыльной стороной ладони.

Я отпил глоток пива. В этот момент негромкая возня в коридоре завершилась шелестящими шагами, и в кухню сунулась худощавая и встрепанная женщина. Раскрасневшееся скуластое лицо было до такой степени исковеркано волнением, что нельзя было даже приблизительно понять, чего больше она сейчас испытывает — счастья или ужаса. Сначала она немо шевелила белыми губами, а потом смятенно выговорила, встряхивая у меня под носом серо-голубую дубленку:

— Василий Петрович!.. И это можно?!

— Что ты ко мне с каждой тряпкой, — зарычал Огурцов. — Бери! Нет, стой, погоди... ишь обрадовалась. Серега, тебе ничего не нужно?

Дворничиха затаила дыхание.

Я помотал головой.

— А то смотри... Видишь, закрывается лавочка. Не с собой же тащить... Ну как знаешь. Бери, Фая, бери! — подтвердил Огурцов. — Пользуйтесь! Огурцов поносил, что уж...

И заорал, как только она исчезла:

— Фая! Фа-а-а-а-ая, мать твою так! Стой, погоди!.. Давай-ка вынеси это все. Что мы тут, как в помойке... а? Пусть вынесет, что ли?.. или ну ее? — спросил он, мутно оглядываясь. — Нет. Греть... таскать... Потом вынесешь. Ты лучше вот чего... коробку еще одну тащи, вот чего... кости бросать некуда. А это потом, потом... Все, иди, Фая, иди, ну тебя к аллаху... после вынесешь... а не вынесешь — тоже ладно... заплачено.

— Ты переезжаешь, что ли, Василий? — спросил наконец я.

Огурцов икнул и поморщился. Затем положил вилку рядом с тарелкой.

— П-п-п-погоди, — сказал он. — Ты чего? Я же тебе звонил... или что?

— Черт тебя знает, Василий, — в сердцах сказал я. — Может, кому и звонил. Мне не звонил. Это я тебе звонил днем — ты хоть помнишь? Я аван привез вернуть.

— Какой аванс?

— Ты мне аванс давал под расселение. Пречистенка — помнишь? Там ничего не получается. Как что-нибудь подходящее подвернется, я тебе свистну. А это возьми пока.

— А-а-а! — протянул Огурцов, машинально принимая деньги. — Погоди, погоди! Так ты не знаешь!.. Вот чего! А я-то думаю...

Придержавшись за стол, он поднялся во весь рост, выкатил пузо, приосанился — шея налилась и пошла складками, да и рожа еще больше запунцовела, — левой рукой накрыл лысину тоненькой пачкой купюр, выпучил глаза и грянул, дурашливо прикладывая к виску сальную ладонь:

— Огурцов Василий Петрович, греческий подданный. Будем знакомы...

Снова нашарил стул и сел.

— Это в каком смысле? — спросил я. — Черного полковника дали?

— Отъезжаю, Серега, вот в каком, — сказал Огурцов. — Вот в каком, Серега. Ни хрена не полковника. Вот так. Хватит. То-то я смотрю... а ты не знаешь... понятно. Выпьем тогда. — Налил, выпил, сморщился. — Ну извини. Фу... А я хотел позвонить, да как-то... Ладно. Короче, прощаться будем, Серега. Не пошел ты ко мне работать. Ну и правильно... У тебя вон свое дело теперь. — Он хмыкнул. — И ничего. Никакой трагедии... Я бы на твоём месте что? Я бы раскручивался... без этого никак... Только не говори, что нету денег. Денег всегда ни хрена нет. Смотри сюда. Берешь кредит. Нанимаешь людей. Днем и ночью гоняешь их, сволочей, дрючишь

их, гадов, во все дыры... понял?.. а, ладно. Ты теперь сам с усам. Короче, я дела свернул. Вот так. Дела-делишки. Все. Прекратил. Вынул, сколько вынулось, и черт с ними. Мне хватит. А-а-а, теперь не важно. После драки кулаками махать. На хрен нужно. Правильно? Я так не могу. Я или в полную силу, или... — Он мерно тыкал вилкой в тарелку и механически говорил, глядя в нее же: — Баста. Нет, ну а как еще? Когда — Лифшица, я тогда еще не понял. То есть нет... я понял, да... но не испугался. У него были свои дела. Я думал — может, пережал кому. Два года прошло: бац — Владик. А что Владик? Владик вообще все только по-белому. Ругались даже. И что я могу?.. Они не понимают. Ну ладно — заработал, погорел, снова заработал... это нормально. Игра. Выше-ниже. Хорошо. Вложил — получил, снова вложил — потерял, опять вложишь — заработаешь. Не страшно. Бедный, богатый — все временно. Но это! Они не понимают, что это навсегда?! Отморозки... Встретились. Запрессовали. Один бабки отслонил. Другой у подъезда... бац, бац. Как в кино. Пять пуль. А это не кино... И что делать? Поеду. Я бездарь... двоечник... Талант — это музыку сочинять или книжки... понятно. А дело делать — это всякий может, что там... вот и пусть без меня...

Огурцов замолчал, потом потер щеки ладонями и по-собачьи встряхнулся, трезвея.

— Ладно, что я тебя грузу... Выпей, чего ты. Захлопотался я, не веришь... то-се, туда-сюда... бумажки... вид на жительство... Пока с деньгами разобрался там — у-у-у! Заколебали. Вот пеньки эти греки... Все у них проблема. Дом покупать — р-раз. — Огурцов загнул палец. — Приставучие. Открой им рабочие места — и все, и хоть ты кол на голове теши. Говорю — не хочу. Наоткрывался, говорю, хватит... Не понимают. Ну мне чего? — плюнул, открыл места... сервис купил, чтобы отвязались, провались он пропадом. Теперь в этот сервис потекут бабки, уж я чувю. Пока его раскрутишь. Это не у нас: палку воткнул — растет... Морока. Лику с детьми позавчера отправил. Валентина, стерва, сына не дает... и первая самая — тоже не отдает... озверели они, что ли?.. Все равно потом увезу. А-а-а, не проблема — приеду, увезу ребят... Такие дела... Короче, купил я там домишко — р-р-раз. — Огурцов стал было загибать палец, но палец уже был загнут; недоуменно посмотрел и потряс ладонью. — И еще кое-чего по мелочи. Буду в Греции проживать. Все, хватит. А знаешь почему? Потому что...

— То есть квартира тебе больше не нужна? — тупо спросил я.

— Квартира? — удивился Огурцов. — На кой ляд мне теперь квартира? Нет, Серега, все. Квартира у меня теперь в другом месте. Нет, не квартира, — что я говорю: квартира, — дом, а не квартира.

Физиономия у меня, должно быть, сильно вытянулась.

— Ты чего? — спросил Огурцов, беря со стола деньги. — Да ладно тебе. На других зарабатываешь. Помню я эту квартирку-то... на Пречистенке-то... Хорошая квартирка. Все, проехали Пречистенку... Козел я, козел: думал — оборудую квартирку на старость, — бормотал он, считая. — Арочки... кухню... спаленки... Дудки. — Сунул в кармашек и сказал, пьяно усмехаясь: — Серега, а зачем ты мне штуку отдал, я что-то не врублюсь... Я же уезжаю. Это ж моя проблема. Я б уехал — аванс у тебя бы остался. Честь по чести. Не деловой ты, Серега.

И пожал плечами.

Нежданный снег шуршал всю ночь, под утро стих, и тут же его влажную шкуру схватило морозцем. В десятом часу я подъехал к бензоколонке километрах в тридцати за окружной, и, пока стоял с заправочным писто-

летом в руке, было слышно, как ветер выметает из леса листву и она со стеклянным шорохом скользит по зеркальному насту.

Тупорылые грузовики тащились один за другим, с натужным гулом взбираясь на пологий холм и так же один за другим пропадая за пегригом.

Я закрутил крышку бака и сел за руль.

Встречная полоса была свободна. Скоро я нагнал армейскую колонну, если можно назвать колонной две следующие друг за другом машины: первым шел командирский «уазик», следом тянулся крытый брезентом бортовой «КамАЗ». Они не спешили. Обгоняя головную, я бросил взгляд направо и увидел солдата, который, свесив локоть за окно, безучастно следил за моим маневром. В зеркальце заднего вида долго маячили золотистым сиянием их зажженные фары.

Дорога скатывалась к Оке, в серебристую мглу низких облаков и сероватого снега.

Я снова ехал в Ковалец — уже не счесть, в который раз: пятый? шестой? Все они были похожи, как близнецы: та же дорога, тот же асфальт, обочины, лес, косогоры, Ока, заправки, чашка чаю в придорожной «заезжаловке», а потом желтое худое лицо Павла на серой подушке, погасшие глаза, в которых не было ничего, что могло бы назваться жизнью, и голос, который нужно было бы называть шелестом: «Ладно, ладно... все нормально, чего там... Видишь вот, какая гадкая вещь — полипы... Такая дрянь, а... Черт их знает, откуда они взялись. Ну ничего не поделаешь. Главное — захватили вовремя. А то ведь и вообще бы... Ничего, ничего. Я спрашивал врача: пускай, говорит, немного подживет, а тогда уж вторую операцию — ну чтобы все вернуть на место...» И он вопросительно смотрел на меня: понимаю ли я, о чем идет речь? Я понимал, о чем шла речь; я согласно кивал и отвечал Павлу его же словами: «Конечно, что ты! В этом деле главное — вовремя захватить. Это они молодцы. Коновалы, конечно, но видишь: все-таки справились. Ничего, ничего. Тебе главное — окрепнуть. А тогда уж можно и вторую операцию. Конечно! Ничего, ты еще будешь у нас как огурчик!» — изо всех сил стараясь говорить тем отвратительным бодрым тоном, который был должен, по идее, вселять в больного надежду, но по причине своей фальшивости не мог конечно же ни в кого ничего вселить. Впрочем, скорее всего я мог бы говорить каким угодно тоном и что угодно — даже правду, — поскольку и самая суровая правда не оказала бы на Павла никакого действия: Павел был защищен надеждой, покрыт ею словно крепчайшей броней, способной противостоять любому удару, — надеждой из тех, что умирают последними, то есть покидая уже стынущее тело... Он был еще жив, и, пока он был жив, настоящей, истинной и последней правдой являлось только то, что защищало его от смерти.

Хирург Косталенко действительно говорил об операции, однако из его слов можно было заключить, что сам он не видит в ней никакого смысла. Кроме того, и после первой-то Павел стоял так близко к краю, что о второй в ближайшее время нечего было и думать.

Я чувствовал постоянное стеснение где-то не то в горле, не то за грудиной, но это была не болезнь, не сердечный приступ, а просто ощущение беды, вкус несчастья, красивший все кругом в более темные тона, чем на самом деле; даже состояние быстрого движения казалось фальшивым, и было легко вообразить, что машина вовсе не мчится к городу Ковальцу мимо полупрозрачных темных лесов, на опушках которых ветер гонит по насту желтые и бурые листья, а, напротив, мертво покоится в одной и той же точке мирового пространства, правда без усталости крутя колесами, чтобы подкатить под себя землю.

Мокрый серый асфальт летел навстречу, я смотрел в лобовое стекло, на котором начали появляться, разбиваясь в прозрачные копейки, дожде-

вые капли, и видел смеющееся лицо Павла, повторявшего: «Мало каши ел, Серега! Маловато каши!..» Павел сидел за круглым столом, покрытым цветастой плюшевой скатертью. Опершись локтем, он выставлял левую руку, а я, сам изнемогая от обессиливающего смеха, налегал на нее всем весом своего невзрослого тела, норовя все же повалить. «Подожди! Подожди, Павлуша! Сейчас! Ну ты что! Нечестно! Ах так?! Подожди же!» — пыхтел я. Вокруг стояло туманное сияние, в котором все окружающее расплавлялось и становилось невидимым, и только оба мы были высвечены солнцем и превращены в отчетливую, навек теперь неизменную картину.

Вторая операция должна была, как и первая, продлить Павлу жизнь, но продление жизни обещало быть столь недолгим, что ради этого куцевого срока не стоило, пожалуй, принимать новые муки. Какая разница — недель или месяцем позже; пусть годом, не важно. Что такое год? — триста шестьдесят пять дней, каждый из которых начинается с замены калоприемника. Нет, нет. Не нужно.

Павел исходил из неправильных посылок: полипы... надо окрепнуть... вторая операция... все вернется на место. А на самом деле: канцер в последней стадии... жизнь на волоске... и в любом случае вонючая дырка в животе до самого конца.

Я гнал Асечку дальше и дальше по дороге, которая то кривилась и тогда становилась видна только на несколько сот метров вперед, то совершенно выправлялась и в этом случае простригала лес на вершинах покатых седых холмов, горбящихся до горизонта.

Снег начался, как всегда, неожиданно: пространство подернулось мелкой рябью, заволновалось, а уже через несколько минут казалось, что кто-то машет огромными мятыми простынями и они трепещут и хлопают высоко над землей.

Скоро дорога совсем захужала, спешить уже не имело смысла, и километров через шесть я остановился у придорожной закусочной. Окно смотрело все на то же шоссе, и поле, и черный лес за полем, — все одинаково заштрихованное белыми карандашами снега. Чайный пакетик медленно тонул в кипятке, и желто-красные протуберанцы, кривясь и расслаиваясь, пронизывали воду. Буфетчица погромыхивала посудой, еле слышно тренькала какая-то музыка. Бойко подкатила светлая «Волга». Подняв воротник, сунув руки в карманы и оскальзываясь, водитель просеменил к дверям, а войдя, ругнул погоду, гололед и американские сигареты. Через минуту он уехал, нещадно газуя и оставляя за собой блестящий след ледяного наката, и шоссе снова опустело. Тревога почему-то отступила, и я подумал, что бессмысленно жаловаться на то, будто живешь не своей жизнью: значит, своей, если именно ты ею живешь. А Павел бы сказал, наверное, что жизнь хороша любая, и был бы прав: она и впрямь хороша, и впрямь можно жить любой. Ах, Павел, Павел... ладно, ладно, может быть, все будет нормально. Бог даст... Иногда проезжала машина, снег за ней вихрился и летел комками из-под колес. Можно было бы и вот так: колесить туда-сюда, ненадолго останавливаясь у редких закусочных, покупать русские сигареты, балагурить с буфетчицей, а потом снова ехать, и ночью ехать, и приезжать под утро. И, должно быть, видеть во сне все то же самое: набегаящий асфальт, закусочные, героических и неправедных ментов и огни стоп-сигналов... Работа есть работа, Огурцов прав. И никакой трагедии... Я кусал хлеб, жевал сосиску, прихлебывал чай, заснеженная дорога была пуста, а небо уже начинало сгущаться, набирая вес, и, стало быть, прихотилось иметь в виду, что часам к пяти окончательно стемнеет. Потом проехала та маленькая колонна, которую я совсем недавно обгонял. Стекло стало позванивать: «КамАЗ», как носорог, неспешно пер по шоссе, желто горели фары, и было похоже, что для его грубых колес асфальт никогда не бывает скользким.

Я расплатился, сел в машину и снова нагнал вояк неожиданно быстро: выехал на перегиб холма и увидел их внизу, в ложбине, где дорога по короткому мосту перемахивала узкий овраг и тут же брала немного влево.

Мост был, к счастью, свободен; грузовик занесло уже при съезде, и он завалился на косогор, пропахав боковиной снег и жухлую траву до черной земли, а задним бортом покорежив метра полтора металлических перил. Левые колеса нелепо висели, и один из солдат пинал переднее, высоко задирая ногу, — должно быть, именно затем, чтобы оно медленно вращалось, — а второй стоял перед офицером, который кричал что-то матерное и размахивал руками.

Когда я припустил стекло, стало кое-что слышно.

— На козе тебе ездить, Каримов, твою мать! На козе! Знаешь, твою мать, почему? Отвечать, когда спрашивают!

— Не могу знать, товарищ капитан, — дрожащим звонким голосом отвечал Каримов.

— Не могу зна-а-а-ать! Чурка, твою мать! Потому что ты козел и есть! Козел ты рогатый! Ты сколько машину водишь, баран! Два года! Ты видишь — гололед! Какой дурак тормозит на повороте?! Ты хоть понимаешь, что везешь? Или тебе все равно? Ну можно ли тебе руля давать, барану такому! Тебе самокат нужен, самокат, твою мать! А если ступица сломалась?

— Не сломалась, товарищ капитан...

— Молчать! А если б сломалась, ты б дальше на себе их попер?! Отвечай, когда спрашивают!

— Не могу знать, товарищ капитан!

— Не могу зна-а-а-ать! Остолоп! Что стоишь?! Бери лопату! Окунев! Ты что там колесо дроишь? Бери вторую! Бараны, вашу мать!..

Потом он наклонился к окну, взявшись за кромку стекла испачканной в масле рукой, и возбужденно спросил:

— Товарищ водитель, до деревни не подбросите? Видите, какая петрушка. Трактор нужен.

— Да пожалуйста, — кивнул я. — Прямо по дороге?

Метров триста мы проехали молча. Капитан ерзал на сиденье, напряженно присунувшись прямо к лобовому стеклу, словно от его нетерпения зависело, как скоро мы доберемся до искомой деревни. Вдруг шумно вздохнул, словно что-то для себя решив, и сказал:

— Вот баран этот Каримов! Так-то он ничего водит... Черт его потянул. Я сам двадцать лет за рулем. В такую погоду едешь — каждые пять минут дорогу нужно пробовать. Чуть тормознул, смотришь: ага! Ведет! Сбавь скорость! Моргни фарами: мол, так и так, товарищ капитан, нет возможности при настоящих погодных условиях соблюдать выбранный скоростной режим!.. Нет, будет переть, как на комод: дождь не дождь, снег не снег — пока рожей в кювет не въедет... вот баран этот Каримов!

— Бывает, — сказал я. — Да ладно. Дернете трактором, и все дела.

— Дернете! — неожиданно возмущенно возразил капитан; засопел, нахмурился, переживая. — Легко сказать. Не так-то просто это: дернете. Наковыряешься еще, пока эту дуру на колеса поставишь... да и борт поуродуешь. Вот баран! Нет бы придержать... Ведь понятно: снег же! Асфальт-то холоднее: его тут же и прихватывает. Да еще в низине. Я знаю. Я двадцать лет за рулем. Я как что — сразу. Р-р-р-аз, р-р-раз! По тормозам. И все понятно — скользко, не скользко... Это же как дважды два: низина, снег пошел, можно к бабке не ходить. Два года ему толкую... Так-то он парень ничего, этот Каримов. Разогнался, мать его так! Ну и конечно же: тут же — р-р-раз — и в кювет!

— Бывает, — повторил я. — Да ничего. Сейчас трактором...

— Курить можно?

Он чиркнул спичкой, жадно затянулся, долго не выдыхал, потом сказал сдавленно, сдерживая кашель:

— Ладно, чего там... ничего страшного, конечно. Тут такие дела, что... Живы все, и слава богу... Досадно просто: на ровном месте, можно сказать. Ладно. Я еще пацаном был, у отца в колонне дядя Миша когда-то... еще на пятьдесят первых ездили. Вот уж мастак был, этот дядя Миша. У него на все две истории. Первая: выпили по триста, по бутылке красного — и поехали. А вторая: выпили по триста, по бутылке красного, а один не пил, он-то и перевернулся!

Капитан захохотал, а отсмеявшись, горестно выругался.

— Весной из самого Омска колонну гнал — за три дня доехали, как из пушки, — сказал он. — А тут триста километров второй день одолеть не можем... Все не слава богу. То одно, то другое. Только погрузились, с аэродрома выехали — радиатор пробило. Как? чем? на ровном месте! Соплями-то не залепишь... Хвать-похватъ, на второй сгоняли, другую машину пригнали, перегрузили, двинулись — тут у него всю электрику замкнуло к черту, едва не сгорели... Пока разобрались, пока туда-сюда, только двинулись — трах: тормозной шланг порвался, будь он неладен... Без тормозов-то куда? Едва починились кое-как, отъехали — на тебе, в кювет угодил! Тьфу! Уж я не знаю... Вот не хотят машины с таким грузом ехать, честное слово. Что хочешь, то и думай... Тормозни у самосвала, будь добр.

— А что везете? — спросил я, притормаживая.

Капитан отвернулся, словно не слышал вопроса, и взялся за ручку.

— Вот спасибо, выручил, — сказал он, когда машина остановилась. Выбрался наружу, придержал дверцу перед тем как хлопнуть и все-таки ответил: — Что везем, что везем... Лучше, браток, и не спрашивай. Горе одно. Ладно, спасибо...

Придерживая рукой фуражку, он торопливо пошагал к самосвалу, и только сейчас я увидел на правом его рукаве черную с красной полосой повязку.

Через полчаса я уже въезжал в Ковалец. Зажглись фонари, и снег вокруг них кипел и кружился.

\* \* \*

Людмила открыла мне, радостно ахнув, и сказала, что уж не чаяла дожидаться по такой погоде; что погода никуда не годная — это что ж за октябрь? если такой октябрь, что в декабре будет? — вообще не разберешь; что вчера и позавчера ходила по два раза — утром и вечером, и сегодня была утром и нашла Павла очень оживленным, из чего заключила, что он, слава богу, пошел на поправку; и что сейчас собиралась уж идти снова одна, видишь: и в доказательство предъявила матерчатую сумку, в которую продолжала натyrкивать всякую всячину: большую бутылку воды, котлеты, яблоки... Мы несколько минут топтались в тесном коридорчике, Людмила путалась в рукавах пальто, я совал ей конверт, а она, как всегда, спрашивала: «Зачем же это? Зачем?» Я сказал: «Слушай, ну что ты мне морочишь голову?» — и тогда она взяла со вздохом, пересчитала и радостно сообщила, что завтра купит парного мяса и накрутит Павлу еще котлет — он любит.

Павел и в самом деле был оживлен. Людмила заняла стул возле окна, а я присел на кровать у него в ногах. Как на грех, в тот вечер у всех четверых обитателей палаты сидели посетители, стоял гомон, и я невольно выхватывал из этого гомона отдельные фразы — их можно было бы при желании объединить в любом порядке, и в результате получился бы нормальный больничный разговор, ничем не хуже других больничных разговоров. Я и сам произносил похожие, когда представлялась возможность.

Впрочем, возможностей было немного, потому что Павел оказался нынче удивительно разговорчив. Глаза блестели, и он часто и резко крутил головой по сторонам.

Он все толковал о своей работе, будто уже завтра собирался выходить и браться за дела, и время от времени делал замечания, смысл которых я вовсе не улавливал; Павел перескакивал с одного на другое, а то еще мельком упоминал неизвестных людей так, словно я жил с ними бок о бок, знал всю подноготную, и поэтому то, что Павел о них рассказывал, было мне понятно и смешно.

— Чуйкин в нашем деле ничего не понимает... Как нерусский, честно! Я ему говорю: ты же нерусский, Чуйкин! Смеется... У него забот полон рот... ни плана, ни договоров. Я говорю: Чуйкин, да у тебя на прошлой неделе Семаков с Трушиным перепились, чуть пожар не сделали!.. Трушин — тот еще деятель, я его насквозь вижу. Как ему премию выписывать — так давай, а работать — пускай другие. Это дело? Нет, я так не оставлю... пусть Горячев или дело ставит, чтоб все по-людски, или сам уходит! Понимаешь, Серега? Найдутся люди на его место! Что ж, заколдованное, что ли? Ничего не заколдованное!.. А то, что я на пенсию могу раньше, — я же говорил, у меня полевого стажа десять лет, — так я еще подожду, подожду... Нет, пенсию-то я оформлю, а работу не брошу... Что ты! Это у нас раньше все бартером платили... бывало, то блюдами дадут, то чашками, и делай с ними потом что хочешь. А теперь не так, теперь уж нормализовалось... не лимитирует... И работы полно — только делай!..

Я слушал его, стараясь улыбаться и кивать, подтверждая, что да, мне интересно и смешно; на самом же деле снова чувствовал тревогу и стеснение сердца. Оживленность Павла была нездоровой, и то, что он с птичьей порывистостью часто и резко крутил головой, тоже было неспроста.

— Да, да, конечно, — кивал я, пытаюсь поймать ускользающую мысль.

Скованно улыбаясь, он бормотал и шевелил пальцами, будто выбирая из воздуха нужные ему слова... Я смотрел на него — и уже, кажется, начал что-то припоминать, некий неясный проблеск забрезжил передо мной, в груди похолодело, я вот-вот должен был уразуметь нечто важное, — но тут Людмила, как назло, громыхнула стулом, подъезжая ближе к постели, — и догадка, мелькнув в подсознании, так до поры до времени и не выбралась на поверхность. Я только невольно поморщился и коснулся ладонью лба.

— Есть, есть тебе лучше нужно, — со вздохом сказала Людмила. — Ты погоди трандычить! Слышишь, Павел? Котлеты-то, котлеты! Тебе крепнуть нужно. Я завтра мяса еще куплю. Свежие котлеты, хорошие.

Павел взглянул на нее, повернув голову и сощурившись, но как будто не разглядел — секунду помолчал и продолжал говорить:

— Полно работы, понимаешь? Вике говорю: полно работы, только работай. Не хочет, заспанка такая. Я говорю: иди в экспедицию работать этой... как ее... — Он запнулся и молча пошевелил губами. Людмила рассмеялась и вставила: «Да пошла же она работать, я тебе говорила!», но Павел не обратил внимания на ее слова. — Этой работать... ну... в экспедиции... Это же экспедиция, а не на рынке картошкой торговать. — Снова оживился: — Поискать такую работу. Зарплата. Премия. Потом, видишь, вон — дачи дали. Это не фунт изюма — дача! Это земля, понимаешь? Она-то мне говорит: давай продадим... говорит, половина моя... Она, что ли, получала эту дачу? Она?

— Да ладно тебе, Павел, — протянула Людмила. — Что ты в самом деле...

— Она получала? Нет, не получала. А говорит — давай продадим. Это дело? Я говорю, это же не пустяк какой, это земля, понимаешь ты или нет, в самом-то деле!.. это же самая настоящая...

— Ты ляг, Павел, ляг, — сказал я. — Ты чего? Не нервничай. Ляг.

Павел замолчал, странно глядя на меня. Его серые глаза с напряженными сгустками зрачков были совсем близко, но казалось, что он смотрит откуда-то издалека, и я представил вдруг, что сейчас он поднесет ко лбу

ладонь, чтобы взглядеться лучше. Но он, разумеется, не сделал этого, а только снова — раз! раз! — подергал головой вправо-влево. Медленно опустился на подушку. Взгляд уперся в потолок. Глаза вели себя так, как если бы Павел разглядывал мозаику. Я невольно посмотрел вверх. По белому потолку наискось змеилась длинная трещина.

— ...самая настоящая... земля... — повторил он.

— Ты поспи, поспи. — Людмила взяла ладонь Павла в свою и легонько покачала. — Поспи-ка, вот чего. Ишь раздухарился. Ладно тебе. Ты ешь. Тебе хорошо есть надо. Я котлеты в тумбочку положу. Поешь потом. Да?

— ...недвижимость, — пробормотал Павел и закрыл глаза.

Мне тоже хотелось подержать на прощанье его руку, но я боялся его потревожить — и так и не решился.

*(Окончание следует.)*





---

---

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

\*

## ТРЕТЬЯ ПЛАТФОРМА

\* \*

\*

Война была закончена. В поместья,  
Кто выжил, те вернулись, дорогие;  
Звучали завоеванные песни —  
«Король Анри Четвертый» и другие  
Французские и арии из опер:  
«Жоконд, или Искатель приключений»  
Играл оркестр, как где-нибудь в Европе,  
И знал их Александр, и пел Евгений.

Наверное, и тихий Федор тоже  
Их напевал в московском пансионе,  
И в этом смысле мы на них похожи  
Году в сорок шестом: на общем фоне  
Побед и жертв — трофейная обнова —  
«Лили Марлен» с ее походным шагом  
Навстречу нам, и песенка ночного  
Бомбардировщика с пробитым баком.

Еще одна строфа была бы лишней,  
Я все сказал: тех детских впечатлений  
Достаточно, чтобы вдохнул Всевышний  
В двух-трех подростков стихотворный гений,  
И если я, на двух зеркальных строфах  
Не оборвав себя, кончаю третьей,  
То потому, что в этих катастрофах  
Стареет солнце, но взростеют дети.

\* \*

\*

На расстоянье, видимо, лет в сто  
Никто из нас бы гения в обиду  
Не дал, купил бы шубу и пальто,  
Вступился бы всерьез, а не для виду,  
И, слушая, поди, в десятый раз  
Любимую свою, сороковую,  
Ты говоришь, что Моцарта бы спас,  
Не дал бы умереть ему, любую  
Нашел бы сумму, вылечил, служил  
Ему, у ног лежал бы, как собака.

У Моцарта была собака, выл  
 Пес, шел за гробом, полный слез и мрака,  
 На кладбище остался под дождем,  
 Домой не шел: разлука не под силу,  
 И землю рыл, и умер тем же днем.  
 И сброшен был к хозяину в могилу.

### Галстук

Есть галстук: служит мне лет тридцать, темно-синий.  
 Смелее был бы я, так черный бы завел.  
 Печальный компромисс. Горгон боюсь, эриний  
 Ввиду грядущих драм и безнадежных зол  
 И в ящик каждый раз убрать его подальше,  
 Поглубже норовлю, чтоб он мне на глаза  
 Не попадался. Есть, есть что-то здесь от фальши  
 И слабости души: все видят небеса.

Да, раза два в году, а то и три, четыре —  
 Чем дольше я живу, тем чаще нужен мне  
 Он, жалкий, — страшно жить и скользко в этом мире.  
 Не надо объяснять, не правда ли, вполне  
 Понятно и без слов, что прочен старый узел,  
 Что, в петлю головой ныряя, как в хомут,  
 Иду туда, где рок все к яме свел и сузил,  
 Туда, куда и все, потупившись, идут.

### Третья платформа

Не Вырица даже, а третья платформа  
 За Вырицей. Что за название: «Третья  
 Платформа»? Увы, не хватило на эти  
 Платформы названий — и стали, как норма,  
 Привычны затерянность и неудобство.  
 Я даже подумывал новую школу  
 В поэзии так окрестить — и сиротство  
 Ее подчеркнуть, новизну и крамолу.

Невнятность ее и туманные цели,  
 Не надо величия замысла, что вы!  
 Я стал бы ее основателем, ели  
 И сосны служить мне казались готовы;  
 Не надо иллюзий: собаки да козы.  
 С чего вы решили, что вы виноваты?  
 Лишь дикий шиповник, да летние грозы,  
 Да столик на дачном участке дощатый.

Пишите как хочется! Нет ни литфонда,  
 Ни дач государственных, ни государства,  
 На просеку выедешь — до горизонта  
 Глухое, родное, еловое царство,  
 Народ, выпивающий в праздник и в будни,  
 Вон в мшистой канаве лежит представитель.  
 Прекрасная школа! Чем школа безлюдней,  
 Тем лучше: ты сам ученик и учитель.

\* \*  
\*

Все кажется, что в синем балахоне  
С утра пораньше гость пришел — и ждет  
В саду, пока хозяин не проснется.  
Люпины — темно-синие тихони.  
Лилово-нежный тоже им идет.  
Стоит такой весь день, не шелохнется.

Припомнишь флорентийскую весну.  
А если быть в Италии весной  
Не довелось, то видел на полотнах  
Такую синеву, голубизну.  
Еще свежо, еще не давит зной,  
Еще нет лиц лоснящихся и потных.

Не важно, где живешь ты: где б ни жить —  
Приходит радость в гости, — были б силы  
Ответить на привет ее, с крыльца  
Спуститься к ней, тайком поговорить,  
Забыть про тьму и свежие могилы,  
Настойчивую тень стереть с лица.

\* \*  
\*

Он снимает здесь дачу, знакомы  
Мы недавно. Приятный старик,  
Тихий, смирный, не мечущий грома  
В демократов, заведших в тупик  
Нашу бедную, но дорогую,  
Что недавно великой была.  
Он заводит беседу другую,  
Про житейские больше дела,  
У него двое внуков и дети:  
Сын в Москве и в Америке — дочь.  
Облепиха, — прочел он в газете, —  
От давления может помочь.  
Облака золотого оттенка  
Громоздятся над нами, как Рим.  
На зеленом углу Осипенко  
И Урицкого мы говорим.  
Здесьних улиц остались названья  
От двадцатых — тридцатых годов.  
Ель шумит, переводит дыханье.  
Хорошо бы и вовсе без слов  
Обойтись. Постояли — и тихо  
Разошлись: он к себе, я к себе.  
И зачем мне его облепиха?  
Мысли лучше идут при ходьбе.

Кто обыденность эту на плечи  
Нам взвалил и земные дожди?..  
Ты хотел бы осмысленной встречи  
На нездешнем, волшебном пути?

Ты хотел бы пернатого шлема,  
 Как безумец один говорил?  
 Впрочем, это особая тема.  
 Ты хотел бы сверкающих крыл,  
 Ты вопроса хотел бы, ответа,  
 Как полуночный гром, на него?  
 Не мила тебе будничность эта  
 И загадочность, странность всего?

\* \*  
 \*

Иногда собаки, и правда, с такой тоской  
 И смятеньем глядят нам в глаза, иногда вороны  
 Так умны, словно поняли басню, — и смех людской  
 Их обидел, у них, так сказать, есть свои резоны,  
 Иногда кошка так поглядит, словно все про нас  
 Знает, лошадь посмотрит цыганская как философ,  
 Словно жить на земле им случалось уже не раз  
 И несчетное множество горьких задать вопросов.

Иногда понимаешь, что разум вокруг разлит  
 По большим черепакам и по хрупким, миниатюрным,  
 Как по ведрам, кувшинам, стаканам — и в них блестит,  
 Быть начитанным? — да! как сосед говорит, культурным,  
 Но важней интуиция: Павел Кузьмич, смотри,  
 Как задумался Тузик, пушистым хвостом виляя:  
 Разве справочники объяснят ему, словари,  
 Отчего все так грустно, откуда тоска такая?

\* \*  
 \*

Как цыганки кричат в электричке!  
 Будто ссорятся иль об заклад  
 Бьются, вспыхивают, словно спички,  
 Словно смотр здесь проводят, парад  
 Иль устраивают переключки,  
 А присмотришься: так говорят.

Я отсел бы, да как-то неловко,  
 Неудобно: уж час потерплю.  
 Кто невестка из них, кто золовка?  
 Рубль — понятное слово. К рублю  
 Добавляется слово «обновка».  
 Что за важность: люблю, не люблю

Их? Они меня тоже не любят,  
 Любят. Им на меня наплевать.  
 Платье новое в городе купят.  
 Не присвоить, так перекричать  
 Эту жизнь. И гудкам не уступят,  
 И свисткам. Ты привык уступать.

\* \*  
\*

Подсела в вагоне. «Вы Кушнер?» — «Он самый». «Мы с вами учились в одном институте». Что общее я с пожилой этой дамой Имею? (Как страшно меняются люди Согласно с какой-то печальной программой, Рассчитанной на проявление их сути.)

Природная живость с ошибкой в расчете  
На завоеванье сердец и удачи,  
И господи, сколько же школьной работе  
Сил отдано женских и грядкам на даче!  
«Я Аня Чуднова, теперь узнаете?»  
«Конечно, Чуднова, а как же иначе!»

«Я сразу узнала вас. Вы-то, мужчины,  
Меняетесь меньше, чем женщины» — «Разве?»  
(Мне грустно. Я как-то не вижу причины  
Для радости — в старости, скуке и язве.)  
«А помните мостик? Ну, мостик! Ну, львиный!»  
(Не помню, как будто я точно в маразме.)

«Не помните... Я бы вам все разрешила,  
Да вы не решились. Такая минута...»  
И что-то прелестное в ней проступило,  
И даже повеяло чем-то оттуда...  
В Антропшине вышла... О, что это было?  
Какое тоскливое, жалкое чудо!

\* \*  
\*

*Андрею Арьеву.*

В Грецию, в Грецию, чтоб рассмотреть Парфенон,  
Мраморным, им любовались Софокл и Платон,  
Если же Грецию, друг мой, поднять не под силу  
Нам — слишком дорого! — встань под ночной небосклон,  
К звездам прижмись, к их сиянью, мерцанию и пыли.

Не обветшали, никем не разграблен фасад,  
Так же светлы, как три тысячелетия назад,  
Блеском своим умиляя Платона, Софокла, —  
И при желанье, наверное, можно их взгляд  
Перехватить: не померкло ничто, не поблекло.



---

---

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

\*

## ГЛУХАЯ БЛАГОДАТЬ

\* \*  
\*

Все, что мной пережито, — рассказано.  
Слезы — это не бисер метать.  
И, людскою насмешкой наказана,  
Я в глухую ушла благодать.

Хуже нет быть до доньшка понятой  
Или выплаканной до конца,  
И в траву с головою приподнятой  
Я спускаюсь с гнилого крыльца.

Пробираясь крапивными дебрями,  
Подхожу к одинокой сосне.  
Ничего я не знаю о дереве,  
И оно — ничего обо мне.

### Триптих забудок

1

Отчего строка кровава  
И слеза как дым?  
То тебя коснулась слава  
Пальчиком одним.

Отчего над перекрестком  
Медный звон потух?  
То она своим наперстком  
Заложила слух.

Отчего так пахнет остро  
Гарью и золой?  
То она щекочет ноздри  
Огненной иглой.

Эта знатная портниха  
Мантией блазнит,  
А на самом деле тихо  
Мучит и казнит.

## 2

К затворничеству влекома  
Жизнью подпорченной,  
Выкачиваю из-под дома  
Воду подпочвенную.

Ввела я шланг от насоса  
В русло канавочное, —  
А это к решению вопроса  
Нечто добавочное.

А как достаются эти  
Дни сверхнагрузочные,  
Знают одни лишь на свете  
Сны незабудочные.

## 3

Дождь идет седьмые сутки,  
Но не гнутся кроткие  
Голубые незабудки  
С бледными середками.

Дождь им вовсе не в нагрузку,  
Им вольготней в сырости  
Да и в этой среднерусской,  
В приканавной сирости.

С ними мыслями делиться  
Я взяла за правило.  
Не одну судьбу, сестрицы,  
Слава обесславила.

\* \*  
\*

Жизнь превратилась в сплошной изумрудный досуг.  
Лес мне сегодня — и ангел-хранитель, и друг,  
Даже дыхание наше взаимнообменно.  
Но по утрам, если небо в окне многопенно,  
Зеленоглазый мой и многотрепетный вдруг  
Страх на меня нагоняет, рассудок свербят:  
Створки окна открываю, как створки моллюска, —  
Словно уста свои вытянув трубочкой узкой,  
Лес содержимое комнаты втянет в себя, —

Втянет, проглотит кровать, гардероб и трюмо,  
Кресло и стол, за которым я это письмо  
Не дописала тебе и уже не закончу.  
Так вот, возможно, густой африканской ночью  
Бросил со страху поэзию нервный Рембо.

В грозы такие в себя прихожу я с трудом,  
Трогаю дрожко неодушевленные вещи,

Словно боюсь испугать их, а лес рукоплещет,  
Видя, как я обращаюсь с его же ребром —

С деревом, отданным им в услужение мне.  
Ливень утихнет, и я, оклемавшись вполне,  
Вынесу стул раскладной и горячий кофейник —  
В сосны, в шалфей фиолетовый, в желтый лилейник  
И заведу разговор о тебе и стране  
Самого бурного моря, где правду любила  
Бурно настолько, что прочие чувства убила  
И опротивела этим тебе и себе.  
Шепчет мне рыжий лилейник: «В безумье причина...»  
Или бормочет лиловое пламя люпина:  
«Дело простое, — оно, дорогая, в судьбе».

Нет, никогда я письмо это не завершу.  
Я сверхъестественным чувством уже не грешу, —  
Все сверхъестественное завершается крахом.  
Я при грозе охлаждаюсь нахлынувшим страхом.  
Прежде спешила, теперь уже не поспешу  
Створки души раскрывать, словно створки окна,  
Или, что хуже гораздо, — моллюсковы створки.  
Нет, я не слышу ни моря, ни шума моторки!  
Мне повезло! — изумрудные жизни задворки,  
Сосен дыхание и тишина, тишина...

\* \*  
\*

Для чего тебе, дурочка, помнить приморский твой полис,  
Где зрачки твои о плавники судака искололись?  
Разве дудочка из тростника много лучше жалейки?  
Почему ты забыла ее на садовой скамейке?

Но чем проще вопросы, тем наши ответы глупее:  
Потому что тростник в олеандровой умер аллее,

Потому что три мертвых березы и те понимают,  
Что ветвями сухими чужую они осеняют.

Я оставила возле трех мертвых березок жалейку,  
Чтобы им рассказала она про фортуна-злодейку,

Про азийский тростник, воспевавший подводную душу,  
И про куст олеандра, который дохнет и — задушит.

И про то, что сюда я пришла не живую, а мертвой,  
Чтобы стать им, покойницам стойким, сестрою четвертой.

### Лето

Схимница зима и весна-блудница —  
Все прошло, мой друг, но осталось лето,  
Где на берегу смоква золотится  
И стучит волна в камень парапета.



Чем, скажи, не жизнь — в памяти копаться,  
 Не в ее золе — в золоте песочка, —  
 Так вот и до мысли повезет добратся:  
 Память есть душа, время — оболочка.

Так вот и поверю в то, что не грешила,  
 Что судьбы не жгла, не жила в позоре...  
 Память у меня — золотая жила,  
 Потому и лето, потому и море...

\* \*  
 \*

Я замечала: в радости ль, в печали —  
 Все от меня ужасно уставали.

И лес устал от странности моей  
 Любить людей и избегать людей.

А от моих мятущихся историй  
 Когда-то уставало даже море.

Устали от меня и небеса  
 И ленятся закрыть мои глаза.

И может быть, когда меня не станет,  
 Моя могила от меня устанет.

\* \*  
 \*

Свистульки, трещотки, звонки, гребешки, кастаньеты —  
 Какое в лесу вавилонское разноязычье!  
 К Создателю птичьей молитвы и гнезда воздеты,  
 Отсюда, наверное, все привилегии птичьей.

А что небородные думают о земнородных —  
 Не хватит фантазии мне, а тем более знания.  
 А птицам известно ль, что несколько точек исходных  
 Мы взяли у них для старательного подражания?

Так музыка создана, так создаются поныне  
 С Икаровых дней все летательные аппараты.  
 Но прежде — Господни крылатые стражи в пустыне  
 И на Арапате — ковчега разведчик крылатый.

Целительна музыка. Флейты, виолы и лютни  
 Меня примиряют и с тем, что крылаты ракеты.  
 И я забываю, что дни моей родины люты,  
 Заслышав свистульки, звонки, гребешки, кастаньеты.

## В майском саду

## 1

Смотришь на дерево — видишь сплошную зелень.  
Это ошибка — каждый листок отделен,  
Зелень — толпа, но каждый листочек — личность, —  
И злободневность своя, и своя античность.

Ах, это дерево, ах, это дерево в мае  
С плотностью населения, как в Китае,  
Знает о смене времени, но не места.  
Мне ж постоянство места — призрак ареста.

Дерево и не желает менять привычек,  
Хоть о различных краях узнает от птичек.  
Так для чего мне страдать, принимая за пытку  
То, что ни шагу не делаю за калитку?

Разве я дерева лучше, мудрее листочка?  
Так для чего мне дорожная заморочка?  
И соловей мне внушает, что сад не тесен  
Для неподвижно зачатых, но вольных песен.

В каждом листочке мысль о первопричине  
Первого сада и о его кончине,  
Каждое дерево — повод для размышленья, —  
Это ль пустое времяпрепровожденье?

## 2

Соловьи, мой друг, соловьи.  
Се ля ви, мой друг, се ля ви.

И сирень не знает о том,  
Почему ты забыл мой дом.

Фиолетов ветвей напор  
Перекинут через забор, —

И сирень пробирает дрожь  
Всякий раз, как мимо идешь.

## 3

Брачная ночь листвы и дождя,  
Шорох и шелест.  
Сад, вожделением изойдя,  
Шелков и перист.

И неожиданно, как божество,  
Лунное млеко.  
Кроме любви, и нет ничего  
У человека.

\* \*  
\*

Мы, русские, на мифы падки.  
Хоть землю ешь, хоть спирт глуши,  
Мы все — заложники загадки  
Своей же собственной души.

Змею истории голубим,  
Но как словами ни криви,  
Себя до ненависти любим  
И ненавидим до любви.

Заздравные вздымая чаши,  
Клянем извечную судьбу, —  
Болит избранничество наше,  
Как свежее клеймо во лбу.

\* \*  
\*

Не ищу причины бедствия  
Средь отеческих руин.  
Все мы, люди, — только следствия  
Нам неведомых причин.

И с безумьем трезвомыслящим  
Принимая, что дано,  
Тщусь я жизнь не путать с игрищем,  
С кровью — красное вино.

Но когда в сыром свивальнике  
Упокоюсь, то со дна  
К вам пробьется цветик аленький —  
Ерш из крови и вина.

2000 г.



---

---

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

\*

## УЙТИ ПО-АНГЛИЙСКИ

*Рассказы*

### ПОМИНКИ

**Х**отели вы того или нет, но получилось так, что я побывал на ваших похоронах, Дэвид. Именно вы были моим первым мертвым англичанином. Благодарю, Дэвид! И пусть облачное British sky, принявшее пух крематорного дыма, будет вам пухом. За вечное возвращение, Дэвид!

Авто мягко катило по городку Формби.

«Это дом Розы Гринан», — сказал мне пятидесятилетний Тони, мотнув головой и блеском пенсне в сторону ограды, зелени, кирпичных очертаний. Он вез меня, тринадцатилетнего русского гостя, на Ливерпульское ВВС, выступить, и вот только что мы проехали дом этой Розы, имя которой мне не говорило ни о чем.

В те дни я чувствовал себя героем. Каждый день новые встречи, вечеринки, почти заученные речи. Картинки, пролетающие на крыльшках поспешных бабочек... Первый для меня в жизни прямой эфир на радио — на английском языке. Я перед микрофоном, рашн бой, остриженный в светлой парикмахерской черным парнем Дэроком. И вот... Я в кожаном пиджаке, перед спрятанным в мякоть чехла микрофоном, щебетание девушки ди-джея, предсказуемые вопросы обо всем и мое радикальное: «Boys are pigs» — или пустые разглагольствования о поэзии, а в завершение передачи — мелодия песни «Подмосковные вечера»... И подчеркнуто нежный поцелуй мне в щечку от радиожурналистки на прощание. На следующее утро свидание с газетчиками, «интервью у камина», улыбчивое фото на лужайке, где я с Шекспиром в тинейджерских руках. Затем посещения английских школ, снова речи, огромные аудитории, свежие классы, сотни детских рожц, рыжие и белокурые девочки, с подростковым жаром встречающие русского ровесника...

«Это дом Розы Гринан», — сказал мне Тони. Авто мягко катило мимо. Имя Розы ничего не говорило. Но Тони сам конкретизировал: «Она занимается переводами русской литературы. Она собиралась прийти к нам в гости и познакомиться с тобой, Сергей, но у нее проблема с мужем, у него рак, он в больнице. Она должна часто у него бывать, почти неотрывно». После краткого сообщения Тони погрузился в молчаливое дело шофера, слился с серой гладью струящегося асфальта. По словам жены, погружаясь слишком глубоко, Тони иногда засыпает за рулем. Тони радушен, он отлично знает русский, но в его отменном владении родным мне языком присутствует нечто размеренно-зловещее, холодное, как эти стекла пенсне. Профессор кафедры русской литературы Ливерпульского университета, он, Энтони Джевел Фокс, раньше работал сотрудником «Интелид-

жент сервис». А теперь, летом 1993-го, я гощу у них в Англии — у бывшего агента Тони и его жены Марианны. И так, по дороге на радио мы проехали мимо дома Розы Гринан. «Рак чего?» — только и спросил я. «Легких», — на мгновение пробудился Тони от дороги.

Роза Гринан всплыла ровно через неделю. Ее раковый муж умер, Тони повез меня на похороны (Марианна не поехала, она была в то время в Париже, если это кого-то интересует). Честно говоря, я всегда думал: происходящее за границей настолько виртуально, что плохо представляется, как они там влюбляются, спят друг с другом, а особенно умирают и хоронят своих мертвецов. Мне, раннему подростку, было любопытно, как они тут «уходят» своих мертвецов по-английски.

Я наблюдал здесь только смерть животного. У Марианны и Тони жила кошка Мими, незапятнанно черная, качественно черная тварь. Ей было двадцать. Незадолго до моего приезда кошку еще выносили в сад, клали на изогнутое дерево, и она точила когти. Но теперь она лежала на диване, худая, с огромными когтями, которые была уже не в силах сточить, а когда хотела есть — пищала, и ее относили на кухню к эмалированной миске. Вскоре Мими стала совсем плоха, все так же лежала на диване, а Тони отгонял от нее мелких мух. Вечером все ушли на кухню ужинать курицей с ореховым соусом, потом Марианна заглянула в гостиную и увидела, что кошка умерла. Женщина не могла сдержать слез и смущенно повторяла: «Извините меня!» Супруги надели плащи с капюшонами и отнесли Мими в сарай. Шел дождь. Вернувшись в дом, Марианна выпила виски. Утром Тони закопал кошку в саду и поставил на могиле деревянный крест.

Крематорий напоминал укромный заводик, вокруг проступило кладбище. Негустая толпа топталась на лужайке: ни рыданий, ни стонов, ни безысходных телодвижений. Подтянутые лица, как если бы все происходило на концерте органной музыки. Прозрачная погода. Изредка набегает глумливый ветер. Кое с кем из присутствующих меня уже знакомили раньше, приветливые кивки. Роза, ей подошла бы блестящая приколотая на полную грудь карточка, такая бывает у продавщиц или официанток: «Роза Гринан, вдова». Она в черном платье. У глаз сухо и ухоженно. Сжатые губы трогает улыбка. Скорбь, мужество, приветствие — все сразу.

Прошли в небольшой зал и расселись. На кафедре, скрыв туловище за ящиком, долговязый горбоносый пастор. Смотрится крайне неубедительно их пастор. Гортанным голосом, который пинг-понговым мячиком прыгает по залу, он говорит несколько слов о «большой утрате», называет нужную страницу — все, взяв лежащие на партах книжки псалмов, находят ее, эту страницу, где рядом с крупными буквами теснится узорчатая вязь. Хоровое чтение краткой молитвы. «Аминь» — все встают, удаляются, уступая друг другу дорогу к exit. Никто не прощается с покойным, его вообще не видно. Только за спиной пастора, как рояль на сцене, — гробик, искусно замаскированный яростью цветов.

О, exit! С таким облегченным видом, посветлев, покидают общественный туалет. «Вы поезжайте ко мне в дом, — говорит нам вдова участливо. — Там уже все готово. А я пока дождусь урну». Мы стоим на славном лугу, внезапно из трубы крематория начинает валить дымок, он растет, как метастазы... Черный дым рассеивает человеческое мясо в бесцветных водянистых небесах. Парадно одетые чинные зрители задирают головы, видны длинные шеи и подбородки. Через секунду — головы опущены. Теперь на небо поглядывают украдкой. Мистер Дэвид Гринан. Окончательно и бесповоротно.

Гладкая улочка была уже набита авто. В просторном доме нас встретил мутный шум. Среди людских потоков деревенели длинные узкие столы. Таков он, поминальный фуршет: болтовня, выпивка, неплохая закуска.

Гости оживленно беседовали, но ничто не напоминало о покойном, ни портрета, ни имени в разговоре, ни завешенного зеркала. Каждый со своей тарелкой и рюмкой на весу, со своей смертью на носу. Пока, Дэвид! «Скоро будем у вас в гостях». — «Простите, что?» — «Говорю, скоро будем у вас в гостях», — обратился ко мне крохотный дымчатый доктор-человеколюбец, и все черты его лица внезапно взлетели вверх, как шквал аплодисментов. «Слышала ваше выступление на ВВС, — ослепила меня молодая женщина крупными зубами. — Ваш английский очень хо...» Беспокойным sereneм взглядом она отыскивала свободное кресло. А в дверях уже выросла Роза.

С покойным Роза прожила тридцать пять лет, но несмотря на полные шестьдесят выглядела молодцом. Несколько конкретных морщин разделяют розовое лицо на одинаковые лепестки. Она обратила на меня взор, своим видом извиняясь за непредвиденные обстоятельства. Пообщавшись с гостями, обойдя их, никого не обделив вниманием, схватила меня за руку. Влажная мякоть ее руки накрыла мою волной. И вот эта цепкая волна поволокла меня вверх по лестничной ковровой пыли, в хозяйские покои.

— Присаживайтесь. Извините, даже не в состоянии с вами толком пообщаться. Вы ведь понимаете... Но я думаю, где-то через неделю я уже смогу прийти к вам в гости, — сипло переливает Роза слова, как малиновое варенье из банки в розетку. Она говорит предельно серьезно, хотя мне тринадцать. Здесь все так разговаривают со мной, видимо, сказывается то, что я не англичанин, я — чужестранец. «He is a stranger!» — при виде меня недавно заорала девочка-истеричка лет пяти своему брату тех же лет, когда я угрюмо прогуливался по улице Формби.

— Ну что вы, Роза... Я все понимаю. Я так вам сочувствую, — мямлю проникновенно, ощущая, что сам себе уже надоел.

— Спасибо. — В тысячный раз за день ее верхняя губа спортивно ползает на нижнюю.

— Вы ведь очень долго жили с вашим мужем?

— Мы прожили тридцать пять лет, — называет она скороговоркой известную мне цифру.

— Мне очень жаль... — полупшепотом выдыхаю я, медленно озираясь. В комнате душистая затхлость.

— Да, мне очень жаль... — Меня словно пародируют. — Я не могу с вами поговорить сегодня. Вот, я хочу вам подарить. — Роза поднимается с дивана, ступает в тень, к книжной полке, вытягивает из толпы томов тонкую гляцевую книжцу. — Это мой собственный перевод Ахматовой.

— Спасибо.

— Не за что. В самом деле, я очень люблю русскую литературу.

— А я английскую. — Фраза «в стиле».

— Мы бы с вами поговорили, вы о нашей, я о русской, но...

— Но это горе! Слышал, Дэвид умер совсем внезапно, сгорел в считанные месяцы. Правда?

— Да, это правда. Да-да-да... — произносит собеседница с явной неохотой.

У Розы богатая библиотека, наши писатели, даже моя бабушка тут, Герасимова, тисненая красным фамилия на корешке романа. Осматриваясь, я бросил случайный взгляд на вдову и споткнулся о ее случайный взгляд. Губы у Розы болезненно искривились, лицо дрогнуло реальным рыданием. Перед русским мальчиком (ах, она читала русскую литературу!) ей можно заплакать, ее не примут за сумасшедшую. Вот она беззвучно взревела, взглотнула, как рыба крючок, и тотчас же извинилась.

Я вспоминаю Египет. Гора Синай, монастырь святой Екатерины. Интересно хоронят там монахов. Их не закапывают в землю, а просто кладут в монастырскую пещерку, заливают галлонами белого вина, и они легко,

без запаха разлагаются (не помню, в чем здесь секрет — что-то, связанное с климатом, и горным воздухом, и вином). Нагнувшись, заглядываю в эту комнату смерти. В просторном помещении гряда черепов, белых черепов с пустыми глазницами. Целая комната черепов, которые, как это ни странно, совсем не ассоциируются с концом жизни. «Праздничные черепа», — думаю я.

— Я ему говорила, что вы приезжаете. Он уже месяц был в больнице, когда вы прилетели. Он хотел вас видеть!

— Меня видеть? Явная ложь. Ха-ха! Надо же! Что вы говорите, повидать рашн боя — последняя воля умирающего англичанина... — ответно рассыпался я в ребячьем гоготе, но не вслух. «Он хотел вас видеть!»

Через минуту мы в холле, Роза приветлива как ни в чем не бывало — веселая вдова. К выходу поползли гости, среди них — Тони и я. «А у нас твердая традиция, — говорит хозяйка, — уходящие оставляют автографы. Каждый, кто побывал в этом доме, ставит подпись». Черчу порывистой рукой тинейджера в жирной тетради (жирной и по скользкой обложке, и по объему): «Милой Розе...» и т. д.

Мистер Дэвид Гринан гостеприимно улыбается из рая или ада.

«Или чистилища», как, наверное, поправил бы меня Дэвид при жизни. При жизни он был католиком, а следовательно, верил в чистилище.

## ТАЛАНТЫ И ПОКЛОНОВА

### 1

Машина с ягодой-мигалкой на крыше. Ягода то исчезала, то вдруг лопалась, и тогда ослепительно голубой сок расплескивался в прохладном пространстве.

На подходе к клубу Митя Тучков остановился, вспоминая, в какую арку тут надо свернуть. В ранних сумерках марта бледно тонули огни, по улице неустанно проносились авто, шумно всклокочивая снег. Обмотанный по горлу ярко-зеленым шарфом, темноволосяй, в бежевой дубленке, Митя изящно переливался в цвета вечернего города. Одна из машин обдала его мокрой оплеухой и тотчас растаяла вместе с учащенными ритмами, доносившимися сквозь полуспущенное стекло. Грязный снег попал в лицо и на волосы, и юноша принялся старательно утираться. Звуки города стали полновластней, липкая водичка стекала по ушам и щекам. Утираясь, Тучков отвлекся и подчинился вечернему шуму. Звуки заполнили все. Нагло жужжали машины, заулюлюкала милицейская, и безрадостно-негромко скрежетала лопата.

— Извините, не скажете, где клуб? — спросил Митя, подходя к дворничихе, она лопатой волокла кучу снега.

— Чего тебе? — Как бы не расслышав, та всматривалась в пришельца, но вдруг продолжила: — Клуб-то... Да здесь же он и есть, ваш клуб.

— Да где же здесь?

— Сюда, в арку. Иди веселись! Молодые там такие же... — Она вновь принялась за дело.

Тучков кивнул, вошел было во мрак арки, но воротился. Он двинул к старухе, еще за три шага заговорив звонко и как можно непринужденнее:

— Хотите, я за вас поработаю чуть-чуть?

Дворничиха на мгновение опешила, но сразу и откликнулась:

— Поработай, поработай немножко, это тебе на пользу. Я-то часа по три не разгибаюсь с этим снегом!

Тучков принял лопату.

— Вон дотуда, до того угла. Ага. Ты не бросай на дорогу, а ты как сковырнул снег — давай его вези-вези! Молодец, — правила старуха. — Небось часто по гуляньям ходишь?..

Тучков свирепо дышал и варварски улыбался, выпуская белый пар. Клубилась поземка, юноша ощущал себя солдатом в прифронтовой полосе. Он уже забыл, кто такой и зачем он здесь, на этой бледно-огнистой улочке вблизи заведения. Потекли персонажи. Разгоряченный чистильщик чуть не сгреб с дороги девочку. «Ой!» — уронила она сверху, ее толстые подошвы прошлепали мимо и завернули в арку. Следом серое пальтишко пронесло в себе чье-то исхудалое тело.

— Я твоих лет тоже гуляла. Я ведь не в Москве родилась, я в деревне росла, а потом отец умер, я девкой была, мать с отчимом перевезли в Тамбов, — рассказывала дворничиха. — А отгудова уж... А у нас был клуб в деревне, как сейчас помню. Собирались, плясали, пели. Вот и вот подчисть!.. И здесь чисти!

Покорный Тучков, крепко удерживая лопату, налегал на ледок, и ломал, и тащил белесую мелочь прочь.

— Пели? Что пели? — спросил он. — Не споете мне, пока я чищу?

— Сейчас петь! С чего это? Что я, дура, что ли!.. — возмутилась старуха. — И славно! — молвила она, забирая у Тучкова лопату. — Вишь поработал! — Она ласково усмехнулась.

Тучков стоял и смотрел на нее. Красивая, курносая, с блестящим взглядом, в телогрейке и валенках. На желтизну немолодого лица приятно прилегла розовость прохлады. В то же время англоязычно разговаривая, приближались Сашенька с Иваном...

Следует разъяснить, что, когда Тучков брал лопату, из метро «Чистые пруды», расположенного от клуба неподалеку, вышел другой герой — подвыпивший Саша Двоечкин, светловолосый подросток в бомбере — черной куртке с оранжевой подкладкой — и в камуфляжных штанах, вправленных в высокие сапоги. Подросток попал на вечерний воздух, мгновенно свыкаясь с суетливой атмосферой и забывая царственные картинки душного подземелья. Все было на месте. Палатки, спешащие толпы, и торговки хот-догами, и группы людишек, сиротливо распивающих свой алкоголь... Сашенька огляделся и, остеклив взор, прорычал немецкую фразу. «Плывут в гавань корабли с грецкими орехами», — значила эта фраза, но Сашенька не знал немецкого языка, а просто запомнил мужественные слова из самого детства, когда их напевал ему злобный крестный Алан, жарко и крепко прижимая.

Как это бывает у нас в народе, иноязычная речь мгновенно приворожила к Саше кого-то нового. Подскочивший был настроен дружелюбно, но вид имел агрессивный. И Сашенька, сам приняв вызывающий вид, был к незнакомцу расположен. Новый предстал обритым парнем лет двадцати пяти, высоким и гнутым, с продолговатым лицом, утонченным от обилия напитков и табака. Черный свитер с горлышком выглядывал у него из распахнутой кожанки.

— Sorry, what language did you speak?<sup>1</sup> — проговорил он, изгибаясь, как волк. — Э?

Не отрывая глаз от длинного лица незнакомца, Сашенька холодно перешел на родную речь.

— Я хотя и говорил по-немецки, немецкого не знаю. А по-английски я могу, — твердо отвечал подросток, кулачки его были нервически сжаты.

— А-а!.. I see!<sup>2</sup> — качнуло приставалу. — OK. No problems.

<sup>1</sup> Извини, на каком языке ты говорил? (англ.)

<sup>2</sup> Ясно! (англ.)



И отшатнулся в сторону, к телефонным автоматам и сумрачным фигуркам выпивох. Но уже через минуту нагнал Сашу и завыл:

— Sorry, may I ask you, where are you going now?<sup>3</sup>

Сашенька продолжал идти, но не старался улизнуть, а, напротив, как и положено подростку, увлекся игрой и говорил по-английски, что направляется в клуб.

— Sorry to disturb you, may I go with you?<sup>4</sup> — спросил парень, закуривая на ходу.

— Certainly!<sup>5</sup> — отвечал Саша с непонятной готовностью.

Они свернули. Широкая магистраль легла за поворотом, и переулочек расплывался скользкими чешуйчатыми ее отблесками. Резко дул ветер, смешанный со снежной чужью. Бритый размашисто вышагивал, сбивая мальчика на обочину. Саша смирялся, так что в какой-то момент неловко провалился сапогом в неглубокий сугроб. Но и тогда смолчал.

— Let's speak only English!<sup>6</sup> — предложил парень. — My name is Иван.

— Саша.

— Я, конечно, могу и по-русски, — пояснил бритый. — Но... — Его передернуло. — I prefer English! American English!<sup>7</sup>

Митя же Тучков в то время чистил снег.

И вот подошли двое.

— Небось в клуб, ребята? — выдвинулась старуха наперевес с лопатой. — Видали, вон этот молодой человек шел туда же. А вот шел и помог мне, старой. И убрал!..

Проговорив, старуха тотчас же отступила к остолбеневшему Мите, как-то виновато ухмыляясь и пропуская молодежь.

— Помог? — растерянно спросил Сашенька, попадая в толстую тень, и подобострастно оглянулся на Ивана.

Иван окинул дворничиху и Митю одним порывистым взглядом.

— Ты помог ей? — хрипло сказал он, глядя куда-то сквозь Митю, в стену, к которой Митя прижимался. — Спасы-ыбо!

Дальнейшее произошло в мгновение ока. Иван всем телом подался вперед, изогнулся и бухнулся на колени, так что лоб его глухо стукнулся о тротуар, проступающий сквозь облезлые полосы льда.

Нет, нет, нет, не было в этом жесте температурной экзальтации, ничего удивительного тут не было. Сколь часто кланялись в ноги Тучкову, и он кланялся. Как-то, когда он пил в компании модных педерастов, один из них, Артем, вот так же подскочил и растянулся в земном поклоне и тоже стукнулся лбом, но о дерево паркета.

— Ах, хулиганы... Ах, хулиганы... — лишь легонько качала головой старая. — Ладно, проходи! Недосуг мне тут с вами. Молодец, помог. Ну и идите.

— Погодите. Только вопрос, — уже стоял на ногах Иван, ладонью отряхивая бритую голову.

— Чего еще, мил человек?

— Как фамилия ваша?

— Ой, чудной вы, право... Зовут баба Оля. Но — стыдно. Не скажу я. Неудобная у меня, ребятки, фамилия.

— А может, ради старых знакомств... — любовно заглянул ей в глаза Митя.

<sup>3</sup> Извини, можно спросить, а куда ты сейчас идешь? (англ.)

<sup>4</sup> Извини за беспокойство, можно с тобой? (англ.)

<sup>5</sup> Конечно! (англ.)

<sup>6</sup> Давай говорить только по-английски! (англ.)

<sup>7</sup> Я предпочитаю английский! Американский английский! (англ.)

— Да скажите же, скажите! — заплясал Сашенька, так что одна камуфляжная штанина выбилась у него из сапога.

— Скажу, только уж вы идите в конце концов, меня не мучайте.

— Ну же!

— Поклонова, — был ответ.

Тучков бойко подмигнул дворничихе. Внезапно идея попала ему в голову:

— Баба Оль, а баба Оль! — развеселился он. — Ты наверняка в клубе этом не была. Молодость вспомнишь! И у меня флаера есть лишние...

Старуха согласилась с неожиданной охотой. Выяснилось, что, хотя она метет и скоблит улицу уже второй год, в клуб действительно не навевывалась. И может быть, не представься теперь нечаянный случай, так бы за всю жизнь там не побывала. «Загляну, узнаю, как вы гуляете, — рассуждала дворничиха. — Эх, молодежь, уморите бабку...» Похохатывая и скрипя валенками, она подошла к некрашенной металлической двери, соседней с зеленой клубной. Звякнул ключ, и открылась маленькая смердящая комната с трудовым инвентарем, и талыми разводами по полу, и истлевшими горками листвы в углах. Тут дворничиха поставила свою лопату.

## 2

Фейс-контроль они преодолели. При вступлении в клуб герои забавно обхаживали подругу. Они толкали ее вперед себя и мягко похлопывали, как дрессированного медведя. Были предупредительны. У гардероба в один голос уговорили разоблачиться, а Митя даже галантно принял телогрейку с усталых плеч. Баба Оля предстала в простенькой вязаной кофточке и широкой юбке, все серое. Но после молодые как-то охладели к Поклоновой. Митя с Иваном отправились в зал, где удачно сели на освободившуюся лавку и стали слушать концерт. Публики было очень много. Выступала провинциальная группа «Классные розги».

— Песня американских куклуksклановцев. Называется «Убили негра», — пискляво объявил певец и после барабанного проигрыша запричитал нежной скороговоркой:

Ненависть в наших сердцах,  
Бьет по рукам и губам!  
В прадедах, дедах, отцах —  
Ненависть к черным рабам! —

здесь последовал проигрыш.

Задник сцены из серебряных и лиловых красок создавал впечатление детского утренника. Витало во всем этом и что-то восточное, а певец, полуголый мужик, походил на криволапую персидскую птицу, которая вот-вот снесет яркое яичко.

Хлещет, как дерзкая плеть,  
Что за проклятая прыть!  
Просится ненависть петь,  
Венами вольными выть!

Предки мои не чета  
Предкам покорным твоим!

Кто-то возбужденно заулюлюкал. В зал вторгся Сашенька, протискиваясь с подносом сквозь толпу.

— Вот нам пива по бокалу, — словно оправдывался он.

— Откуда? — удивился Митя.

— Поклонова.

— Да ты чего... Шутишь! — не поверил Иван.

— Короче, она говорит: чего вы, мальчишки, ничего не берете? Я ей вру: деньги кончились. Она, раз, достала сто рублей откуда-то из юбки — бери, говорит, чего надо. Ха-ха. Ну, я взял и пива купил.

— Щедрая бабка, — резиново растянул губы Митя.

«Ненависть!» — шепчут уста,  
Словно молитву творим! —

проигрыш.

— Конечно, нехорошо как-то, что она за нас заплатила... — рассуждал Сашенька. — Но она: что вы ничего не берете? Я ей: ...

И он повторил историю, тихохонько хихикая, и потом снова ее повторил, и пригубил свое ледяное пиво. От вороватых повторов история линия и делалась почти добропорядочной.

Наших могил чернозем  
Мнет черномазая мразь.  
Ненависть в сердце моем,  
В самое горло впилась!

Белый хозяин — и я!

— Браво, Селиванов! — крикнул девичий голос.

Бел, как небес облака!  
В сердце — родные края,  
В сердце о прошлом тоска.

В синем сиянии жил  
Власти сладчайшая спесь.

Дальнейшие слова потонули в праздничном реве и влажных хлопках:

Мне, черномазый, служи!  
Белому! Вот он я весь!

Баба Оля проигнорировала концерт. В одиночестве она глотала водку, закусывая бутербродами с колбасой. Покончив с пивом, ребята не остались на вторую песню, а проследовали к старухе. Они сели к ней за столик.

— Let's speak English! — сказал Иван, разливая старухину водку. — Мы и не знали, бабушка, что вы выпить не дура.

Иван был личностью конфузливой, разговаривал мало, поэтому и резко. По пьяни предпочитал английский язык. Но сейчас, в обществе подростков и дворничихи, почувствовал, что пружина ненадолго разжалась.

— American English! — с подростковой придиричивостью напомнил Сашенька, опрокидывая со всеми.

— American! — подтвердил Иван, и речь его огненно покатила: — А почему — Америка? Учат: мол, американизация и поэтому все теперь меняется. Я вот предполагаю, что американский стиль самый родной русским в сегодняшней реальности, самый энергичный стиль и динамичный стиль. Такого не думали? Где больше нашего, нам, молодым русским, адекватного? Где, баба Оля? Отвечай!

Он выступал бодро и удивительно книжно, будто подстегиваясь зверским кнутом, но при этом с опаской оступиться. И даже сейчас вся кибитка Ивана, которую он нес за собой, была шатка, и, ускоряя бег, он почему-то обращался к бабе Оле и судорожно цеплялся за ее имя... Поначалу старуха отнеслась к такому обращению подчеркнуто серьезно и, несмотря на опьянение, реагировала: «А?», «Чего тебе?», «Чего ты все чудишь?» — но скоро поняла, что это было лишь некой фигурой речи и никто ее мнения не спрашивал.

— Где нам более адекватное — в плакатах из Пушкина, растянутых над улицами, или в рекламном щитке «НЕ ПРОСПИ ТУСОВКУ В НЬЮ-ЙОРКЕ!»? — наступал Иван, давая в пепельнице окурочек. — Только бы не темный летаргический сон. У нас жизнь теряет наружность, доходит до гол-лой сути! Лишь бы Родину в мумию не превращали.

— Не подавись щами! — вскинула старуха отяжелевшую голову.

Все потрясенно замолчали на эту рифму, а Иван, оправившись от удара, принялся за разговор с новым рвением:

— А русский человек, моя поэтесса, как русским был — так и останется. Он и увлекаться будет, и говорить со стебом, если юн. Но пусть бы и подчас на английский перешел... еще отчетливее и выразительнее русским будет... Именно в наше время слова русские всеу произносить не стоит! Стоит ли? Стоит ли?!

— Какие слова? — наконец встрял Митя.

— А то вдруг волшебнo будешь удаляться в никуда... — закончил мысль Иван.

— Так т-ты экстремист? Янки, они ж оккупанты. Всегда Запад с нами воевал, — зябко заикаясь, сказал Сашенька, заставив Ивана ужасно поморщиться.

— Ничего формального не страшно... — сказал Иван.

— Как это — формального? — конфликтно спросил Саша.

— Не обращай внимания. Лучше я сейчас тайну открою. Слушайте! Тайна вас вверх тормашками пустит. Я, я, Пушкин Иван, фамилия-то у меня — Пушкин, я враг Америки номер один! Ну? Каково? Зато я пароль знаю. Я коды знаю.

— Какие коды? — замороженно спросил Саша.

— Смерть должна быть под подушку положена! Полезем из ниши! Из окопа! Я вас к подвигу зову! — Иван переходил на выкрики.

Тучков тронул его за плечо, взглядом и дрожью губ указывая, что разлил всем еще водки. Опрокинули. Закусили двумя последними бутербродами.

— Это ведь таинственно, это то, что и проявляется в самом от русского далеком! И водку нам завезли поляки. И революция все переворачивала. И теперь... Вот идем мы с тобой, Сашенька, и говорим только по-английски. Only English! Рубль — да! Доллар — нет! Слава русскому купцу!

Тут произошло нечто фантастическое, пресекающее бред Ивана. Отпев положенные куплеты, певец Селиванов в сопровождении товарищей вышел в зал для едоков и уловил последнюю громко сказанную фразу. Но вместо «купцу» — ему, оглохшему, послышалось «певцу». Зубы молнией вспыхнули на его разгоряченном лице. Получилось так, что улыбку эту углядела баба Оля. Она приподнялась со стула и сделала какое-то трепетное движение рукой, как бы приглашая певца подойти, и тотчас опустилась обратно, погружаясь в прежнюю дремливую задумчивость.

— И вы в годы ваши! — звучно сказал певец, с торжеством осматривая старуху. — Как вам концерт?

Молодые люди застеснялись певца. Иван закашлялся, но боялся кашлять. Все немо улыбались, отводили глаза и ждали старухино ответа, вопрос был все-таки адресован ей.

— Концерт? — протяжно спросила она, кивая певцу.

— Бабушка! Как концерт тебе? — терпеливо, по складам переспросил Саша.

— Концерт?.. — вдруг проныла старуха. — Плохо.

— Ты что! Ты же, бабушка, не слушала! — испугался Саша.

Все замерли.

— Ты же не слушала. Не слушала. Или ты про какой другой концерт? — заискивающе говорил Сашенька, чувствуя, что краснеет.

— Что ж ты раньше этого не сказал... что я... не слушала... — с необыкновенным негодованием прошипела старуха. — И никакая я тебе... я тебе не бабушка. А ты мне не внук.

— Погодите... Вы, наверное, другие песни любите. Своего времени, — придерживая бабу Олю за серый рукав, тепло обратился к ней певец, был он в душе зло уязвлен.

— Люблю! Люблю наши песни! — вырвалась она. — Иди, иди, дружок, своей дорогой.

Происшествие было исчерпано.

### 3

За полночь пьяно покинули клуб.

— Ну чего, Поклонова, идешь с нами? — фамильярно обнял старуху Тучков.

— Земная, — глотнула та.

— Какая-какая?

— Брось ты старуху, — сказала спина Ивана, он уже с Сашенькой шагал из арки.

Баба Оля прислонилась к стене и плавно поползла вниз, шелестя телогрейкой по камню. Ребята выскочили на волю и принялись играть в снежки. Огонь высвечивал карнавально-синее ночное небо. Мимо тротуара, шумя снегом и слепя фарами, пролетали авто. Одно из них истерично просигнало.

— Ура! — мохнато орал маленький Саша. Пригнувшись, он набегал на противника и чувствовал, что ведет за собой незримые полки.

— «Колышется степь...» — деловито насвистывал Митя, заняв оборонительную позицию и ежесекундно отстреливаясь. Иван отбегал от них, жмурился, прикрывался рукой.

— Гимн Советского Союза поешь! — восторженно признал песню Саша, гибко нагнул, метнул снежок, и тот, крупный, как редька, раскололся об угол арки.

— Снег раскидали, у меня работа насмарку, — ревнивым тоном сказала старуха, внезапно показываясь из темени арки. — Работа. — Она стояла, едва держась на широко расставленных ногах. — Это ваша работа — моя жизнь безобразная.

Осколки Сашиного снежка явно просматривались у нее на плече мокро-снежным причудливым рисунком, и это поменяло ход боя. Неизвестно, если бы не такая случайность, не будь старуха замарана, посмели бы ее тронуть.

— На, получи! Поклонова! Кланяюсь! — завопил Митя, торопливо комкая снег и целя дворничихе в лицо. Он замахнулся и с силой кинул снежок об землю. Снаряд взорвался, окатив валенки парным молоком, баба Оля инстинктивно отступила и чуть не повалилась. Скалясь, Митя подпрыгнул, сломал виснувшую с крыши ледышку, и пульнул, и попал старухе в телогрейку в районе живота. Он словно заводился. А Поклонова пробовала командовать, но вдруг перешла на мольбу, по-щучьи разевая рот:

— Погодите. Не надо. Сейчас...

— Чего ждать-то? — вскричал Сашенька, сорвав снежок. — Всю пенсию с нами пропила?

Малыш лихорадочно округлил снежок и залепил старухе в сухое желтеющее ухо. Тотчас Иван сгреб белый ворох, подлетел, сдул на бабку и отбежал... Та ахнула и передернулась, страх польхнул по ее неожиданно скукожившемуся лицу.

— Если в меня попадет еще хоть один снежок, я вас изобью, — отрывисто проговорила она. — Поняли?

Она глядела по-детски, со слепую ненавистью, слезы блестели в глазах.

— Блин, мы же на метро не успеем! С этой бабкой! — испустил клик Саша.

Влетели в переулок, переговариваясь. Переулок был узок, слышался переливчатый посвист ветра. Поземка ринулась на молодых и разом затушила Иванову сигарету. Митька бурчал:

— Жалко Поклонову. Все-таки нажралась. Метро сейчас закроется, она до дому явно не доберется. А мы хороши, напоили старую, снегом закидали и утекли. Так идеально начиналось! Я ей снег убрал. И им ее закидал.

— Не бери в голову, — идиотично сказал Сашенька.

— Угробили старуху, — угрюмо согласился Иван. — Ведь она уже в возрасте. Ей, думаете, лет сколько?

— Лет шестьдесят пять точно будет. Может, вернемся за ней? — предложил Митя. — А то надругались...

— Она и не пойдет с нами. Ты чего! Какие шестьдесят пять! — возразил Сашенька. — Как бы нам самим на метро не опоздать!

— Не... Не пойдет... Угробили, — пробормотал Иван.

— А сколько по-твоему? — грубо поинтересовался Митя.

— Все семьдесят будет, — зашагал быстрее Саша.

В конце переулочка они столкнулись с одинокой парочкой — парень в косухе брел не спеша, обнимая залиvisto хохочущую девушку в красном пальто. Дико дрожали блики, крутилась волчком поземка, и мнилось, смех шел из недр девушкиного горла. Смех заливал ей груди сладко-алой пенистой волной.

— Fuck off America! — угрожающе прогорланила девка, словно что-то ее надоумило, каковы они были, встречные.

— Дуняш, прекрати! — придержал ее парень. — Это она не в себе. Мы сейчас только дунули!

— Мы травы курили сейчас только! — хвастливо подтвердила девка.

Две компании мирно разминулись.

Сашенька так и брызнул смехом.

— Уй, не могу, меня фраза рассмешила! — признался он.

— Какая фраза? — спросил Митя.

— Угробили старуху, ха... — резво заговорил Саша и пресекался потерянно.

— Зря мы ей в лицо кидали. Бесы в нас, в свиной, вселились, — сказал Митя.

— Да... Бесы, — хрипло обрадовался Иван. — Может, я сам бес, что меня нечистая сила не трогает. Вы их видели?..

— Слышали, — отшутился Митя. — А ты, Сашок? Видел?

— Не вопрос.

И путь к метро скрасил многозначительный рассказ младшенького.

— Положили меня как-то спать днем, — рассказал Саша. — Было мне четыре года. И, по типу, гляжу я на окно мое. И вдруг, разодрав шторы, тварь лезет. Была она, тварь, огненным кенгуру каким-то, вся в пористой коже, и тугой мешок при ней. И вот заползла ко мне в кроватку и даже вроде что-то со мной мутила в сумраке, какие-то процессы, но я совсем... в яму сна провалился... или к ней в мешок...

— Образно ты говоришь, — затянулся сигаретой Иван.

— Я и стихи пишу. Экспромтом. А очнулся оттого, что эта тварь меня по комнате проволокла и, представьте, как нянька, пару раз качнула. Ужас с ознобом меня озолотили. Ну, озолотили — образ такой! Тут она меня обратно бросила. И закричал я от сердцебиения. Стоять, пацаны! Хотите, я вам стих сочиню экспромтом. Про бабку нашу! Называется «Бабка наша».

И почти скороговоркой, охваченный бесстыдным восторгом выпалил:

Поклонова-белоснежка  
и сотня подростков-гномов.  
Немного с одним помешкав,  
подходит она к другому.

— Вот. Сейчас еще чего-нибудь... И:

Помешкав с одним немножко...  
Старушка, я ваша сошка!  
Кормите холодным медом.  
Увидимся в клубе модном.

Оставшееся расстояние пересекли подавленные, не проронив ни слова. Алкоголь выветривался. Ранний отходняк стискивал пудовой мемориальной плитой. Мраморная плита, прячущая гниль и тоску. В метро, не обменявшись телефонами, попрощались. Разъехались в разные стороны не просто незнакомцами, но как бы врагами.



---

---

## БОРИС ВИКТОРОВ

\*

### РЯБЬ

\* \*  
\*

Вернусь... Тяжела непреложная  
тоска по руинам,  
и верность, как лавка сапожная,  
разит гуталином,

и там, где всегда одинаково  
свет зыбится адский  
в акациях, стриженных наголо  
у врат интернатских, —

над рябью реки замирающей,  
под сеңью чугунной  
десницы, навеки вмерзающей  
в мерцающий лунный

ландшафт, в синеве терриконовой  
с изнанкою стертой —  
о жизни пою, как прикованный  
к ней хваткою мертвой.

\* \*  
\*

Холодно. Вьюга свищет.  
Жесткий, смурной  
утренний снег ложится на костровище,  
повеяло свежим зимником, Костромой.

Невдалеке товарный  
лязгает на разезде, гремит на стыках  
и, огибая храм,  
в памяти застрекает, как слог поэмы высокопарной  
с эпиграфом «Аз воздам!».



Ритма я не нарушу,  
состояние сохраню.  
Доброй протяжной песней отогреваю душу.  
Ладони спешат к огню.

Детские клятвы  
помнятся долго, я знаю, пред кем в долгу.  
Будут еще и козыри!.. А солгу —  
ничего не останется, кроме дратвы  
следов, обрывающихся на снегу...

\* \*  
\*

Сон вещей, то есть веющий  
свиданьем, — сон, помноженный  
на перестук ржавеющих  
колес, травой стреноженных, —

на полпути, где светится  
гроздь неба виноградного  
и призывает встретиться  
для пиршества громадного,

явь, где с тобой в безмолвии  
мы крались к дому крайнему...  
И скатывались молнии  
по тулову трамвайному.

### ЛОЗА (И ЗОЛА)

Мне внятен бред стенаний,  
плач в горлиновых кленах,  
я тень воспоминаний  
у стен испепеленных.

И там, среди камней,  
крепящих слово с небом,

лоза — трех поколений,  
зола — идущих следом,

лоза — и узловатый  
пейзаж (рассвет, горище),  
зола — и конь крылатый  
на пепелище.

\* \*  
\*

Гарь привокзальная, арка в акациях белых,  
асимметричные ребра стропил обгорелых,

дальше разъезд, перегон с вагонеткой порожней,  
путь занесло антрацитово-вязкой порошей,

в полых витринах, нависших над улицей тряской,  
лица прохожих подернуты угольной ряской...

Хочешь забыть, ни за что не позволят забыться  
хром, и кирза, и копыта, копыта, копытца,

вечные надолбы, ссоры, правож и ухабы,  
на перекрестках пахан и похабные бабы.

«Дай погадаю!» — «Отстань...» И рука под рубаху,  
в кольцах и цыпках, крадется, царапаясь, к паху;

встанет с колен, беззащитная средь оголенных  
выцветших стен, не признает себя покоренной...

«Боже, как хочется спать». Не позволят забыться  
хром, и кирза, и копыта, копыта, копытца.

Жизнь пронесется — припомним, как в шесть завывала  
пасть репродуктора в кронах деревьев шестипалых.

\* \*  
\*

Изучая английский по Библии,  
еще пуще родной полюбили,  
даже если искали погибели,  
от нее уводили

птичья трель и тропинки холодные  
в изумрудной росе за ворота.  
Привлекали кувшинки болотные,  
да пугало болото.

Обрывались трамвайные линии  
на окраине в зарослях частых,  
призывали безмолвные лилии,  
да не велено шастать...

Я б вернулся, красавица шалая,  
к твоему золотому порогу,  
да предтечей молва запоздалая  
застилает дорогу,

я б назвал твое имя, заступница,  
да отныне другому ты спутница;

до сих пор твои волосы черные  
не слышали слово заветное,  
не воспеты цветы запрещенные,  
заплетенные в косы запретные...

Навсегда позабудется аглицкий,  
ритм раздробленный, рифма неточная,  
лишь останется образ твой ангельский  
и улыбка порочная!

На суровой земле, как на Библии,  
я клянусь, я не лгал и, возможно,  
я губил вас, кувшинки и лилии,  
потому что любил вас безбожно!



СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ



## «ПРЕМУДРОСТЬ СОЗДА СЕБЕ ДОМ»

*Речь на открытии выставки русских икон в Ватикане 29 июля 1999 года*

**В**ыставка ожидала римских и приезжих посетителей в так называемом *Braccio Carlomagno* — корпусе, возвышающемся сейчас же по правую руку от собора св. Петра. На ней были выставлены старинные русские иконы, с особым интересом к аллегоризирующим сюжетам, столь характерным для двух последних допетровских столетий; они были отобраны и подготовлены к выставке трудами российских музейных работников. Со вздохом заметим, что по некоторым локальным обстоятельствам труды эти не получили должного вознаграждения; но это особый сюжет. Так или иначе, когда выставка открывалась, приходилось думать о тех, ради кого она была устроена, кому предстояла встреча — для кого-то первая! — с нашими иконами. А интерес к выставке был очень живым. В довольно просторном зале в день открытия было наставлено стульев во много рядов, но сошлось столько народа, что сидячих мест никак не могло хватить, и в смежных пространствах виднелось множество внимательных стоячих слушателей. Мне помогли с переводом моей речи на итальянский, и я говорил именно для посетителей (больше всего — для стоячих), стараясь смотреть им в глаза. Прошу читателя иметь это в виду, когда ему покажется досадным, что про икону сказано слишком много давно ему известного.

Представляю себе, сколь многим — по мотивам православным или, напротив, секуляристским — будет несносен тон, в котором я упрощаю католиков оставаться католиками (в частности, для того, чтобы разговор с Православием оставался содержателен), да еще хвалю нынешнюю роль римского Магистеріума. Что делать, я насмотрелся в моих поездках на всеобщую атаку медиа против Магистеріума, и мои впечатления были весьма острыми. Печально, что в результате странноватого сотрудничества самых ярких противников католицизма и некоторых энергичных его хвалителей у россиянина рождается совершенно превратное представление о, так сказать, «морально-политическом единстве», в рамках которого Папа просто неотличим ни от НАТО, ни от абсолютизирующего себя либерализма, ни вообще от некоего унифицированно увиденного «современного Запада». Это уж очень далеко от истины...

Господин Председательствующий, дамы и господа,

Я глубоко взволнован тем, что мне оказалось суждено говорить сегодня, при открытии выставки русских икон в Ватикане. Единственное, чем я могу объяснить для себя волю Провидения, определившую для присутствия здесь лицо столь недостойное, ничем не заслужившее такой чести, состоит в том, что у меня при отсутствии заслуг достаточно чувствительности и воображения, чтобы оценить масштаб момента: открытие выставки икон, сконцентрировавших в себе самую душу русского Православия, здесь, в самом сердце католического мира. Событие это действительно имеет измерения, соразмерные миллениуму. Я пытаюсь представить себе, что чувствовали бы и что говорили бы

при таком случае те, кого уже нет с нами, например, русский поэт и мыслитель Вячеслав Иванов, тот, кто впервые назвал Восток и Запад *двумя легкими вселенского Христианства* и который скончался здесь, в Риме, ровно полвека тому назад. Насколько лучше было бы, если бы сегодня мог говорить он; и мы, призванные говорить в определенном смысле вместо него и за него, пожелаем себе не забывать об этом и живо чувствовать контраст между значительностью темы и момента, с одной стороны, и нашим недостойнством, с другой.

Я позволю себе начать с воспоминания о тексте Библии, имевшем особое значение для литургической, иконографической и мистической символики на Востоке и на Западе христианского мира: это главы 7 — 8 Притчей Соломоновых. В них попеременно возникают два противостоящие друг другу образа. Один из них — «жена чужая», протагонистка некоего метафизически увиденного блюда, лживая и дерзкая, ведущая свою жертву на гибель, как «птичку в силки» (7: 23). На поверхности она выглядит как блудница в духе языческих культов, но, взглядевшись, мы видим, что она не только и не столько развратница в тривиальном, бытовом смысле, сколько проповедница зла, мастерица идеологии и пропаганды:

Женщина безрассудная и шумливая,  
 глупая и ничего не знающая,  
 садится у дверей дома своего на седалище,  
 на высотах города,  
 чтобы звать проходящих мимо,  
 идущих прямо своими путями:  
 «Кто глуп, обратись сюда!»  
 И скудоумному сказала она:  
 «Воды краденые сладки,  
 и утаенный хлеб приятен».

(9: 13 — 17)

Второй — Премудрость, также образ женственный: она громко созывает тех, кто ищет благоразумия и разума, и ради борьбы с шумными уроками зла тоже возвышает свой голос, тоже становится в многолюдных местах. Но ее проповедь самообуздания решительно и последовательно противостоит пропагандистским приемам ее антагонистки. Ей есть что сказать своим ученикам, ибо в ней живет память о том, как полагались умопостигаемые основания чувственно воспринимаемой природы:

Господь имел меня началом пути Своего,  
 прежде созданий Своих, искони;  
 от века я помазана,  
 от начала, прежде бытия земли...

Когда Он уготовлял небеса, я была там.  
 Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны,  
 когда утверждал вверху облака,  
 когда укреплял источники бездны,  
 когда давал морю устав,  
 чтобы воды не переступали пределов его,  
 когда полагал основания земли:  
 тогда я была при Нем художницею,  
 и была радостью всякий день,  
 веселясь пред лицом Его во все время...

(8: 22 — 23, 27 — 30)

Премудрость Божия как символ творческой встречи Творца с Его творением — один из важных мотивов древнерусской иконографии. То, что имя Премудрости стало названием и девизом этой выставки, имеет ряд смысловых аспектов (в число которых бесспорно входит обусловивший выбор ее материала интерес к сложной духовной аллегорезе, типичной для Руси XVI — XVII веков). Но сейчас я хотел бы назвать два момента. Во-первых, выставка должна быть частью длящегося спора Премудрости с ее соперницей; безмолвие икон громко спорит с ложью, не утомившейся за тысячелетия и по-прежнему поднимающей голос. Об этом я кратко скажу к концу моей речи. Во-вторых, слово «Премудрость» особенно пригодно для символической характеристики метода Иконы, ибо последней свойственно брать космос в его умопостигаемом аспекте: не столько земля, сколько «основания земли», не столько море, сколько данный морю «устав». Реальность творения предстает такой, как в только что цитированных словах Премудрости. При посещении выставки к этому надо подготовиться.

При взглядывании в русские иконы западный наблюдатель может быть удивлен, пожалуй, даже отпугнут тем, как мало места в них отдано спонтанным человеческим эмоциям. Аскетическое переработывание эмоционального обусловливает черты абстрактности, статики, схематичности, мистического чертежа, заставляющие вспомнить сакральное искусство Тибета или даже индуистские «янтры» и священную каллиграфию исламских надписей, — хотя все это уживается в иконе византийского типа с ориентированной на живую физиогномику традицией эллинистического портрета. Чтобы понять внутренний смысл этих черт, необходимо помнить, насколько православное мистическое созерцание Христа всегда остается существенным образом мистикой Логоса в духе пролога к Евангелию от Иоанна. Отнюдь не впадая в безлично-пантеистическую стихийность, она в то же время не позволяет себе понимать таинство Вочеловечения в манере «человеческой, слишком человеческой», то есть эмоционально-психологической. Уже католическое деление событий, задающих темы так называемым кругам Розария, на «радостные», «скорбные» и «славные» — *mysteria gaudiosa, dolorosa, gloriosa*, — не содержит в себе ничего неприемлемого с православной точки зрения, все же предстает чуть-чуть чересчур однозначным. Например, эмоциональная атмосфера западного восприятия Рождества, пожалуй, слишком отдает для православного сакральным уютом семейной идиллии. Разумеется, и православный рассматривает Рождество Христово как *mysterium gaudiosum*; но в то же время Младенец изначально предстает как предопределенная Жертва Голгофы, что отнимает у всего эмоционально-идиллического всякую однозначность. В «радостном» уже присутствует «скорбное»; но еще важнее для православного сознания неумаленное мистическое предвосхищение «славного» в «скорбном». На Западе христианское искусство пошло по такому пути, на котором эмоциональный контраст между скорбью Страстной Пятницы и радостью Пасхи оказался доведен до предела; в качестве примера можно назвать позднесредневековые изваяния *Crucifixi dolorosi* (букв. «Распятого страждущего») и в особенности резкое противопоставление ужасов Крестной муки и славы Воскресения Христова у гениального Матиаса Грюневальда. Совершенно иначе трактуются те же темы в православном церковном искусстве: изображение Распятого предстает у византийских и древнерусских иконописцев не только далеким от какого-либо натурализма (и сентиментализма!) — более того: линии мучительно распростертых рук Распятого уже предвосхищают своим летящим движением блаженную пасхальную невесомость. Созерцая такие изображения Распятого, мы непосредственно переживаем всю парадоксальность мистической перспективы, в которой Страстная Пятница и Пасха до конца неразделимы. Именно Страсти Христовы — победа Христова. Некогда, в обрядах малоазийских «квартодециманов» начальнохристианского времени, Страстная Пятница и Пасхальное Воскресенье справлялись в одну и ту же ночь, а именно в пасхальную ночь иудейского календаря (четырнадцатого числа лунного месяца нисана; «квартодециманы» — от лат. *quartodecimus* —

«четырнадцатый»); хотя такая практика, отмененная еще во II веке, давно позабыта, однако духовная и эмоциональная атмосфера тех ночных бдений все еще живет в каждой православной иконе, блюдущей верность традиции. Струящиеся линии распятого Тела внушают чувство невесомого парения в пространстве, а сравнительно небольшие фигуры ангелов, подлетающих к Кресту, усиливают это чувство. Также и жесты скорбящих — Богородицы, окруженной попечением благочестивых жен, Иоанна Богослова, кладущего руку на грудь, — оказываются неожиданно легкими и мягкими и напоминают движения торжественно-сдержанного ритуального танца. Таинственно-двузначное слово Христа в Евангелии от Иоанна о Своем распятии: «должно вознесено быть Сыну Человеческому» (3: 14; ср. 8: 28 и 12: 32), — получает здесь поражающее визуальное осуществление. Это глубокий опыт, трансцендирующий мир человеческих эмоций, как «позитивных», так и «негативных».

Выступая по искреннему убеждению с похвалой русской Иконе и специально тем чертам ее западно-восточного облика, которые контрастируют с экспрессионизмом готики и имманентизмом Ренессанса и последующих эпох, я совсем не хотел бы выразить негативное отношение к сакральному искусству Запада. Эта тенденция, очень понятная как полемический эксцесс у тех, кому приходилось говорить о достоинстве Иконы в мире, еще очень мало знакомом с ней, например, у незабвенного Леонида Успенского, сегодня уже не имеет прежнего оправдания. Слава Богу, положение давно уже решительно переменялось, и наследие Иконы Древней Руси занимает подобающее место в истории искусств и, шире, в истории культуры, а в сфере интересов искателей духовного пути стоит, как ей и свойственно, рядом с такими компонентами русского православного опыта, как «Откровенные рассказы странника», это руководство по *умной молитве*, переведенное чуть ли не на все европейские языки и все время переиздаваемое, и т. п. Взгляд русского путешественника все чаще встречается в католических и англиканских церквях копии наиболее знаменитых русских икон, которым с любовью предоставлено особенно заметное место. Для полемического настроения нет причин; а если перейти на темы более личные, для меня наряду с уроками Иконы очень важно то, что дает испанская живопись в лице таких мастеров, как, например, Сурбаран. Но если я спрошу себя, что дает мне возможность одновременно думать о столь несхожих изображениях Одного и Того же Христа на иконах и у великих испанцев, то ответ будет таким: подобно тому, как наличие у человека не одного, но двух глаз, локализованных по-разному, позволяет воспринимать стереоскопический облик вещей, их отличие от всего, что укладывается на плоскости, — контрасты в визуализации одной и той же Вести на Востоке и на Западе помогают мне непосредственно, эмпирически убедиться, что христианская вера не может быть понята как компонента, хотя бы лучшая и благороднейшая, той или иной культуры, но по сущности своей трансцендентна любой культуре и обладает своим собственным, специфическим измерением. Русская икона сама по себе могла бы быть увидена как материализация самой высокой национальной мечты русских. Сурбаран сам по себе мог бы быть увиден как такая же материализация национальной души Испании. Но когда мы через глубокие контрасты изображений Христа там и здесь усматриваем единство Самого Изображенного, мы имеем возможность ощутить, что у веры — своя реальность и свое пространство, несводимые к реальностям и к измерениям цивилизаций. В этом смысле разнообразие христианских культур может быть отнесено к числу доказательств бытия Божия. Бог хочет и требует от нас единства; но Он не хочет от нас единообразия.

Встреча Востока и Запада, тема энциклики «*Ut unum sint*», о которой я имел честь писать, — это неисчерпаемая тема. Но я не могу говорить здесь, в близости могилы св. Петра и всех святых Рима, с одной стороны, и русских икон, ассоциируемых в русском народном сознании со святыней Ковчега Завета, с другой стороны, и не сказать несколько слов на жгучую тему, так сказать, *различения духов* в вопросах экуменизма.

Возможно более адекватное предмету восприятие строгости и чистоты древнерусской иконы, возможно более далекое от настроения туриста и возможно более близкое настроению паломника, — вот что могло бы быть добрым знаменем и образцом для взаимного приближения христиан Востока и христиан Запада. Ибо сегодня у подлинного христианского примирения — не одно, а два противолежащие друг другу препятствия; первое существует в равном себе виде еще с эпохи конфессиональных войн, но второе именно теперь стремительно разрастается, притом выдавая себя отнюдь не за препятствие, а, напротив, за единственную возможность примирения. Первое — анахроничский агрессивный конфессионализм, второе — адаптирующееся к духу времени отрицание вероучительных ориентиров как таковых, попытка иметь беспредметную, ничем себя не определяющую «веру вообще»: как это порой называется по-английски, *faith* без *belief*. Легко убедиться, что как одно, так и другое враждебно истории: первое выпадает из динамики истории, ибо абсолютизирует определенный момент прошедшего, второе игнорирует историю, ибо абсолютизирует идеологию самодовлеющей современности. Между тем вести диалог можно только в истории и сохраняя чувство истории. Православный и католик, спорящие о *filioque* точно так, как они спорили бы сто, двести или восемьсот лет назад, словно бы и не было явившихся с тех пор серьезных историко-экзегетических разъяснений, представляют собой, конечно, зрелище грустное; осмелюсь сказать, однако, что если оба они достаточно искренни, нечто важное их, разделенных, все же объединяет и всегда объединяло, даже в худшие времена конфликтов, и это неколебимая вера в Пресв. Троицу и в жизненную важность тринитарного учения. И не было сомнения, что один из них — действительно наследник истории христианского Востока, а другой — наследник истории христианского Запада. Но что, если нынче хотя бы один из них, сохраняя претензии на конфессиональную идентичность, попросту откажется от того, чтобы признавать релевантность вероучительных основ для своего христианского бытия? Тогда им спорить будет, конечно, уже не о чем, — да ведь не о чем будет и разговаривать, по крайней мере в качестве православного и католика. Разногласие братьев кончится — но кончится и братство. Ибо соединяет исторические христианские конфессии — учение Нового Завета; то есть в конечном счете Имя и Лицо Самого Христа, имеющее в христианстве (в отличие, например, от ислама) несомненное первенство даже по отношению к Писанию как таковому — однако вне конкретности свидетельства Евангелий образ Христа, как показывает опыт, слишком легко становится игрушкой моего воображения, и вне конкретности основных тезисов учения о Христе мое отношение к Нему попадает в зависимость от моих эмоций. Специально Католичество и Православие соединяют наследие Отцов Церкви и основные вероучительные определения Вселенских Соборов патристической эпохи. А соединяет это общее наследие постольку, поскольку обязывает. Нет, разумеется, ни малейшей нужды воспринимать его обязывающую силу в стиле так называемых «интегрисма» или «фундаментализма», относя ее, эту силу, к «букве». Апостол Народов велел нам *«быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа»* (2 Кор. 3: 6). Но он же, в выражениях исключительно твердых (для современного слуха прямо-таки жестких, как нынче говорят, «авторитарных»), вступился за идентичность подлинного учения, не позволив принимать его подмены даже от *«Ангела с неба»* (Гал. 1: 8). Первостепенная задача для христианской мысли Востока и Запада: отыскивать золотой средний путь между мертвящим поклонением исторически обусловленной букве, не допускающим поисков единого смысла в разных формах и формулах, — и секуляризмом, таящимся также и внутри Церквей и более или менее явно отрицающим важность *самого этого смысла*.

Историческая привычка побуждает православных воспринимать в католицизме едва ли не с наибольшим недоверием — римский Магистерииум как таковой. А затем следует перечень догматических разногласий. Вот, принято считать, что нас разделяет. Но должен сознаться, что у меня перед глазами со-

временные впечатления, которые внушают иные чувства. В современном католицизме римский Магистерииум в борьбе, очень трудной, почти одинокой, защищает общее для нас уважение к норме Писания и Предания, — или скажем так: защищает крайне трудно приемлемую для нашего века мысль, что вера к чему-то обязывает верующего. И вот мой вопрос: разве не проходит очень ошутимая грань между христианами разных конфессий, которые читают Символ Веры (будь то *Apostolicum* или Никейско-Константинопольский, без *filioque* или с *filioque*), принимая каждое слово как обязывающее выражение своей веры, — и теми, для кого эта рецитация есть не более как конвенциональное обыкновение? И не отчетливее ли, не существеннее ли эта грань, чем границы, разделяющие конфессии? Снова, в ином контексте, приходится говорить о том, о чем нам, русским, приходится так часто думать в связи с опытом гонений: о вере как верности, о великом разделении между верными и неверными и о солидарности верных. Православному, серьезно относящемуся одновременно к своей православной идентичности и к межконфессиональному диалогу, порой хочется крикнуть: братья католики, умоляем вас, оставайтесь католиками, сохраняйте верность — о, не интегристскую, напротив, умудренную разумом здравого *Aggiornmento*, но твердую верность — вашей традиции. С католиками, которые остаются католиками, с римским Магистерииумом православным есть о чем говорить. Но ветер времени настойчиво стремится развеять смысл всех слов, и православных, и католических. Релятивизм, отрицающий абсолютность чего бы то ни было, кроме себя самого, обещает всех помирить, но хочет сделать так, что мириться будет уже некому.

Смысл евангельской вести, сохраняющий свою неизменность в обновлении форм, меняющихся, как все живое, — вот что соединяет *верных*, *fideles*, поверх всех продолжающих покуда стоять конфессиональных перегородок (которые, впрочем, как сказал русский православный иерарх прошлого столетия, *до неба не доходят*). И вот что продолжает быть и в наше время, как было всегда, неприемлемым для *князя мира сего*. Вот чего он не может простить. Неплохо напророчил в свое время, сто лет назад, великий русский философ Владимир Соловьев, автор «Трех разговоров»: враг готов «толерантно» принять внешнюю декорацию католического институционализма, декорацию православного ритуализма, декорацию протестантского «свободного исследования», он готов терпеть и чрезвычайно либеральное, и преувеличенно консервативное христианство, и христианство с прочими прилагательными, и только один вид христианства для него абсолютно неприемлем: христианское христианство. Так возникает предсказанная Соловьевым поляризация: с одной стороны, взаимопонимание под знаком *князя мира сего*, направленное против верных, — с другой стороны, межконфессиональная солидарность самих этих верных, уготовляющая пути единству.

Говоря об этом, слишком легко впасть в патетику; наше время побуждает этого остерегаться. Слишком много народы слышали лжи, обремененной в патетические фразы, — чтобы не возникло обоснованного страха перед громкой интонацией. Ведь и неприязнь сил, враждебных христианской духовности, выражает себя сегодня по внешности иначе, совсем иначе, чем это было во времена страдальцев всех конфессий в сталинских и гитлеровских лагерях. Это как будто бы даже и не злоба, а презрительное безразличие. Но нам, помнящим другое, видевшим в сталинскую эпоху пронзительный взгляд того, кого Писание называет «князем мира сего», трудно увидеть в этом безразличии что-то иное, чем маску. Какое там безразличие — это плохо прикрытая *ненависть*, которую «иоаннические» тексты Нового Завета неоднократно называют ее настоящим именем (Ин. 15: 18; ср. I Ин. 3: 13).

Чем трезвее мы видим реальность времени, тем очевиднее наш долг, выходящая словами энциклики «*Ut omnes unum sint*»<sup>1</sup>, «исповедовать вместе ис-

<sup>1</sup> Чтобы все были едины (лат.). (Примеч. ред.)



тину Креста». Ту истину, которая и сегодня, как в дни Павла, «безумие» для одних и «соблазн» для других. Которая и сегодня требует от нас именно той веры, которая есть верность: *emuna — pistis — fides*. Премудрость и в реальности сегодняшнего дня, как в библейском видении, вовлечена в жестокий спор со своей древней врагиней.

И да будут с нами, как ободряющие уроки, такие плоды веры прежних поколений, каковы, например, представленные на выставке иконы! Я принадлежу к тому поколению русской интеллигенции, выставшей в советское время, представители которой очень часто получали основные импульсы своего христианского обращения именно от икон. Здесь была дивная военная хитрость Провидения: атеистическая власть конфисковывала древние иконы и размещала их в музеях, надеясь на действие секуляризирующего музейного контекста, — а иконы осуществляли и там свой беззвучный апостолат, и не один юноша, пришедший из любопытства или в лучшем случае ради эстетического переживания, обретал в итоге веру! Да будет дано этому «апостолату» продлиться — так, чтобы среди посетителей этой выставки верующие становились тверже в вере и лучше понимали, во что веруют, а неверующим брезжил свет тайны, — *così sia*<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Да будет так (*итал.*). (*Примеч. ред.*)



---

---

# ПОЛЕМИКА

ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ



## ПОДМОРОЗИТЬ ИСТОРИЮ?

**В** книге Дмитрия Шушарина<sup>1</sup> две части. Первая — статридцатистраничный научный текст, возможно, переработанная диссертация; он повествует в основном о событиях начала XVI века в Германии. Вторая часть — переработанные публицистические статьи последнего десятилетия.

«Швабский союз» пятисотлетней давности — и Россия на пороге XXI века... Правомерно ли совмещение этих материалов под одной обложкой? При чтении книги скепсис исчезает: авторская концепция единства европейской истории аргументированна и убедительна. «Прикладное значение истории — в исторической самоидентификации», — считает Шушарин. Научная значимость этого труда — не тема нашей статьи. А «прикладное» значение книги действительно велико: она помогает нам опознать себя, понять однородность причин, следствий, сил, проявляющихся в потоке *иудео-христианской* истории. Автор возрождает этот подзабытый (к сожалению) термин: может, построения книги и неприменимы к Индии или Китаю, — а вот сходство процессов в Германии (тогда, 500 лет назад) и в России (сейчас, сегодня) будоражит чувства и понуждает к размышлению.

Первые семьдесят страниц носят подготовительный характер: они детально описывают структуру предреформационного немецкого общества. Каковы были социальные и финансовые связи князей, рыцарей, дворян, крестьян, бюргеров? А также: городских общин и имперских учреждений; князей и городов; императора и дворян... К главе «Начало Реформации» мы подходим с солидным багажом за плечами.

Например, было интересно узнать, что высшие слои бюргерства были много ближе к дворянству, чем к крестьянству или к низшим слоям собственного сословия. Не только экономически (эксплуатация окрестных сел носила вполне феодальный характер), но и по образу жизни — вплоть до турниров, которые наше стереотипное сознание не мыслит без прилагательного «рыцарские». Наше «неразличение» бюргеров и крестьян автор книги относит к пережиткам классового подхода. Вспоминаются, однако, «антигорожанские» баллады Бертраана де Борна:

Пускай крестьянин с торгашом  
Зимой походят нагишом.  
Друзья! Забудем жалость,  
Чтоб чернь не размножалась!  
.....  
Бесчинство их и похвальбу  
Давно пресечь пора нам!  
Смерть мужикам и торгашам!  
Погибель горожанам!

---

Сендеров Валерий Анатольевич — математик, публицист, педагог. Родился в 1945 году в Москве. В 1970 году окончил Московский физико-технический институт. Автор нескольких десятков статей по функциональному анализу. В 1982 году был арестован и провел в заключении пять лет. Представитель Международного общества прав человека в России по религиозным проблемам. Лауреат премии Комитета «Религия в подсоветских странах». Выступает со статьями на темы истории, культурфилософии, современного общественного сознания в журналах «Вопросы философии», «Новый мир», «Посев».

<sup>1</sup> Шушарин Дмитрий. Две реформации. Очерки по истории Германии и России. М., «Дом интеллектуальной книги», 2000.

Но... литература литературой, а прочие факторы, в том числе экономические, игнорировать тоже нельзя.

Вот еще пример неоднозначной ситуации. Император был покровителем Швабского союза. И в то же время — одним из его рядовых членов, имевшим, правда, два голоса вместо одного. Ситуация неординарная; но не настолько, как может показаться на первый взгляд: напрашивается воспоминание о положении в Церкви византийского василевса. Он председательствовал на Соборах — и в то же время занимал в церковной иерархии весьма низкую, приблизительно соответствующую нынешней диаконской, ступень. Что перед нами — совпадение? Или какие-то закономерности христианско-имперского мышления, которые надлежит еще прочувствовать, понять и объяснить?

У другого читателя возникнут другие ассоциации и вопросы. Но — непременно возникнут: они всегда сопутствуют чтению серьезных исторических книг...

Пора переходить к «Началу Реформации», к четвертой главе. Здесь авторская концепция заявляет о себе все более властно.

«Чтобы сразу пояснить свою позицию, не изображая беспристрастность и отсутствие связей с определенными идеологическими системами, я не намерен скрывать приверженность правым политическим течениям, которые объединяются понятиями неоконсерватизм, либеральный консерватизм, национализм», — пишет Шушарин. Наличие у автора ясно выраженной концепции не является, разумеется, минусом работы. Но... Факты и исторические оценки, с одной стороны, и идеология, с другой, сосуществуют в книге своеобразно. Примерно как дворяне и бюргеры: то они живут мирно и дополняют друг друга, то нескрывая враждуют.

Что есть в книге? Есть мрачное Средневековье: «Средние века нельзя считать христианнейшей эпохой, то было время полуязыческое». «Полу» — это значит отбирай что хочешь. И идеология хочет: по смыслу книги Средневековье — время именно языческое. И даже хуже: единственные его потенции — еретические. Носители этих потенций — бунтующие крестьянские массы. Вдохновляемые апокалиптикой Иоахима Флорского, массы ринулись разрушать «цивилизационные основы, коими являются правовые и властные институты». Разрушать же не следовало: классический образец должного преодоления застойно-языческой реальности — Реформация; герои ее — Лютер и Император. Проекция этих построений на наше время очевидна; впрочем, они еще впереди — у автора, а вследствие этого и у нас. Но некоторое планирование дальнейшего, послелютеровского, христианского пути Европы намечено уже в первой части книги. При Реформации, пишет Шушарин, «принципиально меняются отношения между Богом и человеком, а христианский персонализм, хотя бы и в такой форме бытования, как рыночный индивидуализм, становится основой общественного устройства».

Мы никого не будем защищать от рыночного персонализма. Ни «беднячка» Франциска, ни Игнатия Лойолу, ни св. Терезу, ни Торквемаду... Мы лишь продолжим исследование авторской конструкции. И в рамках этой работы заметим: современность еще раз вторгается в ткань первой части книги. На сей раз, похоже, без ведома и согласия автора. Вот как характеризует Шушарин сочинение Эберлина из Гюнцбурга — трактат, сопутствовавший мюнцеровской революционно-еретической попытке переустройства страны: «Всем условиям находилось место... Это все тот же принцип охранительства, попытка консервации уже сложившейся социальной структуры, предотвращения социальной мобильности. *Остановка времени, разрушение линейной темпоральности христианского сознания, антисобытийность*».

Что-то очень современное напоминает этот выразительный пассаж... Ну да: это же «Конец истории», американский интеллектуальный бестселлер! Благая весть для наипрогрессивнейшей части университетского истеблишмента...

«Самые разные социальные слои объединялись желанием остановить время, создать устойчивый, не меняющийся общественный порядок... Это было

антимодернизационное сопротивление Средневековья как целостности». Сохранение целостности — может, конечно, оно и является некоей потаенной, нутряной задачей насильников и разрушителей. Эта точка зрения остроумна, но не нова. Большевизм как наследие Московской Руси — многие умствовали на этот сюжет, не минуя нас и на сей раз.

А между тем именно *средневековая* сила в это время еще была. И одним из звездных ее веков стал именно шестнадцатый. И именно в Германии. Силой этой была Инквизиция — одно из самых оболганных и самых возвышенных явлений христианской истории. Сегодняшнего человека шокирует даже без-оценочный (а если слегка вдуматься, то и очевидный) факт: современная судебная процедура — прямая наследница инквизиционной. Пока бароны и города судили в меру своей раздробленности, Инквизиция вырабатывала единую, строго формализованную юридическую систему.

Остановить историю... Это и было целью, но вздернуть человечество на дыбу духовности было уже невозможно: история шла, и поступь ее была победоносна. Стоял уже XVI век — и подвижнические усилия Церкви работали лишь на Лютера, на реформаторов и еретиков.

Инквизиция и была классическим *консервационным* ответом Средневековья. В авторской схеме ее нет: не записывать же, в самом деле, в еретики отцов-судей. Свою философию истории Шушарин называет христианско-персоналистской. Однако его построения базируются на одном постулате, который, на мой взгляд, христианским не является. Массовым, всеобщим — да, безусловно; но это ведь не одно и то же.

Речь идет о постулате прогресса. С точки зрения социалиста мир должен делаться все более социалистическим. С точки зрения верующего в прогресс христианина — все более христианским. А коли так, то мы и приходим тотчас к персонализму в извращенной форме. Как не прийти: ведь другого будущего у Европы, включая Россию, действительно нет.

Но христианство лишь для личности — путь вверх, к спасению души. А не для истории; не для культур, социумов, народов. Двигатель христианской истории — вера; а она-то все скудеет; это постоянно повторяемое в Библии — от первых ее книг до Откровения — утверждение. Любой оптимизм, в том числе исторический, христианину противопоказан. Чем создан неповторимо аристократичный, жертвенный пафос христианства — обетованием многого имущества, и детей, и жен? Или же иным обетованием: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое»?

И если вот так (как на безусловный *путь вниз*) посмотреть на историю — многое становится на места.

Бывает разное отношение к истории. Можно ее ускорять, и занятие это беспроигрышное: мюнцеры и ленины побеждают всегда. Одни сразу, другие в отдаленной перспективе — но зато надежно. Какая это изысканная вежливость — считать, что информационный мир руководствуется трудовой, в духе Вебера, этикой протестантизма. А если взглянуть на важнейшую, религиозную сторону прогресса — здесь нет уже и вопросов, назвать сегодняшний мир лютеранским можно с тем же успехом, что католическим или православным. Мы интуитивно выбираем безличную утешительную формулу: «западный протестантизм». Дескать, Лютер, Кальвин, ну, еще там другие. Вот именно что *другие*. Тысячи нынешних «церквей» — наследники темных средневековых крестьянских суеверий. Эти суеверия и определяют, почти уже однозначно, лицо человечества. Стоит ли скрывать за общим термином «протестантизм» некоторую разницу между маленькими северными королевствами — и Новым Светом?

А можно и не ускорять историю. Можно ее останавливать. Насаждать аскезу там, где время ее *ушло, кончилось*. Результат будет тот же. Если не хуже.

А есть еще третий путь в истории. Путь этот — лютеранский, реформаторский. Модернизационный.

Мартин Лютер был предан Церкви, той, в которой он был монахом, — традиционной, католической. Он ясно видел: она готова рухнуть. И потому

модернизировал ее. Он рывком безмерно все примитивизировал, упростил — и указал этому упрощению твердые пределы. Пусть на плоскость, но ведь не в пропасть — дальше ни шагу!

...Меня поразило, как шведские ученые говорят о Рождестве Христовом. Без мистики и без праздничности, но уважительно и глубоко серьезно: как о заседании кафедры, как о присуждении степени. Я не иронизирую. Было поразительно видеть не рефлексирующую, не сомневающуюся веру. Потому что — *просто не в чем* ей сомневаться. Для них рождение Христа — событие истории (я говорю о психологии, не о догматике). Но какое же важное: *это* звено непрерывной цепи важнее смерти родителей и рождения детей...

Время в Скандинавии кажется *подмороженным*. Здесь (по слову — о Победоносцеве — Константина Леонтьева) ничего не вырастет. И ничего не сгниет. Здесь не будут ползти на коленях в дальний монастырь. Но и брать на мушку Причастие не будут тоже. Может быть, вот так, не меняясь, без гниения и без творчества, доживут уцелевшие лютеранские страны и до Страшного Суда... Моя трактовка Лютера не оригинальна, она идет от Я. Буркхардта. Образ реформатора-охранителя нарисован и в книге. Нарисован ярко, как и многое другое. Повторим еще раз: не исторические картины вызывают возражения в первой ее части, а их схематическая трактовка.

«Модернизационные и контрмодернизационные процессы в России» — так можно обозначить главную тему второй части книги. Автор подробно рассматривает два периода, первый из них: модернизация Империи, от Николая I до Александра III. По концепции автора, обновление было прервано последним царствованием, что и стало причиной катастрофы. А второй период модернизации — наши дни, последнее десятилетие.

Перед нами — подход историка, точный и оригинальный одновременно. Чем же, как не царствованием Николая Павловича, и датировать начало российских реформ? Но такая датировка почти не встречается в литературе без неоправданных материалом оговорок — реверансов в сторону ревдемовских клише. Клише живут и здравствуют, а посему очевидное нуждается в доказывании — и рассуждения Шушарина доказательны. «Я не знал этого раньше!» — часто хочется повторить при чтении первой части книги. При чтении второй части рефрен меняется: не «Я не знал!», а «Как я этого раньше не видел?». Ясно, что увидеть заново — не менее увлекательно и полезно, чем впервые узнать.

Тезис об Александре III как реформаторе более спорен. Разве не в царствование Миротворца наметились перспективы обращения Российской Империи в «Московское царство»? Разве уже бомба Гриневицкого не оказалась смертельной для аристократичной, либеральной Империи Александра II?

Если бы перед нами была монография, эти вопросы были бы законны и уместны. Но жанр второй части можно определить как *историческую публицистику*. И в рамках этого жанра автор вправе выделять *одну* из определяющих черт предпоследнего царствования: продолжающееся реформаторство. Вправе он и настаивать, акцентированно и полемично, на существенности выбранных им черт. Пока Шушарин остается историком, вкус и чувство меры не изменяют ему.

Но не историчность повествования определяет вторую часть книги, а другие ее «слои»: публицистический, журналистский. И — идеологический... *В принципе* такое многообразие непротиворечиво: все эти подходы переплетаются, они — стилистически и содержательно — дополняют друг друга.

Вот один из образцов шушаринского изложения:

«Государственная власть, являющаяся ныне в России самостоятельным субъектом, формирующим гражданское общество, пока еще субъектности не обретшее, не доросшее до нее, не упустила инициативу. Напротив, она предложила и провела свою кандидатуру. Ею стал Владимир Путин.

При этом, в отличие от других периодов русской истории, власть не вышла за рамки ею же самой очерченного конституционного поля. Более того, лидер оказался... принятым большинством общества. Востребованной оказалась способность к проявлению государственной воли.

...Россия может получить октябрь 17-го и январь 33-го в одном флаконе. И пока общество не выработало иммунитета против заразы красной и коричневой, бороться с чумой обязано государство. А потому государство должно дать твердые гарантии того, что ни коммунисты, ни фашисты никогда не придут к власти ни антиконституционным, ни конституционным путем.

Государство — это прежде всего глава государства.

Другой антитоталитарной силы в России нет. Противостоять красно-коричневым возможно, лишь взяв ответственность на себя. Но этого интеллигенция, в том числе именующая себя христианской... сделать не в состоянии. Потому что интеллигентское корпоративное сознание, как и сознание революционно-демократическое, вообще не оперирует категориями, связанными с личностью, в том числе с личной ответственностью.

Ясное и четкое изложение очевидных — по крайней мере для меня — мыслей. И когда подобные рассуждения не только «в принципе», а и в реальности станут в нашем обществе очевидными и обыденными, — тогда значимость второй части этой книги существенно уменьшится. Сегодня же книга, в числе очень немногих других, наступление такого времени приближает.

А вот еще пример изложения:

«Спор, начатый советскими литераторами в конце 60-х годов и продолженный уже при последнем генсеке, был не общественным, а придворным и являл собой борьбу профессора Преображенского со Швондером и Шариковым в рамках телефонного права — чей покровитель брал верх, кому удавалось повлиять на власть в большей степени, тот и отвоевывал жилплощадь».

Или вот так: «Не политика России, а политика Россией». Это — о нашей стране и балканских делах. Почему бы не поставить этот афоризм вслед за «славянобесием» Константина Леонтьева?

Мы привели примеры публицистических удач. А вот еще образцы, теперь уже «снизу» — иной журналистики, иного стиля:

«В основе позиции Солженицына лежит абсолютно ложное, хотя и традиционное для образованщины, противопоставление цивилизации и культуры. Можно, конечно, вспомнить и Шпенглера, но много чести». Кому-чему много: Солженицыну или Шпенглеру? Не будем придираемся, не в них обоих дело — это просто у Шушарина приемы такие, когда он со своими оппонентами борется. В данном случае — со сторонниками органической культурфилософии. Ибо сам автор рассматривает цивилизацию как очередную фазу культуры. И вот перед нами «аргументация» — историка, переэквалифицировавшегося в журналисты.

А еще журналисту не нравится почвенничество. И он клеймит его заслуженным позором. «Кстати, о любви к мужику — что у Гоголя с Толстым, что у народников... Приведу слова одного человека, отдавшего сельскому хозяйству часть своей жизни: „Германский народ является крестьянским народом и должен быть возвращен к исконно присущему ему способу существования“. И далее Гиммлер рассуждает о том, какую пользу в связи с этим принесет захват восточных земель». Что, убедительно?..

Перед нами не срывы — подобный способ полемики, а часто и рассуждений органично связан с *новорусской идеологией* второй части книги.

В слово «новорусское» я не вкладываю негативного содержания. Напротив: я хочу, чтобы эта самая ныне складывающаяся, как пишет Шушарин, русская нация существовала и развивалась. Так что если б был по этому поводу какой референдум, мы с автором проголосовали бы за одно и то же. Только бывают случаи, когда оттенки и нюансы значат несколько не меньше, нежели то, в какую урну ты опускаешь свой шар...

Базой своего мировоззрения автор считает христианский персонализм. По конфессиональной принадлежности Шушарин, как можно заключить, православный: в одной из глав он сообщает читателю, как он советовался со своим духовником. В книге много ссылок, уместных и удачных, на церковные авторитеты. Но *декларируемые* автором акценты не всегда совпадают с *расставляемыми* им.

Христианство, по Шушарину, непрерывно прогрессирует. Вершина его (пока?) — «христианство XX века», «христианство Нового времени, которое так еще и не наступило в России». К прогрессивному христианству мало кто, разумеется, достоин принадлежать. Но примеры все-таки имеются: Осип и Надежда Мандельштам, Набоков, Шаламов.

Опять же не станем иронизировать, не будем напоминать, что в православном мировоззрении странно выглядело бы выделение, допустим, «христианства XIV века» — хоть это и век Григория Паламы. Перед нами конечно же чисто протестантский подход. И проявляется это постоянно, иногда с полной ясностью.

«Реформация была ознаменована возвращением к традиции, к Писанию как единственному источнику авторитета.

...На первый взгляд, старообрядцы предстают в роли защитников книжности, верности Писанию. Однако... старообрядцы боролись прежде всего за право передавать традицию тем способом, который уже был, — не совсем устным, но и не совсем письменным. Писание становилось Священным не от древности, не от греческого происхождения, а от того, что передавалось из поколения в поколение».

Авторские оценки и Реформации, и старообрядчества очевидны. А рассуждения о «способе, который не совсем», — витиеватый уход от очень простой истины: в *церковной* традиции Писание и Предание связаны неразрывно.

Что ж, христианство в России уже сегодня — причудливая смесь Православия с крепнущим протестантско-индивидуалистическим кредо многих. Протестантизм, самоопределяющийся как православно-персоналистическая традиционность... Явление заслуживает внимания. Отрицать его нельзя.

Удручает только некоторая наивность, с которой автор подчас реализует свои подходы — «правильные, хорошие» идейные подходы. Скажем, все, что есть доброго, — от Христа; никто из нас не станет с этим спорить. Но вот как, к примеру, этот тезис воплощается в шушаринских разработках темы: «Ясность мысли Набокова не оставляет сомнений в христианском характере его творчества». Не более убедительны и схемы-сети, накидываемые автором на историческое развитие страны. В предкатастрофной России он выделяет три основные силы — как и в средневековой Европе.

Есть самодержавие. О нем Шушарин пишет, в самом мягком варианте, с прилагательным «патриархальное» — эпитет в терминологии книги резко отрицательный. Но на чем это самое самодержавие основано? Каковы его базовые ценности? Ответа на простой вопрос «Что такое самодержавие?» внимательное чтение книги не дает.

Удивительно: вторая сила — модернизаторы: императоры, Победоносцев, Витте — описана автором ярко и живо. А *что*, собственно, они модернизировали? Подлежавшая реформированию система, структура ускользает от рассмотрения.

Третья существенная сила — это, разумеется, расшатыватели: «внесистемные» радикальные оппозиционеры, народовольцы, большевики. Все они (угадать уже нетрудно!) стремятся к сохранению старого; модернизация — их главный враг. Это — как бы «схема схемы». Посмотрим теперь немного подробнее.

О самодержавии. Титулуя так и большевизм, автор пишет, что *царское* самодержавие имело историю, а потому и модернизационный потенциал. Но более детальная аргументация Шушарина противоречит этому.

«Русская бюрократия была вынуждена создавать внешне модернизированное оформление (не форму, а именно оформление) для патриархального самодержавия, не нуждавшегося в легитимации... Это самое главное, основное проявление бюрократической дисфункции в России. И это обусловило полное подчинение бюрократии частноправовому государственному устройству. Она не стала субъектом по отношению к самодержавию, оставшись его орудием».

Получается непреложно: модернизация в России была обречена (хотя в книге все время подчеркивается, что историю делает личность, что фатальных закономерностей нет — ни исторических, ни культурных). Модернизаторы Европы действовали в рамках многовековой традиции признаваемого обществом писаного права. В России же писаного права как общественно значимого фактора не существовало. Начальные условия для реформаторов, согласимся, несколько разные. И получается, что в таких условиях — в пасти зияющего вечной антиперсоналистской пустотой самодержавия — реформаторские усилия только и могли иметь эффектом сегодняшнюю книгу о них.

Дело не в том, согласится ли сам автор с несколько фаталистическим выводом из своих построений. Важнее другое: уже рассмотрение личности Николая Павловича дает не укладывающиеся в схему эффекты. Да, «единственный европеец в России» был великим реформатором. Он подготовил, при жесткой оппозиции всех слоев общества, отмену крепостного права. Он реализовал (кажется, только в книгах Эйдельмана упомянуто об этом) все государственнические, несумасбродные проекты декабристов.

Все это так. Но ревнители «Росей-державы» напомним нам и другое. Николай — «соавтор» формулы «Православие, Самодержавие, Народность». Именно этими «царе-народными» принципами и пытался, прерывая реформы, *буквально* руководствоваться Николай II.

Что же делать? Так и будем «делить» не только историю, а и конкретную личность: каждый берет причитающуюся ему, по его идеологии, часть?

Похоже, нам не обойтись без более детального рассмотрения как этого самого «самодержавия-небытия», так и его реальных (а не лишь декларируемых) модернизационных потенциалов.

Единственным источником христианских ценностей автор считает персонализм, в книге постоянно говорится об этом.

«Многие общественные и политические деятели толкуют соборность в качестве некой антиличностной силы, присутствующей в Церкви вне ее членов (чего в принципе не может быть)».

Но это ведь сглаживание проблемы. Суть же в том, что Соборность есть *не вытекающая* из персонализма христианская реальность — Соборность и персонализм не «последовательны», а «параллельны». Эту почти очевидную истину проще всего пояснить демонстрацией базовых религиозно-культурных феноменов.

Посмотрим на творчество бл. Августина, на его тончайший психоанализ, на сосредоточенное самостояние перед Богом. У истоков какой из двух линий христианского развития стоит Августин: Запада или Востока, Католичества или Православия? Ответ ясен, если даже не знать его заранее. А вот другой пример: сирийские молитвы первых веков. О спасении людей, и зверей, и гадюк, и бесов — всего мира тварного и нетварного. А от этих молитв куда пошло? К правовой дифференциации мира — или к постоянному ощущению его единства и целостности?

Конечно, по глубокому счету христианство едино, оно не делится на западное и восточное. Но это — по очень уж глубокому... А история потекла все-таки по двум руслам. Христианизировались очень разные — греческая и римская — культуры. И именно свобода человеческой воли в них обусловила выбор: каждая из протокультур «присвоила» из единого христианства наиболее близкое своему «организму».

Речь не о догматике, конечно, — о ментально-культурных приоритетах; а они обозначились рано и ясно. Там — «два меча». База — слова Христа; прин-



цип — разделение духовного и светского; этому посвящается огромная богословская и юридическая литература. Здесь (в Византии) — симфония властей, единство, двуглавый орел.

Перейдем, в беглом нашем экскурсе, к самодержавию прошлого века. Наследниками Византии и были, и чувствовали себя русские цари. И это описывает и объясняет, в частности, «державную» часть личности Николая I. Но была и другая часть, объяснялась она просто: Византии давно не существовало, западноевропейская модель была уже единственной формой бытования христианского государства.

Празден вопрос: добро эта форма по сравнению с византийской или же явное зло. В сознании Александра III, например, она была злом безусловным. Но как думает автор книги, отец последнего Императора тоже был, вопреки распространенным штампам, модернизатором, просветителем, европейцем. (Ибо он был реалистом; а его сын захотел несбыточного, возжаждал идеала.) В этой непривычной точке зрения есть некая доля истины.

Вот — политика Николая I: подморозить. Опять подморозить — чтобы не размылось, не рухнуло. Но чтобы хоть задержать гниение, надо было идти вперед. Только вперед, в ногу с Европой — консервативной, монархической, правовой. И против Европы — против все наглее заявляющего о себе эгалитарного ее будущего.

Россия должна стать Европой; Россия должна Европу спасти.

Но протекли немногие десятилетия — и идеал Александра III стал куда скромней. России, сколько ее ни реформируй, рядом в Европе идти было уже не с кем. Друзей, как известно, оставалось двое: русская армия и русский флот.

Прошли, однако, времена, когда опора на этих друзей была достаточна для европейской державы...

Самодержавие погибало; что же шло ему на смену? Ответ автора (а точнее — его схемы) мы знаем заранее: победила «партия традиционалистского реванша, антимодернизационная сила». Доказательств — никаких: по-видимому, к концу книги эти тезисы считаются уже очевидными.

Однако очевидности в них нет. Не нуждается в доказательстве лишь одно: в событиях первых послекатастрофных лет действительно играло огромную роль разбойное, антигосударственное, «московско-русское» начало. В литературе его обычно называют «большевизмом» в отличие от начала «коммунистического». Но был большевизм расстрелян уже Ильичем, так что Верному Ученику в этой области государственного строительства делать было нечего: романтических бандитов давно прикончили в бутырских прогулочных двориках, и никакого труда не составило добить в лубяньских подвалах их вдохновенных певцов. Образ середины советских 20-х — это уже не Конармия, а «Мы». Соглашаться с Замятинным не обязательно, но для спора с ним нужны аргументы; в книге они отсутствуют.

Столь же неубедительны попытки автора пустить по ведомству «ретро» итальянский и немецкий социализм. Почему режим Муссолини характеризуется «древнеримскими» декорациями, а не, скажем, романом с футуризмом? На вопрос: «Кому принадлежит Италия?» — трехлетки-«римляне» обязаны были пищать, вскидывая руку: «Нам!» (Не вспоминаются ли «Вехи»: в них сказано о социалистическом культе малолеток, о принципиальном демонстративном отрицании завтрашними победителями любой традиционности.)

С немецким социализмом дело обстоит сложнее, в гитлеризме действительно были сильные элементы почвенности. Но сутью Передового Учения был *магизм*: в Германии создавалась антихристианская, основанная на космогониях и индуизме *техническая цивилизация*.

Все это темы для серьезного разговора, и лишь по одной причине я вынужден касаться их мельком: в книге такой разговор даже и не намечен. А вот категоричных, «очевидных» авторских деклараций — предостаточно.

Переходя к нашим дням, зададимся по-прежнему несколькими основными вопросами. Вопросов этих три, они те же, что и в начале книги, когда речь шла о Реформации в Германии. Вот они.

*Что реформируется? Каковы модернизационные силы, кто реформаторы? И последний, может быть, самый важный вопрос: куда идем?*

Ответ на первый вопрос в книге по-прежнему неудовлетворителен: позади какое-то туманное небытие. Ибо прошлого у России просто нет. Шушарин не говорит так, он даже, как мы видели, *фактически* не раз утверждает обратное: в книге есть блестящие страницы, посвященные нашей истории.

Но схема (как это и бывает всегда) живет самостоятельной жизнью. Империя? — помеха национальному государству, не что иное. Самодержавие? — патриархальный, не укорененный в правовой традиции атавизм (мы уже видели это выше). Может, хоть сама нация, народ? Но русская нация... только-только формируется, об этом Шушарин пишет неоднократно. «Существо перехода к Новому времени, существо модернизации, существо формирования наций... именно в утверждении принципа внутренней свободы человека, персонализма веры». А «Новое время в России так еще и не наступило» — следовательно?

И не нужно ждать от этой книги никаких иных выводов; нет их и быть не может — с позиций спроецированного на новорусскость персонализма. А если что в нашем несуществующем прошлом и было, то... тем для нас и хуже. Со вкусом, со смаком повествует автор о «так называемой великой русской литературе». Многажды и многажды встречается в книге замечательный этот оборот. Вроде «загнивающего капитализма» в нашем недалеком прошлом.

А и правильно: если с Империей — так, то так же надобно и с литературой: они же в России нераздельны; именно она, литература, дала вечный образ погибшей Империи. «Несколько поэтов. Достоевский / Несколько царей. Орел двуглавый / И — державная дорога — Невский»...

Шушарин пишет: «России некуда возвращаться». Да ведь есть куда. Ценности, становящиеся у нас сегодня, — это именно ценности Российской Империи — западной, либеральной, правовой. Безусловно, антисоциалистической; безусловно, антиэгалитарной. И за это *европейское* будущее и не любит нас *сегодняшний* Запад — не права же человека, в самом деле, волнуют пострейгановский мир.

Впрочем, вернемся к прошлому — что бишь еще у нас было этакое? Религиозное возрождение, говорят? Неверно: «так называемое»... Ибо никакого в нем «творческого акта не произошло». Да и вообще «Серебряный век кажется утонченно эстетским только после Жданова с Ермиловым».

Не было у нас истории, не было культуры (литературы особенно). Ничего не напишешь. Зато хоть перспектива какая-то есть, о ней художественно повествуется в главе, названной «Апология ящика» (то есть телевизора и всего, что с ним связано в масскульте). «Американская кинематография много лет успешно справляется с пропагандой силы во имя свободы, с проповедью законопослушания и оправдания частной жизни». Из всех искусств важнейшим для нас, как известно, является кино...

Что сказать про все это? Да, Шушарин заостряет свои мысли. Это с одной стороны; а с другой — и приведенные мной цитаты вырваны из контекста: есть непреложные законы полемики, и было бы наивно или недобросовестно их отрицать. Но число этих красноречивых высказываний-формул легко удесятерить, а главное — они вполне отражают, *характеризуют* контекст.

Характеризует его, однако, и другое — то, как автор пишет о реформаторах и реформах. Здесь он в своей стихии, здесь идеолог не зашибает историка и публициста, напротив: они сливаются воедино. Страницы, посвященные будущему, реформаторам, в частности — Анатолию Чубайсу, не только из лучших в книге; они — из лучшего, что написано на эти темы вообще.

Это так, пока они *конкретны*. Когда же автор переходит к абстракции, к перспективе, тогда возникают новые недоумения и новые вопросы.

«Новоевропейское государство», «новоевропейские ценности»... Подобные обороты возникают в книге все время — вот так, например: «Новоевропейское государство является хранителем и защитником иудео-христианской цивилизации». Или вот так: «Национальные интересы России состоят в том, чтобы стать равноправным членом сообщества цивилизованных наций, то есть тех, кто формирует, сохраняет, защищает и распространяет фундаментальные ценности иудео-христианской цивилизации».

Что означает это «ново-»? Есть две логические возможности. Или речь идет о «Новом времени» в классическом значении термина: о периоде, ведущем свое начало от Реформации и Контрреформации. Или (второе возможное толкование) автор говорит о тех понятиях, о которых в нашем быстро ускоряющемся мире еще вчера не слыхивала и сама Европа. О «новом мировом порядке», например.

Историк Шушарин пишет о первом, классическом толковании; в книге, в одном или в двух местах, это объяснено. Так что вопроса, если подходить к нему академически, нет. Но вступать-то мы будем в *сегодняшнее* «сообщество цивилизованных наций», в этом, как видим, наши национальные интересы. С академической, формальной точки зрения сообщество данное, может, и то же, что сто или двести лет назад. (Впрочем, после новаторского цивилизованного наплевательства на понятие национального суверенитета и это не очевидно.) А — реально?

Что — Европа, о каком Западе идет речь? О Западе *отцов основателей* Америки, выводящем достоинство человека из замысла Божия о нем? Или о *сегодняшнем*, где школьная молитва — под запретом (даже рейгановский авторитет был бессилем ее допустить)? Где «неприличная и жестокая» книга, именуемая Библией, изымается из библиотек?

Конечно, не все так однозначно: «цивилизованный мир» все еще сохраняет базовые ценности *той* Европы («страны святых чудес» — так это когда-то звучало...). К этим ценностям и наш путь, а значит, и к сегодняшнему Западу тоже: базовые ценности достаточно, чтобы нас связать. *Пока* — достаточно...

Но не будем торопиться, благо время у нас еще есть. История в России заморожена — и слава Богу. Подморозим ее еще немного; а для этого — надо идти вперед. Только вперед: к модернизациям, к реформациям. Надо разбавить византийскую реку римской водицей. Иначе — иссякнет река. Или перельется в какую-нибудь евразийскую пустошь, там будет удобно и уютно. На дне всегда уютно, и споры о цивилизации и культуре быстро теряют на нем свой тревожащий смысл.

Одно из двух. Или сегодняшняя Россия рухнет. Как рухнуло классическое Средневековье — время Инквизиции и время *внутренней* христианской свободы. Как рухнуло Самодержавие последнего Царя — отвращавшее конституций, черпавшее силу в невозвратимом идеале допетровских времен.

Или же нам с Западом — один путь, к одному обрыву. На этом пути у нас есть время: у *России* европейское будущее — еще впереди...

Но, право же, обрыв — это вовсе не та цель, к которой следует особенно торопиться.



---

---

# ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА

ВЛАДИМИР ОШЕРОВ

\*

## ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И/ИЛИ ГЛОБАЛИЗАТОРСТВО?

**Н**а протяжении ряда последних десятилетий в американском политическом истеблишменте и средствах массовой информации периодически возникают диспуты на тему: «Кто упустил...?» Например: «Кто упустил Китай?», или «...Вьетнам?», или «...Иран?». Сегодня в центре таких дискуссий оказалась Россия. В частности, во влиятельном журнале «Нэшнл интерес» («National Interest») весной 2000 года (№ 59) была напечатана статья Жанин Уэдл «Tainted Transactions: Harvard, the Chubais Clan and Russia's Ruin» («Нечистые сделки: Гарвард, клан Чубайса и разорение России»), посвященная участию в российских реформах ряда западных экономистов-советников, чиновников из правительственных организаций США, а также связанных с ними международных финансовых организаций.

«Как могли Соединенные Штаты, — задается вопросом Ж. Уэдл, — бесспорно доминировавшие в этих взаимоотношениях (с Россией. — В. О.), позволить, чтобы одно из самых многообещающих примирений прошедшего столетия не состоялось?» Цитируя целую серию документов и показаний участников и очевидцев, автор старается ответить на поставленный ею самой вопрос и при этом делает ряд обобщений, касающихся не только России.

Статья, очевидно относящаяся к разряду «разоблачительных», вызвала резкую и даже жесткую дискуссию в двух последующих номерах журнала, в которой приняли участие Джеффри Сакс, Андерс Аслунд, Маршалл Голдман и многие другие, включая, разумеется, и автора первой статьи. В ходе этой дискуссии выяснилось, что на оплату гарвардских консультантов и различных программ шли непосредственно государственные средства США (около 350 млн. долларов помимо ссуд МВФ), причем курировал весь проект Лоренс Саммерс, секретарь (министр) финансов США, бывший до этого профессором экономики в Гарварде, а еще раньше — главным экономистом Всемирного банка. Он регулярно встречался с главными участниками, помогал им в получении денег из различных источников, рекомендовал вкладчикам в США и проч. При этом представитель департамента финансов (то есть Саммерса) в посольстве США в Москве блокировал любую негативную информацию об экономическом положении России, чтобы не спугнуть инвесторов на Уолл-стрит и не дать козыри в руки оппозиции — республиканской партии — на подходе к выборам. Об этом свидетельствует один бывший американский дипломат, видевший в посольстве своими глазами десятки черновых депеш, так и не отправленных в Вашингтон...

Один из участников дискуссии в «National Interest», Майкл Хадсон, экономист, работавший в России и наблюдавший непосредственно процесс приватизации, пишет: «Мой вывод: правительство США виновно в сознательном игнорировании последствий поддерживаемой им приватизации. Оно не наме-

---

Ошеров Владимир Михайлович родился в Москве в 1940 году. Выпускник ВГИКа. Автор статей на публицистические и социологические темы. В 1981 году покинул страну, живет в США. В «Новом мире» были напечатаны его статьи «В нравственном тупике» (1996, № 9) и «Тинейджеры у власти» (1999, № 12).

ревалось убить Россию. Оно просто хотело взять себе ее деньги и собственность».

Следует сказать, что глобализацию как естественный процесс международного экономического и культурного обмена, продолжающийся уже много веков, следует отличать от планомерной, сознательной и многосторонней *политики активного глобализаторства*, с которой мы сталкиваемся сегодня. Опять-таки, тенденции к распространению влияния, к военной, экономической и идеологической экспансии родились отнюдь не в наше время, так же как и стремление упорядочить международные отношения (Лига Наций, ООН), но масштабы новейшей попытки, несомненно, не имеют прецедента в истории.

Важно и то, что на Западе никакого консенсуса по поводу глобализации нет, да и не было. Просто был период первоначального триумфа по поводу «победы» в «холодной войне», сопровождавшийся активной глобализаторской политикой практически во всех важнейших сферах международных отношений — в экономике, культуре, политике и правовой сфере. Критические голоса были слышны всегда, но сейчас эти голоса все громче повторяют: «We told you so!» («Мы же вам говорили!»)

Первые признаки возможных изъятий в глобалистской доктрине появились уже в 1994 году, при падении курса песо в Мексике. Однако Мексику выручил Уолл-стрит, а продолжающийся спад производства в России, вызванный реформами начала 90-х годов, предпочитали не замечать. Но кризис в Юго-Восточной Азии, а затем и в России в 1998 году замолчать было уже невозможно: надо было срочно спасать свои инвестиции. Было не до того, чтобы думать о судьбах миллионов людей в «прогоревших» странах. И хотя все было сделано по правилам «свободного рынка», почему-то такая глобализация понравилась далеко не всем.

Обращает на себя внимание идеологическая разнородность критиков глобализации в самой Америке: это и профсоюзы, и религиозные организации, и правозащитники, и часть консерваторов (разумеется, не «экономические», не рыночники, а так называемые «культурные» консерваторы — противники массовой культуры, которую глобализация несет по всему миру). Сюда добавились и профессиональные «протестанты», леворадикальные группы, анархисты, устроившие скандальные беспорядки в Сिएтле, Вашингтоне и Праге. Но только после этого на Западе стали серьезно говорить о том, как облегчить бремя долгов, наваленное на плечи простых людей в Африке, Азии и Латинской Америке.

По существу, самый серьезный удар по глобализации был нанесен не какими-то демонстрантами или упрямыми, настаивавшими на своей собственной, незападной, неамериканской модели развития, — такими, как Китай, Япония, Индия, — а теми, кто верно следовал всем рекомендациям экспертов, кто (то ли из корысти, то ли по глупости) пытался втиснуть свои очень разные культурные, политические и экономические традиции в прокрустово ложе неолиберализма.

«Кризис, спровоцированный нерегулируемыми инвестициями и спекулятивными потоками денег, — писал обозреватель Уильям Пфафф, — положение России, ставшей жертвой негодной для нее западной модели развития и неадекватность мер, принимаемых МВФ в обоих направлениях, решительно ослабили ортодоксию, но критическим фактором также стало то, что глобалистская модель будущего попросту уже не столь привлекательна, как прежде».

Неожиданность и масштаб кризиса говорили о том, что расчет на «невидимую руку» свободного рынка — очередная утопия, что экономические процессы нуждаются в регуляции и контроле, что их ход во многом зависит от индивидуальных действий со стороны лиц и групп, подчас безответственных, своекорыстных и бесчестных, которых в нашем мире хоть пруд пруди.

Профессор экономики Колумбийского университета Джагдиш Бхагвати писал: «Уолл-стрит действует исходя из предположения, что идеальный мир должен отличаться совершенно беспрепятственным движением капитала — за

исключением тех случаев, когда МВФ требуется на выручку. Вместо того чтобы нести ответственность за неудачные решения жадных заимодавцев, Уолл-стрит ждет, что МВФ их спасет за счет налогоплательщиков. А МВФ конечно же навязывает свои условия не бандитам финансового рынка, а населению пострадавших стран».

«После краха нам говорят, что жертвы были недостаточно глобалистски настроены, не полностью сломали все тарифные барьеры, не прислушивались к советам МВФ с должным уважением, — писал австралийский обозреватель Макс Тайхман. — Это, между прочим, стандартная реакция всех утопистов на неудачи их проектов».

Функционирование международных финансовых рынков, по сути дела, похоже на игру в карты или в рулетку, когда за спинами вошедших в азарт игроков стоят родственники и близкие, взирая с надеждой и ужасом, как их «кормильцы» рискуют миллиардами долларов, и не зная, что их ждет — нищета или богатство. Даже там, где предполагается государственный или международный контроль или гарантии, на самом деле невозможно гарантировать ни контроля, ни полной «прозрачности», ни своевременного оповещения вкладчиков о грядущей опасности. Невозможно прежде всего потому, что это все игра, а в игре блеф и обманные маневры вполне законны.

В самой Америке укоренилось прочное мнение, что экономическое благополучие страны напрямую связано с делами на бирже. И в каком-то смысле, при нынешнем уровне участия населения в игре, это соответствует действительности. Но благополучие держится на очень зыбкой основе, и все об этом знают. Вот почему все как огня боятся плохих новостей об экономике: при первых же признаках неблагополучия из мировой финансовой системы улетучаются триллионы долларов.

Отсюда — сильнейший нажим на другие страны и континенты, представляющие для Запада перспективные рынки сбыта. Логика бизнеса такова: если экономический рост замедлится или, не дай Бог, остановится, то все полетит кувырком, потому что все делается в кредит, в долг, в расчете на постоянную экспансию. В Китае, где сегодня американским компаниям предоставляется возможность (пока несколько ограниченная) сбывать свои товары, всячески рекламируются прелести покупки в кредит, по американским образцам. Большинство китайцев привыкли сначала откладывать деньги, а уж потом их тратить. Теперь им навязывают западные потребительские модели поведения, привычку владеть и пользоваться тем, что пока еще не заработано.

При этом в самих США потребление в кредит начинает вызывать все большую тревогу. В ходе острой конкуренции, в поисках новых клиентов кредитные компании пускаются во все тяжкие. Если еще каких-нибудь пять лет назад получить мало-мальски солидную кредитную карту можно было только при наличии определенной «кредитной истории», удостоверяющей надежность потенциального клиента, то сейчас уже никаких подтверждений не требуется: по почте регулярно получаешь предложения приобрести *pre-approved* (то есть уже заранее одобренную) карточку — нужно только поставить подпись и галочку, что согласен! Даже школьники тринадцати — четырнадцати лет могут свободно обзавестись кредитной картой без ведома родителей. При этом в случае дефолта расплачиваться за долги детишек приходится, разумеется, родителям. Естественно, последовали многочисленные жалобы, и уже принимаются соответствующие ограничительные законы. А тем временем подобного рода психология безудержного потребления экспортируется в Китай.

«Ценности глобализации, — пишет Уильям Пфафф, — совершенно материальны. Ее спонсоры сводят весь прогресс к аккумуляции богатства. Высшая цель экономической деятельности, человеческого труда подается исключительно как вознаграждение тех, кто инвестировал деньги в бизнес... Это — своекорыстная идеология, возведенная в статус экономического принципа».

В одном репортаже из Китая говорилось о некоем китайском бизнесмене из Сан-Франциско, приехавшем на родину предков с миссионерскими плана-

ми: обратить своих единоплеменников в новую консьюмеристскую веру. Он арендует спортивные арены, собирает многотысячные толпы (в основном безработную молодежь) и учит их скандировать хором: «Я люблю деньги!!!»

Но используются и более цивилизованные методы социальной инженерии. Например, внедрение «давосской культуры», как окрестил ее Сэмьюэл Хантингтон. Давос, как известно, — курорт в Швейцарии, где регулярно собираются финансовые властители нашей планеты. Он стал символом все расширяющихся международных контактов, ежечасной, ежеминутной электронной связи финансовых рынков, бирж, компаний — всего, что составляет сердцевину глобализации.

Социолог и экономист Питер Бергер пишет по поводу «давосцев»: «Они одеваются одинаково, демонстрируют одну и ту же дружелюбную непринужденность, снимают напряжение, пользуясь сходными типами юмора, и конечно же все говорят по-английски. Поскольку большинство этих культурных тенденций имеют западное (преимущественно американское) происхождение, индивиды с различными культурными традициями должны пройти процесс обучения, который позволил бы им вести себя определенным образом совершенно непосредственно, без каких-либо видимых усилий».

«В то время как культурная глобализация упрощает взаимодействие между элитами, — пишет далее Питер Бергер, — она создает трудности в отношениях между этими элитами и неэлитным населением, с которым им приходится иметь дело».

Интересно, что в Америке слово «элита» отнюдь не имеет того оттенка привлекательности, престижности, какой оно приобрело в России. Употребление самого термина часто носит иронический, а порой и недвусмысленно негативный оттенок, как, например, выражение *cultural elite* — «культурная элита». Об элите или «элитах» говорят как о факте жизни — не очень симпатичном, но неизбежном, — как говорят, например, о бюрократии или налоговой инспекции.

«По мере продолжающегося процесса глобализации национальность участников становится все менее существенной, — пишет Ж. Уэдл. — Глобальные элиты, все более тесно связанные между собой и все менее — с национальными государствами, уже воспринимают себя не столько американцами, бразильцами или итальянцами, сколько членами эксклюзивного и высококомобильного мультинационального клуба, устав которого еще предстоит написать».

Формирование глобальных элит происходит не только в сфере экономики или дипломатии, но и среди юристов, правоведов, на академическом уровне. При этом проблемы и конфликты, переживаемые западной цивилизацией (например, так называемые «культурные войны» между религиозной и секулярной культурой, консерваторами и либералами по вопросам воспитания, свободы слова, прав меньшинств и т. д.), бесосновательно усваиваются западными обществами и становятся как бы и их конфликтами. Подобные тенденции смещают акценты и приоритеты национального значения, искажают их в угоду «интернациональным» интересам, за которыми зачастую стоят сугубо корыстные или идеологические соображения. Таким путем нарушается органический процесс развития каждой отдельной страны и нации. Не случайно культурная глобализация вызывает сопротивление не только, скажем, в исламском мире, но и в таких западных странах, как Франция и Канада.

Бергер приводит пример того, как проводилась международная кампания против курения, которую финансировали прежде всего США и другие западные страны. Деньги пошли на оплату всех расходов официальных представителей стран третьего мира, многие из которых занимали ответственные посты у себя в странах, вплоть до постов министров здравоохранения. Хотя курение и его последствия были далеко не главными медицинскими проблемами в этих странах, западное «угощение» было столь щедрым, что благодарные чиновники тут же переориентировались в сторону первостепенности борьбы с курением.

Возможно, кому-то давосские контакты могут показаться вполне безобидной гусовкой, но Хантингтон, Бергер и Уэдл — не просто уважаемые и хорошо информированные авторы и ученые; они принадлежат к совершенно разным политико-культурным кругам. То, что они сходятся в своих оценках «Давоса», знаменательно. К ним стоит прислушаться.

Тенденция к целенаправленному созданию наднациональных глобальных элит очень ясно прослеживается и в статье Збигнева Бжезинского «Living with Russia» («Жить с Россией» — «Нэшнл интерест», № 61). При всей его уверенности в законности американских претензий на мировую гегемонию Бжезинский не может предложить ничего лучшего, как ждать, пока в России не сменится поколение тех, кто вырос еще при советской власти. Тем временем, по мнению Бжезинского, Запад должен продолжать финансовую поддержку всевозможных неправительственных организаций в России и обучать в своих университетах как можно больше россиян, которые составят костяк будущего прозападного режима...

Конечно же желание привить американскую «модель» всему остальному миру содержит в себе и вполне искренний элемент некоего альтруизма и интернационализма, восходящего к миротворческим идеалам Вудро Вильсона, духовного отца Лиги Наций. Но, как пишет Эндрю Басевич в журнале «First Things», условия для достижения подобных идеалов сейчас куда менее благоприятны. «Америка Вудро Вильсона понимала, что ни одно достижение не дается бесплатно. „Мир без победы“ не означал мира без жертвы. В той Республике Хорошей Жизни, каковой является клинтоновская Америка, такие концепции, как самопожертвование или самоотверженность, представляются все более устаревающими».

Поэтому американская политика в отношении Югославии и потерпела неудачу. Прецедент для дальнейшего вмешательства Запада в дела других государств так и не установлен. Комментаторы единодушны в том, что НАТО вряд ли еще раз решится на аналогичную акцию. Об этом ясно говорит быстрая отмена главных санкций против Югославии сразу после прихода к власти В. Коштуницы — даже невзирая на его отказ «выдать» Милошевича Гаагскому трибуналу.

Даже сам факт заигрывания с Китаем, желание во что бы то ни стало получить доступ к гигантскому рынку сбыта подчеркивает уязвимость, нерешительность, неуверенность в собственной правоте, какими бы теориями это ни обосновывалось («конструктивное взаимодействие» и проч.). Идея о том, что длительное общение неизбежно ведет к взаимопониманию, была дискредитирована еще во времена «холодной войны». Уже тогда серьезные политологи, пользуясь результатами опросов, установили, что отношения между двумя «общающимися» врагами могут улучшиться только в случае наличия взаимного и подлинного стремления к этому, а не желание «переиграть» оппонента, как это было в годы «детанта». Тот факт, что об этом предпочитают умалчивать, говорит лишь о слабости нынешней политики США по отношению к Китаю.

Показательны результаты опросов общественности в Китае в связи с массовыми антиамериканскими протестами, прокатившимися по всей стране после натовской бомбежки посольства КНР в Белграде. Хотя западные СМИ обвиняли китайское правительство в организации этих протестов, на самом деле все сложнее. Любовь к Америке, к демократии, статуя Свободы на площади Тяньаньмынь и прочие «ростки свободы» — дела давно минувших дней. Многие китайцы сегодня испытывают к Америке вполне искреннюю неприязнь. Западные журналисты недоумевают: как могут китайские студенты, всего каких-нибудь десять лет назад чуть не одолевшие режим, поддерживать коммунистическое правительство, попирающее их гражданские права?

Оказалось, что китайцев, интеллигентов в том числе, раздражает постоянное давление (пусть даже чисто словесное) на Китай с целью «улучшить ситуацию с правами человека», выражаясь стандартным западным жаргоном. По-



чему? Один профессор Пекинского университета ответил на это так: «У китайского правительства есть много недостатков, но я не хочу, чтобы оно просто рухнуло. Я здесь живу, и мне бы пришлось испытать на себе грядущую за этим нестабильность».

Надежды на успех глобализации в известной степени строились также на бурном развитии современных технологий — электроники, компьютеров, средств связи, все большем удельном весе услуг информационного характера в функционировании современных западных экономик. Согласно расхожему мнению, Интернет — один из главных двигателей глобализации, выражение неукротимого движения к объединению всех стран и народов в «глобальную деревню», нечто почти стихийное, неподвластное никакому регулированию или решениям властей разных стран. Но и здесь все развивалось не совсем так, как ожидали. Например, тысячи новых интернетовских, «дот-комовских» (.com) предприятий, начавших свою деятельность без наличного капитала, в кредит, обанкротились, поскольку инвесторам надоело ждать, пока «новая экономика» станет по-настоящему прибыльной. Собственно, о прибылях можно пока говорить только как об исключительной удаче. Прибыльные компании (такие, как «America-on-line» или «Yahoo!») можно по пальцам пересчитать. Все остальное было чистой воды спекуляцией, расчетом на доверчивого потребителя, которого нетрудно заставить раскошелиться на что-то пусть не очень понятное, но зато модное.

Во многом утопичность надежд, связанных с «информационной революцией», основана на простом невежестве, незнании условий жизни, социальной и культурной среды, политических особенностей незападных стран. Ведь одни и те же технологические достижения используются и интерпретируются совершенно по-разному, скажем, в США и где-нибудь на Ближнем Востоке.

Моральное право на то, чтобы навязывать всему миру свои жизненные принципы, глобализаторы обычно основывают на том, что они несут миру демократию как высшую и универсальную форму политического устройства. Но стоит попристальнее взглянуть в то, какого рода демократия имеется в виду. Глубочайшее заблуждение думать, что речь идет о выражении воли народа, о «народоправстве». Особенно в приложении к международным делам, к отношениям между государствами. Достаточно вспомнить грубые окрики в адрес австрийцев, позволивших себе голосовать за партию Йорга Хайдера, или ядовитые комментарии в связи с отказом датчан признать евро «своей» денежной единицей. Как пишет известный публицист Дж. Уилл, «вполне возможно, что 5,3 миллиона датчан говорят от имени 375 миллионов жителей всех 15 стран Европейского Союза». Просто остальным не дают ни малейшей возможности демократического волеизъявления. А в Дании «ошибочка вышла», проглядели... Но и в самой Америке демократия настолько переродилась, что многие важнейшие решения принимаются даже не в Конгрессе и не на уровне исполнительной власти, а в узком кругу девяти судей Верховного суда, которых никто не выбирал.

Публицист Ирвинг Кристал пишет: «Двадцатый век стал свидетелем целой серии бунтов против секулярно-либерально-капиталистической демократии. Эти бунты потерпели поражение, но источники, питающие подобные бунты, остаются». Они, согласно Кристолу, есть и в самой Америке, в недрах самого что ни на есть либерально-демократического общества. Он называет их «problematics of democracy» — проблематичностью демократии, включая сюда «тоску по сообществу, духовности, растущее недоверие к технологии, перепутавшиеся понятия свободы и вседозволенности и многое другое».

В недавно вышедшей книге «Единый делимый мир: глобальная история после 1945 года» английский историк Дэвид Рейнольдс характеризует мировую историю последних пятидесяти пяти лет как «диалектический процесс усиленной интеграции и усиленной фрагментации». С одной стороны, распространение и удешевление средств сообщения и связи, а также большая мобильность

финансовых средств и устранение препятствий к обмену людьми и идеями, несомненно, сблизило различные страны и континенты. С другой стороны, именно эти процессы вызвали ответную реакцию и тенденции к национальному самоопределению и изоляции. При всей очевидной экспансии американской культуры продолжают существовать и развиваться региональные модели, реагирующие на все технологические перемены совершенно по-разному, по-своему.

Один из участвовавших в вышеупомянутой дискуссии в «National Interest» — известный в России профессор Питер Реддвей, социолог и политолог, чьи оценки и прогнозы американо-российских отношений неизменно оказываются безошибочными. По его словам, в основе неудавшейся попытки навязать России чуждую ей модель развития лежали два фактора: «ignorance and arrogance» — невежество и самоуверенность. Злого умысла могло и не быть; было даже желание помочь.

**НЕВЕЖЕСТВО И САМОУВЕРЕННОСТЬ** — звучит как приговор всему глобализаторству.

Нью-Йорк.



ВЛАДИМИР ЮЗБАШЕВ

\*

## ОТ БУМАЖНОЙ К ВИРТУАЛЬНОЙ

*Возможности и потери в архитектуре*

Одна из характерных черт сегодняшней реальности — отсутствие четких границ и определений, точного соответствия между знаком и означаемым. Эта расплывчатость понятий — проявление общей нестабильности — позволяет объединить в один контекст, казалось бы, совершенно несоединимые вещи. Калейдоскопический характер окружающей жизни скорее является отрицательной ее характеристикой, но тем не менее он часто дает возможность увидеть интересные параллели между явлениями, а иногда даже выявляет гармонию неожиданных сочетаний, но в следующий момент узор снова меняется, создавая новые формы. Пожалуй, самым поразительным, постоянно меняющимся узором сегодня является городское пространство — очень динамичное и полное контрастов. Эта пестрота и нерегулярность особенно чувствуются на архитектурных выставках — таких, как «Архитектура и дизайн», прошедшая в мае прошлого года в ЦДХ, где было представлено удивительное разнообразие объектов, многие из которых, казалось бы, с трудом вписываются в рамки заявленной темы — от мебели до изысканных фотокомпозиций (скажем, «Тень архитектора» Е. Асса). Такой подход, с одной стороны, говорит о неразвитом состоянии отечественной архитектуры — ее еще можно ставить в один ряд с дизайном интерьера, с другой стороны, демонстрирует удивительную широту взглядов как архитекторов и кураторов, так и зрителей. Есть какое-то очарование первобытной неопределенности в ситуации, когда фотографии реальных зданий отделены от произведений бумажной архитектуры лишь условной перегородкой. Как правило, не очень лестное сопоставление для воплощенных проектов и их авторов, но возможность такого соседства представляется весьма многообещающей.

Искусство бумажников, переставшее быть актуальным в начале девяностых годов и вполне логично уступившее дорогу реальному строительству, вдруг ставится на одну ступеньку с плодами этого самого строительства, — кажется, за этим стоит не только желание разнообразить экспозицию, но и неудовлетворенность архитектурой последнего десятилетия. Вряд ли можно сравнивать игры и эксперименты восьмидесятых с постройками девяностых, но если отвлечься от разделения «бумажная — реальная» и говорить об этих явлениях как о воплощениях архитектурной мысли, то первые, конечно, гораздо интересней вторых, и главное, в истории архитектуры останутся уникальным феноменом с четкими временными и стилистическими границами, чего нельзя сказать о современном зодчестве. Как бы в подтверждение этого в Интернете появился новый сайт Юрия Аввакумова «Русская утопия. Депозитарий», вписывающий бумажную архитектуру в длинный перечень неосуществленных проектов последних трех столетий. Таким образом, бумажные утопии не кану-

---

Юзбашев Владимир Андреевич (род. в 1980) — студент Московского архитектурного института; пишет на литературные темы и на темы, связанные с избранной профессией. Автор статьи о современной Москве («Город накануне»), напечатанной в «Новом мире» (2000, № 4).

ли в Лету, они продолжают жить в виртуальном пространстве, и несколько пессимистическое, на первый взгляд, заглавие проекта «COLUMBARIUM — DEPOSITORIUM — INCUBATORIUM» на самом деле просто констатация бессмертия утопии.

Архитектурные фантазии во многом превосходят достижения реальной архитектуры — они чтут прошлое, заигрывают с ним, но не теряют своего оригинального облика, остаются современными. Принципиальная невозможность реализации побуждала архитекторов-утопистов искать другие способы привязки к реальности — и они находили их в традиции, в истории. Пожалуй, именно такого бережного внимания к прошлому не хватает нынешней архитектуре, которая тщетно пытается взаимодействовать с традицией, но продуцирует лишь стилизованные декорации.

Москва (да и вся Россия) — это пространство, где одна притязательная идеология сменяет другую, причем приносит с собой новый стиль, который категорически отвергает предшествующий и хочет все строить заново на пустом месте. Далеко не всегда получается именно то, что планировалось, и эта неудовлетворенность воспитывает еще более одиозный проект. Такая привычка связывать идеологию и архитектуру приводит к методичному раздроблению городской среды. И только бумажная архитектура, которая не стремится переделывать мир и не является носителем агрессивной идеологии, может служить связующим звеном между всеми эпохами. Показателен проект «Мост 21 века»: на выставке в Доме на Брестской удалось соединить два параллельных мира — реальных мостов и конкурсных проектов, причем отдельно была показана история и тех и других — таким образом, рядом оказались отмывки (род чертежа) А. Власова и В. Баженова и работы легендарного конкурса, объявленного журналом «Japan Architect» в 1987 году. Хочется рассматривать эту акцию как попытку избежать разделения архитектурного искусства.

Возможно, ситуация изменилась бы к лучшему, если бы реальная архитектура вступила в некоторые симбиотические отношения с бумажной, если бы последняя могла хоть как-то влиять на практикующих архитекторов. Ведь она является своеобразной квинтэссенцией строительного искусства: будучи свободной от множества сложностей строительства, занимается исключительно проблемами взаимоотношений человека и формы, окружающего его пространства и, таким образом, отчасти компенсирует свойственный не только московской, но и всей архитектуре двадцатого века разлад между зданием, городом и его обитателями. Хотя такое взаимодействие — конечно, всего лишь еще одна утопия.

И осуществление ее, как и всякой утопии, опять-таки невозможно. Не только потому, что бумажное искусство — порождение совершенно определенных, можно даже сказать, уникальных условий, политических и культурных, и даже не потому, что сами авторы не могут в большинстве случаев включиться в реальную практику, как люди, всю жизнь прошедшие в состоянии невесомости, не могут уже обитать в условиях гравитации. Причин множество, часть из них относится к изменению внешних — экономических и социальных — факторов, которые, безусловно, очень важны. Но, по-моему, решающим все же являются внутренние процессы, происходящие внутри самого искусства. Я имею в виду перемены в способах работы и в психологии авторов, и здесь на первый план выходят новые технические средства. Любая архитектурная деятельность (пусть даже самая бумажная) все же остается визуальным искусством и, как всякое визуальное искусство, очень сильно зависит от приемов и навыков ремесла и, главное, от инструмента. Автор-концептуалист, пожалуй, даже больше зависит от него, ведь если практик представляет лишь проект — то есть схему, тень будущего здания, — то у бумажника лист ватмана или макет — окончательный результат.

В девяностых годах монитор и компьютерная мышь заменили планшет и рейсфедер, архитекторы смогли увидеть свое творение с любого ракурса задолго до начала строительства. Виртуальная реальность стала своеобразным поли-

гоном, промежуточным звеном между реальной жизнью и замыслом. Концептуалисты не остались в стороне, о чем свидетельствует уже упомянутое детище Юрия Аввакумова — идея складирования, хранения информации нашла прекрасное выражение в виде стильно оформленной интерактивной базы данных. И проект-победитель конкурса «Мост 21 века» (авторы Д. Амелин, И. Вознесенский, М. Лейкин, А. Кононенко) тоже сделан при помощи машинной графики.

Казалось бы, эти примеры говорят о том, что новые технологии можно было бы с успехом применить и к бумажному творчеству. Действительно, если эту архитектуру по каким-либо причинам невозможно воплотить в бетоне, то почему бы не сделать это в виде компьютерной модели? Но модель — это уже воплощение, хоть и иллюзорное, а воплощение губительно для такого рода проектов. Парадоксально, но объемная форма делает бумажную архитектуру плоской. Компьютер лишает ее содержания и всего богатства смыслов, которые присутствуют на бумаге; позволяет как бы реализовать замысел, но мешает выразить вложенные в него мысли и эмоции. Он превращает замысел в предмет, конечно, красивый, оригинальный, но мертвый.

Бумажные проекты, по крайней мере лучшие из них (такие, как «Размышления о дипломном проекте» В. Петренко, «Хрустальный дворец», «Villa Claustrophobia» и другие офорты А. Бродского и И. Уткина), балансируют на грани архитектурной и художественной графики; сквозь маску строгого чертежа со всеми полагающимися атрибутами — размерами, проекциями плана и фасада — просвечивает картина. Это послание многослойно — не столько предъявляет архитектурную форму, сколько выстраивает определенное ощущение, навеивает настроения и мысли, которые могли бы возникнуть у зрителя в связи с темой конкурса. Бумажники стремятся раскрыть самую суть, идею, архетип заказанного сооружения, ответить на вопрос, что такое Дом, Мост, Башня, и рассказать свое понимание. В сущности, это и делает архитектор, возводя здание, но в данном случае его творение не выходит за рамки рисунка, лишено убедительности, которая есть в бетоне и камне, и, чтобы компенсировать ее нехватку, приходится использовать иные возможности: метафоры, цитаты, иероглифы, композиционные и графические приемы. При внешней простоте архитектурной формы (она предельно обобщена, сведена до уровня символа) концептуальные произведения нагружены информацией и эмоциями, для их восприятия зрителю требуется определенное время и внимание, поэтому традиционной техникой является офорт — он заставляет всматриваться, изучать оттенки смыслов, рассматривать нюансы и детали с таким же усердием, с каким автор их создавал.

Компьютерная же подача лишена всех этих тонкостей и богатства смыслов — просто красивая картинка, на которую достаточно взглянуть один раз. Таким образом, компьютер работает как сито, отсеивая смыслы и оставляя только форму. Видимо, переход бумажной архитектуры в виртуальное существование без потерь невозможен — она должна бы оставаться и на бумаге.

Получается, что технология формирует новую профессиональную парадигму, новое восприятие архитектурного проекта, ориентированное на результат: необходимо сразу увидеть конечный объект, объем. Показательно, что выбор жюри в уже упомянутом конкурсе «Мост...» пал именно на проект, представленный компьютерной подачей, — он оказался наиболее понятным и привычным, соответствующим обезличенному международному стандарту. Так что нет ничего удивительного в том, что московская архитектура снова копирует западные образцы, угрожая городу потерей индивидуальности.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА

\*

## СПЕЦЭФФЕКТЫ В ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ

**П**охоже, что скоро литература из занятия профессионального превратится в занятие любительское. Причина не в том, что писатель не имеет экономических возможностей вести нормальную жизнь профессионала, и не в том, что его читатели составляют узкий круг, страшно далекий от народа. Трансформация действительности вышла на качественно новый уровень: теперь она происходит в самой действительности. Здесь и располагается область истинно профессиональной деятельности: работает целая индустрия, чья задача — перенести современника из мира, где он физически наличествует, в мир, достоверность которого гарантирована присутствием внешнего инвестора. То, что хвост вертит собакой, ни от кого не секрет. Важно понять, по каким законам происходит управление реальностью, которую литература, желающая быть современной, не может не отображать.

Литература больше не «подражает жизни» так, как это было в старые добрые времена, то есть не делает вид, будто ее герои и сюжеты — реальные люди и происшествия. Думаю, что реализм в своем «кондовом» виде стал невозможен задолго до того, как его атаковали постмодернисты, а «патриоты» бросились защищать. Реальность давным-давно заражена литературой. Пройдя осенью мне попали в руки дневники молодой девушки, студентки Уральского политехнического, датированные 1963 годом. То были две прожаренные временем, пахнущие старыми лекарствами тонкие тетрадки, где совершенно детским почерком, похожим на кружево школьного воротничка, трактовался вопрос о любви и дружбе. Вопрос напоминал встречного прохожего, с которым, прилипнув к нему, точно к своему отражению в зеркале, никак не можешь разминуться. Ревниво-неравнодушная к некоему А., студентка разбирала с этой точки зрения его отношения с И., пытаясь представить, как бы вели себя на месте И. Наташа Ростова, героиня неизвестного мне романа «Семнадцатилетние» по имени Лида плюс женские образы поэзии Ваншенкина (тут вспомнилось одно — из немногих понравившихся мест в романе Сергея Болмата «Сами по себе» — замечание о модном детективе, где убийцей оказалось деепричастие). Удивительно, что девичий дневник, чьи чернила теперь поседели почти до полной неразличимости, содержал зачатки сцен с диалогами, что говорило, возможно, о некотором опыте подготовки сценариев для школьного театра. Там второкурсница радиофака Ростова Н., помещенная в обстановку общажного пропивания «стипы» (при этом на одной кровати отсыпался некто авторитетный, которого нельзя было будить, и пьянка, превращенная в систему жестов, протекала в несколько условном плане), отказывалась «просто попробовать» и, за невозможностью залепить окосевшему А. полнозвучную пощечину, тихо выкручивала ему, как бы отщипывая мякиш батона, пылающее ухо. Конечно, утрированная мною сцена происходила в сослагательном наклонении, но это сослагательное обладало равным и даже преимущественным правом на истинность (кстати, «попробовать» — значило на

---

Славникова Ольга Александровна — прозаик, критик, эссеист; во всех этих жанрах постоянный автор «Нового мира» (а также многих других столичных и уральских изданий). Последняя большая публикация в нашем журнале — роман «Один в зеркале» (1999, № 12).

самом деле всего лишь поцеловаться). На меня произвела впечатление полная уверенность автора, что литературный герой — тоже человек, только почему-то бессмертный. Существование тайной сети засланных из литературы в действительность специальных агентов и было той заразой, о которой говорилось выше, — причем распространению ее не мешали, но способствовали иллюзии жизнеподобия, создаваемые реалистами.

Сегодня на мякине реализма никого не проведешь — тем более, что и область применения его заметно сузилась. Это связано с тем, что реальность, которую нужно отображать, сама является произведением нового искусства. Подобно тому, как существо оранус из романа Виктора Пелевина «Generation 'P'» намного примитивнее существа homo sapiens, так и «сделанная» реальность в художественном плане не дотягивает до уровня, достигнутого русской литературой. Тем не менее литература есть часть действительности, а вовсе не наоборот. Традиционно литературоцентричный российский менталитет уперся в этот неприятный факт, когда реальность стала вдруг создаваться не по квадратным шаблонам советской эпохи, но по законам гораздо более живым и динамичным. Прежде нормальный человек, не веривший ни во что, кроме коммунизма, отлично понимал, что такое съезд КПСС и почему на демонстрации 7 ноября ему надо нести на палке трепыхающийся лозунг, чье содержание не имеет к жизни ни малейшего отношения. Формы, соблюдаемые всеми, были по большей части лишены содержания: это хорошо знал некий художник-оформитель из города Ревда, который делал наглядную агитацию для завода плюс киноафиши для заводского клуба и из своих соображений экономии придавал плакатным фигурам сходство с советскими артистами.

Не то сегодня, когда трансформация реальности стала разновидностью массовой культуры. Этот новый вид искусства весьма рассчитывает на отклик аудитории. Избирательные и рекламные сюжеты озабочены тем, чтобы быть интересными для зрителя. Кандидат в депутаты и сорт растворимого кофе становятся коммерческими посредниками между человеком и его культурным багажом. Журналистские версии по разным острым поводам, требующим для понимания некоторой специальной квалификации (гибель «Курска» тому прискорбнейший пример), весьма хороши как синопсисы романов для домохозяек — и потому домохозяйки верят журналистам, оставляя совершенно без внимания занудные комментарии спецов. В результате реальное происшествие, к которому были прикованы все изготовители и потребители информации, остается самым неизвестным из всего новостного ряда — и неудивительно. Сегодня вместо речи товарища Брежнева аудитории транслируют то, что она желает услышать; вместо нейтрального, будто учебный фильм по физике, советского официоза показывают то, на что она желает посмотреть. В сообщении, которое адресат наверняка «откроет», присутствует вложение, трактуемое события в пользу инвестора, что становится трансформацией уже второго порядка, совершенно стирающей истинную либо вероятную картину происшествия. Хвост, который вертит собакой, не только спускает аудитории сюжеты, которые аудитория готова воспринять, но и посредством этих сюжетов аккумулирует невежество, предубеждения, неотфильтрованные социальные эмоции, создавая из информационного повода вакуумную бомбу. Так реальности наносится удар за ударом; фразы об искусстве, пожирающем действительность, больше не метафора. Сырая реальность сохраняет некоторые права на существование главным образом потому, что аудитории бывают разные и соответствующие им участки информационной виртуальности не совпадают краями: там, в щелях, еще имеется кое-какая самостоятельная жизнь, иногда она выплескивается под тяжестью событий поверх технологий, как под тяжестью шагов между досками хлипкого настила выдавливается набрякшая вода.

Еще в информационной картине мира всегда присутствует некое тайное отверстие, сквозь которое за человеком наблюдают *с той стороны*, так в детективном или историческом романе пейзаж или портрет, висящий на стене,

иногда смотрит на присутствующих в комнате, которые кожей ощущают скрытый в элементах изображения человеческий глаз, моргающий белесым веком, будто куриный. Субъективно это ощущение воспринимается как наличие в реальности замаскированных обманочных точек: каждое событие может оказаться «дыркой», то есть совершенно не тем, чем оно пытается предстать. Мания «дырки» отчасти подобна мании «заговора»: коммунистического, еврейского, американского и так далее. Человек, истомленный смутными догадками об искусственной природе окружающей его действительности, пытается обнаружить автора, зная при этом, что автор — не Бог.

Литература, так или иначе питаемая реальностью (пусть даже через капельницу или, как наблюдаем в особо деструктивных случаях, через прямую кишку), вдруг обнаруживает себя в роли копиистки: вместо того, чтобы, трансформируя «жизнь», создавать собственный оригинальный текст, писатель вынужден перелагать чьи-то осуществленные сценарии в нудный киноroman, принципиально не способный на большой художественный результат. Отсюда — мучительное ощущение вторичности всякого творчества, преследующее литератора на манер мигрени. Одна писательница рассказала о любопытном эффекте, что возникает у нее после удачного дня работы над собственной прозой. Ей представляется, будто в реальности все говорят «понарошку», так как заранее договорились, что скажут именно это; более того, реальность предстает «разобранной», точно ведутся съемки какого-то фильма. Вокруг как будто чего-то не хватает, всякая сцена происходит словно в пустоте: кажется, будто актеры в голом павильоне играют эпизод, на который впоследствии наложится отдельно снятая натура. Не только люди, но и предметы вызывают особое, ни в каких других случаях не возникающее чувство, которое писательница про себя называет «не так»: у расшатанного стула, который надо переставить с места на место, ножки повисают, будто ноги паралитика, неспособного стоять на полу, чайная ложка странно, будто бабочка, пойманная за одно крыло, болтается в чашке, дверь, открываясь вовнутрь, не пускает пройти. У всех предметов словно отключается автоматика, благодаря которой с ними можно было управляться, не думая о них; отчуждение нарастает, пока внезапно какой-нибудь звук, чаще всего телефонный звонок, не возвращает все на свои места. Видимо, творческая энергия, благодаря которой всякий человек «держит» реальность, полностью растрачивается на текст, и мир, представая «голым», обнаруживает свою искусственную природу, как если бы с аппарата сняли корпус вместе с управляющими кнопками и глазу бы явились открытые, но совершенно недоступные для привычных манипуляций электронные потоки.

Чувство вторичности, переходящее у многих пишущих в комплекс второсортности, заставляет литературу искать адекватные подходы к созданию текстов. От подражания самой реальности литература переходит к подражанию технологиям, по которым реальность творится в умах. Известная соприродность этих технологий и литературного творчества приводит к тому, что писатель попадает в ловушку массового жанра: целое, стоящее на низкой ступени развития, подчиняет высокоразвитую и даже опытную часть. Литература, чтобы быть современной и не выпасть из общих информационных циркуляций, вынуждена «забывать» многое из того, чему она научилась, пребывая в контакте с миром, бесконечным в силу бесконечности глобального Автора. Актуальные художественные практики обращаются к детективу, технотриллеру, телевизионному шоу типа «съемка скрытой камерой», к прямому репортажному документу. Достойным вариантом кажется переход к линнеевской каталогизации мира и культурной парадигме словаря.

Еще один важный фактор, определяющий партнерство технологий «собачьего хвоста» и литературного процесса, заключается в настоящем, прежде небывалом требовании *новизны*. В начале 90-х литература пережила тяжелый шок перехода из советского времени в постсоветское; с той поры ри-



туальный жест отказа от прошлого стал таким же произвольным и привычным, как манера поддегивать брюки или подтыкать сползающие очки. В свою очередь создатели реальностей, данных нам в телевизоре, не могут мириться с ситуацией, когда сегодняшний мир в целом такой же, каким он предстал вчера. Неделя без гвоздевых новостей превращается для профессионалов жанра в мучительную ломку. Знакомый журналист поделился, что, если долго нет материала для забойного сюжета, ему становится не по себе оттого, что он ежедневно делает одно и то же: бреется, завтракает, ездит на работу не только на одном и том же номере, но большей частью и фактически на одном и том же автобусе с рекламой компьютерного салона — и перед салоном, проплывающим в окне, маячит та же самая крупноблочная реклама. При этом журналисту кажется, будто сам он весь на виду, будто люди в автобусе и на улице поглядывают на него, не слишком известного и раскрученного, чаще, чем всегда. Состояние, которое сам информационный наркоман определяет «как на круглой сковородке», на самом деле есть испуг от кажущейся остановки времени: в виде сковородки ему предстает циферблат, на котором не стало стрелок и цифр. Индустрия трансформированной реальности питается энергией *текущего* времени, и если движения событий не наблюдается, то гидроэлектростанция перестает вырабатывать ток. Чтобы индустрия давала продукт, время должно быть *напряженным*; в этой связи понятно, что школа, которую заминировали по телефону, более значима для общей картины, чем все остальные школы, где нормально проходят уроки. Таким образом, отменяется и «школьная повесть», и «роман воспитания»: они уже не входят в актуальные модели отображения действительности.

Литература, стремящаяся попасть «в струю», также вынуждена существовать в режиме программы новостей. Писатель сегодня должен быть новым во что бы то ни стало; то, что было интересно вчера, сегодня теряет смыслы просто потому, что отплывает в прошлое и больше не вращает турбину. Переход произведения в разряд классического становится процессом потусторонним, вроде попадания автора в рай: для текущего времени не существует понятия «вечность». По сути, требование новизны по-новому проводит границы между жизнью и смертью: для актуальных информационных и художественных практик прошлое и будущее есть такое же небытие, как загробная сень. После перелома 90-х страх остаться во вчерашнем дне прочно впечатался в сознание литератора; жест отречения от прошлого, драматичный уже в силу своей уникальности, от частого исполнения превратился в комический гэг. Временной промежуток, в течение которого литератор может себе позволить не думать о возобновлении абонемента, все больше сокращается. Теперь его не хватает на то, чтобы написать, к примеру, роман. Проза, считаемая за *событие*, то есть за новость дня, утрачивает глубокое дыхание, поэзия как огня бежит лиризма либо использует лиризм как программную оболочку. Для писателя очень важно сделаться знаковым и модным — при том, что всякий модный персонаж есть заведомый кандидат на отчисление. Но по-другому уже не получается.

Понятно, что бесперебойное производство новизны в жизни и в литературе не может доверять тем естественным процессам, что некогда приводили к рождению сущностно новых качеств и к открытию новых перспектив. Литература, опрощаясь до массовых жанров трансформированной реальности, отказывается от таких нетехнологичных операций, как разработка психологии героя, прослеживание его диалогов с собственным подсознанием, исследование «живородящих» возможностей языка. Метафора если остается, то не в виде индивидуального и самоценного феномена, а скорее как стандартный узел текстового механизма. Поэт-иронист Евгений Лесин внес рацпредложение по конструированию метафор, которое, видимо, имеет смысл внедрить: «Берется устойчивое выражение, вставляется союз „как“ — и готово: толковый как словарь, голая как правда, черный как неблагодарность etc.». По-настоящему единственное средство выразительности, которое обеспечивает совпадение писателя с новой реальностью и сближает его методики с технологиями, которым он пытается подражать, есть спецэффект.

Возможно, что тяга к спецэффектам, комбинированным кадрам, где к действительному примешивается мистификация, кроется глубоко в человеческой природе. Частные лица применяют спецэффекты, чтобы изменить жанр своей реальности или получить в каком-нибудь сюжете главную роль. При этом они, как и литераторы, прилежно учатся у телевидения и кинематографа.

М. и Н. четыре года из одиннадцати просидели вместе за школьной партой, дружили и пользовались, как сестры, общей косметикой, перемазанной и пролизанной до дырок, будто старые акварельные краски. После они продолжали общаться — при том, что М. после каких-то незначительных курсов удачно устроилась на работу в небольшую, но оборотистую фирму, а Н. неразборчиво хваталась за всякий сомнительный бизнес и моталась по городу в растоптанных, похожих на намотанные заскорузлые портянки старых сапогах, таская по набитому транспорту застревающую сумку товарных образцов. Через какое-то время с Н. стало невозможно дружить, потому что она все время норовила что-нибудь продать удачливой М.: серебряные цепочки, мини-тренажеры, пищевые добавки и особенно косметику ужасающего качества, напоминающую уже не акварель, но пластилин. О чем бы ни шел разговор, Н. прерывала его рекламными паузами; в результате М. стала замечать, что зубы у некурящей Н. неровные, словно воткнутые в пепельницу желтые окурки. Как бы ненароком забегая к приятельнице в офис, Н. пыталась агитировать за свои товары весь отлакированный коллектив — среди которого, между прочим, присутствовала племянница Очень Большого Начальника, весьма похожая на дядю узким, на три пальца, прессованным лобиком и памятью на всякие нарушения, что могло иметь для М. крайне неприятные последствия. Наконец после демонстрации очередного хита — какого-то особенного освежителя воздуха, от которого все предметы в зоне испытания сделались липкими, — между бывшими подругами состоялся жесткий разговор. Здесь мы видим типичную завязку дамского романа.

Однако самолюбие, которым мягкая по виду Н. была напичкана с детства, будто ватная игольная подушечка старыми иглами, не позволило ей смириться с положением вещей. Следовало перевести дамский роман в жанр боевика. Разумеется, Н. и подумать не могла о том, чтобы совершить настоящий теракт (была, между прочим, верующая, носила вечно клеящийся на сырую кожу на манер почтовой марки православный крестик). Просто ей хотелось нарушить чинный порядок дорогого офиса, на чьи напольные покрытия, бежевые, будто Италия на мировой политической карте, ей было теперь запрещено ступать своими косолапыми сапожищами. Иррациональный страх перед забытыми сумками, подогретый взрывом в столичном подземном переходе, подсказал, как можно недорого осуществить неслабый спецэффект. У Н. имелся хороший повод, чтобы еще разок попасть на неприятельскую территорию: единственная на территории дама «за сорок», помнившая дефицит и поэтому все еще падкая на товарные чудеса, приобрела у Н. «итальянский» свитер как бы из сахарной ваты, и расчет должен был состояться через несколько дней.

Н. хорошо подготовилась: обладая подробным воображением, обыкновенно занятым тратой денег, которые все никак не удавалось заработать, она наконец-то ощутила, что воображение крутится не вхолостую. Н. купила одинаковые, похожие на жесткие рабочие фартуки матерчатые сумки, снабженные карманами на вязких, будто просмоленных молниях: красную и черную. Стендалевское сочетание объяснялось тем, что с красной, приметной, Н. должны были запомнить в офисе — после чего, улучив момент, Н. очень быстро вынимала черную, стоявшую внутри, и «забывала» гостинец в светло-бежевом коридоре под единственным легоньким стулом. Кошелек с полученным долгом, аккуратно убранный в сумку (на самом деле застегнутый во внутренний карман сумки-оболочки), должен был косвенно подтвердить намерение Н. все свое унести с собой.

Сначала все происходило по сценарию. М., делая вид, что находится где-то далеко, меланхолично постукивала по компьютеру, будто дождь по оконно-

му карнизу. Гостинец, набитый старыми журналами, темнел под стулом очень выразительно, в нем для пушего страха шелкал здоровый, как кастрюлька, железный будильник. Проходя мимо офисной охраны, Н. старалась не мотать подозрительно легкой ношей и чувствовала внутри такую же, как в сумке, перепончатую пустоту. Уже пройдя по листопадной слякоти, похожей при неярком солнце на зеленые ши, несколько трамвайных остановок (отчего-то не решившись ехать на транспорте), Н. почувствовала, что сумка у нее в руках какая-то слишком легкая, что ее совсем свободно надувает ветер. Охлопав хрусткую ткань, она немедленно убедилась, что кошелек каким-то образом остался в гостинце, должно быть, в наружном кармане. Между тем в кошельке находилась серьезная сумма, от которой Н. причиталась всего лишь десятая часть.

Прибежав обратно на зыбких ногах (вероятно, по пути останавливаясь от ужаса и нерешительности), Н. убедилась, что шутка сработала. На крыльцо, беспрерывно толкая опьяневшие от солнца стеклянные двери, выходило сразу много криво одетого народу, некоторые, кружась на месте, ловили рукава, тут и там мелькала серая милиция, по ступеням поднималась, перебирая их, будто библиотекарь каталожные карточки, сутулая овчарка. Наверное, Н., будь она похрабрей, могла бы заявить свои права на «гостинец», ведь даже и в будильнике не было явного криминала, — но, видимо, ее остановила помимо естественного страха принципиальная необратимость сработавшего спецэффекта. Надо думать, сумку увезли на полигон и там взорвали вместе с деньгами: ведь по логике спецэффектов взрывается все.

Другая история мне известна в меньших подробностях, хотя участников я знаю лучше: с главным героем мы некогда то дрались, то играли в шахматы. Интеллигентный мальчик с буковкой, выдвинутой между вечно сведенных припухлых бровей, развился в типичного мелкого коммерсанта, чьи интересы в разное время простирались от производства пиратских компактв до выращивания элитных щенков. Мальчик раздобыл и сделался мордат, как роза, но, возможно, не утратил тайной чувствительности, некогда подвигавшей его на беспричинные побег из дому, которые даже в теплое время года заканчивались простудой и противным, с пенкой будто паутина, горячим молоком. Моего героя мучила неопределенность в отношениях с третьей женой, которая и правда была мастером неопределенности: казалось, эта женщина сделана из стекла, что наполняется, будто жидкостью, цветом всякой близлежащей вещи, а на самом деле пустотно. По мобильному она была всегда «временно недоступна». Не было даже известно, разведена ли она с предыдущим супругом и сколько, собственно, лет этой искусственной, превосходящей окрашенной блондинке, чьи морщины, сами по себе почти невидные, будто дефекты в стекле, придавали ее улыбке особенную расплывчатость, а главное, для героя оставалось загадкой, на что она тратит с кредитки семейные деньги. Короче говоря, герой, выдрав с мясом страницу из старого ежедневника, не без трепета нацарапал прощальную записку: «Лена, когда ты читаешь эти строки, меня уже нет на свете...» — и решил явиться домой как можно позже. Просто ему хотелось посмотреть, с каким выражением встретят его, живого и здорового, передумавшего топиться.

Если бы этот человек был героем моей прозы, я бы сказала, что в момент, когда в его туповатых пальцах торчала напишущая, как гвоздь, пересохшая авторучка, он и сам не знал, вернется или нет к семейному очагу. Я бы придала герою черты неврастеника, уже много месяцев ласкающего мыслью подробности самоубийства, — что привело бы к обострению врожденного страха высоты. Я бы, пожалуй, написала, как герой, оставив машину в ночном оцепенелом переулке (скоро она покроется, как кекс, снеговой сероватой глазурью), спускается к набережной и видит в черной предзимней воде недвижные отражения деревьев, ставшие уже в точности такими, какими они, не шелохнувшись, затянутся льдом, — и, странно передернув толстыми плечами, как если бы ему

холодным стержнем провели по позвоночнику, скидывает пальто. На самом деле персонаж моей истории поехал выпивать с людьми, чьи имена и фамилии мне также известны. Там, перекачивая через организм тяжелое пиво (чувствуя так, будто физиологически перекачивает через себя тяжелое время), он ожидал, что вот-вот в кармане снятого пиджака завякает трубка: несколько раз он сам, одержимый смесью раскаяния и острого любопытства, набирал на мелких кнопках домашний номер: ответом были кусачие короткие гудки. Не дотерпев примерно часа до намеченного срока, он на своей до крайности подержанной иномарке ринулся по скользким, словно ледяной гусиной кожей подернутым улицам: если бы не пустота асфальтовых пространств, мотавших машиной, будто собака хвостом, жестокий спецэффект запросто мог бы обернуться незапланированной правдой. Возможно, героя спасло то счастливое обстоятельство, что записка его вообще не была прочитана: стеклянная женщина, имевшая свойство все ронять и разбивать, смахнула послание на пол вместе с вазочкой, которой она была прижата, и, увидав среди млечных осколков бумажку с записями типа «Ив. Ив. — 16 час. дог. пр. тр.», не обратила внимания на оборотный текст, похожий на попытку расписать пересохшую авторучку. Едва не разворотив ключами замки семейной цитадели, мой герой увидел картину, которую ожидал обнаружить меньше всего остального: в квартире стоял совершенно привычный, дремотный, ничего не ведающий воздух, жена, любительница пляжных поз, как всегда, валялась на ковре и, покачивая на весу скрещенными пряничными ступнями, что-то обстоятельно рассказывала в телефон. Остаток ночи у них ушел на то, чтобы выяснить положение вещей; следствием приключения была, естественно, простуда, от которой мой герой без малого месяц ходил с сырым измочаленным носом и сосал конфетки убийственной мятности, распространяя на десять метров запах аптеки.

Видимо, в тяге к спецэффекту, в самой его природе присутствует что-то детское. Хулиганство как форма агрессивной иронии, не принимающей всерьез последствий собственных деструкций, нуждается в пиротехнике. Тут вспоминаются поджиги, бывшие, по сути, самодельными дульнозарядными пистолетами и превращавшие фанерки в древесную солому. Имелись также «гостевые» сигареты, аккуратно заправленные спичечными головками, так что спецдобавки не прощупывались, — и физиономию невинной жертвы внезапно озаряла шепелявая едкая вспышка горючей искры. Также интересные спецэффекты получались от применения натрия, украденного из кабинета химии: маленький кусочек шустро носился по луже, попыхивая красным огоньком, а от порции побольше лужа чихала так, что воду выбрасывало на проезжую часть. Восторг от таких противоправных действий помнится долго и приводит к высокому спросу на праздничные петарды; сегодня к каждому государственному салюту присоединяются одиночные частные выстрелы. Между прочим, моему герою самые сладкие мысли о самоубийстве приходили именно в детстве. Они были частью его разбегающегося мира и возникали, я думаю, не от обиды на взрослых, а от мечтательности и желания поглотить невероятно громадную порцию любви — как бывает у детей желание съесть зараз пятнадцать порций мороженого. Такие обычно надеются, что когда они вырастут большими, то будут покупать пломбиры и эскимо в неограниченных количествах. Мой герой повзрослел, но это ему не помогло: он так и не «наелся», с чем до сих пор не может смириться. Оставляя его в покое, отметим для дальнейшего «детский элемент» в эстетике спецэффекта.

В технологиях производства трансформированной реальности наиболее распространены два спецэффекта, один дешевый, другой дорогой. Дешевый достигается в кино с помощью обратной съемки и в нашем случае может быть условно назван «Выход сухим из воды». Персонаж, только что пускавший пузыри в нечистом водоеме, вдруг выпрыгивает, точно пойманная лягушка, из растревоженной хляби, хлябь по-быстрому заглатывает собственные плюхи, — а человек, совершив последний неуклюжий кувырок, становится на ноги с

точностью высококлассного гимнаста. Этот трюк, не лишенный изящества, используется в случаях финансовых и политических скандалов: просто меняются местами причины и следствия, и персона, как правило, выглядит после приключения даже обновленной. В литературе спецэффекты при помощи обратной съемки освоили критики: сперва желательный писатель объявляется известным, после чего он известным становится. «Быть, а не казаться», — давно устаревший девиз. Правда, иногда заметно, что набор высоты у литератора происходит по неестественной траектории и при задранный на голову пальто.

Дорогой спецэффект — это взрыв какого-нибудь объекта, чаще всего автомобиля, а также разнообразная пальба из огнестрельного оружия, после чего персонаж, если все-таки он реальный человек, нередко подлежит списанию. Голливудские клубы круто сваренного огня, из которого, будто рыбки из разбитого аквариума, разлетаются каскадеры, приучают зрителей к тому, что взрываются не только боезапасы или, скажем, пары бензина, но вообще любые объекты, включая сараи с дровами, товарные вагоны с консервами и детские песочницы. Таков механизм создания сенсации. В литературе взрывы, пожары и стрельба могут быть как «настоящими», так и трюковыми. Например, в романе Антона Уткина «Самоучки» взрыв иномарки был реальным, сюжетно замотивированным, качественно прописанным событием: там из рванувшего автомобиля в лужу к ногам героя плюхался недавно купленный совместно с погибшим другом художественный альбом. А вот у Сергея Болмата в финале его романа, где едва ли не все герои палят из всевозможных стволов, явно присутствуют спецэффекты. Предмет, в который, целясь или не целясь, попадает герой, обязательно исполняет свой маленький эстрадный номер: кофеварка пускает в потолок черную струю, осколки кафеля разлетаются *в разные стороны*, из упавшего гроба вываливается покойник. Разумеется, настоящая пуля, не будучи волшебной палочкой, таких оживляеж не производит. Чтобы на экране все плясало и прыгало под грохот канонады и пушечной пули давала эффект, как от заряда картечи, предметы заранее минируются: в них вставляются заряд с детонатором, иногда дополненные специальной капсулой, содержащей, к примеру, мел, который окутывает осколки картинным облачком. Известно, что Сергей Болмат — человек киношный и, разумеется, отлично знает, как, что и почему взрывается на съемочной площадке. Также известно, что роман «Сами по себе» переделан автором из собственного киносценария. Нет ничего удивительного в том, что Болмат любит свою профессиональную кухню (современное искусство вообще интересуется не фасадами, но изнанками явлений). Однако он не смешивает, но путает два вида искусства, отчего свойственные литературе и кино формы выразительности гасят друг друга, не говоря уже о том, что роман, выложенный на экранную «плоскость», теряет присущую прозе многомерность. Так, увлекшись феерией осколков, ошметков, взрывов и возгораний, писатель с читателем как-то перестают ощущать, что пуля, неизменно находящая свою судьбоносную дырку, — не просто штука, разбивающая вазу, но элементарная частица неких метафизических субстанций, которые и есть по большому счету предмет литературы. Впрочем, пули в зоне спецэффектов как раз отсутствуют.

Еще один достойный нашего внимания трюк применяется для того, чтобы создать иллюзию, будто человек поднимается по крутому обрыву, вертикальной стене и так далее. На самом деле декорация, преодолеваемая персонажем, лежит на земле под некоторым вполне безопасным углом, и человек по ней ползет, как Мересьев, вхолостую напрягая каскадерскую мускулатуру. Новость сегодняшнего дня заключается в том, что декорация имеет отрицательный дифферент, то есть персонаж, якобы лезущий в небеса, на самом деле передвигается вниз головой. В жизни глобальным примером такого спецэффекта является вся российская экономика, совершающая накопления золотовалютных резервов за счет притока нефтедолларов, что угрожает в будущем экономическим инсультом. В литературе аналогичный спецэффект возникает в некоторых (не во всех) криминальных сюжетах лидеров российского детекти-

ва — Полины Дашковой и Бориса Акунина (то же происходит, собственно говоря, в большинстве «детективных» глянцевого романа, но эти тексты, за непринадлежностью их к литературе, здесь не рассматриваются). При использовании данного спецэффекта весьма существенно, чтобы все предметы на декорации были хорошо закреплены, в противном случае каскадер рискует быть ушибленным либо расплющенным. Зрительно это может выглядеть как рост рынка ценных бумаг либо как преждевременное и спонтанное появление в тексте главного злодея, саморазоблачительно повествующего о себе от первого лица.

Среди спецэффектов, необходимых при актуальных трансформациях, следует также назвать перспективное совмещение макета с натурой. В жизни этот прием широко используется во время выборов. Здесь макетом, как правило, служит *имидж* кандидата, не имеющий никакого отношения к реальной персоне, которая впоследствии займет вакантное кресло. Главная задача политтехнолога заключается в том, чтобы зрительно увеличить макет, создать ощущение его монументальности и равновеликости тем реальным проблемам, которые кандидат якобы может решить. Для этого хорошо окрашенный имидж (на статичных макетах применяются, например, компьютерные пластические операции, украшающие и омолаживающие кандидата) особым образом приближается к зрителю, тогда как натура располагается на заднем плане и в значительном удалении от камеры. При этом политтехнолог должен следить, чтобы в кадре ни в коем случае не появился сам кандидат, иначе придется что-то делать с его реальными послужными списками (см. выше о трюке «Выйти сухим из воды»).

В литературе самый распространенный вид макета — это постмодернистская цитата. Применительно к прозе из новостного блока не имеет смысла спрашивать, что собой представляет автор, какова его поэтика, есть ли собственный стиль. Считается, что автор умирает в тот момент, когда читатель открывает книгу и начинает осваивать ее содержимое, — так изысканное привидение тает в воздухе от третьего утреннего вопля протестного петуха. Самым очевидным примером успешной работы с макетами служит, конечно, Владимир Сорокин. На протяжении первой половины текста он выстраивает декорации, воспроизводящие не только облик, но и материал оригиналов; на протяжении второй половины рушит созданные конструкции — причем, в противоречие стандартам Голливуда, требующим, чтобы сооружение разлеталось в разные стороны и само стреляло огнями, добивается, как опытный подрывник, чтобы оно проваливалось внутрь. Поэтому пространство сорокинских работ на самом деле невелико: автор сам ограничивает его веревками с навязанными красными тряпками. То, что автору сделалось тесно в рамках излюбленной «макетной» техники, показывает роман «Голубое сало». В нем автор покусился на все, какие смог загрести, авторитетные стили — и в ряде случаев потерпел откровенную неудачу. Причину объяснил Марк Липовецкий в статье «Голубое сало поколения, или Два мифа об одном кризисе»: «Фокус сорокинского стиля состоит именно в том, что ему подвластно именно то письмо, которое основано на концепции гармонии человека с миром (органичной, как у Толстого или Пастернака, или насильственной, как в соцреализме)... Но ничего подобного не получается, когда в качестве „материала“ берется эстетика, обостренно передающая разрывы, дисгармонические надломы и гротески истории, культуры, психики — будь то Достоевский, Набоков или Платонов». Иначе говоря, со статичными макетами у Сорокина все в порядке, а вот динамические конструкции, сами совершающие некоторые деструктивные действия, мертвеют уже в процессе их возведения: так как автору требуется, чтобы в его владениях активность была строго односторонней, он имитирует не объект, но стадию его существования — и в результате получается не «симулякр», а загипсованный инвалид. Предполагаю, что нехватка годных к разрушению оригиналов подвигла Сорокина придумать псевдокитайский «пиджин»: так писатель попытался предсказать новый авторитетный стиль, а вот грамот-

но заложить в него взрывчатку уже не смог. Между прочим, следует помнить, что, занимаясь своими деконструкциями, Сорокин работает именно с копиями: как бы текст Сорокина ни был похож, например, на соцреалистический роман, в нем все равно ощущается некая стерильность, отсутствие личностных переживаний «писавшего эти строки». Больше всего это похоже на продукцию оруэлловской машины для производства литературы. Так что сорокинская власть над дискурсом на самом деле иллюзорна: как бы красиво ни рушились макеты, а оригиналы где стояли, там и стоят.

Если говорить о мастерах литературных спецэффектов, нельзя не вспомнить Милорада Павича. К этому писателю вполне применимы слова, сказанные Александром Генисом о «русском Борхесе»: «Как это бывает с самыми любимыми из иностранцев, он становится полноправным участником российского литературного процесса». «Хазарский словарь», предлагающий всякому входящему в текст несколько способов и порядков собственного прочтения, будит совершенно детское желание ползать по лабиринту. Автор предупреждает, что к этой книге надо относиться будто к конструктору «Лего» или — как сказано в предисловии — будто к кубику Рубика. В романе «Пейзаж, нарисованный чаем» одна из главных героинь, Витача Милут, влюбляется не в другого героя, но непосредственно в читателя. Все это напоминает телевизионное шоу в прямом эфире: зритель может дозвониться в студию и, сидя в собственной комнате на продавленном диване, поговорить с очаровательным изображением в своем телевизоре. Видимо, это событие — нечто большее, чем технический фокус. Однажды при мне (я зашла по делу в знакомый дом) произошло такое соединение: хозяин, засуетившийся и сбитый с толку собственным как бы старушечьим голосом с той стороны экрана, все никак не мог сформулировать приготовленный вопрос, а чуткая кошка Маруся, обычно не обращающая внимания на переливы стеклянной стенки теплого серого ящика, облепленного ее богатой, почти песцовой шерстью, теперь попыталась тронуть лапой изображение, как будто там появилось что-то живое. Текст Милорада Павича делает попытку вот так же ожить, вынырнуть из бумаги, стать стереоскопическим. Тут следует заметить, что стереокино, играя техническими возможностями, в некоторых отношениях возвращается к люмьеровским истокам кинематографа, когда зрители пугались несущегося прямо в зал «живого» паровоза: самый впечатляющий предмет, который я наблюдала в стереочках, был метательный топорик, который летел ко мне, вращаясь и журча, и растворился буквально в метре от моей заболевшей головы.

Виктор Пелевин первыми своими успехами обязан, в частности, умению видеть спецэффекты позднего социализма — все те рисованные задники и символические макеты, какими нас окружала советская наглядная агитация: «Я жил недалеко от кинотеатра „Космос“». Над нашим районом господствовала металлическая ракета, стоящая на столбе титанового дыма, похожем на воткнутый в землю огромный ятаган. Странно, но как личность я начался не с этой ракеты, а с деревянного самолета на детской площадке у своего дома. Это был не совсем самолет, а скорее домик с двумя окошками, к которому во время ремонта прибили сделанные из досок снесенного забора крылья и хвост, покрыли все это зеленой краской и украсили несколькими большими рыжими звездами». Здесь показана своеобразная градация авиакосмического мифа — переход от чистой идеи через официальный монумент к дворовой дощатой декорации, в которой уже можно непосредственно разыгрывать сюжеты: именно потому деревяшка — самый сильный мифопроводник. Далее Пелевин вступает с обнаруженной системой в ироническое состязание. Слава Курицын в предисловии к вагриусовской книжке «Жизнь насекомых» справедливо отмечал кинематографичность пелевинского письма; частью творческой лаборатории культового писателя всегда была «машина трюка». Значение романа «Жизнь насекомых», наверное, соответствует значению фильма художника и оператора Владислава Старевича «Прекрасная Люканида». Этот новаторский для своего времени объемный мультик, сделанный в 1912 году, про-

извел настоящий фурор. Неискушенная публика видела в фильме не достижение техники, но небывалый успех дрессуры. Даже английские газеты писали, что в фильме действуют настоящие дрессированные жуки.

Между тем с выходом книги «Generation 'П'» произошла окончательная кристаллизация собственного пелевинского мифа. Я думаю, что писатель попал этим романом будто шарик в лунку. Видимо, Пелевин по неосторожности создал технологичный промышленный образец, где присутствует все, что интересует типичного пелевинского читателя: компьютеры, наркотики, рекламные клипы, опять-таки немножко буддизма, а также фантастические чудеса с последующим, еще более фантастическим, их разоблачением. Последняя книга Пелевина есть готовая среда обитания, что подтверждается внезапным выбросом «тоже Пелевиных» (Болмат, Обломов), не без успеха подражающих именно «Generation». Теперь «истинный Пелевин» — только этот роман. Говорят, «Вагриус» обещает к Рождеству новую книгу суперзнаменитости: возможно, Пелевину и удастся успешно разминуться с собственным отражением в окружающей его литературе.

В связи с Сергеем Болматом явственно обрисовался еще один спецэффект нашей литературной действительности, который я бы назвала «феноменом белой обезьяны». Весьма интересный для меня обозреватель Лев Пирогов так писал о феномене в «Литературной газете»: «В различных интернетовских ресурсах, близких и не близких к „Русскому журналу“, работает множество популярных литературных журналистов. Чуть ли не все они о романе Болмата уже написали. Кое-кто — даже в свои „бумажные“ издания... Теперь, когда книга вышла в свет, каждый из тех, кому довелось постоять у ее колыбели, обязательно напишет что-нибудь еще. Что-нибудь вроде: „Ну, а что я говорил!“ ... И не важно, что именно говорил. Плохая реклама — тоже реклама». Здесь спецэффект основан, с одной стороны, на акустических свойствах некоторых литературных пустот (стоит аукнуться, как тут же начнет многократно откликаться), а с другой стороны, срабатывают законы новостного эфира. Сегодня, чтобы время хоть немножко лилось на мельницу актуальной литературы, очень-очень нужен «новый Пелевин». Стало быть, Пелевин-2 будет изготовлен из имеющегося под руками материала. При этом противники Болмата, не сумевшие промолчать в ответ на провозглашение средненькой беллетристики «романом года», работают на новое имя ничуть не менее эффективно, чем самые рьяные фанаты. Ситуация на удивление симметрична: выразители противоположных мнений предстают друг для друга отражениями в зеркале. Пустота возникает оттого, что срединная, примиряющая точка зрения на роман «Сами по себе» невозможна: текст не дает предмета для взвешенного аналитического разговора, отсюда прекрасная акустика, никак не дающая угаснуть отзвукам скандала. Литература говорит про «нового Пелевина» сама с собой, и никакие здравые призывы не думать о белой обезьяне не останавливают этот шизофренический процесс. Совершенно понятно, что тексты более наполненные, дающие материал для содержательных обсуждений, акустических пустот не создают и потому не могут актуализироваться как объекты литературного культа.

И наконец, последним номером программы суперспецэффект: писатель-призрак. И не в изысканном постмодернистском смысле «смерти автора», а в самом прямом. Детективщица Полина Дашкова, в последнее время не сходящая с экранов телевизора, сообщает в своих интервью, что ее коллега не то из Саратова, не то из Воронежа, тоже довольно раскрученная беллетристка Марина Серова, в действительности не существует. Книжки есть, а писательницы нет. Под «Серовой» следует понимать группу провинциальных гуманитариев, создающих тексты методом бригадного подряда. Данная версия не вполне достоверна: иные источники ее опровергают. Более того — мне попадались публикации, где не то в шутку, не то всерьез подвергалось сомнению реальное авторство самой Полины Дашковой. Собственно, литературные негры никакая не новость: надо полагать, они появились вместе с возникновением в



ХІХ веке механизмов книжного рынка. Новизна заключается в том, что сегодня бригадный подряд как никогда органичен. Возникают проекты самых разных конфигураций. Раскрученные беллетристы, такие, как Мария Семенова, берут в соавторы младших партнеров, что отражается на книжной обложке; другие нанимают помощников либо продают свои брэнды неустановленным лицам, что на обложках никак не отражается, зато отражается на текстах; возникают и чистые фантомы, выбрасывающие на прилавки по десятку романов в год. Теперь буквально каждый литератор находится под подозрением: а не стоит ли за ним какой-нибудь истинный автор? Американец Лев Гурский остроумно высказался о данном спецэффекте в «Книжном обозрении», нимало не утаив, какие силы и группы товарищей стоят за теми или иными раскрученными именами. Разумеется, автор развлекался исходя не из реальных сведений, а скорее из анекдота: «Я думал, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс муж и жена, а оказалось — четыре разных человека». Между тем имеются данные, согласно которым тексты самого Гурского пишутся вовсе не в Америке, а в российской провинции, и «крышу» сему предприятию в разное время давали саратовский журнал «Волга», екатеринбургский фестиваль фантастики «Аэли-та» и екатеринбургская же «центровая» братва. Видимо, не стоит завидовать будущему историку литературы, что изберет для изучения рубеж тысячелетий: бедняга никогда и ни в чем не будет уверен до конца и, может быть, придет к убеждению, что все русскоязычные тексты изучаемого периода создали марсиане. Аргументом ему может послужить крайняя недолговечность наших лучших феноменов. Та же Полина Дашкова, сравнивая в своем интервью современную литературу с продуктами питания, посоветовала покупателям книг обращать внимание на дату изготовления и срок годности. Похоже, писательница, сама того до конца не сознавая, попала в точку.

У многих писателей, не участвующих в производстве новизны и соблюдающих творческий суверенитет, можно обнаружить явления, дающие повод говорить о спецэффектах. Сильные оптические среды Людмилы Петрушевской, артистические метаморфозы Дмитрия Липскерова, перспективные совмещения Михаила Шишкина, приключения метафор у Марины Вишневецкой — все это тем не менее не приводит к упрощению видения и метода. Вся литература есть искусственное образование, и, как было сказано выше, простая имитация реальности уже давно никому не интересна. Однако существует явная разница между пространством, которое читатель может внутренне обживать, и пространством, куда ему лучше не ходить. Первое, как бы ни было оно странно, искривлено, субъективно, обладает собственной органикой и позволяет *жить* по своим внутренним законам; во втором читатель может наткнуться на крашеную фанеру и на изображающую таинственный туман дымовую шашку. Литература спецэффектов предполагает пассивное восприятие, кормит собою с ложки — то есть это литература детская, инфантильная. Здесь располагается зона безопасности: никто на самом деле не стреляет, на груди погибшего героя вместо крови краска из мешочка, под персонажем вне кадра натянута страховочная сетка. Писатель, работая здесь, застрахован от творческого риска. Правило «Большому кораблю — большое кораблекрушение», печально оправдываясь в реальной действительности, в литературе больше не действует. Можно с ходу перечислить несколько хитовых беспроектных сюжетов для модных романов, например, что-нибудь вроде «Vladimir Putin — superstar» или про чудесное спасение героя с потопленной подлодки: в последнем случае даже и думать особо не нужно — телевизионщики уже накидали будущему гению с десятков годных заготовок. Кто не убоится прослыть прожженным циником (а кто этого сегодня боится?) и первый напишет версию трагедии, истинную картину которой мы не узнаем никогда, — тот устроит праздник для себя, для критиков и для благодарной аудитории. Видимо, новая русская детская литература создает ту комфортную ситуацию, когда писатель и читатель

до крайности довольны друг другом, — тем она и хороша. Спецэффект — это фокус, сюрприз, праздничный салют.

Между тем детский праздник актуальной литературы не так безопасен, как хотелось бы думать: количество может запросто перейти в неожиданное качество. Года полтора назад в милом голландском городе Энсхеде загорелись склады шутовой пиротехники: хроника события обошла тогда все мировые программы новостей. Сейчас уже многие подзабыли, как под ликующим разноцветным небом происходила эвакуация мирного населения; происшествие напомнило мне эпизод из романа Набокова, когда дети, играя, подпалили кукольный домик и в разгулявшемся огне сгорела вся усадьба. Кстати, для тех, кто не в курсе: в Китае, крупнейшей стране — производителе шуток и петард, большие пожары с салютами случаются каждый год.

Екатеринбург.



# Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

## ПЕРЕДО МНОЙ ЛЕЖИТ ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР «ВОЛГИ»

«Волга», Саратов, 2000, № 413.

**П**оследний из вышедших номеров журнала — всего скорее вообще последний. Потому как на второй странице обложки редакция журнала прощается с читателями и предельно кратко сообщает о причинах, вынудивших саратовских коллег принять роковое решение. «Читателям, даже самым верным, в общем-то, совсем не обязательно знать, какими способами и средствами поддерживается издание, главное — получать свежие номера. Следуя этому принципу, редакция „Волги“, не получая никакой помощи извне, за исключением временной поддержки Института „Открытое общество“ (дополнительный тираж), прилагала все возможные силы, чтобы журнал выходил».

Простая, в общем-то, история. Был один из сильнейших в России (и уж точно первый вне Москвы) журнал, да весь вышел. Бились-крутились лауреаты Малого Букера (1994; тогда награждался именно лучший провинциальный журнал), книги выпускали, брошюры, ноты; торговали ими, сами разгружали-загружали машины со своими тиражами, а выиграв грант на мини-типографию, сами же набирали и брошюровали свою «Волгу» (и другую продукцию, коли получался сторонний заказ); перемогались из кулька в рогожку, сидели месяцами без символической зарплаты (не одни литераторы-журналисты, но и технические работники, включая бухгалтеря, без которого, как известно, прожить ни одна структура не может). Ну и просили, конечно, временами помощи. У прогрессивной саратовской администрации (ей по поводу «Волги» челобитную и Русский Пен-центр подавал), у всяких местных фирм, у богатых богатын. Мудрено, признаться, было тех просьб не расслышать: вот ведь, рядышком, журнал, вот подготовленные и изданные им замечательные книги (в основном по истории Саратовской губернии), вот букеровский приз, вот постоянно поминаемые в печати «волжские» авторы, без которых не представишь себе русской литературы 90-х годов XX века, вот безусловный авторитет издания и его главного редактора Сергея Боровикова. Не расслышали. Не то что дотаций — арендных или налоговых льгот журнал не получал. Приходилось уменьшать листах и сдваивать номера (при солидном портфеле — о чем речь впереди), редели подписчики (не так мы все богаты, чтобы платить за издание, которое то ли будет, то ли нет; да и втемяшивали в наши головы — года, пожалуй, с 1989-го: обречены журналы, что на них время тратить), сокращение тиража наращивало расходы и вновь отводило читателей. Замкнутый круг. И так с 1992 года. Не то удивительно, что нынешним летом, бросив все оставшиеся силы на выпуск прощального — объемистого, как в лучшие времена, — номера, редакция объявила о невозможности дальнейшей работы, — удивительно, что случилось это сейчас, а не гораздо раньше. Сказке подобно. Но всякой сказке приходит конец.

Мне больно. Но закрадывается подозрение: может, это мой личный бзик, а случившееся — в порядке вещей? В конце концов, я же лицо «заинтересованное». Про «Волгу» девять лет писал, в Саратов ездил (в частности, в 1996 году — на тридцатилетие журнала), со всей редакцией знаком, а с иными из «волжан» и вообще близко дружу. Правда, сложилось все это по единственной причине — в конце 80-х, когда уже сильно поослабла цензурно-большевистская хватка, но при этом по-прежнему государство дотировало СМИ, которые в свою очередь пускались во все тяжкие, дабы раздуть тираж и приохотить к себе ошалевшего от гласности читателя, в ту развеселую позднегорбачевскую эру «Волга» удивляла и радовала редким сочетанием вкуса, здравомыслия, домашности, смелости и внутренней свободы. Наличествовали тогда журналы тиражнее и экстравагантнее, выигрышнее и основательнее? Конечно. И как надо не помнить совсем недавней истории, до какой заштампованности нужно сознание свое довести, чтобы утверждать: были, мол, на рубеже десятилетий все журналы на одно лицо. (Тиражировалась лет пять

назад эта ахинея в шибко «литературной» газете. Да еще с наставительной интонацией. И никому в голову не пришло сказать с коровьевской прямоотой: «Поздравляю вас, гражданин, соврамши»). Так вот: «Волга» уже тогда пленяла «лица необщим выраженьем». И совсем не случайно ныне столь титулованные и всюду привлекаемые, а в те баснословные года «сомнительные» Евгений Попов и Вячеслав Пьещух напечатали именно в «Волге», а не в барственных, либерально-номенклатурных ежемесячниках «Душу патриота» (безусловная удача Попова) и «Роммат» (чуть ли не единственная большая живая вещь Пьещуха; а до тех пор, пока он ее приемы и тезисы не запустил на конвейер, так и вовсе хорошо читалась).

Ну, — вновь включается внутренний оппонент — давеча, известное дело, не то, что теперича. Вот номер перед тобой. Так ли уж тебе нравятся рассказы Александра Титова из книги «Мертворожденные»? Повесть Марии Галиной «Покрывало для Аввадона»? Историйки Бориса Фаликова? «Фотоаппарат» Владимира Янушевского? Что ж, вопрос резонный. Отвечу. Во-первых, нравятся, хотя и по-разному. А во-вторых, хоть бы и не нравились все, как на подбор, опусы из № 413 — не в этом дело. (Кстати, случилось мне публично «наезжать» на любимый журнал: и за конкретные сочинения, без коих можно было бы, на мой взгляд, обойтись, и за редакторские оплошности.) Но вначале — во-первых.

Александр Титов в этот раз представляет диковатую деревенскую фантазмагорию, отзывающуюся то плутовским романом, то резкой сатирой, то вольным философствованием о стати русского народа и его повязанности с кровавой революцией. Бредут по лугам, лесам и деревням железный революционер (некогда анархист-коммунист-комиссар, потом сталинский зек, теперь маловменяемый старикан) Пал Иваныч с рассказчиком, которого зовет он «селькором». (Сам Титов служит в районной газете в Липецкой области.) Мир окрест их какой-то странный — то ли от чернобыльской радиации и прочих вековых бед, то ли от злоупотребления путников горячительными напитками, то ли от многошумных и страстных воспоминаний Пал Иваныча, перемежаемых обличениями прошлой и настоящей мировой контры. И похоже, другого мира героям Титова увидеть не дано: в свою пору Пал Иваныч достаточно начудесил — по сей день его художества отзываются. Сквозь нынешнюю выморочность то и дело проступает минувшее, а рассказы о давних днях на глазах перетекают в окружающую «очарованных странников» обыденность. Признаться, мне лично больше нравились прежние «волжские» публикации Титова — были они строже и чище тоном, обходились без стилиевой ярости и гипертрофии сюжетных условностей, без, так сказать, «платоновщины» (до которой я и в оригинале не большой охотник). Но в то же время я понимаю: Титов остался собой. Он настоящий прозаик, а открыла его «Волга». Как и других провинциальных (по месту жительства!) авторов, умеющих сочетать пристальное до напряженности вглядывание в нашу обычно грустную действительность с решительными стилиевыми поисками. Наиболее яркий наряду с Титовым пример — проза Владимира Шапко, особенно опубликованный в позапрошлом году цикл «Берегите запретную зонку».

«Покрывало для Аввадона» — вещь ироничная, интеллектуальная, с игровой мистикой. Да еще к тому же и «одесская». Две интеллигентные «дамы» (так именуют симпатичных героинь Галиной их компатриоты) поправляют свое финансовое положение, приводя в порядок заброшенные могилы (богатые потомки отбыли за кордон, но благолепие оплатить готовы). Случайно галинские подружки сместили на некой могиле некие камни — оказалось, что высвободили сверхмогучий дух мистика и математика Гершензона, овладевшего всеми тайнами бытия. Ну и поехало. Мафия, еврейские мудрецы-каббалисты, безумный затворник, декадентский поэт, сладострастная матрона, гениальный, скандальный и трогательно милый вундеркинд Изя. Цепь приключений, апофеозом которых становится дуэль Голема со Всадником без головы. И все это в Одессе. Привоз, Аркадия, запахи моря, шуточные таксистов. Местами действительно страшно, а по большей части — смешно. И кажется, эта пропорция эмоций приходит к читателю от прелестных и победительных (при каждодневных неудачах) подружек, что чуть не довели Одессу (а заодно и весь мир) до полного Армагеддона. Ничего, собрали в итоге камушки — уложили их как надо. Успокоился всесильный бедолага Гершензон. Устоял мир.

Приметны у Галиной неровности? Приметны. Но живость и юмор важнее. Но стремление «разыграть» и разукрасить томительное бытие интеллигентных мучеников бюджета, взбодрить выдумкой их придавленный быт, напомнить о том, как в «роковых обстоятельствах» можно остаться веселым, смелым, ответственным (спасая мир от катастрофы, героини Галиной платят за свою кладбищенскую оплошность) и добрым, — право слово, дорого стоят. Да еще и интересно, что дальше-то будет.

Читая повесть Галиной, понимаешь: да, она должна была появиться в «Волге». Потому что журналу в равной мере интересны проза «почвенная» и «городская», настоящая на интеллигентском юморе, не чуряющаяся «книжности». Как помещенные в том же номере остроумные новеллы Бориса Фаликова (в позапрошлом году он выразительно заявил о себе в «Волге» повестями «Круги по воде» и «Вида-нов»). Или проза симпатичнейшего доктора из города Вольска — Николая Якушева, открытого журналом несколько лет назад и ставшего его постоянным автором. Вероятно, придирчивый читатель найдет у Якушева «родимые пятна» дилетантизма, но, быть может, без этого бесшабашного пренебрежения «нормами хорошего письма» не было бы и той внутренней свободы, того простодушного обаяния, того умения взглянуть на вполне реальные бедствия нашего времени (в нашем захолустье), что придают якушевской прозе незаемную прелесть и неподражательную живость. Особенно все это чувствуется в его последней на сегодня публикации — повести из жизни неунывающих провинциальных докторов «Место, где пляшут и поют» (1999, № 11). Тогда же (№ 9-10) «Волга» напечатала роман москвича Андрея Коровина «Ветер в оранжерее», тема и антураж которого наверняка насторожили бы любого рассудительного редактора. Что может быть банальнее, чем пьяновато-истеричный быт разношерстных «гениев из общезития», студентов Литературного института? В «Волге» Коровина расслышать сумели. Как давным-давно признали туляка Олега Хафизова (и по сей день с удовольствием печатают) или москвичку Майю Кучерскую, дерзнувшую в романе «История одного знакомства» (1998, № 10) обратиться к столь рискованной теме, как контрверзы сознания молодой воцерковленной интеллектуалки.

Называю вещи не самые громкие, хотя, по мне, так многих «раскрученных» опусов стоящие, да и вызвавшие заинтересованное внимание профессиональных читателей. А меж тем в наше «замечательное десятилетие» «Волга» опубликовала и произвела безудовольно событийные и безусловно же «спорные»: «Шизгара, или Незабвенное сибирское приключение» кемеровчанина Сергея Солоуха (1993, № 6 — 9), «Реквием по живущему» Алана Черчесова (тогда еще владиказказца; 1994, № 3/4 — 5/6), «Глава четвертая, рассказанная Геннадием» Марины Вишневецкой (1996, № 7), «Ланч» ныне обретающейся на чужбине Марины Палей (2000, № 4; впрочем, Палей и раньше здесь печаталась). Что-то же заставляло этих незаурядных прозаиков отдавать свои работы именно в «Волгу»? (В последние годы твердо зная, что даже символического гонорара здесь не будет.) Может быть, именно «спорность» их творческих установок, их сознательное или бессознательное желание существовать и писать вне какой-либо обоймы или тусовки, включая тусовку «вышедшего в большие люди» маргиналитета. Их очевидная и порой упрямая «отдельность», стремление остаться собой, но при этом быть услышанным. Не во всякой редакции такие «номера» проходят. В «Волге» проходили. Уверенно могу сказать: чаще, чем где-либо. Много раз слышал я от своих саратовских друзей: «Не слишком нравится, но печатать непременно будем! Живой писатель!» Чтоб не выглядеть полным аллилуйщиком, замечу — случались и сбои. До сих пор понять не могу, как исхитрилась «Волга» отторгнуть «Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева» уже знакомого по «Шизгаре» Солоуха — роман, на мой вкус, не только замечательный (вышел тиражом 500 экземпляров в Кемерове; висит в Интернете), но и всей статьёй своей — «волжский».

Перечисляя авторов «Волги», ловишь себя на какой-то особой радости от географической пестроты. Чем-чем, а провинциальной ксенофобией саратовский журнал не страдал. Ладно проза — это дело трудоемкое, поди наскреби в своих палестинах на целый год! Но на стихи-то урожай всегда и везде. Тем паче в Саратове, где обретается множество по-настоящему достойных стихотворцев, работающих

кто в «классической», кто в «авангардной» тональности. (Здесь кроме широко и заслуженно известной, в прошлом году стяжавшей Малую премию Аполлона Григорьева Светланы Кековой обязательно нужно вспомнить тонкого и, хочется сказать, «мягчайшего» лирика Ивана Васильцова. Кстати, «прощальный» номер открывается стихотворением Кековой и похвальным словом поэту, написанным для «аполлон-григорьевской» церемонии питерским критиком Андреем Арьевым.) Но при всем при этом журнал постоянно печатал стихи «варягов». И не только читаемых и привечаемых едва ли не повсеместно — Ольгу Седакову, Елену Шварц, Виктора Кривулина, Евгения Рейна, Владимира Салимона, Сергея Стратановского. К примеру, Вере Павловой журнальную стезю проторили именно в Саратове — обратив внимание на ее масштабную публикацию в «Сегодня» (февраль 1994 года; тогда Борис Кузьминский отдал подборке Павловой целый газетный разворот, который вскоре был отрецензирован в «Волге» Алексеем Слаповским). Конечно, теперь про Павлову кто не знает, но шесть лет назад все смотрелось совсем иначе. Хотелось бы верить, что не пропадут даром и «волжские» публикации таких сильных, самодостаточных и почти не востребованных в столице поэтов, как Александр Ожиганов (бывший питерец, уже давно живущий в Самаре) и Сергей Самойленко (Кемерово).

«Географическая открытость» «Волги» — следствие «открытости эстетической», естественной беспартийности, о которой шла речь выше. Той беспартийности, что вовсе не предполагает беспринципности (большевиками или нацистами в «Волге» никогда не пахло; да и не сунулись бы они туда), но позволяет свободно выражать под одной обложкой самые разные убеждения. Кстати, я совсем не уверен, что такая модель пригодна для всякого журнала: временами меня смущает появление «знаменских», условно говоря, текстов в «Новом мире» или «новомирских» — в «Знамени». Но «Волга» (в отличие от иных своих родственников, четко занявших определенную идеологическую нишу) с самого начала мыслилась именно разногласным литературским парламентом. То есть «говорильней», что, по определению, не может обойтись без некоторой толики сумбура и рассогласованности. Касается это прежде всего критики, эссеистики, рецензионного раздела. Поди впряги в одну телегу ученые (а подчас «ученые по-доцентски») статьи и рецензии с постмодернистскими рассуждениями, лихими фельетонами, «исповедями горящих сердец». Ничего, впрягали. И академичный до простодушия Владимир Вахрушев (из близкого Балашова), и напряженно взыскующий звания «арбитра интеллектуальной элитности» Кирилл Кобрин (из чуть более далекого Нижнего Новгорода), и глупокомысленный джаз-буддист Николай Болдырев (из далекого Челябинска), и болезненно утонченный, словно бы заранее предполагающий конфликт с читателем и мирозданием, бесконечно утончающий и уточняющий неуловимую, но единственно нужную мысль (она же — чувство) Александр Суконик (из совсем далекой Америки) чувствовали себя в «Волге» как дома. Не говоря уж о всюю резвящейся молодой поросли саратовских критиков (зачастую одновременно играющих и на прозаическом либо поэтическом поле). Вот и в «прощальном» номере весьма лихо жонглирует всякими умными словами и культурными символами многошумный Алексей Колобродов («Молодая комсомолка, или Чего не заметили юбилейщики») — и все ведь никак не надоеет то ли глумиться над фикцией «советской культуры», то ли «жемчужные зерна» из нее выковыривать. А рядом спокойная до нудноватости статья Ивана Пыркова о теме «света» в «Обломове». Здравая такая статья, большой любовью к классику надиктованная, не без тонких наблюдений, с академическим «мы»... Глава из филфаковского диплома, удостоенного отличной оценки. А рядом публикация письма несчастного Сухова-Кобылина к императору Николаю I. Замечательный документ. И историкам литературы безусловно необходимый. Цены бы ему в научном сборнике не было, а он в «Волгу» угодил. Почему? — Да потому, что публикатор его Виктор Селезнев — старинный и верный автор журнала, а занимается творчеством и мытарствами великого драматурга много лет и с большим тщанием. Ну как не напечатать! Тем более, что сетованиям на произвол властей обвиненного в убийстве Сухова-Кобылина («Был я заперт в секретный чулан, обстену с ворами, пьяною чернью и безнравственными женщинами...»), к сожалению, не откажешь в актуальности.

Прозаические, поэтические, критико-эссеистические материалы «Волги» — в силу своей принципиальной разнокалиберности и разнонаправленности — были рассчитаны на несходные читательские реакции. Иначе обстояло дело с публикацией архивных документов, мемуаров и статей, посвященных истории России (преимущественно — новейшей и поволжской). Конечно, закрывающая этот постоянно пополнявшийся блок материалов «Церковно-приходская летопись Христо-Рождественской церкви и прихода Урюпинского ярмарочного поселения...» — документ впечатляющий и захватывающий. Мы читаем записи, которые священник Петр Протопопов вел с 1913 по 1920 год, и вживе видим сперва «Россию, которую мы потеряли» (совсем не говорухинскую), а потом и сам процесс «утраты», уже в годы войны идущий своим ходом, хоть и не вполне осознаваемый честным и скромным летописцем. Цены на ярмарке, внутрприходские дела, отголоски войны, отголоски революции, нежданное вхождение Истории (во всей ее свирепой красе) в тот самый Урюпинск, что и в советские времена служил символом абсолютного захолустья. Событие? Безусловно. И не только для профессионального историка, но и для всякого человека, надеющегося разобраться в том, что же случилось с Россией.

Но в том и сила, что подготовленная С. П. Синельниковым публикация — одна из многих. Год за годом можно было читать очерки о крестьянском и купеческом быте, о волжском пароходстве и губернских властях (светских и духовных), о народных промыслах и городских увеселениях, воспоминания (либо архивные, либо труднодоступные), дневники, эпистолярии. Были специальные номера, целиком отданные под «Волжский архив», были любимые, непоказным патриотизмом рожденные «сквозные» сюжеты (здесь стоит вспомнить о многочисленных публикациях, посвященных судьбе и творчеству выдающегося филолога Юлиана Григорьевича Оксмана, который после десяти лет сталинских лагерей профессорствовал в Саратовском университете), были публикации уникальные (в 1993 году журнал печатал записки Саратовского владыки — потрясающая, надо сказать, вставала с этих страниц картина унижения церкви и религиозного чувства, хотя ничего подобного лояльный и внешне благополучный «подсоветский» епископ в виду не имел), были «дежурные». И была их непрерывность. История страны, своего «региона», своей губернии, своего неповторимого города (кстати, неправду нам по телевизору говорили: самые красивые девушки не в Самаре, а в Саратове!) была для «Волги» не «интересной и важной темой», а... Не знаю, как и сказать. Жизненным содержанием, что ли. Как и современная словесность. Как и словесность «забытая» либо в советские годы «избежавшая печальности». Писал выше, но повторю: «Волга» жила не противопоставлением, а соединением: прошлого и настоящего, традиции и новизны, высоколобой культуры и доступности, словесности и жизни. Именно поэтому это был по-настоящему *литературный* журнал.

И делать его могли только люди, по-настоящему любящие литературу и жизнь. Умеющие видеть за деревьями лес. Сердцем знающие, что русская история и история русской словесности не вчера начались, а потому и не завтра кончатся. Разные, конечно, люди, во многом несходные, спорившие меж собой, приходившие в журнал (и уходившие оттуда) кто раньше, кто позже. Читатель (исключая профессионалов) обычно не смотрит на список редколлегии. Ему, в общем-то, не важно не только то, на какие средства выпускается журнал, но и кто тянет проклятую и любимую бурлацкую лямку. Но, честное слово, совсем не лишним будет сказать о том, что бессменный ответственный секретарь «Волги» Наталья Шульпина координировала действия редакции, унимала страсти и сколько могла обеспечивала взаимодействие с равнодушным внешним миром. Что критическое (а частью и поэтическое) многоголосье «Волги», дружба с журналом корифеев и новорожденных гениев андеграунда — заслуга Анны Сафроновой. Что курировавший последние годы поэзию Алексей Голицын не только даровитый стихотворец, но и замечательный верстальщик (он и «делал» журнал «материальным»). Что превосходные исторические и краеведческие публикации были невозможны без Владимира Панова. Что широко печатающийся в столичных изданиях блестящий знаток фантастической и детективной словесности (и просто один из самых умных, внятных и серьезных наших критиков) Роман Арбитман пришел заведовать прозой, когда беды

«Волги» стали видны и слепому. Что в формировании журнала сыграл огромную роль Владимир Потапов, некогда блистательный эссеист, в начале 90-х перебравшийся в Москву, а затем, к неизбежному сожалению многих коллег и читателей, оставивший литературскую стезю. Что в «Волге» много лет работал один из самых сильных писателей нынешнего «поколения сорокалетних» — автор публиковавшихся здесь повести «Русский народ едет на шашлыки и обратно» (1992, № 1), романов «Паша Залепухин — друг ангелов» (1993, № 10 — 12) и «Время, жить!» (1995, № 7 — 10) неуступчивый и негиббемый Валерий Володин. Что, уйдя из редакции, остался членом редколлегии (отнюдь не формальным!) и постоянным автором охотно привечаемый в Москве и Питере Алексей Слаповский, некогда здесь счастливо дебютировавший, напечатавший в родном журнале ту прозу, что обеспечила ему успех, признание, дорогу в столичные редакции, переводы и попадание в букеровский шорт-лист (роман «Первое второе пришествие» — 1993, № 8 — 9).

И разумеется, надо сказать о главном — о главном редакторе. Читателям «Нового мира» нет нужды специально рекомендовать Сергея Боровикова и его фирменную рубрику «В русском жанре». Заметки под этой славной шапкой печатались и здесь. Была выпущена «Волгой» — впрочем, мизерным тиражом — и соименная книга. Но и «сторонние публикации», и сведение текстов под одну обложку вторичны. Первична рубрика в «Волге», для нее и придуманная. Не специально. Так уж сложилось и должно было сложиться. Жаль, что в последнем номере этой рубрики нет. Впрочем, боровиковские рецензии на роман Владимира Войновича «Монументальная пропаганда» (очень приветливая) и на повествование Михаила Рошина о Бунине (предельно жесткая, что более чем справедливо) вполне могли бы войти в очередную связку заметок главного редактора, счастливо сумевшего задать тон своему журналу.

Да, душой «Волги» были подборки боровиковских размышлений — о бытовых сегодняшних мелочах, об истории, о курьезах политики, о классиках, о молодости, о шестидесятниках, о новой словесности, о винопитии и табакокурении. Замечательно «домашние», якобы «неотделанные», всегда неожиданные, полемичные без злобы и добрые без сюсюканья, опыты Боровикова заставляли верить: все наладится, не такое перемогали, есть на свете Россия, русская интеллигенция (в нормальном — «земском», чеховском, человеческом — смысле слова), русская литература. Есть теплота чувства и достоинство мысли. Мы еще вздохнем, улыбнемся, выйдем на набережную (не реки — Волги!), выпьем. Без этих чувств, без готовности работать ради самой работы, без спокойного юмора и доверия к жизни не было бы ни писателя Боровикова, ни его рубрики, ни его журнала.

Вот и приехали. Журнала «Волга» больше нет.

Осенью 1991 года я, вступая на лихую дорожку газетного обозревателя (да и литературной критики вообще), придумал себе задачу: портретирование якобы обреченных литературных журналов на странице «Культура» «Независимой газеты». Так сложилась «Журнальная галерея», цикл из десяти статей. Шесть московских журналов, два питерских, два губернских — «Волга» и «Урал», что в силу алфавитного порядка «обрамили» конструкцию. Первая статья называлась — «Дело хозяйское. „Волга“: уют свободы». Вскоре после ее публикации я получил письмо от незнакомого мне тогда Боровикова, такое же естественное и живое, как его журнал. Но не о том речь. Девять лет «Волга» хранила свой уют, неотделимый от свободы. Девять лет журнал — при всех тяготах и каверзах — не выживал, а жил. Девять лет, столькими потраченные впустую, в Саратове доказывали: свобода не фикция, а реальность. Девять лет, прошедшие под вой о гибели литературы и бессмысленности «архаичных» толстых журналов, «Волга» была естественным опровержением праздничноболтающей пошлости. Пошлость в очередной раз победила. И не надо сказки про «рынок» рассказывать — не оскудела бы саратовская администрация, ведомая «политиком общероссийского масштаба» Дмитрием Аяцковым, поддержи она издание, что законно должно почитаться общенациональной гордостью. Не захотели, потому как не нужен был в свободной стране *свободный* журнал? Просто проглядели? Так вышло? Противно мне в этом разбираться. У меня (и не у меня одного) щека горит — оплеуху вмазали самой русской словесности, а переживать ее боль как свою покамест еще много народу способно.



А еще любопытство берет: кто следующий? Вот питерская корреспондентка «Известий» Юлия Кантор пишет (25 сентября 2000 года) о том, что в Северной Пальмире решено отменить «коэффициент социальной значимости» объектов, где рыночная арендная ставка превышает 75 у. е. Попросту говоря — загробить повышением арендной платы журналы «Звезда» и «Нева», что квартируют в историческом центре. Получив по правой щеке от Дмитрия Аяцкова, мы, видимо, должны подставить левую Владимиру Яковлеву. Тоже ведь «политик общероссийского масштаба». При том, что чуть не каждый день слышим мы о повышении роли государства в делах культуры да о борьбе с губернаторским произволом.

Ну да, у государства (конкретно — у социального вице-преьера, министров печати и культуры) забот хватает. Не за журналами же какими-то им следить. Чать, не канал «НТВ». В России талантов много. И без «Волги» не оскудеем.

Оскудеем. Уже оскудели. И не понимать это — значит мыслить не только антикультурно, но и антигосударственно.

*P. S.* Впрочем, кому — печаль да тревога, а кому — красный денек. 26 октября саратовская газета «Земское обозрение» (№ 43) опубликовала анонимную статью «Как вернуть „Волгу“ в привычное русло» — отчет об очередном собрании Саратовского отделения Союза писателей Российской Федерации. Говорили братья писатели о том, что «когда-то популярное издание („Волга“ 60 — 70-х, то есть средний и мало кому памятный региональный журнал. — *A. H.*)... с началом перестройки попадает в финансовую зависимость от известного бизнесмена-политика Сороса и согласно правилу: кто платит — тот и заказывает музыку, разделяя участь большинства толстых литературных журналов, пытается выполнять заказы заморского спонсора». Далее про то, что Волга (река) впадает «не в Красное и даже не в Средиземное море, а в Каспий, образуя уникальный, замкнутый в национальном пространстве водоем». Про то, что «читать сочинения, написанные по указке заморского спонсора, литературу, прославляющую чужую культуру, чужой образ жизни, — волжане не захотели», а «писатели, подопечные Сороса, оторвавшиеся от родной почвы, не смогли справиться с возложенной на них задачей». Журнал сперва захирел, а потом и умер, ибо «господин Сорос, умеющий считать свои деньги, отказался финансировать издание, приносящее одни убытки и никакой пользы на предмет проповеди западного образа жизни среди русского населения». Ну и о том, что Боровиков (до указания имени или инициалов анонимщик не снисходит) «приватизировал право на издание журнала под названием, одноименным с русской рекой», и одновременно скомпрометировал «само название». А дальше, как водится: «идея необходимости возрождения русского журнала „Волга“ сомнению не подлежит», мечты о «своих соросах, которые, помогая журналу стать на собственные ноги, будут „заказывать“ русскую музыку», предложение о «выпуске второго журнала с одноименным названием» (так!) и милая шуточка — пусть Сорос «согласится финансировать не только проамериканскую „Волгу“ в России, но и прорусскую „Миссисипи“ в США».

Неведомые витии и газетный писарь столь же правдивы, сколь *эстетически выразительны*. Вступать с ними в полемику — не уважать себя. Склонность профессиональных «радетелей за отчизну» к передержкам, завистливому счету чужих денег (увы, в данном случае — несуществующих) и попрошайничеству тоже не новость. Праздными видятся и вопросы о том, кто мешал саратовским членам СП РФ найти спонсора, основать журнал (с любым названием) и одаривать публику своими косноязычными опусами (других, судя по газетному слогу, ждать не приходится) и почему все это станет возможным в близком будущем. Демагогия и есть демагогия — она не предполагает какой-либо соотнесенности с реальностью. Нам к таким песням не привыкать.

Но и ко всему привыкли, подивившись. Заливистый радостный лай раздается буквально над «свежей могилой». Впрочем, к чему ждать элементарных приличий от тех, кто не в ладу с родным языком. Жаль только, что новая порция грязи прилипнет к словам «писатели» и «земство».

Андрей НЕМЗЕР.



## ЯВЛЕНИЕ ВЕЛИМИРА

Мир Велимира Хлебникова. Статьи. Исследования (1911 — 1998).  
Составители: В. В. Иванов, З. С. Паперный, А. Е. Парнис. Под общей редакцией  
А. Е. Парниса. М., «Языки русской культуры», 2000, 880 стр., с илл. («Язык. Семиотика.  
Культура»).

**П**реодолев положенные ему судьбою мытарства, почти девятистотраничный научно-мемуарный том «Мир Велимира Хлебникова» открылся читателю, дополненный рисунками, автографами, фотографиями действующих лиц «эпохи войн и революций» — первой четверти XX века.

Надо сказать сразу, что обилие и разнообразие привлеченного материала, естественное желание составителей охватить всю панораму «мира Хлебникова» поставили их перед нелегкой и едва ли разрешенной ими композиционной задачей. Разбиение книги на два больших раздела: «Современники о поэте» и «Художественное поле Хлебникова» — представляется спорным. Здесь смешаны два подхода: хронологический и аналитический. Если в «Художественном поле...» действительно представлены чисто аналитические труды, то в «Современниках...» памятные статьи, работы мемуарного характера соседствуют с той же аналитикой. Не только во второй, но и в первой части «художественное поле Хлебникова» неутомимо воздвигается *Р. Якобсоном, О. Мандельштамом, Г. Винокуром, Ю. Тыняновым, Т. Грицем*, перемежаемое биографическими данными, бытовыми подробностями, отрывками из писем, курьезами, дружескими признаниями. Это усложняет чтение.

Впрочем, Велимир и сам сложен. И сложность его отчасти вызвана полным небрежением к заботам читателей, безразличным отношением к тому, кто и как его поймет и поймет ли вообще. В этом смысле его работа — вершина авторского эгоцентризма. Но возможно ли упрекать в такой сосредоточенности на своем деле того, кто обогатил литературу собственным зрением, кто горел (и сгорел) в поэтическом огне? Широта его интересов, многообразие знаний, способность «творчески вспыхивать от малейшей искры» (А. Крученых), постоянный созидательный жар, смена тем и жанров, бесконечные странствия в физическом и духовном пространствах задали слишком много задач его будущим исследователям, а те — нынешним составителям.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в «антологии хлебниковедения», как определяют свой труд составители, отсутствуют, например, работы В. Григорьева<sup>1</sup>, Р. Дуганова, Н. Степанова, между тем десятки ссылок на эти имена других авторов свидетельствуют о том, что без их работ «мир Хлебникова» не полон...

Если книга в самом деле так многопланова, то уместно выделить ее основные мотивы. Очень условно их можно обозначить четырьмя ключевыми словами: *воспоминания, слово, влияния, число*.

**Воспоминания.** Крученых: «Мы писали манифест к „Пощечине общественному вкусу“ (Москва, декабрь 1912 года. — А. С.).

...Помню, я предложил: „Выбросить Толстого, Достоевского, Пушкина“.

Маяковский добавил: „С парохода современности...“

Еще была строчка:

„С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество“ (Л. Андреева, Куприна, Кузмина и пр.).

Хлебников, по выработке манифеста, заявил:

— Я не подпишу это. Надо вычеркнуть Кузмина — он нежный».

«Хлебников — мастер нежности, шепота и влажных звуков», — подхватывает Крученых, смело заимствуя понятия звуковой «влажности» у Лермонтова, тоже че-

<sup>1</sup> Пробел восполняет книга В. Григорьева «Будетлянин», изданная в 2000 году в том же издательстве «Языки русской культуры», — том объемом в 816 стр.; серия «Studia poetica».

ловека явно лишнего на палубах футуристического «парохода»: «Я без ума от тройственных созвучий / И влажных рифм, как, например, на ю».

В целом разделяя азарт ниспровергателей, Виктор (Велимир) Владимирович Хлебников время от времени высказывал свое «особое мнение». «Большевики слова», как поэже нарекли футуристов, прислушиваются к нему, но при случае и норовят обойти.

О. Брик вспоминает: «Зашел разговор о порче русского языка беженцами. Это было в Питере, во время войны. Шкловский ораторствовал о киевлянах, которые вносят в русскую речь свой провинциализм. Когда Хлебников сердился, он выкрикивал слова высочайшим тенорком. Он крикнул петушьим криком: „Провинция“ происходит от латинского „рго“ и „vincere“, что значит „завоевывать“. Провинция — это завоеванная страна. В отношении русского языка провинция Питер, а не Киев”».

Слово. Том включает статьи и исследования 1911 — 1998 годов, начиная с первого отклика *Н. Гумилева* в «Письмах о русской поэзии» (1911); начиная с фундаментального исследования *Р. Якобсона* «Новейшая русская поэзия. набросок первый: Подступы к Хлебникову» (1919) и вплоть до последних разысканий современных авторов.

Ряд работ посвящен специальным лингвистическим экспериментам Хлебникова: его «звукосимволизму»; «зауми»; «звездному языку» (см., например, *М. И. Шапир*, *В. В. Иванов*, *М. Л. Гаспаров*, *Н. Н. Перцова*).

Понимание слова в максимальной его полноте, как символа жизни, намного превосходит узкопрагматический взгляд на речь как на средство коммуникации, достигающее ближайших практических целей. Слово во всей полноте не просто именуется реальность, но создает в нашем сознании адекватный образ мира: простирающийся, звучащий, зримый, мыслимый, переживаемый, изменяющийся во времени. Такое отношение к слову было присуще Хлебникову.

Как естествоиспытатель доискивается первооснов материального мира, так доискивался он первооснов языка, принимая звук за элементарную частицу речи и приписывая разным звукам ту или иную смысловую нагрузку.

Скажем: «П:п объединен(н)о действие огня...

Ч: черный цвет объемлет другие / черное объемлющее все среда / *читать* = охранять, окружать умом через надо / 1) череда 2) быть средой. / ч объединяет слова, означающ<ие> быть вместилищем чего-нибудь, / обладать властью над чем-нибудь <...> *чаять*. быть чашей, средой возникновения чего-нибудь...» (привожу по статье *Н. Н. Перцовой* «О „звездном языке“ Велимира Хлебникова»).

Идея собирательного значения звуков — например, смысловой общности слов, начинающих с одной и той же буквы, — подвигла Хлебникова на такие словарные разыскания, которые, несомненно, продвинули его как поэта независимо от усилий создать на этой основе единый «звездный язык». Велимир упорно рылся в словесных корнях, дробил и разнимал слова во имя нового объединения. Итогом его работы стал не отрицательный результат несостоявшегося «звездного языка», а положительный факт такого лингвистического проникновения в слово, которое привело к раскрепощению глубин творческого сознания, мобилизации не затронутых прежде пластов фантазии, включения недоступных ранее ассоциативных связей, сопрягавших в одну метафору то, что было разлучено по разным краям бытия. Все это в конечном счете работает на поэзию, все это рождает каскады лиро-эпических открытий. И когда в стихах вьющийся хвост ведьмы-мавки превращается в расстрельную улицу революции, дышащую «пулями в прохожих», когда поэт бросает ведьме:

Да эти люди иней только,  
Из пулеметов твоя полька,  
И из чугунного окурка  
Твои Чайковский и мазурка... —

мы начинаем догадываться, какой «звездный язык», какой труд подсознания вызвал к жизни эти строки «П:п... действие огня»: физического (пулеметного) и ду-

ховного (зажигательная иолька). Мы понимаем, что неустанное внутреннее склонение гласных, постоянный тренинг дали эту нерасторжимую пару: пулька — полька. Что могучее чугунное «ч» пулеметного ствола и есть «черная объемлющая среда», выпрастывающая из себя «череду» пуль, — «вместилище», чаша смерти, обладающая физической властью над людьми. А новое внутреннее склонение «чуг — Чайк» освободило из глубин сознания еще одно «ч» — «Чайковского» как «череду» тактов, «вместилище», чашу музыки, вершащей духовную власть над человеком. Но это ведьмин Чайковский, и потому его «мазурка» выколачивается тактами из пулеметных стволов. Здесь же — хлебниковская метафора: «люди — иней», они тают в огне той «польки», что отыгрывают пляшущие в руках гашетки. А «чугунный окуроч» — короткий ствол, смещенный вниз, — словно прилипший к нижней губе чинарик, вспыхивающий при каждой затяжке.

Спрашивается: продумывает ли поэт, когда пишет, эти ассоциации или они берутся «из воздуха»? Нет, не продумывает. Нет, не из воздуха. Дело в том, что все составляющие приведенного выше четверостишия уже жили в подсознании автора, он уже владел метафорой, уже понимал толк в склонении гласных, уже приписал специальное значение каждому звучанию. А когда душа занялась, когда пошла лирическая тяга, все эти обобщенные понимания и умения воплотились в отчетливом и предметном поэтическом слове, возникшем внезапно и сразу, как открытие, как прыжок через неведомое; прыжок, намного опережающий любое логическое вышагиванье.

**Влияния.** Человек, умевший так воспламеняться, в высшей степени был наделен талантом воспламенять других. Известно, что учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся. У Велимира учились его друзья-футуристы. Ему наследовали голоса Заболоцкого (*Е. Эткинд*), Олейникова (*Л. Гинзбург*), поэтов «поколения сорокового года» (*Д. Самойлов*). Отзвуки Велимировой лиры слышны в литературе всех последующих лет. Трудно любить русскую поэзию и хотя бы в легкой форме не переболеть Хлебниковым. Лирические перлы, разбросанные в его стихах повсюду, не могут оставить безучастным ни одно живое воображение. При этом речь идет не о подражаниях, но именно о благотворном влиянии — расковывающем фантазию; провоцирующем на пристальное внимание к слову, метафоре, звуку, рифме; дарящем ни с чем не сравнимое чувство внутренней свободы.

Еще Тынянов заметил, что хлебниковская поэзия близка к живописи. Ей свойственны инфантилизм («параллель с детским изобразительным творчеством», см. об этом в статье *Д. В. Сарабьянова* «О неопрIMITивизме в русской живописи и поэзии»); «наивность лишенной перспективы композиции» (*Н. Степанов*); «сплошные именные падежи», когда «каждая вещь вставлена в группу отдельно, лицом прямо к зрителю» (*Н. Берковский*). Таким образом, один из самых сложных поэтов одновременно оказывается и одним из самых «детских», инфантильных. Однако это примитивизм художника, инфантильность артиста, умеющего вживаться в разные возрасты души, в любое состояние духа. Не раз отмечавшаяся утопичность Велимировых порывов — тоже, может быть, следствие его инфантильности, ведь что есть утопия, как не горячее желание опередить события, достичь невозможного. В основе утопии лежит простое детское «хочу!» — независимо от того, достижимо ли это сейчас или вообще. Хочу, чтобы был «звездный язык!» Хочу, чтобы деяния и судьбы подчинялись простым числовым законам! Между тем именно желание, воплощенное в творческую волю, вдохновляло на поиск и автора, и его последователей.

**Число.** Наверное, будет слишком торжественно назвать «математической философией истории» деятельность Хлебникова по своеобразному цифровому анализу хронологических таблиц в попытках отыскать «волны времени», установить периодичность исторических событий и человеческих судеб, строго — с точностью до дня! — выявить закономерности дел минувших и датировать дела будущие.

«Мой основной закон времени, — пишет поэт в 1922 году художнику Митуричу, — во времени происходит отрицательный сдвиг через 3<sup>n</sup> дней и положительный через 2<sup>n</sup> дней; события, дух времени становится обратным через 3<sup>n</sup> дней и усилива-

ет свои числа через  $2^n$ ... Чувство времени исчезает, и оно походит на поле впереди и на поле сзади, становится своего рода пространством» (цитирую по статье В. И. Кузьменко «„Основной закон времени“ Хлебникова в свете современных теорий коэволюции природы и общества»).

Едва ли плодотворно списывать эти прозрения на «мифо-поэтическое мышление» автора. Да, Велимир подошел к проблеме исторических усилений и отрицаний с точки зрения интуитивно нащупанных им степенных зависимостей, с точки зрения чистого числа, совсем «ненаучно» отвлекшись от действительного многообразия социальных процессов, такие возобновления вызывающих. Это, что называется, «настораживает». Между тем, если социальные циклы синхронизировать с природной ритмикой в духе современной теории коэволюции (совместной эволюции) природы и общества — теории, у истоков которой стояли, в частности, Чижевский и Вернадский, то окажется, что, помимо бесконечного хаоса жизненных положений, социальных мотивов, «стечений обстоятельств», существует немного закономерных космических причин, гораздо более сильных, нежели наши «земные», активно на нас влияющих и в самом деле подчиняющихся условиям периодичности. Коэволюция природы и общества возможна потому, что и в обществе и в природе происходят самовозбуждающиеся и самоподдерживающиеся колебания (автоколебания), а колебательный процесс, как известно, связан с ритмичным возобновлением, повторяемостью. При этом автоколебания в социальных системах, по-видимому, синхронны природным (космическим) циклам. «Хлебников пытался обнаружить социальную ритмику в исторических событиях. Некоторые из значений найденных им циклов, вероятно, реальны»; так «важнейший из циклов Хлебникова — 365 лет — довольно близок природному циклу длительностью ~350 лет, связанному с солнечной активностью» (мнение *Б. М. Владимирского*, автора статьи «„Числа“ в творчестве Хлебникова»).

Вообще говоря, книга «Мир Велимира Хлебникова» способна обескуражить читателей, ждущих от такого солидного, «итогового» труда абсолютных, а не вероятностных оценок, окончательных, а не промежуточных выводов. В недоумение может повергнуть таких читателей, скажем, явно дискуссионное противопоставление мнений об одаренности Хлебникова. Уж раз авторитеты, уж раз корифеи не в состоянии договориться... Судите сами.

*Вяч. Иванов*, 1914 (?): «Велимир (так! — А. С.) безусловно гениален. Он подобен автору „Слова о полку Игореве“, чудом дожившему до нашего времени!»

*Г. Винокур*, 1924: «...из человека, наделенного несомненными признаками поэтической гениальности — будем честны хотя бы перед памятью поэта, — ничего не вышло...»

*Ю. Тынянов*, 1928: «Вопрос о величине решается столетиями. У современников всегда есть чувство неудачи, чувство, что литература не удастся, и особой неудачей является всегда новое слово в литературе. Сумароков, талантливый литератор, говорил о гениальном писателе Ломоносове: „убожество рифм, затруднение от неразноски литер, выговора, нечистота стопосложения, темнота склада, рушение грамматики и правописания, и все то, что нежному упорно слуху, неповрежденному противно вкусу“. Не нужно бояться собственного зрения, — заключает Тынянов, — великая неудача Хлебникова была новым словом поэзии».

И тому, кто не ждет итогов от «итоговой» книги, кого восхищает острая, мотивированная борьба мнений вокруг личности и творчества поэта, кто готов сам участвовать в этой полемике, тому так неполно и бегло очерченный нами труд явится целым собранием умных и заинтересованных собеседников, целым сонмом лингвистических и мемуарных тонкостей, о которых мы не упомянули и вскользь. И — главное — тот наверняка захочет перелистать избранные страницы Велимировых творений, чтобы в ответ на запальчивое утверждение Брика: «Хлебников ни в какой мере, ни в самой наималейшей, не был лириком», — быть может, вспомнить и прочесть про себя хотя бы только вот это:

Из отдыха и вздоха  
Веселый мотылек  
На край чертополоха  
Задумчиво прилег.

Летит его подруга  
Из радуги и блеска,  
Два шелковые круга,  
Из кружева нарезка.  
И юных два желанья,  
Поднявшихся столбом,  
Сошлись на свиданье  
И тонут в голубом...

— Ну и так далее, — как любил прерывать себя в подобных случаях Велимир.

Алексей СМИРНОВ.

\*

## И ГРОМКО ИГРАЕТ ЛЮБИМЫЙ СОСТАВ...

Нэт Шапиро, Нэт Хентофф. Послушай, что я тебе расскажу. Джазмены об истории джаза. Перевод с английского Ю. Верменича. М., «Синкопа», 2000, 432 стр.

Эта книга — труд уже классический, своего рода базовый текст всей джазовой литературы. Впервые она была издана в 1955 году — как раз срок, когда даже в Америке, породившей джаз и вместе с тем больше всего остального мира не признававшей за ним сколько-нибудь серьезного значения (в СССР, скажем, с джазом боролись — куда уж серьезнее), научились видеть в джазовой музыке не одно лишь средство развлечения, а целое культурное пространство со своим языком, со своими принципами, с небезосновательными амбициями. Знаком перемены отношения к джазу стало, например, проведение в Ньюпорте в 1954 году первого американского джазового фестиваля (в Европе они устраивались уже в конце сороковых) по образцу фестивалей классической музыки. Вот на такой волне Шапиро и Хентофф предприняли уникальное исследование-опрос: они перевернули горы старых музыкальных периодических изданий, а также провели множество бесед. Прямую речь создателей джаза разных поколений, от тех, кто бегал босиком за брасс-оркестрами в Новом Орлеане, до утонченных модернистов середины пятидесятых, авторы оформили в виде, как это сейчас принято называть, клиповой нарезки, расположив фрагменты в соответствии с разворачиванием джазовой истории: сначала там, где рассказывается о Новом Орлеане, затем — там, где о Чикаго, и так далее. Что, конечно, было бы счастливой идеей — материал в итоге подается куда удобнее и, пожалуй, энергичнее, чем если бы долгие монологи музыкантов просто следовали друг за другом. Книга стала настоящей энциклопедией джазовой жизни. В ней нет какой-либо доминирующей концепции, какой-либо схемы становления и развития джазовой музыки. Многие музыканты, разумеется, друг другу противоречат, многие расставляют акценты и раздают титулы гения весьма неожиданным образом. Но какое бы более позднее, уже аналитическое, уже выстраивающее концепции, мы ни взяли в руки издание по истории джаза — за «плотью», оживляющей и подтверждающей концепцию, за картинами бытования джаза в тот или иной период, за яркими, емкими высказываниями, часто даже за оценками творчества или описаниями исполнительских приемов джазовых импровизаторов автор неизменно будет обращаться к книге Шапиро и Хентоффа.

Любителям джаза старших поколений эта книга, возможно, уже известна. В том же переводе, который вышел сейчас, она распространялась в начале семидесятых в самиздате (представляю, какого объема был машинописный том!), с подачи саксофониста и культурного деятеля Алексея Козлова, о чем последний и пишет теперь в предисловии с присущей ему уверенностью, что коммунистическую систему разрушил именно он. Тем интереснее заново читать ее нынче, в совсем иной ситуации, — меняется угол зрения, открываются новые смыслы.

Джаз умер, не пережил своего века. При всей нелюбви автора настоящих строк к подобного масштаба обобщениям, с данным фактом не поспоришь. Речь не о том, что джаз никто не играет, — играют всюю. И не о том даже, что не по-

является интересных, экстраординарных записей, составов, не бывает выдающихся выступлений, — бывают. Но джаз потерял то сознание себя, тот идентификатор, ощущение задачи (возможно, толком никогда и никем и не вербализовавшейся), которая творцам джаза в периоды его юности и акме предстояла и которую требовалось выполнять, словно брать некую высоту, — то, обо что разбились судьбы многих и многих великолепных джазистов и что десятилетиями служило мощнейшим, главным импульсом саморазвития джаза. Как и девяносто девять сотых всего культурного «валового продукта» двадцатого столетия, к концу века джаз был методично пережеван, проглочен и усвоен консуматорной цивилизацией. Именно ее правилам, а не собственной логике, не имманентным законам (я говорю, конечно, не о музыкальной теории, но о логике культурной истории) джаз теперь подчинен, в ее структуры целиком и полностью вписан и именно через них себя определяет. Для него обозначен потребитель и отведено место в глобальном прайс-листе. С джазом все происходило иными путями, может быть, более окольными, более сложными, чем, скажем, с рок-музыкой, — но суть процесса та же. И это особенно заметно при взгляде на нынешних «независимых» в джазе — на музыкантов «высоколобых», объявляющих свою музыку радикальной и принципиально некоммерческой, копающей якобы никому еще не открывавшиеся глубины. А вместе с тем их как будто бы свободные эксперименты укладываются в очень и очень тесные, давным-давно уже очерченные и известные рамки идеологий определенных звукозаписывающих лейблов (компаний) или культурных групп. Чему-либо подлинно свободному и новому здесь просто негде появиться — даже потенциального пространства для новизны нет, ибо то, что не имеет своего уже готового потребителя, по нынешним правилам даже в проекте не существует и существовать не может. И какое же гигантское отличие от джаза первоначального, чей дух любовно и бережно в книге Шапиро и Хентоффа восстановлен! Настоящая тайна — вот эти первые чернокожие трубачи и кларнетисты, до конца жизни вспоминавшие Нью-Орлеанские публичные дома, в коих, собственно, и происходило их музыкальное становление, как самое шикарное и величественное, что им когда-либо доводилось видеть. Откуда в их безграмотных, неразвитых головах возникла торчащая в неведомую сторону ось четвертого измерения — знание, что музыка их, под которую люди танцуют, или маршируют на параде, или едят, или занимаются любовью (и им, джазменам, нравилось, что музыка находит такое применение), одновременно должна быть и чем-то куда большим, нежели просто музыка для танцев и любви, что вообще-то она — только ради себя самой, а значит, единственной ее целью и единственным для нее законом является движение вперед и вперед, может быть — к совершенству, однако понятому не как голые идеальные исполнительские умения, ибо и они стали бы остановкой, тупиком. Иными словами, в любой данный момент джаз должен перерастать представление о джазе. Такое отношение к делу, как бы переданное по эстафете, и стало инвариантом всех разноликих, но подлинно джазовых стилистик. Однако передавалось оно, конечно, не без потерь. Представление, что этот первоначальный импульс затем от поколения к поколению джазменов рассеивался, ослабевал, постепенно вытесняемый все более качественной образovanностью, интеллектуализмом, все более утонченной техникой, — сильно утрировано, но не ложно в корне. В джазовом интеллектуализме как таковом, как и в культивируемой джазовой легкости, работе на мягких полутонах, нет, конечно, ничего плохого. И все же обязателен еще некий род трансцендентальной веры: что всегда есть еще что-то, ускользающее, в полной мере недостижимое, преследовать которое (привет, Кортасар!) — единственный путь к человеческому бытию. Вот, полагаю, за что любили джаз экзистенциалисты. И думаю, вряд ли бы им потрафили и нынешние джазовые интеллектуалы, и возвращенцы к корням, и благозвучные развлекатели. В конце концов, современный джазовый музыкант — да как и современный художник, писатель, почти кто угодно — не особенно интересен просто потому, что не желает принимать никакую судьбу, кроме заведомо благополучной. Участь, скажем, Джозефа «Кинга» Оливера, учителя Луи Армстронга, в двадцатые известнейшего музыканта и богатого человека, а десять лет спустя открывавшего в далекой провинции двери посетителям игорного дома и не имевшего денег на лекарства от сердечной болезни, в силу

того, что оказался недостаточно гибким и вовремя не изменился, когда популярной стала уже не та музыка, которую играл и считал нужным играть он (другого раннего музыканта, чье имя гремело в двадцатые, авторы книги обнаружили работающим служителем общественной уборной), — подобную участь сегодняшние джазмены в принципе не способны к себе примерить. С какой, собственно, стати, чего ради? Разве для того меня столько лет учили абсолютно всему, что только может в моем деле пригодиться, для того я тратил время, деньги и силы, чтобы в нужный момент не прочухать, откуда дует ветер, не почувствовать нерв времени? А если сейчас нерв у времени исключительно потребительский — тут уж не моя вина... Ну, чего ради, не так уж трудно ответить. И чего теперь уже не будет. Никто и никогда не будет слушать нынешних джазовых исполнителей так, как слушала пластинки Луиса Армстронга и Бесси Смит девятилетняя девочка, голодная до того, что едва имела силы выйти из дома, — будущая великая певица Билли Холидей. Рассказ ее — один из самых завораживающих в книге.

В нашем рекламно-консуматорном мире, с его всепоглощающим унынием, маскирующимся безопасным, резиновым телевизионным весельем, с его методом навязывать вещам наипустейшим вздрюченную значимость, с его категориями «стильности» и «престижности» (маразматически искаженные «стиль» и «престиж»), естественно для человека, стремящегося хоть в какой-то степени самосохраниться, искать (хотя бы абстрактной свободы ради) областей, в которые онный спрут не дотянул пока свои тинтакли. (Не слишком дорогой, общедоступный товар удобно потреблять, но нельзя любить.) В культуре завершившегося века почти не осталось таких свободных зон. Одна из немногих — ранний джаз, джаз конца десятилетия — двадцатых годов. Практически невостребованный — даже по модусу ностальгии — и имеющий шансы долго еще оставаться таковым, ибо отпугивает широкую публику внешней архаичностью звучания; уже оставшийся без поклонников-ровесников, по сути и известный-то лишь небольшой горстке знатоков (Луи Армстронга, положим, у нас знают все — после рекламы Альфа-банка; Дюка Эллингтона, в рекламу не попавшего, — уже кое-кто; Бесси Смит — немногие, а уж про Бикса Байдербэка, легенду раннего джаза, одну из важнейших фигур вообще в джазовой истории, — вне круга людей, занимающихся джазом специализированно, слыхом не слыхивал практически никто). Записи раннего джаза переиздаются редко, издания эти, как правило, носят коллекционный характер, и тиражи их отнюдь не массовые. Короче, этот товар вам на дом не принесут и насильственно впаривать не будут. Тут надо приложить усилия, что-то добывать, что-то узнавать новое. Тут есть простор для исследований и открытий — может быть, не музыковедческих, а открытий чуткого слушателя, открытий «для себя». Ранний джаз невероятно креативен, ни о каких монотонно повторяющихся примитивных моделях и кондовой архаике тут и речи нет. Требуется только послание его читать все-таки на его собственном языке — во всяком случае, не ждать того, чего он дать никак не может (звуковых красот, например), и не пропускать в то же время мимо ушей и ума все, что в нем обладает поистине ценностью бриллианта. И мне, пожалуй, еще не попадалась книга о джазе, ни на английском, ни тем более на русском языке, которая могла бы так же дельно, как компиляция Шапиро и Хентоффа, ввести читателя в эту эпоху и разъяснить этот язык. Разъяснить — опять-таки — не на нотных примерах или гармонических схемах, но через осмысление музыки ее создателями. Для них же она существует не в каком-то отдельном, чисто музыкальном пространстве; она вроде бы вся — здесь, вся в человеческой заботе. А вместе с тем... — см. выше. Кстати, только через такой вот «озабоченный» рассказ о тех или иных вещах в культуре и можно, я думаю, заинтересовать ими, первоначально (еще до первого прочтения, прослушивания, просмотра) «втянуть» в них человека извне.

Какую большую долю в энергии джаза имела «умная» составляющая, особенно ясно именно теперь, когда она уже практически утеряна. Из всех возникших в двадцатом веке видов нефилармонической музыки джаз в наибольшей степени «текст», ибо в джазовой импровизации предполагается развитие от начала к концу и смысл организован «по горизонтали», то есть значение имеет отношение между звуками, следующими во времени друг за другом (только не надо это путать с про-



фанным противопоставлением «мелодической» и «гармонической» музыки; для сравнения: рок-музыка — не текст, но крик, что не является уничтожительным определением, а указывает, что здесь смысл организуется «по вертикали» и основное событие происходит между двумя звуками, звучащими одновременно; по сравнению с джазом рок-музыка всегда существовала «стоит» на месте). И эта «текстовость» сближает джаз скорее с каноническими импровизациями — рагами и мугамами, нежели с фольклором, причем даже с таким, как, например, блюз, который притом несомненно является одним из корней всего джазового дерева. Но дело в том, что джазмен никогда не играет блюз — он играет историю, рассказ о блюзе. И немудрено, что блюз в джазе так быстро и так далеко уходит от аутентичного прообраза. Где-то до шестидесятых годов (покуда качество звучания не сделалось важнее качества фразы и джаз не начал превращение в некую музыку состояний) джаз надо было именно «думать», он был прежде всего изложением мысли импровизатора, чаще всего питающейся от эмоций, но порой и совершенно абстрактной. И у нас есть основания рассматривать джаз не только как явление специфической музыкальной культуры миновавшего столетия, но и в контексте истории современного мышления. Лучший трубач эры свинга Рой Элдридж рассказывает, что происходило с ним, когда в сороковые он, уже будучи знаменитостью, постоянно наткался на расовые запреты и барьеры. «Это стало действовать на мой рассудок — я не мог уже думать правильно, не мог верно играть».

Книги о джазе выходят на русском языке в среднем одна в десять лет. Так что каждая — в своем роде событие. К слову, единственный русскоязычный джазовый журнал — «Джаз-квадрат» — издается отнюдь не в России, а в Белоруссии. Другую страну с подобной культурной лакуной можно отыскать уже только где-нибудь в Африке или на дремучем Востоке. Судя по названию издательства, выпустившего труд Шапиро и Хентоффа, оно данную брешь собирает последовательно латать. И следует признать, что лучшее начало для этого благородного дела трудно было бы и придумать.

Михаил БУТОВ.



## ПОСЛЕДНИЙ ПОСТСКРИПТУМ

In memoriam. Исторический сборник памяти А. И. Добкина. Составители В. Е. Аллой, Т. Б. Притыкина. СПб. — Париж, «Феникс-Atheneum», 2000, 692 стр.

**Ч**итатель, сумевший собрать на домашней полке все сборники исторического альманаха «Минувшее» — а таковых немало, — этой книгой точно уж подведет черту. После первых, болотно-серых, а впоследствии — черных, томов строй замыкается парадным изданием красного цвета с обильным золотым тиснением.

Это — символическое прощание не только с человеком и профессионалом, памяти которого посвящена книга, — это прощание и с читателями «Минувшего», и с самим многолетним издательским проектом, и с временем, и Бог знает с чем. И наверное, это самое *последнее* прощание — после прямых редакторских намеков в 21-м томе, затем в 24-м, после — в издательском обращении в 25-м (этот был служебным путеводителем по предыдущим томам — с четырьмя специальными указателями).

Интонация издательско-редакторских заявлений всегда обозначалась в жанре «о времени и о себе»; на давний вопрос интервьюера из «Литературной газеты» («Был слух, что двадцать первый том „Минувшего“ — заключительный...») Владимиром Аллоем отвечивалось, что «слухи всегда преувеличены. Нас уже не раз хоронили. Двадцать второй том почти готов»<sup>1</sup>. Однако же в 21-м, повторю, томе опрометчиво сообщалось, что он таки финальный.

В некрологе А. И. Добкину, после справедливых и точных слов о том, что «именно эти люди составляют соль отечественной культуры», читаем, что «она

<sup>1</sup> «Литературная газета», 1997, № 28, 9 июля.

(культура. — П. К.), пусть и в коленно-локтевом положении, но все еще стоит на твердой почве, а не окончательно выброшена в сточную яму нынешнего „российского капитализма”». Тут же говорится об иммунитете «к страшной эпидемии, поразившей интеллигентское сообщество, — эпидемии ссученности»<sup>2</sup>.

Можно догадаться, что горечь утраты повлияла на гневливость пера, ибо в прощании с читателями, публикуемом в упомянутом путеводителе по всему «Минувшему», просто и печально констатируется завершение издательской программы «Феникса»: «Для изучения нового исторического образования понадобятся, вероятно, иные методы, иные формы, которые еще предстоит выработать. Трудно сказать, под силу ли это нашему поколению, всей жизнью своей связанному с прошлым. Вполне возможно, решить такую задачу смогут лишь идущие за нами. Что ж, мы готовы передать эстафету, было бы кому...»

Что до иных методов и форм, то они, пожалуй, заявлены на предпоследней странице рассматриваемой нами книги, где помещена издательская реклама нового альманаха «Диаспора», предполагающего освоение культурного, политического, философского, научного и художественного наследия русской эмиграции за более чем вековую историю. Здесь же — развернутое приглашение к сотрудничеству всех «волн» и поколений. Да и представители альманаха — все знакомые лица: постоянные авторы «Минувшего» — историки и филологи с именем и репутацией. Подождем?

Однако за красной обложкой с золотым тиснением — не только тексты и намерения, но и действительно живая история уникального издательского проекта. Через выпущенные «за бугром» и в самиздате томики «Памяти», где многие авторы с этой стороны границы укрывались под псевдонимами (у самого А. И. Добкина их было целых девять!), через преследования, затем через перестройку — с репринтными изданиями «Минувшего» (как наследника «Памяти»)... И наконец — через невероятные трудности постперестроечного периода, когда «Минувшее» стало издаваться в Москве и Питере, — через эти самые вехи, за которыми стоят человеческие судьбы и труд исследователя, пропущено то, что занимает сегодня целую книжную полку.

Иными словами, говоря о сегодняшней книге, нельзя не оглядываться на пройденный путь, которого у них и у нас, как уже понятно, «никто не отберет». Только в данном случае мы будем оглядываться на тексты: издательская история «Минувшего» — отчасти изложенная в публикуемом здесь же мемуаре Владимира Аллоя «Дым отечества» — все-таки тема для отдельного разговора.

Вот здесь-то и начинается трудность, ибо даже при беглом взгляде на исторический сборник «In memoriam» видишь, что по составу и структуре он ничем не отличается от любого тома «Минувшего». Разве что название раздела «Интеллигенция и власть» — относительно новое, были — «Литература и власть» да «Механизмы власти». А так — все по-прежнему: основной упор на эпистолярное наследие, хранящееся в отечественных и зарубежных архивах, воспоминания, документы, дневники... Жалеешь только о том, что в упомянутом путеводителе нет на эту книгу ссылок — 25-й том вышел чуть раньше.

Огорчение для библиографа: например, в «In memoriam» состоялась уже третья публикация, основанная на материалах архива Р. Н. Ломоносовой, которой предшествовали публикация писем к ней Марины Цветаевой («Минувшее», № 8) и переписка с семьей Пастернаков («Минувшее», № 15 — 17). Прямо хоть вручную расширять указатели 25-й книжки.

Или взять прекрасные воспоминания архивиста и публикатора Вячеслава Нечаева. Увлекательно рассказывая о трудностях архивных разысканий 50 — 80-х годов, он, *пользуясь случаем*, приводит редкие сведения, могущие стать отправными данными для будущих комментаторских и справочных работ. Причем приводит не просто списки имен, даты жизни и смерти. Нечаев дает краткие биографические справки и группирует все по разделам «Художники», «Балет», «Литература» и проч. Вот бы им-то и попасть в тот самый путеводитель!

А любой представитель «широкого круга читателей» (к которому в том числе апеллировали и апеллируют издатели), особенно из числа плохо знакомых или не знакомых вовсе с предыдущими томами, будет немало смущен, прочитав в ссылке

<sup>2</sup> «Минувшее». Исторический альманах. Вып. 24. СПб., 1998, стр. 647 — 648.

под мемуаром В. Аллоя, что это-де «главы из второй части „Записок аутсайдера”». И где она, эта вторая часть? Впрочем, сказанное можно отнести к брюзжанию любителя библиографий и справочников.

Раз уж все оговорки сделаны да и имя прозвучало, перейдем к тексту. Автор настоящих заметок, конечно, прочитал обе части упомянутых «Записок аутсайдера», в которых биография В. Аллоя — сливаясь и разделяясь с историей издания альманаха — остановилась в 22-м томе «Минувшего». Это были времена руководства парижским издательством «УМСА-Press», последующим отлучением В. Аллоя от него. И — авторским портретом Н. Струве. Здесь же, в «In memoriam», подробно рассказывается о первом перестроечном визите в Союз, встречах с друзьями и соратниками, нелегких попытках издания альманаха в России. Сразу скажу, что приметы времени и нравов, описание «эволюции смелости» тогдашних «прорабов перестройки», издательские и главлитовские мытарства — бесценный документ, затеянный в хорошо беллетризованных тонах. Это читается с интересом и сопереживанием с собственными впечатлениями тех лет.

Но если ты из «широкого круга» — берегись! Тебе придется изрядно напрячься, чтобы угадать, кто стоит за именами «Санёк», «Алик», «Валерка», «Арина» и другие «ребята». На всякий случай объясню, что «Алик Бабенышев» на стр. 57 — это совсем не тот «Алик», что «с Ариной» (там, на стр. 53, — супруги Гинзбурги). И ладно, если «широкий» читатель логически выведет, что «Сенька» — это Арсений Рогинский. Это нетрудно. Но вот если он, влекомый Аллоем, окажется в гостях у О. В. Ивинской — в эпоху телевизионных трансляций Съездов народных депутатов — и вместе с ним поразится «ее и Митиной эмоциональной вовлеченности в происходящее на экране», то кто же попеняет за то, что в пылу горячки Митю-то ему («широкому» читателю) так и не представили? Кстати, в указателе данного тома ни «Мити», ни «В. Козового» вам не найти.

Даже в более чем художественной «Трепанации черепа» С. Гандлевского к «Витям», «Аркадиям» и «Петям» хоть по первому разу приставлены соответствующие фамилии. Там — «всего лишь» московская жизнь литературного и околосредового андеграунда. А здесь? История русской общественной мысли, можно сказать. Осободительное движение...

А воспоминания, повторяюсь, интересные. Но — рискованные. И кажется очень понятной автохарактеристика в предыдущих частях воспоминаний: «...я становился неудобен, словно нес в себе какую-то неотчетливую опасность для окружающих, создавая напряженность и ощущение дискомфорта одним фактом своего присутствия или даже существования».

И как всякий раз бывает — на секунду подставляешь себя на место героя и думаешь: а ты бы смог вот так открыто рассказать личную версию «партийных» и человеческих взаимоотношений в своем, пусть и закрытом теперь для тебя, круге? С именами, высказываниями, поступками? С неизбежным привлечением читателя к распутыванию *интриги*? Конечно, любые воспоминания — это текст «для себя», попытка объяснить со временем или еще с кем-то, — да ведь и от тиража в 700 экземпляров не отмахнешься. Но если герой называет себя фанатиком дела, человеком, который из дилеммы «работать, чтобы жить, или жить, чтобы работать», выбирает второе, — то внимательный читатель «Нового мира» вспомнит и краткую оценку, данную воспоминателю А. И. Солженицыным: «...издали глядя — от деятельности его в „Имке” осталось ощущение возбужденной лихорадочности, темпа как цели».

Вот эта самая «возбужденная лихорадочность» очень чувствуется в болезненных, а попросту говоря, в трагических воспоминаниях В. Аллоя. Про «Имку» — судить не берусь, «нас там не стояло», мы наблюдали лишь результат: много хороших книг, правда, иногда чудовишно оформленных. Но про ту цель, о которой здесь идет речь, следует сказать прямо: двадцать пять (а с «In memoriam» — двадцать шесть) томов «Минувшего» — это чистый пример того самого подвижничества, о котором говорится в статье памяти А. И. Добкина. И Владимир Аллой — один из его столпов. «Минувшее» — это и чтение, и постоянный инструмент для работы историков литературы.

И чтобы покончить с недоумением от *подачи*, обратимся к тексту, завершающему книгу, к дневниковым записям Александра Гладкова, подготовленным к публикации Сергеем Шумихиным. Автор легендарной пьесы «Давным-давно» (1941), успешно экранизированной Э. Рязановым, неотделимый от имен В. Мейерхольда и Б. Пастернака своими воспоминаниями и исследованиями, обещает в дневниковом эпиграфе «только записывать то, что видишь вокруг», но неизбежно срывается и на впечатления, и на характеристики. Среди публикуемых записей 1945 — 1973 годов, наряду с бесценными описаниями встреч с Анной Ахматовой и Н. Я. Мандельштам, приметам тогдашней личной и общественной жизни, панорамным рассказом о похоронах Бориса Пастернака, встречаются и минипортреты писателей нового времени. Например — драматурга и поэта Александра Галича. Мы узнаем, что Галич был увлечен на свой путь (здесь это называется «оппозиционной карьерой») «тщеславием и вечериночными успехами периода „позднего реабилитанса“...». А в рассуждениях, что такое «волна истории», повествуется, как «она вынесла Сашу Галича, маленького, слабого, неумного, тщеславного человека, в большую историю». И дело тут совсем не в том, что та же Ахматова или, предположим, Чуковский оценивали личность и творчество Галича иначе. Тут дело, понятно, в тогдашнем именно взгляде (кстати, распространенном в «окололитературных кругах»<sup>3</sup>). Так и Гладков думал.

Но как думал уважаемый публикатор, который в своем обширном предисловии не поленился, например, увлеченно положить рядом для текстологического сравнения *черновые* и *чистовые* дневниковые записи с подробным описанием того, как в день начала войны автор дневника лишил невинности некую свою знакомую? Неужели в его, публикатора, подробных пояснениях к гладковскому дневнику не нашлось места для короткой фразы о субъективности восприятия и т. п.?

Между тем А. К. Гладков — важная для истории литературы фигура, его дневник (может быть, главное занятие жизни!), к сожалению, еще не вошел в исследовательский и читательский обиход. История человека, находящегося одновременно *в центре* и *на периферии* внутренней и внешней литературной жизни, более чем иллюстративна. Закончим рядовой цитатой, за которой волей-неволей проступает многое: и эпоха, и масштабы людей, и даже будущие сатирические книги, которые еще не написаны. «29 декабря 1973. Вчера звонили из Дома ученых: звали выступать на мейерхольдовском вечере 11 января. Ответил уклончиво, что-то вроде „я подумаю“. По радио: в Париже, в издательстве „ИМКА-пресс“, вышла книга Солженицына „Материк ГУЛАГ“, о которой давно уже шли слухи. Ходил за шапкой в ателье Литфонда. Еще не готова. После праздников. У директора в кабинете почему-то висит портрет К. Симонова...»

Впрочем, куда деться от личного восприятия? Читая кропотливую публикацию Дмитрия Зубарева «Три выпускника (Борис Пастернак, Роман Якобсон и Вяч. Вс. Иванов в документах партбюро филологического факультета МГУ)», сожалеешь о том, что в поле зрения публикатора не попала давняя тематическая страница «Независимой газеты» от 24 июля 1992 года. Именно там впервые публиковались документы из университетского дела Вяч. Вс. Иванова, и в частности, итоговое решение ученого совета филфака МГУ (от 24 декабря 1958 года), инспирированное тем самым партбюро. Здесь публикация заканчивается словами из очередного протокола от 15 декабря: «Поручить членам партии... подготовить окончательный текст справки и проект решения для вынесения на Ученый совет...»

Но это, наверное, «личное», так как готовил ту полосу автор настоящей рецензии.

Кстати о газетных полосах. В 1993 году на знаменитой полосе «Искусство» газеты «Сегодня» некий Марлен Маслов, *человек, похожий* по стилю письма на изве-

<sup>3</sup> «...Галич вызывал гнев своих бывших коллег... даже если и не задевал их непосредственно.

— Он же наш, свой. Ну, Литвинов, Буковский или даже Сахаров, Солженицын — они из другого мира. Мы и не видели их никогда. Но Сашка?! Да я ж его насквозь знаю. Он — обличитель? Он — борец за правду? И смех и грех...

Сколько раз мне приходилось обрывать подобные речи в нашем дворе...» (Орлова Раиса. Чужой и родной. — В сб.: «Закливание Добра и Зла». М., 1991, стр. 451.).

стного в недавнем прошлом историка литературы, философской и общественной мысли, а ныне — на крупнейшего мецената, пиар- и интернетмагната, в своей авторской колонке «Всякие науки» разнес очередной, 14-й, выпуск «Минувшего» в пух и прах<sup>4</sup>. Ему, как выяснилось, было не по душе, что книга исчезла с прилавков, что альманах «по-прежнему претендует на изображение полноты России XX века», что здесь «привычные руки мастеров (очевидно, литературоведов и славистов вроде А. Парниса, Н. Богомолова, А. Лаврова, Д. Мальмстада и прочих. — П. К.) лепят образы „литературной жизни“».

«Не так важно, — пишет г-н Маслов, — что заурядные статейки в „Минувшем“ есть привилегия лишь импортных славистов... Грустно, что все это, претендующее на изучение „институций“, но не сменившее интеллигентского тона более соответствующей скукой научной бюрократической прозы, звучит фальшиво...»

Замечу, однако, что *человек, похожий* на Марлена Маслова, печатался в одном из аллоевских изданий. Впрочем, историку — историково. В сборнике «In memořiam» с научной прозой настолько все в порядке, что те или иные публикации невидимым образом вступают под читательским глазом в своеобразную художественную переключку, и расчетливо-простодушное письмо Зинаиды Гиппиус В. Д. Комаровой (публикация Н. А. Богомолова), уверяющей свою корреспондентку, что она не показывает писем мужу, переключается с пронзительным финальным посланием К. И. Чуковского Р. Н. Ломоносовой (публикация Ричарда Дэвиса). Чуковский горько сожалеет, что жена писателя обнаружила дружеское письмо, в котором ее «поразило то, что я жалуясь... на одиночество и поверяю Вам такие мысли, которых не поверял ей». Личность самой Ломоносовой переключается с фигурой Ольги Ресневич-Синьорелли, еще одним европейским ангелом-хранителем русских литераторов (публикация Э. Гарэтто писем В. Ходасевича и Н. Берберовой).

В принципе, любая публикация в сборнике «In memořiam» (читай — последнем томе «Минувшего») может быть темой отдельной рецензии: сюжет о двухсотлетнем юбилее Академии наук и «деле Масарика — Якобсона» (публикация М. Ю. Сорокиной) или последнюю работу Александра Добкина о С. А. Соколове-Кречетове периода «Русской правды». Темой для разговора может стать и обширная переписка семьи Набоковых с Романом Гринбергом, подготовленная Рашифом Янгириным, — действительно важнейшая краска в исследовании «русской» ипостаси Набокова за границей...

«Минувшее» стало минувшим в прямом смысле слова. Сборник «In memořiam» — если угодно, последний постскрипtum к этой книжной серии. Несмотря ни на что, наша полка заполнилась альманахом «не в будущем, в этом веке». Теперь томики «Минувшего» стали частью истории. И не только литературной.

Павел КРЮЧКОВ.

**ЛАРС ГУСТАФССОН. Смерть пчеловода. М., «Текст», 2000, 189 стр.**

В 1995 году визитной карточкой всемирно известного шведского писателя Ларса Густафссона (род. в 1936) стал для русского читателя рассказ «Искусство пережить ноябрь» (1981; перевод Екатерины Чевкиной). Из удачной метафоры это заглавие быстро превратилось в нравственную категорию. И все же обилие хвалебных отзывов не могло заглушить стыдливых признаний — понять, почему этот рассказ так завладел нами, решительно невозможно, он ус-

пешно ускользает от любых попыток «вскрытия» как в отношении художественных средств, так и содержания.

Перед нами второе произведение Густафссона, переведенное на русский язык. Роман «Смерть пчеловода» (1978; перевод Н. Федоровой) — заключительная часть цикла «Трещины в стене». Несмотря на предельную лаконичность текста, ясно, что мы имеем дело с большой формой, предполагающей большую «развернутость» смысла (впрочем, и это может запросто оказаться иллюзией). Ведь вечный ноябрь соприроден непроницаемому мраку человеческого

<sup>4</sup> «Сегодня», 1993, № 94, 14 декабря.

естества, а Ларс Леннарт Вестин (подобно герою «Степного волка» — ровесник автора) ставит перед собой более ясную и конкретную задачу: проигнорировать собственную смерть.

Аналогии с толстовской «Смертью Ивана Ильича» здесь неуместны. Герой Густафссона умирает в одиночку и рассказывает свою историю сам. В промежутках между приступами боли, с каждым разом становящимися все мучительнее, он ведет некое подобие дневника, делая записи в разных блоках.

Известная метафора Мишеля Турнье, согласно которой человек, живущий в обществе, подобен идущему в толпе и не опускается на четвереньки лишь потому, что со всех сторон стискивают идущие рядом, в случае Вестина не работает. Он уже давно разорвал все связи с обществом, развелся с женой, досрочно ушел на пенсию и живет в глухой усадьбе в Северном Вестманланде. Получив по почте окончательные результаты обследования, Вестин сжигает их, так и не распечатав, поскольку содержание письма уже ничего не может изменить в его жизни: если он действительно болен, то смертельно. В отличие от Ивана Ильича, подавленного отчуждением, возникающим между ним и теми, кому суждено его пережить, герой Густафссона ни в ком не нуждается и держит свою болезнь в тайне. Он намерен стоять до конца — и действительно сохраняет человеческое достоинство до конца.

Обращение к силлогизмам и философским утешениям в такой ситуации — нелепость, к ним никто и не обращается, однако по запискам Вестина прекрасно чувствуется, что он *alter ego* самого Густафссона — преподавателя философии и германских языков Техасского университета. Роман философичен и на авторском, «монтажном» уровне, не зависящем от манеры самовыражения персонажа. Слишком заметны следы авторской рефлексии по поводу композиции: в названиях глав «Письмо», «Супружество», «Детство», «Интерлюдия», «Когда пробудилась божественная сущность», «Записки из рая», «Рваный блокнот» отчетливо читается схема «обратного отсчета», последовательное отшелушивание социальных ролей, всего личностного и человеческого, непре-

рывное движение к точке, где обнажаются (и смыкаются) биологическое и божественное. Поражает не эффектное сочетание суггестивных образов и философских аллегорий — все это прекрасно уравновешивается общей стилистикой «распадающегося» сознания. Непостижимым образом даже философские максимы, подчас навеянные предельно далекими от метафизики жизни и смерти направлениями вроде философии языка, становятся у Густафссона почти чувственно осязаемыми символами «несказуемого».

Надвигающаяся мучительная смерть оборачивается для героя Густафссона мистическим откровением, в котором сливаются воедино богоборческий бунт и приятие Божьего мира, невыносимое страдание и всепобеждающая любовь к жизни.

Василий КОСТЫРКО.

\*

**ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДАХ ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА.** Сборник. С параллельным итальянским текстом. М., «Радуга», 2000, 576 стр.

Книга переводов Евгения Солоновича, изданная при содействии Итальянского института культуры в Москве, — своеобразный смотр итальянской поэзии от Данте до наших дней, устроенный ее российским главнокомандующим, вот уже несколько десятилетий практически единственным воином на итальянском поэтическом поле. Подобная монографичность при пестроте оригиналов (около семидесяти авторов разных эпох) имеет несомненное преимущество: антология, составленная и переведенная одной рукой, позволяет лучше почувствовать особенности каждого итальянского поэта.

В начале века Н. Гумилев разработал принципы стихотворного художественного перевода — девять заповедей нерядового переводчика, необходимые, по его мнению, для успеха дела. Соблюдать рекомендуется: 1) число строк, 2) метр и размер, 3) чередование рифм, 4) характер *enjambement*, 5) характер рифм, 6) характер словаря, 7) тип сравнений, 8) особые приемы, 9) переходы тона. Поскольку заповедей на одну меньше Моисеевых, Гумилев выражал

надежду, что они будут лучше исполняться. В лице Солоновича, аккуратно соблюдающего все девять заповедей, мы обрели чаемого Гумилевым праведника.

Больше половины книги составляет раздел «Из поэзии XX века», и он совершенно переворачивает сложившееся — и воспетое Мандельштамом — представление об итальянском языке как о самом дадаистическом из романских, где все рифмуется друг с другом, каждое слово просится в сонcordanza, чувственно воделеет к рифме, а главное — где те самые, счастливо брачующиеся, окончания. Увы! Они в разводе. Итальянский язык, конечно, с тех пор не настолько изменился, чтобы растерять все созвучия, и теперь словарем итальянских рифм можно счесть весь свод итальянской речи, но рифмовать больше не принято, как не принято вступать в брак из-за простого воделеения, и задача итальянского поэта нынче состоит в том, чтобы развести тяготеющие друг к другу слова в разные стороны. Смысл подсказывается не рифмой, а отталкиванием от нее. Предсказуемость конца стиха, как любая предсказуемость в такой непредвиденный век, скорей всего, не ко двору. Свободный ритм силлабического итальянского стиха прибил к нерифмованному белому

стиху, но не с оглядкой на античность, как можно было бы предположить, обратиться итальянцы к своим корням, а к белому англосаксонскому стиху с легким китайским привкусом (мода на все восточное?). Где рифма — знак детской считалки или дремучее ретро, вчерашний день, пародия на подернутую патиной поэзию. Это проблема языков с многовековой поэтической традицией, где рифма исчерпала и отчасти скомпрометировала себя. Поэтому перевод современной итальянской поэзии, то есть седьмого века этой поэзии, на язык, за плечами у которого лишь три столетия без усталости рифмующей поэзии отечественной (которая сама во многом явилась переводом приемов и клише сначала классицистов, потом романтиков, скорописью одолев за два века — шесть), может оказаться нащупыванием будущих путей русской поэзии или их предвестием, соблазном отказа от силлаботоники:

Я тоже нарисую смерть цветка  
в китайском духе на белоснежной чашке —  
воздушным росчерком на матовой  
поверхности:  
последняя попытка по инерции  
приблизиться... глядишь, и завтра принесет  
нам свежие надежды...

Елена КАСАТКИНА.

## КНИЖНАЯ ПОЛКА КИРИЛЛА КОБРИНА

+7

**Теофиль Готье. Путешествие на Восток. Перевод с французского И. Кузнецовой и М. Зониной. М., Издательство им. Сабашниковых, 2000, 344 стр.**

Это было давным-давно — почти сто пятьдесят лет назад, когда еще не было ни телевидения, ни радио, когда скромный обыватель еще не барахтался во всемирной Сети, когда самолеты проходили по ведомству ренессансных фантазий Леонардо да Винчи, железнодорожные вагоны именовались еще «экипажами» (см. записные книжки князя Вяземского), а пароходы — «пироскафами» (см. одноименное стихотворение Боратынского), и приводились в движение оные пироскафы не винтами, а нелепыми и трогательными колесами. «Барашки вокруг нас встряхивали своим белым руном на гребнях волн, солнце садилось в раздуваемые ветром раскаленные угли, пароход болтало. Одно из колес вдруг начинало молотить лопастями по воздуху». Так начинается первое из двух путешествий на Восток автора столь разных сочинений, как «Капитан Фракасс» и «Эмали и камеи», про-

заика, поэта, эссеиста и журналиста Теофиля Готье. Благодаря блистательной переводческой работе И. Кузнецовой и М. Зониной мы имеем теперь возможность проследовать за Готье в навсегда ушедший мир Средиземноморского Востока.

Теофиль Готье был, что называется, профессиональным литератором, «пролетарием пера»<sup>1</sup>, писал чудовищно много (75 статей в 1836 году, 96 — в 1837-м, 102 — в 1838-м), настолько много, что Полное собрание его сочинений, вышедшее в 1883 году, составляет 34 тома. При этом — что очень важно — он не халтурил; «Путешествие на Восток» тому порука. Готье ездил по Европе и Азии на издательские деньги, расплачиваясь путевыми очерками; несмотря на неизбежную «фельетонность»<sup>2</sup>, перед нами выдающаяся проза. Выдающаяся *описательная* проза. Я особо подчеркиваю это обстоятельство, ибо с появлением массовой фотографии, кино и видео путешественники все меньше описывают окружающие их красоты и все больше — собственное душевное состояние. Их более не интересует внешний мир, их интересуют в лучшем случае собственные реакции на него. Ярчайший пример тому — истерическая мизантропия Бродского в «Путешествии в Стамбул». Готье же пишет, будто тончайшую ткань тклет: «Среди этой компании попадались довольно странные персонажи, например, тучный мальчик, белокурый, толстощекий и розовый — ну просто этакий гигантский английский беби, выряженный турком, или тощий грек, угловатый, с лисьей мордочкой, утопающий в длинном, отороченном мехом суконном одеянии вроде доломана, в котором играют „Баязета” в театре на улице Ришелье; паша между ними был словно в скобках...» Заметим: скобочки эти набоковские.

И наконец наблюдение вполне актуальное, политическое. «...араб внушительной наружности восседал посередине на циновке, перебирая восточные четки, или что-то писал тростником на маленьких квадратах бумаги. Нам было невдомек, какого рода коммерцией занимаются эти хмурые сосредоточенные молодцы, и нам объяснили, что они называются „талебы” (то есть „ученые”)». Соответственно «Талибан» — это нечто вроде «Ученого совета».

**Л.-Ф. Селин в России. Материалы и исследования. Составление, примечания и комментарии Маруси Климовой. СПб., Издательство «Общество друзей Л.-Ф. Селина», 2000, 144 стр.**

Готье на Востоке, а Селин в России. Загадочная организация с названием «Общество друзей Л.-Ф. Селина» выпустила любопытнейший том, содержащий как неведомые доселе (и жгуче интересные) тексты самого ругачего француза, так и всевозможные комментарии и интерпретации, принадлежащие перу разнообразных авторов — от известных Виктора Ерофеева, Сергея Юрьенена и Маруси Климовой<sup>3</sup> до не очень известных. Впрочем, в этой книге самый известный из комментаторов и интерпретаторов творчества Селина — Лев Троцкий, представленный отрывком из своей франкоязычной статьи, и недурным отрывком. Чего стоит одно только убийственно точное определение моралистической позиции автора «Путешествия на край ночи»: «Таким образом, он (Селин. — К. К.) приходит к выводу, что современное социальное устройство везде и всегда одинаково несовершенно. В целом же Селин прежде всего недоволен самими людьми и их поступками».

Может, конечно, социальное устройство и «одинаково несовершенно», но есть места, где оно «одинаково несовершеннее прочих». Это становится ясно из прочтения яростного памфлета «Mea culpa», сочиненного Селином после его полуанонимной поездки в СССР. Буржуйский мир омерзителен, христианская цивилизация насквозь тщеславна и лицемерна, но нет ничего чудовищней и зловерней советской власти, коммунизма: «Душа теперь — это „красный партбилет”... Потен-

<sup>1</sup> Собственное его самоназвание, вполне в духе «Манифеста Коммунистической партии». Вот что значит «дух эпохи»!

<sup>2</sup> Впрочем, и гениальные «Три мушкетера» печатались в газетах. И вообще «фельетонный период литературы» не обязательно плох. Это стоило бы учесть разнообразным стенателям по поводу «упадка русской словесности в коммерческий период».

<sup>3</sup> Проза которых явно испытала влияние Селина.



ряна! Ничего от нее не осталось!.. Они их знают, все привычки, все пороки этого нехорошего Прола... Пусть ишачит! Пусть марширует! Пусть страдает! Пусть хвастает!.. Пусть доносит!.. Это его природа!.. Он такой!.. Пролетарий? В конуру! Читай мою газету! Мой листок, вот этот! Не другой! Вгрызайся в силу моих речей!

Честно говоря, отрывок этот звучит как-то пугающе...

**Уильям Берроуз. Призрачный шанс. Перевод Д. Волчека. Б. м. и., «Adaptec/Tough Press», 2000, 56 стр.**

Готье на Востоке, Селин — в России, Берроуз — на Мадагаскаре. Не очень убедительный (на мой, конечно, сугубо профанный взгляд) в своих больших вещах вроде «Голого завтрака» (или «Обнаженного ланча», по переводческой склонности) или «Мягкой машины», Берроуз восхитителен, волшебен в маленьких. Мне уже приходилось писать о волнующем воображение «Коте внутри». Дмитрий Волчек продолжает одаривать русского читателя опавшей листвой с довольно странных баобабов Берроузовой прозы. Теперь — речь не о кошках, а о лемурах. «Народ Лемурув старше, чем Номо Сар, намного старше. Их возраст насчитывает сто шестьдесят миллионов лет, время, когда Мадагаскар отделился от африканского континента. Их способ думать и чувствовать принципиально отличен от нашего, он не ориентирован во времени, они не имеют представления о последовательности и случайности, эти категории для них противоречивы и непонятны». Нечто подобное — насчет отсутствия представлений о последовательности (пространственной, временной) — я уже читал, только не у американского хулигана, а у скромного аргентинского библиотекаря: «Спиноза приписывает своему беспредельному божеству атрибуты протяженности и мышления; в Тлэне никто бы не понял противопоставления первого (характерного лишь для некоторых состояний) и второго — являющегося идеальным синонимом космоса. Иначе говоря: они не допускают, что нечто пространственное может длиться во времени. Зрительное восприятие дыма на горизонте, а затем выгоревшего поля, а затем полупогасшей сигары, причинившей ожог, рассматривается как пример ассоциации идей». Стоило бы, конечно, задаться вопросом, почему столь разные писатели примерно одного возраста (плюс-минус десять лет) так настойчиво сочиняли разнообразные Тлэны и Мадагаскары, все эти Терциусы Орбисы, где блаженно неведомы причинно-следственные связи, где время — не Река, а Океан, где нет понятия ни о какой антропоморфности? Отчего вдруг появилась эта Лавка Всевозможных Наркозов На Любой Вкус — от библиофильского до мескалинного, от буддистского до алкогольного; от чего хотел забыться тот мир? Ответы вроде «От ужасов тоталитаризма» или «От ужасов мировых войн» не принимаются.

**Мартинус Нейхоф. Перо на бумаге. Паром. Аватер. Nijhoff Martinus. De pen op papier. Het veer. Awater. Предисловие, перевод, примечания Ирины Михайловой и Алексея Пурина. СПб., АОЗТ «Журнал „Звезда”», 2000, 48 стр.**

Это уже второе двуязычное издание сочинений первоклассного голландского поэта, подготовленное И. Михайловой и А. Пуриным. Нейхоф — вовсе не типичный пример местного предрассудка одной из провинциальных европейских литератур. Наоборот, он поэт не просто «голландский» (для точности — «нидерландский»), а прежде всего «европейский», некий конденсат «европейской литературы», «европейской культуры» вообще. Он в одиночку смог создать свой вариант модернизма, равно далекий как от бурлескности миллерианы и селинианы, так и от однотонной сосредоточенности Кафки и Беккета. Его негромкий голос слышен.

В книжечке помещены три сочинения Нейхофа: рассказ «Перо на бумаге», стихотворение «Паром» и небольшая поэма «Аватер». Проза не была истинным призванием Нейхофа; «Перо на бумаге» — сочинение довольно вторичное не только по отношению к романтической традиции (или даже к неоромантической), оно вторично и по отношению к явно нечитанному тогда (в 1926 году) Нейхофом Кафке. Но свое очарование эта вещь все равно имеет, как имеет свое очарование бельгийское кино или португальская драматургия. А вот «Паром» — произведение со-

вершено другого класса. История святого Себастьяна вписана в контекст современной автору Голландии; ландшафт, бытовые детали, лексика — все это создает неожиданный фон для разворачивания классического христианского сюжета. Прочитирую начало:

Когда спустился вечер, Себастьян  
Запаястья высвободил из витков  
Обмотанной вокруг ствола веревки  
И стрелы вытащил из шеи и<sup>4</sup>  
Груды и побросал в траву...

Очувтившись в плотном бытовом нидерландском контексте, почти что вписанном в брейгелевский пейзаж (но с другой технологической оснасткой), св. Себастьян оказывается, по Нейхофу, перед выбором: «тут был паром». Паром — это лодка Харона, перевозящая умерших в языческое царство мертвых; отплыть на нем — отказаться от Христа в пользу Пана. Паром отплывает без Себастьяна, но и:

не может быть, что люди, не найдя  
на месте тела Себастьяна, вскоре  
увидели, как птица взмыла вверх  
и белокрыла полетела к морю.

Ницше и «Волшебная гора» Томаса Манна — уже прочитаны.

«Аватер» — поэма сложная, попытка то ли создать поэтический аналог «Улису», то ли скрестить мистику с повседневностью. Что означает «Аватер» — неизвестно. Внесу свою скромную лепту в нейхофоведение (нейхофистику?): в звучании имени «Аватер» (ударение на средний слог) слышится латинский «viator». Путник.

**Иосиф Бродский. Новые стансы к Августе. СПб., «Пушкинский фонд», 2000, 144 стр.**

Бродский ценил Нейхофа, считая его поэзию «патентом на благородство» новейшей голландской словесности. «Новые стансы к Августе» тоже некоторым образом «патент на благородство» поэзии самого Бродского.

Что это — памятник любви или памятник поэзии? Сказать трудно. В любом случае практически впервые Бродский издается на родине как «автор поэтических сборников», точнее — как «автор поэтических книг». Не думаю, что Бродский-поэт мыслил «книгами» (я различаю поэтов, «мыслящих стихами», «мыслящих циклами», «мыслящих книгами»). Его обычная единица была «стихотворение», реже — «цикл». К тому же и обстоятельства его жизни до отъезда в эмиграцию не способствовали образованию «долгого дыхания» поэта, настолько «долгого», чтобы от вздоха его до выдоха располагалась целая книга стихов. Так или иначе, «Новые стансы к Августе» — книга, собранная postfactum; но это не делает ее ни «лоскутной», ни «эклектичной».

Единство «Новым стансам» придает, во-первых, единство неповторимой бродской интонации, монотонный гул его поэтической речи и, во-вторых, неослабевающий накал чувства к адресату стихов. И действительно любовь поэта начинается так:

Я обнял эти плечи и взглянул  
На то, что оказалось за спиною... —

заканчивается она осознанием, некоторым образом подводящим черту под этим романом — и в житейском, и в литературном смысле:

Это ты, теребя  
Штору, в сырую полость  
Рта вложила мне голос, окликавший тебя.

Возлюбленная дала поэту тот голос, которым он разговаривал с ней.

<sup>4</sup> Обратите внимание на эту находку переводчика: «И стрелы вытащил из шеи и». Строка начинается и заканчивается «и»; она как бы вливается из этого равномерного звука и в нем же, в конце концов, растворяется, будто в корабельных гудках.

**Григорий Дашевский. Генрих и Семен. М., ОГИ, 2000, 40 стр.**

Григорий Дашевский, в противоположность «Новым стансам к Августе» Иосифа Бродского, чьи эссе, кстати говоря, он переводил (будучи профессиональным — и замечательным! — переводчиком), составил свою книгу стихов совершенно иначе. Я бы назвал ее «наброском ПСС», или «конспектом собрания стихов» автора. Действительно, здесь мы можем обнаружить и поэму («Генрих и Семен»), и цикл («Имярек и Зарема»), и песни, и баллады, и переводы. Книга напоминает ковчег, куда заботливый поэт собрал по несколько генетически ценных представителей разнообразных жанров своих сочинений. Только, в отличие от ветхозаветного спасателя, этого праотца деда Мазая, Григорий Дашевский построил не огромный неповоротливый корабль — четыре мачты, два ряда весел, не более пяти узлов в час, — а легкую маневренную фелюгу, на манер тех, с которых развеселые берберские пираты вплоть до второй половины прошлого века брали на бордаж европейские корабли (так что не каждый отваживался, подобно Готье, путешествовать в Алжир или Тунис).

Фелюга получила славу. «Генрих и Семен» — поэма, похожая скорее на отрывок из шекспировской драмы или на пушкинское «Мне скучно, бес...»<sup>5</sup>. И хотя содержание драматичного партийного диалога Генриха и Семена слишком напоминает общие места московской поэтической школы 80-х, все-таки столкновение шекспировского (в традициях русских переводов) слога с издевательским «политическим» содержанием рождает некие новые смыслы, а быть может, и некий новый трепет:

Выходит, большевицкий секретарь  
Дал волю пронизательности, только  
Чтоб шегольнуть умением разбираться  
Не в классовых одних конфликтах, но и  
В сердцах людей? Завидное умение!  
Тщеславие, достойное марксиста!

Из «Баллад» выделю по-настоящему превосходное стихотворение «Елка», не могущее не тронуть любого пленника советского новогодне-игрушечного детства:

В личико зайчика, в лакомство лис,  
В душное, в твердое изнутри  
Головой кисельною окунись,  
На чужие такие же посмотри.

В общем, все яблоки, все золотые шары...

**Дороти Ли Сейерс. Чей труп? Перевод с английского М. Ланиной. СПб., «Амфора», 2000, 302 стр.**

В шестом (за прошлый год) номере журнала «Звезда», посвященном столетнему юбилею Набокова, напечатана превосходная статья Игоря Павловича Смирнова «Философия в „Отчаянии“». Автор «Лолиты» предстает там блестящим знатоком Монтеня, Декарта, Паскаля и Юма, глубоким интерпретатором Кьеркегора, заинтересованным читателем Евгения Трубецкого, Владимира Соловьева, Льва Шестова. Вряд ли Набоков на бегу с одного частного урока на другой, в боксерских перчатках, с теннисной ракеткой в правой руке, с рампеткой — в левой смог бы оправдать эти щедрые философические ожидания. Боюсь, не читал он философов или почти не читал. Прежде всего потому, что предпочитал философии и теологии другие жанры фантастической литературы, другие типы загадок — от шахматных до детективных. Кажется, я готов сделать маленькое литературное открытие.

Мне кажется, что сюжетным (и идейным, да будет мне позволено так выразиться!) источником «Отчаяния» был детективный роман Дороти Сейерс «Чей

<sup>5</sup> И тут — бах! — и корабль ко дну?

труп?». Не буду раскрывать карты и сообщать, кто и как убил. Но. Генеалогия преступления набоковского Германа явно восходит к хитроумному плану с переодеваниями и выдаванием одного трупа за другой у Сейерс. Причина итоговой катастрофы обоих преступников тоже одинакова — эстетическая недостаточность; их двойники просто не похожи на оригиналы. Об остальном — тсссс!!! Ни звука!

### -3

**Роберт ван Гулик. Монастырь с привидениями. Красный Павильон. Перевод с английского А. Кабанова. СПб., «Амфора», 2000, 414 стр. («Детектив из жизни средневекового Китая»).**

Имя Роберта ван Гулика я впервые встретил в содержательнейшем комедиуме «Китайский эрос», выпущенном в первой половине 90-х. Из книги явствовало, что Гулик есть чуть ли не главный специалист по разнообразным аспектам дальневосточного варианта эроса. Лучше он бы там и оставался — среди нефритовых стеблей и яшмовых пещер.

Самое непереносимое в этой прозе, то, что заставляет даже забыть о перипетиях детективного сюжета, — звук ее интонации. Нет-нет, это не завывание диковатых мелодий пекинской оперы, но слабые трели простой тростниковой флейты. Это — дребезжание жести, равномерное, лишь иногда берущее чуть выше, будто порыв ветра тормозит полуоторванную крышу армейского пакгауза где-то под Дзержинском. Ничего китайского. Типичнейший звук никчемной, плоской, одномерной прозы.

Говорят, что автор был истинным китаефилом и китаезнатцем. Быть может, спорить не буду, Гулик много чего знает. Даже то, что «до установления государства<sup>6</sup> маньчжуров мужчины завязывали длинные волосы узлом и обязательно носили головные уборы и у себя в доме, и за его пределами». Кто же тогда виноват в употреблении в «детективе из жизни средневекового Китая» таких слов и выражений, как «капитальная стена» (стр. 25), «философские штудии» (стр. 35), «туалетный столик» (стр. 99)? Кто был автором идиотической (если речь все-таки о средневековом Китае) фразы: «Информация людей Фэна о пребывании молодого ученого на острове во многом проясняет картину»? Роберт ван Гулик? А. Кабанов? Пастиш — один из самых тонких и скрупулезных жанров. Это вам не ощущения от поедания мухоморов описывать...

**Валерий Нугатов. Недобрая муза. М., «Автохтон», ММ, 60 стр.**

Великолепно изданная, превосходно, тонко оформленная поэтическая книга весьма мною уважаемого прозаика Валерия Нугатова действительно не очень добра. Прежде всего потому, что не «щедра». В книге очень много пижонства (что само по себе неплохо), но на нем одном (пижонстве) полноценную книгу не сделаешь. Пижон — это потенциальный денди; только тем он и интересен. Можно сколько угодно мыть ботфорты шампанским, но без осанки Браммеля ты навеки останешься пижоном. Нет ничего хуже, чем состарившийся пижон — этот полосатый пиджак и глазки побитой собачонки.

Нугатов любит и умеет шегольнуть накокаиненной фразочкой. («Я умру от пружин патефона / в черной спальне, под кружевом дня»), но уже следующую обычно не вытягивает, заканчивая строфу налитой банальностью («Листья полога, медного клена / засверкают, о стекла звеня»). Ему явно не хватает дыхания на целую строфу, не говоря уже о стихотворении. Отсюда его склонность к формальной организации стиха (пронумерованная «Иеромиада»), к псевдоустоявшимся формам («Оливковый Джимми Блюз»). «Дерзкие находки» Нугатова вызывают в памяти почему-то поп-культуру второй половины 70 — 80-х: «Soga ga

<sup>6</sup> Ай-яй-яй, господин А. Кабанов! Не «государства», а «господства»...

kurai...», сочиненная, видимо, на японском и записанная латиницей, подозрительно напоминает песню группы «Queen» с альбома 1976 года, в которой было тоже нечто японское: «Teo torriate konomamo iko...» «Замшевый клитор» написан в тщетной попытке сочинить новую, сюрреалистическую «Песнь песней»: читая его, я вспоминаю бесконечные самодетальные стихи эпохи советской рок-революции. В те времена Сальвадора Дали считали художником.

Мне почти нравится эта книга.

**Окрестности. Сборник четвертый. М., Издательство «Автохтон» совместно с содружеством «Междуречь», 2000, 220 стр.**

В четвертом выпуске альманаха «Окрестности» тридцать один автор. Среди них есть хорошие. Довольно много удачных текстов. Довольно много и неудачных. Превосходный рассказ Николая Байтова «Альтернатива Фредгольма». Хороший рассказ Льва Усыскина «На войне». Плохие стихи Дмитрия Воденникова. Дурацкая проза Данилы Давыдова. Хотя, в сущности, Данила Давыдов — хороший прозаик, а Дмитрий Воденников — хороший поэт. Самое ужасное, что это ничего не меняет в альманахе.

Я просто перестал понимать, зачем сейчас делают литературные альманахи. Издательство «Автохтон» печатает книги, в том числе и тех авторов, которые представлены в «Окрестностях». Книги других авторов печатают другие издательства. Если не печатают сейчас, то напечатают потом, я уверен. Никакого нового качества, будучи собраны под одну обложку, эти тексты этих авторов не создают. К одному поколению авторы не принадлежат: самому старшему из них 49 лет, самому младшему (самой младшей) — 22. У одних много публикаций, у других — мало. Эстетически авторов не связывает почти ничего (или просто ничего). Может быть, все дело тут в названии «Окрестности»? Что в окрестностях любого русского города много чего можно найти, если хорошенько побродить-поискать? Что альманах — это «стол находок»? Кстати, хорошее название для альманаха. Или уже было такое?

---

## КИНООБОЗРЕНИЕ ДМИТРИЯ БЫКОВА

### МОСКВА ТОВАРНАЯ

**Л**итературная судьба Владимира Сорокина, при всей его модности и славе, складывается на редкость неудачно. Его тексты становятся достоянием аудитории не вовремя, вне того контекста, в котором создавались и работали. Владимир Новиков не зря пошутил когда-то, что вместе с творениями отечественных постмодернистов придется переиздавать весь корпус литературы соцреализма — или по крайней мере наиболее яркие образцы. Дело забывчиво, тело заплывчиво, и сегодняшний читатель вспоминает о той литературе скорее ностальгически.

На три года опоздал и фильм А. Зельдовича «Москва» (киностудия «Мосфильм»). Скажем сразу, что традиционный рецензентский подход к этой картине невозможен — как, впрочем, и к большинству нынешних русских фильмов. Планка успела снизиться до такой степени, что самое предъявление фильму (или тексту) традиционных претензий — требования внятности, разнообразия, новизны, социальной точности, эмоционального и смыслового богатства — смотрится невыносимым моветоном. Юрий Гладильщиков — один из немногих кинокритиков, вопреки духу времени приверженных гамбургскому счету, — вообще предложил ввести специальный термин «плохое кино» и разбирать его с точки зрения особой системы ценностей. За это время мы успели ввести отдельные системы ценностей для специфически германовского, специфически кассового, специфически мало-бюджетного кино; никто не спорит: судить «Титаник» по тем же законам, что и

Антониони, по меньшей мере некорректно. Однако есть и чисто профессиональные критерии, которых никто не отменял и без которых произведение искусства не может состояться. «Судить художника по законам, им самим над собою признанным», возможно только в том случае, если художник вообще признает над собою какие-либо законы, кроме конъюнктурных. Сразу скажем, что фильм Зельдовича для такого разбора непригоден, поскольку чисто эстетических задач, сколько можно судить, режиссер себе не ставил. Фильм «Москва» являет собою трагикомический пример запоздавшей конъюнктуры — жалкое, забавное и поучительное зрелище. Время сделало со стилем жизни поздних девяностых то, чего не сумел сделать с этим стилем Сорокин — превосходный деконструктор и практически никакой конструктор.

Приход Сорокина в кино вполне закономерен — не столько потому, что проза его оперирует главным образом штампами и в силу этого легко переносима на экран, сколько потому, что Сорокин воспринимает писателя как литературного стратега, селф-промоутера, а сделать сегодня нормальный промоушен даже самой сенсационной литературе не представляется возможным. Между тем Зельдович умудрился промурыжить картину больше трех лет: она выходит на экраны, когда сценарий давно опубликован, интерпретирован, ажиотаж вокруг него схлынул, настроения в обществе поменялись довольно радикально и персонажи, словно сошедшие со страниц «Птюча», перестали кому-либо казаться хозяевами жизни и провозвестниками новой эстетики.

Так вот: с точки зрения кинокритика «Москва» не представляет почти никакого интереса. Расхождения со сценарием минимальны, литературное качество сценария — при всех его мелодраматизмах и банальностях — не в пример выше, чем кинематографическое качество фильма, и из каждого кадра торчит невыносимое (особенно на сегодняшний взгляд) старание сделать что-то ужасно модное, ужасно актуальное, что-то, о чем Борис Кузьминский напишет одними зигзагами и восклицательными знаками — до такой степени бедны и жалки покажутся ему обычные слова. Фильм возник, как рассказывали авторы, по идее Беляевой-Конеген: ей захотелось познакомить модного писателя с молодым и тоже модным режиссером. Из соавторства Сорокина и Зельдовича родилась картина о той прослойке людей, которая — пользуясь определением самого Сорокина — не только выживает в нынешней реальности, но умудряется жить стильно.

Нелепо, впрочем, было бы думать, что перед нами некий новый стиль жизни: перед нами нечто весьма эклектичное, мертворожденное и рассыпающееся при первом катаклизме. За стилем, как ни крути, должно стоять мировоззрение, а потребление максимально дорогих вещей в сочетании с максимальной праздностью никакого стиля еще не образует. Стиль начала девяностых складывался из не критично усвоенного раннего Скотта Фитцджеральда, то есть из «эпохи джаза» с ее шальными деньгами и дамско-журнальными страстями и из клиповой стилистики рекламы. Все это несколько разбавлялось тарантинизмом, то есть чрезвычайно легким, халявным и опосредованным отношением как к жизни, так и к смерти. Обо всей этой виртуальной культуре, как и о виртуальном поколении, сейчас можно уверенно говорить в прошедшем времени — и дело, разумеется, не только в кризисе 1998 года. И без кризиса все, кому надо, понимали, что никакого нового культурного качества и никакого нового, простите за выражение, «дискурса» эпоха девяностых в России не породила. Просто появилась прослойка стремительно разбогатевших людей, которым захотелось как-то обставить свой практически безразмерный досуг. Такая категория, как труд, вообще выпала из сознания большинства граждан репродуктивного возраста. Профессия перестала быть социальной характеристикой персонажа. Местом работы стала «фирма», местом встречи — «клуб». Из речи исчезли существительные: люди отгружали, проплачивали и перетирали, никогда не уточняя — что именно (то ли в силу секретности, то ли — что более вероятно — в силу отсутствия объекта: в виртуальной экономике и виртуальной жизни вся суета происходит вокруг условных, отсутствующих вещей). При этом огромная страна (девяносто процентов ее населения и территории) жила совершенно отдельной жизнью, о которой искусство молчало, словно воды в рот набравши; отдельные тексты о всеобщей нищете выдавали на-гора лишь красно-коричневые

да «деревенщики», утратившие изобразительную силу: весь пар ушел в гудок, в праведный гнев. Подавляющее большинство романов, фильмов и эссе писалось о жизни новых хозяев, — а поскольку жизни никакой не было, то и искусство вышло крайне анемичным. Не избежал этой участи и фильм Зельдовича.

Сорокина, впрочем, можно понять: единственное, что он умеет (и умеет очень хорошо, а многих умений от писателя и не требуется), — это деконструировать, ломать, разнимать на составляющие некую стилистически цельную, законченную систему. Сорокин так устроен, что муза его может питаться исключительно мертвечиной, то есть чем-то стилистически цельным, законченным, остановившимся в своем развитии. Тут приходит Сорокин и эту застывшую форму взрывает. Собственно, взрывать ведь можно по-разному: Толстой тоже последовательно взорвал форму исторического, семейного и криминального романа. Иногда асфальт прорывают ростки, иногда его долбит лом. Сорокин приходит с ломом. Строго говоря, это не столько деконструкция, сколько банальное снижение — но результат забавен. Вволю надругавшись над омертвевшими штампами соцреалистической («Норма»), русской классической («Роман») и новой детективной («Сердца четырех») литературы, Сорокин принялся искать новую пищу — и ему показалось, что начало девяностых эту пищу ему предоставило. Увы: пища сгнила в процессе потребления. И Сорокин угадал ее недоброкачественность еще в процессе работы над сценарием: «Если специально все вокруг поковырять — оно все внутри мягкое, и иногда мне страшно, что все это некрепко и упадет. То есть дом упадет, и ничего, а может, не упадет, просто у него внутри, например, картошка с тефтелями. Кавычка. Внутри всего». Эта кавычка, это вечное «как бы», приставляемое ко всему, как раз и есть очень точный сорокинский диагноз эпохе. Сталинские здания и сталинское кино, которое Сорокин так любит (и правильно делает), этой кавычки лишены. Из этой же оперы — рассказ главного героя фильма, Льва, о поисках бриллианта в трупе. Собственно, весь сорокинско-зельдовический фильм — о поисках бриллианта в трупе, с той только разницей, что в этом трупе бриллианта не было и нет. В трупах предыдущих эпох — находился, наличествовал. В этом — только картошка с тефтелями. Вялое, медленное, невнятное повествование.

Вообще говоря, понять авторов, соблазнившихся новым московским стилем, можно: некое подобие цельности у эпохи все же было. Всякий тоталитарный руководитель, если у него хватает сил и есть собственный взгляд на вещи, такую новую эстетику порождает с неизбежностью. Есть лужковская Москва, как есть сталинская. Но разница в масштабах между культом Сталина и тщеславием Лужкова, планами Сталина и амбициями Лужкова слишком очевидна — почему лужковская Москва и не выглядит неким стилистическим единством, а выглядит хаосом, торжеством бесстылья и безвкусицы. Очень богатый, но обреченный город, чье благополучие зыбко, а любовь граждан к власти иллюзорна, — вот Москва последних лет. Зельдовича мог бы насторожить опыт более зрелых и талантливых режиссеров его поколения: даже такой умный и тонкий человек, как Тодоровский-младший, не сумел построить новой Москвы в «Стране глухих»: действие происходит в вакууме. У Зельдовича этот вакуум еще подчеркнут: Сорокин намеренно сталкивает в сценарии символы величия его любимой, безвозвратно умершей эпохи Сталина (метр, военные песни, фабрика «Большевик», Воробьевы горы с университетом, высотки, речные трамваи вдоль зеленых праздничных берегов) — и символы Москвы лужковской: бетонный храм Христа Спасителя, идеально-стерильные, полутемные клубные интерьеры, дорогие машины. Там — гранит, тут — картошка с тефтелями. Там — жизнь и смерть, тут — виртуал, игрушки. Сорокин, как и его протагонист Марк, застал сумерки империи, он навеки ранен напряженной, таинственной, эротически-страстной жизнью советской богемы и золотой молодежи: выразительнее об этом написал только Анатолий Королев в «Эроне». Зельдович либо не жил той жизнью, либо не чувствует ее, вот почему самые бледные персонажи его фильма — именно Марк и Ирина. Это тем печальнее, что Ирину играет приглашенная для «стильности» Наталья Коляканова, превосходная драматическая актриса, которую, однако, снова использовали как микроскоп для забавания звезд. Не знаю только, согласилась бы другая изображать совокупление у холодильника, на грани падения в него, — или отказалась бы, как отказались от участия в

картине Зельдовича серьезные актеры Максим Суханов и Сергей Колтаков. Первому предлагали Льва, второму соответственно — Майка.

Интерьеры в фильме Зельдовича, как и в большинстве современных картин на «новорусском» материале (об этом отлично написала Ольга Шумяцкая), — необжиты, нефункциональны и чисто декоративны: мертвы, проще говоря. Здесь не живут, а присутствуют. Клубы опять-таки начисто лишены своего лица: бильярд, дартс, стойка — но ничего неординарного или живого в их оформлении. Так же мертво веселье, разговоры, выпивка. Люди пьют, играют на бильярде и пританцовывают, потому что так надо. Так — стильно. Этот стиль им придумали другие люди, уверившие всех, что они стилисты. Стилист тех времен — это человек, который долго, бесконечно долго выбирает в комнате место, куда бы бросить грязный носовой платок, наконец, выбрав, с неопишуемой важностью бросает его и говорит: «Вот теперь стильно». Все это — с судорогами, истериками и подергиваниями: художник творит. Почему сцена совокупления Маши и Льва снята в как бы инфракрасной палитре? Непонятно. Стильно.

Фабула же, строго говоря, и в сценарии, и в картине отсутствует. Есть непрерывный постмодернистский кивок в сторону Чехова — сестер зовут Маша и Ольга; правда, их две — Ирина приходится им матерью, но выглядит как старшая сестра, так что триада соблюдена. Есть «новые русские», чьи сделки так же загадочны и внешне бессмысленны, как и в реальности: жрут они гораздо более убедительно. Мы так и не поймем, почему застрелили бизнесмена и балетомана Майка, — вот с балетом как раз штрих неплохой: фанатичная любовь порядочно-таки неотесанного и недалекого Майка (во всяком случае, таким он получился у А. Балужева) — как раз и есть тоска по чему-то стильному и завершеному. Да Сорокин и не скрывал, что главная тема его сценария — тоска по стилю, по оформленности, то есть по той единственной пище, которой он как деконструктор способен питаться. Зельдович этой интенции не понял, потому что и не преследовал задачи ее понимать. Он снимал модное кино про модные предметы, камера упивается ими. Перед нами не столько лужковская или сталинская Москва, сколько Москва товарная: исключительную роль играют предметы мебели, украшения, штаны. Максимум лоска. Но все это никак не способно образовать ни сюжета (он вязнет в необязательных и необъяснимых происшествиях), ни стиля, ни даже героя. Растерянность исполнителя роли Льва (С. Павлов) видна невооруженным глазом. Сомневаюсь, что и Суханов сделал бы из Льва нечто цельное: здесь бы как раз нужен герой. Он обводит вокруг пальца Майка, он женится на обеих сестрах сразу (и странно еще, что не покрывает их мать), он обаятельный циник, которому «везде одинаково хорошо и одинаково плохо», иными словами, типичный «лишний человек» — какая же эпоха без своего лишнего человека? Но именно этот лишний человек не только не прописан (нам предлагают верить на слово, что он значителен и целен), но и отягощен мелкими грешками вроде воровства или перевоза черного нала. И никакие демонические жесты вроде траханья Маши через Москву (Лев накрывает Машу картой, в которой на месте Москвы прорезана дырка) не сделают героя из мелкого жулика. Тут-то и кроется «кавычка» фильма, тайная гнильца, которая все испортила. Жулик не тянет на героя, как не тянет на него и Марк — психиатр, обслуживающий «новых русских» и кончающий с собой от скуки и одиночества. Сага о соитиях и разборках в интерьерах криминальных гаражей и ночных клубов не тянет на эпос, увековечивающий эпоху. Стильность не тянет на стиль. Стиль есть нечто, за что платят жизнью — как платили жизнью за свой декаданс люди серебряного века.

Отсюда и невыносимые вкусовые провалы вроде самоубийства Марка (В. Гвоздецкий). Обратите внимание, как все красиво: он съезжает с трамплина Воробьевки на чемодане, в который уложено все самое дорогое в его жизни — несколько американских детективов, бутылка виски — с таким багажом и впрямь впору бросаться с трамплина... Отсюда же и диалоги: скудная лексика, бесчисленные повторы, моветон... Сорокин привык оперировать моделями, типами — но кино снимается про живых людей: у Сорокина действуют не Оля или Майк, но «идея» аутизма или «идея» «нового русского». У архетипов нет лиц, нет прошлого и будущего; Дапкунайте и Друбич (Маша и Ольга) приходится лепить живых героинь, но лепить их не из чего. В результате Дапкунайте играет полную энигму



(можно было бы пожалеть об отказе Ирины Апексимовой поучаствовать в картине, ее пробами была проиллюстрирована первая публикация сценария, — но боюсь, актерские способности этой модной героини модной тусовки вообще сильно преувеличены тусовочной критикой, как и таланты Дапкунайте). Друбич как раз очень старается — но Бог знает почему героиня у нее выходит клинической дурой, а это совсем не то, что чистая и полубезумная девочка, взывающая подлинности. Может, дело в непоправимой искусственности, выдуманности этого персонажа? Своего «нового русского» Сорокин и Зельдович вычитали в журналах и детективах, а Олю им было вычитать негде. Они ее выдумали. Но вот беда: выдумывать оба не умеют совсем. Сорокин по крайней мере умеет изобретательно и смешно разлагать то, что выдумано другими (хотя сам прием проверки всего на свете дерьмом становится несколько однообразен, да и не такова это ценность — дерьмо, чтобы все им поверять). Зельдович умеет только снимать интерьеры и костюмы: очень возможно, что реклама в его исполнении брала бы призы, хотя для рекламы, пожалуй, его монтажу недостает динамизма.

В известном смысле, конечно, памятник эпохе получился на славу — с поправкой на «как бы» применительно и к памятнику, и к эпохе. Снять плохой фильм о плохих временах — еще не значит проявить адекватность, но для историка «Москва» несомненно представит со временем немалую ценность. Среда, о которой Зельдович и Сорокин сделали картину, благополучно перестала существовать, будучи сметена ветрами перемен, как только в России стало нечего воровать. Берясь за конструирование сюжета, любой деконструктор способен изобрести только банальный и даже трогательный в своей мелодраматичности велосипед. Для напоминания обо всех этих простых истинах стоило, пожалуй, поработать три года.

Истинную же цену своему творению и своей эпохе авторы фильма знают прекрасно. Тому свидетельство — финальная реплика Льва: «Те, кого не было, тоже имеют право на памятник. Может быть, большее, чем те, кто были».

Лучше не скажешь.

---

## WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

*Сугубо информационный обзор некоторых сайтов, посвященных литературе, кино, изобразительным искусствам*

**З**амена прежнего названия моих обзоров «Сетевая литература» на просто «WWW-обозрение» не означает смены объекта рассмотрения. Для меня по-прежнему самое интересное в Интернете — литература. А новое название обзоров предполагает расширение тематики, не более того. И этим я намерен воспользоваться уже в настоящем выпуске — он будет посвящен культурному ландшафту современного российского Интернета. Естественно, в том виде, в каком он предстал передо мной, — русскоязычные ресурсы Интернета наращиваются столь стремительно и предоставляют пользователю такой выбор, что этот самый культурный ландшафт каждый выстраивает для себя по-своему.

Впрочем, выбор сайтов будет не вполне моим. Я воспользовался инфоартовским списком самых посещаемых сайтов (**Stars1000**, раздел «Культура»: <http://1000.stars.ru/sect/art1.htm>). Иными словами, попутно мы сделаем, так сказать, замер культурного уровня среднестатистического «Интернет-пользователя».

Вот десять первых позиций списка:

1. Библиотека Мошкова;
2. Online Библиотека;
3. Фото.Сайт;
4. Русская Фантастика;
5. Books.Ru — Все книги России;
6. Издательство «НЕСТОР»;

7. DVD Specia;
8. База данных КИНОСАЛОН;
9. 24x7 Интернет-магазин;
10. Музеи России.

(Инфоартовский рейтинг, разумеется, не единственный в Интернете. Есть рейтинговые списки сервера List.ru (<http://top.list.ru:8005/Rating/Culture-Literature/>), поискового сайта Апорт (<http://adv.aport.ru/scripts/adv.dll?url=http://top1000>), и здесь обязательно нужно упомянуть самый популярный рейтинговый каталог в нашем Интернете — на сайте Рамблер (<http://top100.rambler.ru/top100/index.shtml.ru>).

Лидер приведенного мною списка — «Библиотека Мошкова» (первые позиции этот сайт занимает и в рейтинге «Рамблера»). Это самая представительная в русском Интернете и самая удобная для пользователя библиотека: Мошков избегает громоздкого графического оформления, занимающего память и сильно замедляющего закачивание страниц и текстов. В каталогах «Библиотеки Мошкова» 28 000 текстовых файлов, расположенных в разделах: ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, СТАРИННАЯ ЛИТЕРАТУРА (подразделы: СТАРИННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА, КИТАЙСКАЯ ПОЭЗИЯ, МИФЫ РАЗНЫХ НАРОДОВ), ДЕТСКАЯ И ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ, ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА, ИСТОРИЯ (подразделы: ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ, МЕМУАРЫ И ЖИЗНЕОПИСАНИЯ), ДЕТЕКТИВЫ, КУЛЬТУРА (подразделы: ФИЛОСОФИЯ, ЙОГА, ЭЗОТЕРИКА, РЕЛИГИОЗНАЯ, АСТРОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ и др.).

Судя по спискам литературы в этих разделах, Мошков пытается соблюсти два трудносочетаемых условия: представить литературу для интеллигентного читателя и для, так сказать, массово интересующихся — отсюда противостественные сочетания беспорочных сочинений и таких, скажем, специфических, как труды Льва Гумилева и Анатолия Фоменко. Или вот такое соседство в списке зарубежной литературы: «...Уильям Голдинг, Патрик Зюскинд, Карлос Кастанеда, Франц Кафка...» Впрочем, есть основания полагать, что куратор сознает перепады культурных уровней и относится к ним с юмором. Будучи предельно ограничен в средствах самовыражения (ну как можно проявить свою индивидуальность в составлении каталога?), Мошков тем не менее такие средства находит: к разделу «Детективы», например, подвешивает эпиграф, взятый, следуя новейшей моде, из сочинений В. И. Ленина: «Было бы величайшей ошибкой думать», а в обозначениях подразделов научного каталога значится: «Библиография (наука такая)».

Приятно, что в первой десятке рейтинга вместились три сайта, посвященных литературе, и что «Библиотека Мошкова» лидирует. Два других литературных сайта (Online Библиотека и Books.Ru — Все книги России) — не библиотеки, а книжные Интернет-магазины, на этих сайтах посетитель выбирает и заказывает книгу с доставкой на дом по указанной цене. Если не обращать внимания на цены, очень удобные магазины, выбор на этих сайтах богатый, скажем, сайт Books.Ru — Все книги России (<http://www.stars.ru/cgi-bin/go.pl?wwwbooksrusite=www.books.ru>) предлагает список из 18 000 книг. Это прежде всего коммерческие, а не культурно-информационные сайты. Соответственным образом и представляется здесь литература. Вот почти типовая рубрикация каталога на подобных сайтах: «Детективы», «История», «Любовный роман», «Мистика», «Приключения», «Триллеры», «Фантастика», «Фэнтези», «Юмор» и проч. Это я скачал с титульной страницы Online Библиотека. По тем же принципам работает и сайт Books.Ru — Все книги России. Зайдя на сайт Online Библиотека (<http://www.stars.ru/cgi-bin/go.pl?kyzmingames=best-library.rusinfo.com>), вы получаете доступ сразу к трем большим книжным магазинам в Интернете: «ОЗОН» (<http://www.o3.ru/index.cfm/Partner=bestlib>), «Книжная лавка „У Сытина“» (<http://www.kvest.com/>) и к многопрофильному американскому сайту Kniga.com (<http://www.kniga.com/>). Впрочем, внутри каждый из этих сайтов сделан с большей культурой, чем предполагает общий для них титул. Вот, например, рубрикация каталога Kniga.com: «Русская художественная литература», «Мировая литература», «Собрания сочинений русских и советских писателей», «Классики мировой литературы», «Детская литература», «Биографическая и мемуарная литература», «Словари», «История» и т. д. Список современной русской литературы здесь тоже

выглядит достаточно репрезентативным: предложены 589 книг, среди авторов которых Аксенов, Астафьев, Бродский, Буйда, Ю. Давыдов, Клех, Конецкий, Липскеров, Маканин, Славникова (обильно представленную русскую классику прошлого и нынешнего века я не упоминаю).

И тут же на сервере представлен новый петербургский литературно-критический журнал «Новая русская книга» (<http://www.newrussianbook.com/>), этот журнал делают квалифицированные и авторитетные филологи: Игорь Немировский, Глеб Морев, Константин Азадовский, Анатолий Барзах, Андрей Зорин, Александр Лавров, Роман Тименчик, Иван Чечот. «Новый мир» уже писал о нем.

Оказавшаяся в числе лидеров рейтинга сразу же за литературными сайтами группа сайтов DVD Specia, База данных КИНОСАЛОН, 24x7 Интернет-магазин посвящена кино. Эти сайты я открывал, имея кроме познавательного интереса еще и свой, личный, можно сказать, вполне корыстный. Дело в том, что я люблю кино, более того, с некоторых пор являюсь обладателем видеомагнитофона и, казалось бы, вполне могу теперь удовлетворить свой интерес. Но вот не получается. Каждый раз, остановившись перед витриной видеомагазина или перед развалом видеокассет на «Горбушке», впадаю в ступор, видя перед собой неимоверное количество совершенно незнакомых имен и названий. Картинки на коробках и аннотации ни о чем не говорят — вероятность того, что на пленке содержится та же самая дрянь, которая наплывает на нас с телеэкранов ежедневно по десяти каналам, более чем велика. Сегодня поиски видео — это устное народное творчество: друг говорит, посмотри «Пес-призрак», это фильм Джармуша, хорошее кино. Или: купи «Большой Любовский», это кино. Ну а то, что я покупал наугад, прочитав аннотацию на коробке, почти всегда удручало — это все что угодно, но только не кино. Или, может быть, я уже давно превратился в какого-то мастодонта, не заметившего, что собственно кино давно исчезло.

(Лирическое отступление: не только я напуган. Пару лет назад В. И. Ежов, один из самых замечательных наших кинодраматургов, ученик великого Довженко («Баллада о солдате», «Крылья», «Тридцать три», «Белое солнце пустыни»... около сотни фильмов), вернувшись из Германии, рассказывал мне о тамошнем семинаре киносценаристов. «Все, — сказал Ежов, — доигрались! Можешь считать, что кино окончательно превратилось в производство. Видел я этих деятелей. Так называемых киносценаристов. Три дня они заседали и три дня говорили о принципах составления личных картотек: картотек сюжетов, сюжетных ходов, завязок-развязок, диалогов и так далее. Все они искренне убеждены, что дело в новых комбинациях апробированных ходов. Новый сценарий для них — это новая комбинация карточек из картотеки». Разговор наш шел перед включенным телевизором, в котором, обеими руками держа пистолетик дулом вверх, герой крался вдоль ржавых железяк какой-то индустриальной свалки (сколько раз я видел это?!); я взял со стола пульт и переключил канал: другой (или тот же?) герой в ночном зловещем закоулке Нью-Йорка или Чикаго бьет кулаком злодея, злодей отлетает к стене, на злодея рушатся ящики с мусором; я снова щелкаю переключателем: с воем припадая к земле, несется по улице против движения полицейская машина, а по обочине, сшибая мелочь киосков и телефонных будок, разгоняя людей, летит машина, надо полагать, с преступниками; я щелкаю переключателем: девица в джинсах и полурасстегнутой рубашке взволнованно дышит, герой с помутневшим взглядом движется на нее, кладет свой пистолетик на капот машины, обнимает подругу и подсаживает на капот, освобождает от одежд; а на заднем плане под закатным небом, промеж холмов и ихних прерий по извилистому шоссе, видные издали, уже мчатся к предавшимся тупой сексуальной забаве героям машины с преследователями... «Во-во, — говорит Ежов, наблюдая за моими попытками, — а я тебе про что рассказываю?»)

Иными словами, к киносайтам я обратился с надеждой обрести поводыря в этом безграничном мире видео. Увы, все три указанных выше киносайта оказались Интернет-магазинами видео. Там замечательно богатые списки фильмов, но сориентироваться в этих списках неопытному человеку почти невозможно. Рубрикация этих каталогов типовая, вот, скажем, на сайте КИНОСАЛОН (<http://www.сова.ru/>)

**kino/index.shtml**): «по новинкам», «по жанру» (боевики, вестерны, детективы, для детей, драмы, исторические, катастрофы, клипы, комедии и т. д.), «по наградам» («Оскар», Каннский КФ, «Золотой глобус», Венецианский КФ и др.), «по звездам» (Аль Пачино, Бен Аффлек, Гвинет Пэлтроу, Джеки Чан, Елена Сафонова, Жерар Депардьё, Киану Ривз и т. д.), «по кинокомпаниям» («Pugamid Home Video», «Мост-видео», «Премьер видеофильм» и др.).

Мало помогает и система поиска. Я поставил в поисковое окошечко «Гражданин Кейн», и, просеяв почти шесть сотен названий, компьютер выдал мне название фильма, снятого в 1999 году в США и, естественно, никакого отношения к фильму Уэллса не имеющего. Больше повезло «Касабланке», этот фильм нашелся, но размещался он в разделе каталога, который назывался «криминально-гангстерская мелодрама», — в каком угодно разделе мог я искать этот фильм, но только не под таким убудочным наименованием. Имя Довженко, поставленное в «Поиск», вывело на экран несколько названий фильмов, выпущенных Киностудией имени Довженко, никакого другого повода вспомнить имя мастера у сайта не нашлось. Ну и так далее.

И не сказать, что у нас зритель совершенно не отличает собственно кино от техноимитаций: я скачал себе итоги проведенного на сайте рейтинга «Золотая дюжина» (еще один домодельный социологический замер культурного уровня нашего зрителя). Результат опроса: 1. «Пролетая над гнездом кукушки», 2. «Храброе сердце» (США), 3. «Леон» (Франция), 4. Серия: «Индиана Джонс», 5. «Схватка» (США), 6. «Гордость и предубеждение. Джейн Остин» (США), 7. «Король-рыбак» (США), 8. «Форрест Гамп» (США), 9. «Достучаться до небес», 10. «Тайна заговора» (США), 11. «Черная кошка, белый кот» (Югославия), 12. «Чужие» (США). Вполне приличный список. Могло быть хуже. А тут четыре по крайней мере хороших фильма, а один очень даже хороший («Черная кошка, белый кот» Кустурицы).

Я продолжил свои поиски на других киносайтах, попавших в рейтинговый каталог Инфоарта, и нашел: сайт **КиноИзм** (<http://www.zhurnal.ru/kinoizm/>). «Ежедневно обновляемый сетевой ресурс о современном кинематографе появился как раздел безызвестного «Журнала.Ру» в 1997 году и к 2000-му стал... одним из крупнейших некоммерческих проектов в российской Сети», здесь помещаются статьи, обзоры новинок кино, обзоры выходящих видеокассет и так далее. Плюс здесь же вывешен целиком журнал «**Киносценарии**» (<http://www.zhurnal.ru/kinoizm/kinoscenarii/00025/index.html>). Составители сайта, не оглядываясь на нужды видеорынка, представляют здесь кино как искусство, а не как товар. Одна из самых полезных страниц — страница ссылок на другие, родственные «КиноИзму», сайты. Их аннотированный список составила Мила Розанова. Вот только несколько позиций этого списка:

«Одним из лучших отечественных сайтов про кино можно назвать **Kinno Net** (<http://www.kinno.net/>). Независимый журнал, состоящий из разнообразных разделов, среди которых толковые обзоры не только новинок, но и давно выпущенных хороших фильмов, постоянно обновляемые новости и прекрасная телепрограмма, где перечисляются самые стоящие картины недели.

**Кино** (<http://www.volovik.com/kino.htm>) — страничка, похожая на **КинноНет** своей „независимостью” и широким подбором рецензируемых картин. Иногда в виртуальном журнале появляются обзоры от одного из авторов вышеупомянутого **КинноНет** известного журналиста Сергея Кузнецова. В **Кино** существует специальный раздел, посвященный ВГИКу, где учится друг и отчасти вдохновитель „КиноИзма” — Ким Белов.

Настоящим синефилам можно посоветовать посетить долгожданный сайт известного журнала „**Искусство кино**” (<http://www.kinoart.ru/>). Серьезные критики анализируют фильмы, заслуживающие, как им кажется, наибольшего внимания.

Еще одно серьезное издание — **Кинозал** ([http://www.agama.ru/r\\_club/cinema/](http://www.agama.ru/r_club/cinema/)). „Кинематограф не развлечение, а сложная наука”, — вот девиз этой страницы, где вы сможете найти очень большую базу данных разнообразных советских/российских фильмов, а также избранные статьи из „Периодики” (<http://www.zhurnal.ru/kinoizm/links.htm>).

Поставив в свое «Избранное» ссылку вот на эту страницу «КиноИзма», я решил, что нашел что хотел: и киносайты-поводыри, и богатые Интернет-магазины видеофильмов.

Составляя этот сугубо информационный обзор, на сладкое я решил оставить себе прогулку по разного рода музейным сайтам. Но не получилось. Все время, отведенное для этого, ушло на знакомство только с одним сайтом «Музеи России». Открытая мной на этом сайте страница «Оглавление» выглядела совершенно неправдоподобно: здесь значились имена сорока (!) музеев: от Третьяковской галереи до Музея хлеба, Музея парусных судов и Музея мошенничества. При более близком знакомстве оказалось, что и в этом списке их гораздо больше: скажем, строка в списке «Литературные музеи города Орла» ([http://www.museum.ru/museum/lit\\_oryol/](http://www.museum.ru/museum/lit_oryol/)) содержала выход еще на семь музеев: Государственный Литературный музей И. С. Тургенева, Музей-усадьба «Спасское-Лутовиново», Музей писателей-орловцев, Дом Т. Н. Грановского, Дом-музей Н. С. Лескова, Музей Л. Н. Андреева, Музей И. А. Бунина.

Плюс тут же на странице «Оглавление» значилось: журнал «Мир музея» и «Курьер Российской академии наук», «Музейные карты» Москвы и Петербурга, «Зарубежные музеи» и т. д., и т. д.

Иными словами, я оказался не на сайте какого-то музея, а на богатейшем музейном сервере, открывающем доступ в целый мир. Перечисление возможностей, которые дает этот сервер, заняло бы, наверно, объем всего моего обзора, поэтому ограничусь несколькими ссылками и их кратким описанием.

Итак, вот выборка из списка музеев, выставленных в «Оглавлении» сервера [museum.ru](http://www.museum.ru):

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (<http://www.museum.ru/gmii/>);

Третьяковская галерея (<http://www.museum.ru/tretyakov/>);

Музей-заповедник «Коломенское» (<http://www.museum.ru/kolomen/>);

Государственный музей А. С. Пушкина (<http://www.museum.ru/pushkin/>);

Музей музыкальной культуры имени Глинки (<http://www.museum.ru/glinka/>);

Музей творчества В. В. Маяковского (<http://www.museum.ru/majakovskiy/>);

Музей истории города Москвы (<http://www.museum.ru/moscow/>);

Музей-усадьба Архангельское (<http://www.museum.ru/archang/>);

Музей-усадьба Останкино (<http://www.museum.ru/museum/ostankino/>);

Музей Анны Ахматовой (<http://www.museum.ru/museum/akhmatova/>);

Историко-краеведческие музеи Иваново (<http://www.museum.ru/museum/ivanovo/>);

Литературные музеи города Орла ([http://www.museum.ru/museum/lit\\_oryol/](http://www.museum.ru/museum/lit_oryol/));

Рязанский художественный музей (<http://www.museum.ru/museum/rzmuz/>);

1812 год (<http://www.museum.ru/museum/1812/>);

Музей-усадьба Мураново (<http://www.museum.ru/museum/muranovo/>);

Музей-усадьба Поленово (<http://www.museum.ru/museum/polenovo/>);

Палех (<http://www.museum.ru/palekh/>).

Как можно заключить из адресов этих музейных сайтов, пред нами отнюдь не страничка-каталог музейных сайтов в Интернете — все представленное лежит на одном сервере. И это вовсе не короткие справки о музеях. Я зашел в несколько сайтов, и каждый из них производил впечатление полноценного, с богатым и разнообразным содержанием. Вот, скажем, только перечень разделов сайта Третьяковской галереи: «Общие сведения», «Информация», «Отделы», «История», «Шедевры», «Экспозиция», «Выставки», «Издания», «Услуги», «События», «Поиск». Открыв первую страницу «Экспозиции», я увидел перечень основных экспозиционных разделов галереи (и на этой же странице ссылки на отдельные сайты экспозиции в залах на Крымском валу, музеев В. М. Васнецова, П. Д. Корина, А. С. Голубкиной, Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионова). В самом конце страницы — стрелка с надписью «В залы экспозиции», щелкнув на которую я получил на экране список художников, чьи картины экспонируются в первом зале галереи. Тут же на странице слева план залов двух этажей галереи, щелкнув на любой из залов, нарисованных на

схеме, вы получаете список представленных здесь художников. Увы, художников, а не картин. Но я легко могу вообразить, сколько «весил» бы для пользователя, заказывающего три минуты через телефонную линию одно изображение, сайт, начиненный репродукциями пусть не всей, пусть только одной десятой коллекции Третьяковки. Увы, технические возможности Интернета, какими бы удивительными они ни казались, пока не безграничны. Но для меня и того, что предоставляет сайт Третьяковки в таком виде, вполне достаточно. Картины же на этом сайте лучше всего смотреть со страницы «Шедевры» (<http://www.tretyakov.ru/russian/Masterpieces/Master.htm>) — это своеобразная визитная карточка галереи, избранные репродукции лучшего, что в ней есть. От картин Семена Щедрина и Саврасова до Кустодиева, Фалька, Никонова, Попкова. Избранное, составленное, на мой взгляд, со вкусом, умело сочетающее известные работы с работами, скажем так, не замылившими глаз тысячами репродукций. Действительно, это проблема: вы открываете любой альбом, посвященный Третьяковской галерее, и уже заранее знаете как минимум половину того, что увидите в альбоме («Три богатыря», «Незнакомка», «Бурлаки на Волге», «Грачи прилетели»), ну а как обойтись, представляя галерею, без шедевра Саврасова или без Репина. И в то же время действительно богатейшая галерея — именно это показывает подбор работ на странице «Шедевры».

На прощанье я заглянул на поисковые страницы сервера, в раздел «Музеи мира», и обнаружил там список ведущих музеев Европы и Америки — быстро и легко открылись титульные страницы Прадо, Лувра, Национального музея Швеции, Национального музея американского искусства. Замечательные сайты, сделаны не хуже, чем наша виртуальная Третьяковка, только, к сожалению, культурный уровень наших зарубежных коллег оказался, увы, не настолько высок, чтобы озаботиться оформлением своих страниц еще и на русском языке. Но, даст бог, еще дозреют.

В качестве резюме: если в поисках киносайта мне пришлось довольно долго побродить по Интернету, то в поисках интересных музейных сайтов мне, повторяю, так и не понадобилось выйти за пределы сервера (если не считать европейских и американских музеев и галерей) **Музеи России**. Очень советовал бы сбросить к себе в «Избранное» ссылку на этот сайт.

Ну а что касается современного изобразительного искусства, то здесь пока самым удобным, на мой взгляд, остается «Центр современного искусства Сороса» (<http://www.sccamoscw.ru/index.html>). В его разделе «Art Diary» (<http://www.sccamoscw.ru/infocenter/artdiary/gallery0.htm>) помещена информация о московских галереях, выставочных залах, музеях, информационных артресурсах, включая адресный справочник, описание деятельности, архив выставок (1998 год) со ссылками на статьи в прессе и визуальную документацию. Я прогнал в специальном окошке ленту с названиями ведущих современных галерей и выставочных залов — надо сказать, список солидный. Главная же ценность этого сайта — персональные страницы двух сотен современных художников и арткритиков. Каждый представлен развернутой справкой, списками работ и выставок, выдержками из текстов и, естественно, картинами. Все это помещается в разделе «Персоналии» <http://www.sccamoscw.ru/infocenter/artists/middle.htm>.

Разумеется, предпринятая в этом обзоре прогулка по сайтам, посвященным культуре, и небольшое собрание их адресов не в состоянии дать представление о «культурном ландшафте» русского Интернета целиком. Слишком он обширен. Моя задача была скромнее — обозначить хотя бы некоторые ориентиры для читателей нашего журнала.



---

---

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## ПОДТАСОВКА

**В** девятом номере журнала «Новый мир» за 2000 год опубликована статья «Подстановка», в которой Н. Иванова обвиняет меня в мщении Ахматовой, зависти к Бродскому, «нотах торжествующего уличения, преследования, чуть ли не уголовного дела», пишет: «Что же „шьет“ бедной „Анне Андреевне“, не в добрый час попавшейся под руку, Александр Семенович?», «моралист Кушнер», «свечку держал» в «опочивальне» Ахматовой и т. д.

Отвечать Ивановой никогда бы не стал, обращаюсь не к ней, а к тому читателю, который мог прочесть ее статью, но не читал моего эссе во втором номере журнала. При этом понимаю, что по существу проблемы, рассмотренной в моем эссе «Анна Андреевна и Анна Аркадьевна», сейчас подробно говорить нет никакой возможности: для этого я должен был бы повторить все, написанное мной, слово в слово. В том числе опять сказать о том, каким событием русской жизни оказался роман Толстого «Анна Каренина», все его творчество, жизнь, философия. И как бы резко ни отзывалась Ахматова о Толстом — его влияние очевидно: тема любовного бреда и предсмертного кошмара, мечта о собственной смерти как наказании для провинившегося возлюбленного, мотив самоубийства («Да лучше б я повесилась вчера / Или под поезд бросилась сегодня»), «прозы пристальной крупницы», «зревшие» в ее стихах, о чем писали все исследователи ее творчества (В. Жирмунский, Б. Эйхенбаум, В. Виноградов, Л. Гинзбург). И не только стихи — в прозаических записках имя Толстого встречается у нее чаще других, и факты собственной биографии сопоставляются с жизнью Толстого: «Я родилась в один год с... „Крейцеровой сонатой“ Толстого». И не только собственное имя Анна имело для нее в этом смысле значение, она и сына назвала Львом (Лев Николаевич). И всей своей жизнью, поэтическим трудом и славой спорила с толстовским взглядом на женщину, стремилась взять реванш за унижение и катастрофу толстовской героини. Повторю одну фразу из своего эссе: «Разгадываем кроссворд: самая знаменитая русская женщина XIX века (слово из восьми букв)? Каренина. XX-го? Ахматова».

Сопоставляя некоторые черты Ахматовой и Анны Карениной, я рассчитывал на читателя, знающего разницу между эссеистикой и научным исследованием, понимающего, что кроме предложенного существует множество других ракурсов, в которых можно рассмотреть поэта Анну Ахматову. Еще мне важно было сказать, что в этом споре с Толстым были не только победы, но и поражения — и это «поражение» для меня связано с ее поздней лирикой.

«Преодолевшая символизм в начале своего блистательного пути, она под занавес „впала“ в него, как „в ересь“, — и многие поздние ее стихи утратили былую точность очертаний, страшно расплывлись, расплылись, страдают водянкой, их и впрямь загубило „величие замысла“<sup>1</sup>. Я пишу о том, что «и жизнь обставлялась по тем же символистским канонам — театрализованная, рассчитанная на поклонение, рыцарское служение прекрасной даме и т. д.».

Не вижу здесь ничего оскорбительного для памяти Ахматовой. Нет здесь и поношения мертвых, умаления достоинства умерших. «Ахматова отстаивала достоинство ушедших. Биографии тех, кого помнила и знала, защищала от искажений и посягательств», — пишет Иванова. Позволю себе привести здесь несколько строк из «Поэмы без героя»:

---

<sup>1</sup> Читателю Ю. Лободу (см. его письмо в редакцию в № 8 журнала за 2000 год) эта «параллель между „отяжелевшей“ поздней лирикой Ахматовой... и физическим ее обликом в старости» не понравилась — и я принимаю этот упрек.

Маска это, череп, лицо ли —  
 Выражение злобной боли,  
 Что лишь Гойя мог передать.  
 Общий баловень и насмешник,  
 Перед ним самый смрадный грешник  
 Воплощенная благодать.

Это Михаил Кузмин, умерший в 1936 году, в забвении и бедности, один из самых пленительных наших поэтов, для многих, любящих стихи и живущих ими, в том числе и для меня, значащий не меньше, чем Ахматова... не мешало бы Ивановой немножко задуматься, умерить обличительный пафос и пыл.

«Преследовать» Ахматову, «шить» «уголовное дело»? Такие слова подсказать критику могло только нездоровое воображение. И обращение к Фрейдю, который несколько раз упомянут в статье, скорей всего, навеяно ей какими-то собственными мотивами. И Мандельштама, к сведению Ивановой, я защищал в журнале «Арион» именно потому, что в мемуарах, опубликованных в журнале «Знамя», он выведен как сексуальный маньяк и садист.

Кстати сказать, в своем эссе я не прибегаю ни к каким свидетельствам очевидцев, ни к каким разговорам, пересудам и сплетням по поводу Ахматовой, — все мои наблюдения строятся на ее стихах и прозе — и только на них! Иванова, по-видимому, считает, что можно читать стихи и не вдумываться в их смысл, не обращать внимания на даты под стихами, ставить перед глазами некий заслон, дальше которого мысль не должна идти. Я так читать стихи не умею.

Теперь о «мщении». Иванова уверена, что я мщу Ахматовой (признаюсь, это слово в отношении Ахматовой кажется мне не столько чудовищным, сколько смешным), потому что «сам Кушнер к Ахматовой особо приближен, как известно, не был». О, эта придворная, имперская лексика и идеология! Именно с ней я и спорю, считая ее недостойной «песенного» дара Ахматовой, и в своем эссе пишу: «Мне, пришедшему к Ахматовой впервые в 1961 году и затем видевшему ее еще несколько раз, благоговешному перед ней так, что я почти терял дар речи, казалось непросчительным отнимать у нее время. Не думаю, что мое общество было бы для нее интересно и сегодня, а тогда — тем более». Но Ивановой мерещится темная и мстительная подоплата. И дальше я пишу: «Но вот что, наверное, следует добавить: постепенно я понял, почему некоторые старые друзья, любившие Анну Андреевну и испытывавшие к ней глубочайшее уважение, все реже бывали у нее». «Кто эти „друзья“, интересно бы знать их свидетельства», — замечает Иванова, обвиняя меня, по-видимому, во лжи. Могу назвать их: это Л. Я. Гинзбург, Б. Я. Бухштаб, Н. Я. Мандельштам.

«Ни одного доброго слова», — пишет Иванова о моем отношении к стихам поздней Ахматовой — и в подтверждение этого приводит мои слова: «Больше всего умиляет стиль — не то докладной записки, не то правительственного указа». Сейчас покажу, как Иванова совершает подлог. Мне придется привести соответствующее место из своего эссе целиком: «В мемуарном сочинении, опубликованном в журнале „Октябрь“ (1997, № 8. — А. К.), рассказано: „У Ахматовой было индивидуальное отношение к каждому из нас. Например, к Бобышеву, Бродскому и мне, удостоенным „Роз“ — „Пятой“, „Последней“ и „Запретной“ (с вариациями в „Небывшей“), более личное, чем к Рейну“. Бедный Рейн! По-видимому, природный здравый смысл и неповоротливость выталкивали его из этого хоровода. Но больше всего умиляет стиль — не то докладной записки, не то правительственного указа: „удостоенным роз“... пятой степени, последней, запретной...» Речь, как видит читатель, идет о мемуаристе, его способе строить фразу.

Вот еще один пример подтасовки: «Двух — из четырех — он называет: это бесцветный для Кушнера Бобышев и снисходительно помилованный Кушнером Рейн». У меня язык бы не повернулся сказать о поэте, давнем моем приятеле Бобышеве «бесцветный». Это слово Ивановой, и пусть она сама за него отвечает. «Снисходительно помилованный Рейн» — опять самодержавная лексика, не имеющая отношения ни ко мне, ни к любимому мной поэту Е. Рейну! Так проговаривается Иванова на каждом шагу: советский, имперский стиль; новые времена, возможно, изменили содержание ее статей (она, например, сообщает читателю, в каком наряде пишет свою статью: «Данные строки я пишу, одетая в черный бархатный костюм...» — дан-



ные строки, одетая ...ну что за прелесть!), но модальность осталась прежней. Стоит к ней прислушаться: «Кушнер, правда, идет намного дальше Кузнецова... дальше Б. Эйхенбаума (книгу которого — 1923 года — Ахматова назвала бесстыдной), дальше В. Перцова, объявившего в 1925 году: „Мы не можем сочувствовать женщине, которая не знала, когда ей умереть“, дальше многих и многих западных „исследователей“ и славистов... (на другой странице Иванова ругает А. Жолковского. — А. К.)... собственно, заходит туда, куда уж его никак не приглашала „Анна Андреевна“, — в спальню, и заводит туда же новомирского читателя».

Для Ивановой нет разницы между Перцовым и Эйхенбаумом, между Ю. Кузнецовым и А. Жолковским, обо мне же и говорить нечего — хуже и страшнее всех! Даже западных славистов. Враг народа.

Интересно, читала ли Иванова статью Ахматовой «Александрина»? Уж не приглашала ли Ахматова читателя в пушкинскую спальню?

И все потому, что я посмел обратить внимание на дату под стихотворением «Мы до того отравлены друг другом...» и задуматься над тем, почему любовь в нем названа «черным унижительным недугом», «преступлением», превышающим «все-высшее терпенье», «адским водоемом», — и сказать, что мне оно не нравится, и не потому, что откровенно, а потому, что «черный унижительный недуг» в нем перемешан со святостью («Ее несем мы, как святой вериги»), потому что любовное чувство в нем упивается своею исключительностью, а в соседних стихах похоже на поэтический флирт.

«Существует зафиксированный в мемуарах С. Липкина ахматовский отзыв о молодом поэте (догадаться нетрудно, о ком идет речь): „Изящен, но мелок“», — сообщает Иванова — и на этом основании строит концепцию страшной мести. Книги Липкина я не читал, но Л. К. Чуковской записано другое, более лестное высказывание о молодом поэте. Не знаю, к какому году относится запись, сделанная Липкиным. Он, очень крупный эпический поэт, запомнил этот отзыв, — одно мне не ясно: откуда он тогда знал обо мне? У меня в то время была одна книга «Первое впечатление», и вышла-то она в Ленинграде, и мало кому я был известен: совсем другие молодые поэты занимали в те годы общественное внимание. А по существу высказывания скажу следующее: наверное, так оно и есть, наверное, мелкие стихи: «Фонтан», «Графин», «Стакан», «Над микроскопом», «Воздухоплавательный парк», «Вводные слова», «Два мальчика», «Прозаик прозу долго пишет...», «Комната», «Телефонный звонок и дверной...», «Расставанья, расстаянья, письма, залы ожидания...», «Разлуки наши долгие и трудней...», «В защиту сентиментализма», «Душа — таинственный предмет...». Да простит мне читатель этот длинный перечень, я никак не хочу и не смею сравнивать свои ранние стихи с ахматовскими, хочу сказать с его помощью только одно: первая книга Ахматовой «Вечер» состояла из стихов ничуть не более «крупных», «масштабных», «общезначимых», не знаю, какое еще тут выбрать подходящее слово: «И мальчик, что играет на волынке...», «Как соломинкой, пьешь мою душу...», «Песенка», «Маскарад в парке», «Сероглазый король», «Алиса», «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Вечерняя комната», «По аллее проводят лошадок...», «Мурка, не ходи, там суч...»... Может быть, требованиям масштабности больше соответствует стихотворение «Муж хлестал меня узорчатым, / Вдвое сложенным ремнем...»? Не знаю. Если же говорить серьезно (и тут я защищаю не столько себя, сколько раннюю Ахматову, и не только раннюю), всю жизнь ей вменяли в вину «камерность и мелкотемье» — и, возможно, к концу жизни она настолько устала от этих выпадов, что незаметно для себя усвоила кое-что из варварских упреков, не имеющих к поэзии никакого отношения. К этому и сводится, если говорить всерьез, мой спор с поздней Ахматовой, когда я замечаю, что ее стихи «утратили быструю точность очертаний». И когда я пишу о них: «А те, что сохраняют предметность, нестерпимо красивы» («Мы с тобой в Адажио Вивальди / Встретимся опять... Снова свечи станут тускло-желты...») и спрашиваю: «Какие свечи, откуда? И в филармонии, и по всей стране, и в Комарове горело электричество», когда привожу еще две строки: «Протекут в немом смертельном стоне / Эти полчаса...» и добавляю: «Как принято нынче говорить: без комментариев!», имея в виду, что меньше всего музыка Вивальди похожа на «немой смертельный стон», что тогда всю музыку, кроме вокальной, надо назвать немой, — не моя вина, если неточные, слишком приблизительные стихи могут показаться двусмысленными.

И в те далекие годы, и сегодня твержу как заклинание волшебные пастернаковские строки: «...Кому ничто не мелко, / Кто погружен в отделку / Кленового листа... Ты спросишь, кто велит?/ — Всесильный бог деталей, / Всесильный бог любви, / Ягайлов и Ядвиг».

«Блоку мешал писать Лев Толстой. А Кушнеру мешает не столько Анна Ахматова (не она — главная цель и мишень статьи, хотя и она — тоже), а еще мешают те, кого он пренебрежительно относит к *друзьям Ахматовой*».

Что это, глупость? Может быть. Как и почему мне может мешать писать стихи Ахматова? Кого я *пренебрежительно* отношу к ее друзьям? Может быть, Лидию Гинзбург или Лидию Чуковскую? Оказывается, Иванова имеет в виду Бобышева, Рейна, Наймана и Бродского! Так это они мне мешают писать стихи, как Блоку Лев Толстой?

«Не уязвлен ли — сильнее всего — Кушнер четвертым: Иосифом Бродским, которого „Анна Андреевна“ оценила и благословила, которого любила и которому благоволила?» Ни первым, ни вторым, ни третьим, ни четвертым! Нет такого поэта, с которым я хотел бы поменяться стихами или судьбой. В моем эссе «У Ахматовой», опубликованном в книге «Аполлон в снегу», приведены записанные мной слова Ахматовой о Бродском: «Сейчас Москву пробил Бродский. Я ему сказала, что не могла о нем забыть хотя бы потому, что каждый день у меня спрашивали о нем. Его сейчас вознесет большая волна. Ну что ж, он, по крайней мере, заслужил это больше, чем другие. Безусловно». И в следующей фразе я пишу: «Бродского А. А. любила и отмечала больше всех».

Увы, у нас принято строить поэтов парами, как в детском саду: Пушкин и Лермонтов, Некрасов и Фет, Блок и Гумилев, Пастернак и Мандельштам, Ахматова и Цветаева — и побивать одного другим.

И последнее. Без Ахматовой я не представляю не только русской поэзии, но и своего скромного участия в ней. О своей любви к поэзии Ахматовой я писал не только в стихах, ей посвященных, но, можно сказать, всеми своими стихами (если бы Иванова была способна их прочесть, она бы своей статьи не писала!) и во множестве статей, назову хотя бы еще две: «Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лиры» (1988), где впервые сравнил ее с Анной Карениной, имея в виду, что в XX веке наши лучшие поэты в определенном смысле заменили нам литературных героев, и эссе «Поэтическое восприятие мира» (1989), где, между прочим, сказано:

«Вижу выцветший флаг над таможей...

Еще струится холодок,  
Но с парников снята рогожа...

На взбухших ветках лопаются сливы,  
И травы легшие гниют...

Эти ахматовские проходные приметы, вскользь оброненные замечания даются таким напряжением не столько зрения, сколько души, что даже у нее в поздних стихах встречаются все реже: на них уже не хватало сил. Между тем в поэтах ходят люди, ни разу в жизни не поднявшиеся до такой зоркости и точности, для них это, видите ли, слишком мелко, их дух парит в эмпиреях, снабжая нас слепорожденными банальностями. На самом деле эти поэты ничем не отличаются от кисейных барышень и томных дам, такими же слепыми глазами читающих ахматовскую лирику, которая для них вся сводится к страстным признаниям и жалобам женского истрадавшегося сердца, что к поэзии не имеет отношения».

Александр КУШНЕР.

С.-Петербург.

*От редакции.* Этой публикацией мы намерены завершить дискуссию вокруг эссе Александра Кушнера «Анна Андреевна и Анна Аркадьевна» («Новый мир», 2000, № 2).

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

## КНИГИ



**Михаил Айзенберг.** За Красными воротами. Стихи 1997 — 1999 гг. М., ОГИ, 2000, 56 стр.

Книга вышла в поэтической серии нового московского издательства «Проект ОГИ», аббревиатура ОГИ расшифровывается как Объединенное гуманитарное издательство. Тип издания напоминает поэтические сборники петербургского издательства «Пушкинский фонд», но в отличие от питерского коллеги, ориентированного преимущественно на издание «микроизбранного», так сказать, «визитных карточек» современных поэтов, ОГИ намерено представлять современных поэтов в их сегодняшнем состоянии.

**Юлий Гуголев.** Полное собрание сочинений. М., ОГИ, 2000, 80 стр.

Самый толстый из сборников, вышедших в поэтической серии «Клуба ОГИ»: «Юлий Гуголев, иуда, / подпоив себя слегка, / ты на жизнь глядишь не строго, / и на женщин не глядишь, / ты идешь вдоль Голливуда, / ты идешь издалека, / наступая на Армстронга, / так, поглядываешь лишь / — вон на эту негритянку, / и на эту, и на ту...»

**Бахыт Кенжеев.** Снятая под утро. М., ОГИ, 2000, 64 стр.

Новая книга стихов известного поэта.

**Тимур Кибиров.** Юбилей лирического героя. М., ОГИ, 2000, 48 стр.

Три новых стихотворных цикла известного поэта: «По прочтении альманаха „Россия-Russia“», «SFIGA», «Юбилей лирического героя».

**Хуго Лёчер.** Ной. Роман об экономическом чуде. Перевод с немецкого В. Сидельникова. М., «Текст», 2000, 219 стр., 5000 экз.

Первое знакомство русского читателя с одним из ведущих современных писателей Швейцарии. Жанр романа «Ной» можно было бы определить как ироническую философскую притчу — библейский сюжет строительства ковчега использован здесь для сатирического комментария современной европейской действительности.

**Марина Палей.** Long Distance, или Славянский акцент. Повести. Трилогия. Сценарные имитации. М., «Вагриус», 2000, 412 стр., 5000 экз.

Третья книга прозы писательницы, представляющая ее известную трилогию (повести «Поминование», «Евгеша и Аннушка», «Кабиря с Обводного канала») и новую — и по стилистике, и по задействованному жизненному материалу — прозу сегодняшней Палей «Long Distance, или Славянский акцент» (первая публикация — в «Новом мире», 1999, № 1 — 5).

**Петер Хандке.** Медленное возвращение домой. Роман, перевод с немецкого М. Кореновой. СПб., «Азбука», 2000, 208 стр., 8000 экз.

Вторая книга знаменитого австрийца на русском языке, первая — «Повести» (М., «Прогресс», 1980) — была составлена из произведений, принесших Хандке мировую славу: «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», «Короткое письмо к долгому прощанию» и «Нет желаний — нет счастья». Изданный «Азбукой» роман — своего рода эксперимент Хандке: «образец той идеальной „универсальной“ поэзии», в которой «должны сниматься границы между отдельными художественными формами, между поэзией и живописью, прозой и философией... реальностью и вымыслом...»

**Лариса Шульман.** Чего уж там... Повести и рассказы. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 364 стр.

Проза современного писателя, чья стилистика органично сочетает экспрессивность современной городской прозы с архаикой народного сказа, жесткое бытописание с ироничной имитацией формы научной монографии. Книгу составили четыре прозаических цикла: «Блаженные картинки XX века — бредовые картинки XX века», «Северные рассказы», «Прозрачные миры», «Из жизни дворников».

**Альманах дада.** Переводы с немецкого и французского М. Изюмской и М. Головановской. Статья, комментарий, биографический указатель М. Изюмской. Общая редакция С. Кудрявцева. М., «Гилея», 2000, 206 стр., 1500 экз.

Впервые на русском языке знаменитый альманах, художественный манифест европейского движения дада. Содержит важнейшие программные, критические, литературные тексты участников движения. Вышедший в 1920 году «Альманах» должен был подвести итог четырехлетней истории существования дада в искусстве. «Эта книга — собрание документов из жизни дадаистов, она не представляет собой теории. Она повествует о дадаистском человеке, но не воспроизводит какой-то тип, она описывает, она не исследует» (из предисловия редактора, составителя альманаха 1920 года Рихарда Хюльзенбека).

**Г. Г. Амелин, В. Я. Мордерер.** Миры и столкновения Осипа Мандельштама. М., «Языки русской культуры», 2000, 320 стр.

Книга о поэтике Мандельштама и шире — об эстетике серебряного века, которые здесь можно рассматривать еще и как повод для обращения авторов к эстетике русской литературы и культуры через «языковые игры», или, если так можно выразиться, через «бродячие сюжеты», через под- или вполне сознательно выхлестнувшиеся в слове или образе блуждающие в творчестве многих русских писателей мотивы (скажем, «мотив обезьяны» — от Пушкина до Мандельштама, Ходасевича, Пастернака). Пользуясь классификацией тенденций современной филологии, предложенной в предисловии к этой книге философом А. Пятигорским, ее авторов следует отнести к «филологическим интуитивистам» (этот ряд включает в себя еще и «историософов от себя» и «классиков»), — использованное здесь слово «интуитивисты» не должно вводить читателя в заблуждение, так как свои интуиции авторы прорабатывают на реальном материале с предельной тщательностью.

**Кирилл Кобрин.** Описания и рассуждения. Книга эссе. М., Модест Колеров и «Дом интеллектуальной книги», 2000, 160 стр., 1000 экз.

«Собранные под этой обложкой эссе были написаны (за небольшим исключением) с 1995-го по 2000 год: время, когда многое стало ясно. Книга начинается текстом о «словах и вещах» в истории (с маленькой буквы, в моей личной истории), а заканчивается текстом о «душе» и об Истории (с большой буквы)... В книге множество персонажей; несмотря на то, что я о них написал, я их всех люблю» (из авторского предисловия). Среди персонажей книги: сороковой автобус в Нижнем Новгороде, Астольф де Кюстин, Владимир Печерин, Джеймс Джойс, «Манифест Коммунистической партии», Александр Пятигорский и «боящиеся вольных каменщиков», Лев Выготский, футбол, порнография, Фома Аквинский и другие.

**Мераб Мамардашвили.** Эстетика мышления. М., «Московская школа политических исследований», 2000, 416 стр., 5000 экз.

Курс лекций, прочитанный философом в 1986 — 1987 годах в Тбилисском университете, — итоговый, последний лекционный курс (известны: лекционные курсы о Декарте, Канте, Прусте, античной философии, современной философии). Издание подготовлено под руководством Ю. П. Сенокосова на основе магнитофонных записей (кассеты с записью Мамардашвили пометил двумя буквами «БМ», то есть — Беседы о мышлении). При окончательном редактировании рукописи была сохранена устная интонация бесед, воспроизведены вопросы и реплики слушателей.

**Мир прозы Юрия Трифонова.** Сборник статей. Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2000, 197 стр., 300 экз.

Сборник составлен на основе работ участников I Международной конференции, посвященной творчеству Ю. В. Трифонова. Среди авторов статей Наталья Иванова, Норман Шнейдман, Валентин Оскоцкий, Татьяна Бек, Владимир Новиков, Андрей Немзер, Владимир Кардин, Леонид Бахнов.

**Соцреалистический канон.** Сборник статей под общей редакцией Х. Гюнтера и Е. Добренко. СПб., «Академический проект», 2000, 1040 стр., 2000 экз.

Великолепно изданный монументальнейший том, представляющий собой коллективную монографию — «проект описания соцреалистического канона»; плоды многолетнего труда международного научного коллектива, собравшего известных отечественных и зарубежных историков, литературоведов, культурологов. Среди авторов книги — Евгений Добренко, Кирилл Постоутенко, Галина Белая, Иван Есаулов, Борис Гройс,

Владимир Паперный, Игорь Голомшток, Михаил Рыклин, Ханс Гюнтер, Катерина Кларк, Томас Лахусен, Биргит Менцель. Изданию монографии предшествовала работа пяти научных конференций в Университете и Центре междисциплинарных исследований Билефельда (Германия) в 1994 — 1998 годах.

Из предисловия кураторов проекта: «В предлагаемом издании впервые предпринята попытка системного описания соцреалистического канона (прежде всего на материале литературы). Мы исходили из установки на сочетание историко-описательных и интерпретационных методов... соцреализм рассматривается как через категории само-описания, так и через понятия современного теоретического дискурса». Исследуются проблемы поэтики соцреализма, его истоки, взаимосвязь с авангардным и религиозным мировоззрениями, с идейными и художественными течениями начала XX века, история групп и борьба различных течений внутри соцреализма. Материал книги расположен в шести разделах: «Соцреализм как историко-культурный феномен», «У истоков соцреализма», «„Эстетический арсенал“ метода: категории соцреалистической критики», «„Дискурсионный арсенал“: соцреалистический текст и дискурс», «„Художественный арсенал“: мотивы и образы», «„Художественный арсенал“ метода: жанры».

**А. Р. Усманова.** Умберто Эко: парадоксы интерпретации. Минск, Издательство ЕГУ «ПроPILEи», 2000, 200 стр., 2000 экз.

Первая в отечественной литературе монография, посвященная самой интересной, пожалуй, стороне деятельности знаменитого семиотика, философа, медиевиста и писателя — его научным разработкам, связанным с «проблемами отношений между текстом и его читателем, интерпретаций и гиперинтерпретаций, иконическими кодами и визуальной коммуникацией».

Составитель **Сергей Костырко.**

## ПЕРИОДИКА



«Волга», «Вопросы литературы», «Время МН», «Вьшгород», «Даугава», «День и ночь», «День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Звезда», «Знамя», «Известия», «ИНДЕКС/Досье на цензуру», «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Коммерсантъ», «Кулиса НГ», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учеба», «Москва», «Московские новости», «НГ-Религии», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новый Журнал», «Общая газета», «Огонек», «Октябрь», «Playboy Россия», «Посев», «Пределы века», «Русский Журнал», «Субботник НГ», «Урал», «Уральская парадигма», «Фигуры и лица»

**Светлана Адоньева.** Культ Пушкина. — «Даугава», Рига, 2000, № 3.

Культ не в оценочном, но в терминологическом значении слова. Сложившаяся в 60-е годы *календарная ритуальная практика венцеровного поминания* Пушкина (Мойка, 12 и проч.). Пушкин в массовой оккультной практике (вызывание духа в первую очередь Пушкина и только во вторую — Ленина). Пушкинские дни 1937-го и 1999 годов. Пушкин как святыня атеистического государства.

См. также статью Ирины Сурат «Пушкинский юбилей как заклинение истории» («Новый мир», 2000, № 6).

**Борис Акунин.** *Table-talk* 1882 года. Рассказ. — «Playboy Россия», 2000, № 3, март.

«После кофе и ликеров заговорили о загадном...» Глянцевый Эраст Фандорин расследует жуткое убийство, не выходя из светской гостиной. См. также сайт Акунина в Сети: <http://www.akunin.ru>

**Валерий Алексин.** Вероятнее всего, «Курск» протаранила иностранная субмарина. Причины предыдущих катастроф советских подводных лодок никогда до конца не устранялись. — «Независимая газета», 2000, № 171, 12 сентября — № 172, 13 сентября. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Контр-адмирал запаса, бывший главный штурман ВМФ СССР и РФ В. И. Алексеев убедительно аргументирует версию столкновения «Курска» с американской АПЛ.

См. также статью Константина Черткова «У лжи плавники коротки. Новые подробности гибели атомохода „Курск”» («Литературная Россия», 2000, № 37, 15 сентября) о том, что «Курск» погиб будто бы в результате *торпедной атаки* иностранной подводной лодки.

**Леонид Амстиславский.** А дальше — «Матросская тишина». — «ИНДЕКС/Досье на цензуру». Инициатор издания — *Index on Censorship*. Учредитель издания — Фонд защиты гласности. Главный редактор Наум Ним. Редактор русского издания Елена Ознобкина. Тираж 2000 экз. № 10 (2000 г.). E-mail: [edit@index.org.ru](mailto:edit@index.org.ru)

Журнальный вариант. Полностью тюремные записки Л. Амстиславского (род. в 1947), задержанного в 1998 году по подозрению в хранении наркотика, можно прочитать на сайте правозащитного журнала «ИНДЕКС/Досье на цензуру» (в рубрике «От тюрьмы и сумы»): <http://index.org.ru>

**Мария Астафьева-Корякина.** Санитарка — звать Тамарка. Рассказ. — «День и ночь», Красноярск, 2000, № 1-2. Электронная версия: <http://www.krsk.ru/din>

О Марии Семеновне Корякиной и ее муже — Викторе Петровиче Астафьеве — см. статью Валентина Курбатова «Свеча, зажженная с двух концов» («Литературная Россия», 2000, № 34, 25 августа). См. также воспоминания Марии Астафьевой-Корякиной «Земная память и печаль» («День и ночь», 1997, № 1-2), «Душа хранит» («День и ночь», 1997, № 4).

**Вадим Баранов.** Путин и Горький. — «Субботник НГ», 2000, № 30, 2 сентября. Электронная версия: <http://saturday.ng.ru>

В рубрике «Почта» напечатано обращение доктора филологических наук Вадима Баранова к Президенту РФ о необходимости восстановления мемориальной доски в Горках, где жил и умер М. Горький, и вообще о необходимости отмечать его юбилей (в июне 2001 года исполнится 65 лет со дня смерти). С этим трудно не согласиться, но есть истораживающие моменты. Цитирую: «Речь можно теперь вести уже не о бездействии властей, а о вольном или невольном попустительстве нигилистическим, а то и вовсе экстремистским выступлениям, когда Горького объявляют писателем, „предавшим свой народ”, „положившим предательскую руку на плечи русской литературы”, с уверенностью заявляют, что он „принес вред русской культуре”. Последнее обвинение прозвучало совсем недавно, в июле с. г., вряд ли оно раздалось бы, если б раньше прозвучал звук молотка при водружении на законное место доски, которая „охраняется государством”. Я уже не говорю о том, какая была бы реакция, если б на торжестве „реабилитации” доски прозвучало слово Первого лица государства...»

Речь, видимо, идет о статье Тамары Дубинской-Джалиловой «Горький на службе у Сталина» («Литературная газета», 2000, № 30, 19 — 25 июля), которая опирается в своих суждениях на недавно введенную в оборот переписку М. Горького и И. В. Сталина (напечатана в двух номерах «Нового мира», 1997, № 9; 1998, № 9, и в «Новом литературном обозрении», 1999, № 40). Позволю себе немного здоровой демагогии. Неужели профессор Баранов предполагает, что возвращенная при гипотетическом участии Первого лица мемориальная доска заставила бы Дубинскую-Джалилову *изменить свой взгляд* на Горького? Или он надеется, что «Литературка» просто *отказала бы ей в публикации*? Должна ли власть, чтобы избежать упреков в *попустительстве*, принимать *меры* против лиц и органов печати, позволяющих себе «экстремистские» высказывания о Горьком? Вообще апелляция к Первому лицу в историко-литературных вопросах вызывает неприятные ассоциации. «Давно назрела пора для проведения *свободной* (курсив мой. — *А. В.*) творческой дискуссии „М. Горький на рубеже столетий”...» — заканчивает свое обращение В. Баранов. И тоже — при участии Первого лица?

Спор о Горьком продолжается: см. статью той же Т. Дубинской-Джалиловой «Не надо морщить лоб» («Независимая газета», 2000, № 175, 16 сентября), которая отвечает на статью того же В. Баранова «Как из Горького-„дипломата” сделали жесткого сталиниста» («Субботник НГ», 2000, № 23, 17 июня).

**Николай Большунов.** «Штрихофобия»: агония блефа и соблазны обскурантизма. — «Москва», 2000, № 8. Электронная версия: <http://www.moskva.cdru.com>  
В штрихкоде нет числа 666.

**Владимир Буковский.** Как завершить «холодную войну». — «Известия», 2000, № 157, 23 августа. Электронная версия: <http://www.izvestia.ru>

Известный правозащитник и политзаключенный, обмененный в свое время на Луиса Корвалана, не может себе представить, как можно судить Пиночета, не приняв во внимание фактов тайной агрессии против Чили со стороны СССР (иначе это будет не суд, а расправа).

См. также статью Стива Кангаса «Подлог» («Завтра», 2000, № 34, 22 августа) о том, что чилийский эксперимент, осуществленный тридцатью выпускниками Чикагского

университета при покровительстве Пиночета, будто бы привел, вопреки распространенным представлениям, к трагическому (для большинства чилийцев) *провалу* неолиберальной экономической модели.

**Василь Быков.** Пасхальное яичко. Рассказ. С белорусского перевел автор. — «Дружба народов», 2000, № 9. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/druzha>

Рассказ из послевоенной советской жизни.

**Владимир Васильев.** Век XI и век XX: два сюжета русской литературы. — «День и ночь», Красноярск, 2000, № 1-2.

Цикл агиографических сочинений об убиении Бориса и Глеба и рассказ Василия Шукшина «Сураз» (жизнеописания Святополка и шукшинского Спирьки восходят к архетипическому сюжету об Антихристе).

**Алексей Вдовин.** Миф Александра Грина. — «Урал», Екатеринбург, 2000, № 8. Электронная версия: <http://www.art.uralinfo.ru/literat/ural> или <http://www.infoart.ru/magazine/ural>

Александр Грин. Натаниэл Готорн. Сигизмунд Кржижановский.

**Рената Гальцева, Ирина Роднянская.** Рождение и пути идеологической политики. Споры о базисе идеологии. — «Посев», 2000, № 9, 10. Электронная версия: <http://www.webcenter.ru/~posevru>

Главы из книги «*Summa ideologiae*».

**Андрей Гамалов.** Душа все-таки есть. — «Огонек», 2000, № 29, август. Электронная версия: <http://www.ropnet.ru/ogonyok>

Психиатр Аркадий Корзенев из НИИ психоневрологии имени Бехтерева говорит, что «Пролетая над гнездом кукушки» — очень вредная книга и написал ее дурной человек, наркоман к тому же, а лоботомия — вовсе не то превращение в овощ, о котором поведали Кен Кизи и Милош Форман.

**Василий Голованов.** К развалинам Чевенгура. Новые Географические открытия. — «Общая газета», 2000, № 39, 28 сентября — 4 октября. Электронная версия: <http://www.og.ru>

Неутомимый путешественник (и хороший прозаик) Василий Голованов нашел место, где был поглощен степью платоновский Чевенгур. Карту Чевенгура нарисовал его спутник — художник Андрей Балдин.

**Вадим Горский.** Луи Армстронг еврейского разлива. Филерская запись разговоров Высоцкого. — «Урал», Екатеринбург, 2000, № 8.

«О том, что я „пишу“ Высоцкого, кроме пары заинтересованных лиц из КГБ знал и еще один человек: сам — сам! — Владимир [Высоцкий]», — сразу предупреждает нас В. Горский. «Очень похоже на мистификацию», — замечает по поводу этой странной и малоинтересной публикации Александр Агеев («Время МН», 2000, № 143, 2 сентября).

«Дабру змет» — «**Говорите правду!**». Перевод с английского Марии Табак. — «НГ-Религии», 2000, № 18, 27 сентября. Электронная версия: <http://religion.ng.ru>

Декларация равнинов и ученых из Европы, Америки и Израиля об отношении к христианству и христианам («Нью-Йорк таймс», 2000, 10 сентября). Декларация и обстоятельства ее появления проанализированы в статье Юрия Табака, напечатанной в этом же номере «НГ-Религии».

**Олег Дарк.** Письма темных людей — III. — «Кулиса НГ», 2000, №13, 22 сентября. Электронная версия: <http://curtain.ng.ru>

На этот раз — о Зуфаре Гарееве. Другие статьи О. Дарка о героях литературного андеграунда см. № 2 и 7 «Кулисы НГ» за 2000 год.

**Сергей Довлатов.** Девять писем Тамаре Уржумовой. Публикация Тамары Уржумовой. Вступительная заметка Андрея Арьева. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 8. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/zvezda>

Письма 1963 года из армии. Довлатов рекомендует корреспондентке, в частности, прочесть «Зависть» Олеши («Я не люблю эту книгу, но всем остальным она нравится»), а также раз в год перечитывать Куприна — «Бунина и Андреева после него можно уже не читать, хотя оба они мастера» (из письма от 1 июля 1963 года). Тут же к 10-летию со смерти Довлатова напечатаны статьи Петра Вайля «Бродский о Довлатове» и Лауры Сальмон «Наименее советский город в России: хронотоп довлатовских рассказов». Город — это Ленинград/Петербург.

**Юлий Дубов.** Теория катастроф. Повесть. — «Знамя», 2000, № 9. Сетевой журнал «Знамя»: <http://www.infoart.ru/magazine/znamia>

О романе Юлия Дубова «Большая пайка» см. обстоятельную рецензию А. Гаврилова в «Новом мире» (2000, № 9).

**Евгений Евтушенко.** Бессмертье — для матери слово пустое. Новые стихи. — «Литературная газета», 2000, № 34-35, 30 августа — 5 сентября. Электронная версия: <http://www.lgz.ru>

«Не получилось жизни советской, / ни новорусской — великосветской, / ни заграничной, как в Голливуде, / но, слава Богу, мы все-таки люди...»

«...За этими шутками стоят вполне серьезные проблемы». — «Вопросы литературы», 2000, № 4, июль — август. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/voplit>

Новые материалы о Льюисе Кэрролле. В частности, статья А. М. Рушайло «По следам Льюиса Кэрролла в России. Заметки библиофила» с постскриптумом Н. Демуровой.

**Мария Завьялова.** Это и есть гендерное литературоведение. Современная женская литература: поиски традиций и новых языков. — «Ex libris НГ», 2000, № 36, 21 сентября. Электронная версия: <http://exlibris.ng.ru>

Можно ли делить литературу на мужскую и женскую? Автор статьи считает, что не только можно, но и необходимо.

**Лола Звонарева.** Европа и Россия в 1920 году: взгляд Гиппиус и Мережковско-го. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 219 (июнь 2000 г.).

Омерзение, которое вызывает у меня слово *Мережковский*, не дает мне спокойно проаннотировать эту, видимо, содержательную статью.

**Сергей Земляной.** Право-консервативная нигдея. — «Русский Журнал» <<http://russ.ru>>

О феномене *идейной право-консервативной оппозиции в условиях советской власти*, каковым выступает загадочный, по мнению С. Земляного, написанный в тюрьме текст Павла Флоренского «Предполагаемое государственное устройство в будущем» (март 1933 года).

См. также письма Павла Флоренского к родным (1901 года) в нью-йоркском «Новом Журнале» (№ 219).

**Андрей Зорин.** Скудная история. — «Неприкосновенный запас», 2000, № 4 (12). Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/nz>

О Максиме Соколове: за здоровье, за упокой и всё невпопад. Сначала: «Социальная и культурная роль Максима Соколова была в начале 90-х не меньшей, чем та, которую сыграли в начале 60-х Солженицын, а в начале 70-х — Венедикт Ерофеев». Потом: «Каким образом этот великолепный индивидуалист мог превратиться в очередного Чаковского или Юрия Жукова?» Ну уж в Чаковского... Вот это, дети, и называется *пусть петуха*.

**Андрей Зубов.** Чему наследует современная Россия? Миссия русской эмиграции в начале XXI века. — «Независимая газета», 2000, № 173, 14 сентября.

О том, что монархию в России никто законным образом не отменял, и о вытекающих из этого правовых коллизиях А. Зубов уже писал в статьях «Обращение к русскому национальному правопорядку как нравственная необходимость и политическая цель» («Континент», № 92) и «Правовое преемство и правовая идентичность в сегодняшней России» («НГ-Сценарий», 1998, № 7). Несколько иной взгляд на проблему см. в статье С. В. Утехина «О правовой преемственности» («Посев», 2000, № 9).

**Вяч. Вс. Иванов.** «Я — за всемирное правительство умных людей». Беседу вел Игорь Шевелев. — «Время МН», 2000, № 138, 26 августа. Электронная версия: <http://www.vremyamn.ru>

«Я принадлежу к утопистам, которые надеются, что возможно решение не только проблем отдельных стран, но и глобальных проблем человечества... А для этого организовать мир как единое целое, создать мировое правительство... Говоря о председателях земного шара, Хлебников думал, что это должны быть люди мысли и культуры, а не профессиональные политики. Потому что естественное возражение, которое сразу возникает у разумного человека, следующее: если в любой стране правительство плохое, то зачем нам еще и мировое? Действительно, институт правительства плох. И не только у нас в стране. Американское делает не меньше плохого, и я даже не буду сравнивать, где хуже. Институт правительства плох в принципе... Никто еще не доказал, что правитель-



ство нужно. Так же, как никто не доказал, что нужен, например, суд. Есть целый ряд институтов, которые держатся *только потому* (курсив мой. — А. В.), что существуют много тысяч лет и люди не придумали ничего лучшего...»

А почему эти институты не исчезли за много тысяч лет? (Не в силу ли их общественной необходимости?) Почему не появилось ничего лучшего? «Так не придумали потому, что и не думали», — простодушно объясняет автор. Вообще предположение, что суд *придуман*, выявляет такие неожиданные особенности мировоззрения Вяч. Вс. Иванова, которые заставляют в дальнейшем относиться с осторожностью и к другим его суждениям по другим вопросам.

**Борис Кагарлицкий.** Война как орудие торга. — «Завтра», 2000, № 34, 22 августа. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

Убежденный отечественный социалист рекомендует: «Басаева можно официально вернуть в штат ГРУ, дав ему соответствующее звание (а если надо — выплатить пенсию по инвалидности). Масхадов сможет руководить Генеральным штабом гораздо лучше, нежели Квашнин. Мовлади Удугову надо поручить организацию спецпропаганды. Всех этих людей готовили в России. На них затрачены деньги советских и российских налогоплательщиков».

**Юрий Каграманов.** *Deutschstunde* для России. — «Посев», 2000, № 9, сентябрь. Немецкие уроки преодоления тоталитарного прошлого.

**Франц Кафка.** Сторож склепа. Пьеса. Перевод с немецкого и вступительная заметка Г. Ноткина. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 8.

Небольшая неоконченная пьеса.

**Кирилл Кобрин.** Письма в Кейптаун о русской поэзии. Письмо второе. — «Октябрь», 2000, № 8. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/October>

Владимир Салимон. Лев Лосев. Дарья Суховей. Филипп Минлос. Письмо первое см. в № 5 «Октябрь» за 2000 год.

**Кирилл Кобрин.** Морские мумии. — «Урал», Екатеринбург, 2000, № 8.

Морские мумии — это воблы. Какой русский не любит воблу? О бедности русской и английской.

**Андрей Ковалев.** Новый Карфаген. — «Русский Журнал». Адрес в Сети: <http://russ.ru/krug/kniga>

«Самое интересное, что можно извлечь из мемуаров нонконформистов шестидесятых, — фигура Иностранца», — отмечает Андрей Ковалев в открытом письме художнику Анатолию Брусилковскому, откликаясь таким образом на мемуарную книгу последнего «Время художников» (М., «Магазин искусства», 1999). «Так что когда-нибудь глава про этот период истории русского искусства будет называться „Искусство холодной войны“. Правда, потребуются некоторое мужество, чтобы признать этот факт и осознать, что наши ламентации похожи на раздоры, начавшиеся в пятой колонне в тот момент, когда Карфаген уже разрушен. Чтобы как-то задокументировать и прояснить для непосвященных специфику создавшейся ситуации, я решил приложить к этому довольно несвязному и чисто личному письму тексты, которые вызвали у вас такое отвращение и раздражение. Это статья *Dip-art: Deep Art of the Cold War* <[http://russ.ru/krug/20000820\\_kov.html](http://russ.ru/krug/20000820_kov.html)>... Вам было бы небезынтересно узнать, что после того, как я изложил основные положения этой статьи на конференции в Будапеште, я навсегда потерял расположение Фонда Сороса, который ту конференцию организовал... Сразу скажу, что я ни разу не пытался утверждать, что весь нонконформизм был инспирирован ЦРУ. Во-первых, можно говорить, что он был в той же мере инспирирован КГБ. Особое негодование на конференции в Будапеште, где сидел и знаменитый коллекционер Нортон Додж, похожий на старого Индиану Джонса, вызвали мои предположения о том, что вокруг художников шла большая шпионская игра. Все дело в том, что иначе, по моему, почти невозможно объяснить, как получилось так, что вы достаточно свободно общались с иностранцами, ходили в Спасо[-Хауз]. И никто вас не трогал. Поэтому у меня были все основания предположить, что „художников“ взяла на свое попечение разведка, а не карательные органы. (В простых терминах „Семнадцати мгновений“ — широко мыслящие интеллектуалы из абвера, а не костоправы Мюллера.)...»

Ср. с утверждением Игоря Дудинского, что в 70 — 80-е годы, когда он занимался авангардным искусством, связь с КГБ была неизбежна: «Это полный бред, что кто-то мог устроить выставку за рубежом, вывезти картины или показать прилюдно авангардный спектакль на свой страх и риск! Все это согласовывалось, планировалось и разрешалось КГБ путем долгих дебатов с ними, компромиссов и даже чтения лекций на Лубянке» («Время MN», 2000, № 89, 20 июня).

**Григорий Кокунько.** Нуждаются ли в реабилитации вожди Белого Движения. — «Посев», 2000, № 8.

В 1996 году по общему делу казачьих атаманов был полностью реабилитирован один из них — расстрелянный в 1947 году немецкий генерал Гельмут фон Паннвиц, командир XV Казачьего кавалерийского корпуса. На Донском кладбище в Москве ему — немцами — поставлен памятник. А вот всем его поделщикам, участникам Белого движения, — П. Краснову, А. Шкуро и другим, так же никогда не имевшим советского гражданства, — в посмертной реабилитации отказано. «И каждый такой отказ только напоминает нам, что борьба, начатая против Советов Корниловым, Калединым, Семеновым, Красновым и продолженная более чем миллионом русских эмигрантов и граждан СССР во время II мировой войны (вопреки антироссийской позиции вынужденного „помощника“ — нацистской Германии), — что эта борьба еще далека от завершения», — читаем в общественно-политическом издании Народно-Трудового Союза российских солидаристов, отметившего недавно свое 70-летие.

**Алексей Колобродов.** «Молодая комсомолка», или Чего не заметили юбилейщики. — «Волга», Саратов, № 413. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/volga>

Эротическая история ВЛКСМ. (Это последний номер закрывшегося журнала «Волга», фактически — № 6-12 за 2000 год. Тираж номера — 333 экз. Редакция сохраняет за собой право на логотип в надежде когда-нибудь возобновить выход журнала. См. в настоящем номере «Нового мира» рецензию Андрея Немзера на № 413 «Волги».)

**Михаил Кураев.** Разрешите проявить зрелость! Рассказ. — «Знамя», 2000, № 9. Кафедра марксизма-ленинизма в Театральном институте.

**М. Кучерская.** О сотворении романтической репутации. — «Вопросы литературы», 2000, № 4, июль — август.

Великий князь Константин Павлович как романтический герой.

**Ольга Кушлина.** *Cry, cry, the soul of orthodox.* — «Неприкосновенный запас», 2000, № 4 (12).

Среди прочего — неожиданный ответ на призывы/требования к Православной Церкви перейти на новый календарь. «...Благодатный огонь сходит на гроб Господень раз в год на Пасху, и только по православному календарю (сказано неточно, но понятно. — А. В.). Боюсь, его уговорить будет еще труднее, чем нашу консервативную Церковь».

**Станислав Лем.** Что остается? Перевод с польского Ю. Чайникова. — «Иностранная литература», 2000, № 9. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/inostran>

Эссе из сборника «*Sex Wars*» (1996). «Если принцип отбора, при котором 99,9999% событий (телевидением. — А. В.) умалчивается, а сообщается лишь одна микрогигананомилличастица, не является формой лжи, тогда такого явления, как откровенная ложь, вообще не существует». Кстати, Лем не является противником смертной казни.

**Илья Лепихов.** Письма русского офицера, или *wahlverwandschaft*, или эх, прокачу! Или то, что я должен сказать. — «Русский Журнал». Адрес в Сети: <http://russ.ru/politics/grammar>

О книге Н. Лугина (псевдоним философа Ф. А. Степуна; 1884 — 1945) «Из писем прапорщика-артиллериста» (Томск, «Водолей», 2000): «Суждения Лугина-Степуна о войне оплачены не литературным, а полевым опытом. По степени приближения к событиям, по особенностям авторской позиции „Письма“, как мне представляется, могут быть уравнены в правах с „Севастопольскими рассказами“ Льва Толстого и гаршинскими текстами о Балканах. Ничего более объективного, напряженного и внутренне здорового русская общественная мысль, пожалуй, не производила на свет».

**Елена Макарова.** Фридл. Документальный роман. — «Дружба народов», 2000, № 9.

Фридл — это художница Фридл Дикер-Брандейсова (1898 — 1944), погибшая в Освенциме.

**Лидия Маслова.** Злобный антиарабский опус. — «Коммерсантъ», 2000, № 163, 2 сентября. Электронная версия: <http://www.kommersant.ru>

«Американская пресса тоже (вслед за правительством Йемена и Американско-арабским антидискриминационным комитетом. — А. В.) не отстала и наградила фильм („Правла боя“ Уильяма Фридкина. — А. В.) эпитетом „аморальный“. Это слово возникает всегда, когда кто-то откровенно констатирует подлость и жестокость мироуст-

ройства... В „Правилах боя” действительно считается мысль, с точки зрения политкорректного голливудского кинематографа почти фашистская: быть добрым ко всем невозможно, и единственный способ быть добрым хоть к кому-нибудь — разделить людей на своих и чужих».

**Алексей Машевский.** «Какие сны в том самом сне приснятся...». — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 8.

Противостоять *Матрице* сможет только героическое религиозное сознание индивида, выбирающего трудную и болезненную реальность.

**В. Я. Медиков.** Черный пиар для президента. — «Субботник НГ», 2000, № 30, 2 сентября.

Доктор экономических наук в кратком письме в газету предполагает, в частности, что Путину готовят судьбу Джона Кеннеди, но в каком-то российском варианте.

**Константин Михайлов.** Процесс 30 июля — 1 августа 1946. — «Посев», 2000, № 8.

«Если в будущей России Политбюро ЦК ВКП(б) будет признано руководящим органом преступной организации, автоматически будут признаны недействительными и незаконными все его репрессивные решения», в том числе — и процесс 12 старших офицеров РОА (1946 год), который, по мнению исследователя, был не правовой процедурой, а расправой победителей.

**Никита Моисеев.** Люди не господа, а часть природы. — «Независимая газета», 2000, № 157, 23 августа.

Академик Н. Н. Моисеев умер 29 февраля 2000 года — именно в тот день, когда в редакции журнала «Вопросы философии» проходил «круглый стол» по его книге «Быть или не быть человечеству?». В газете печатается текст обращения академика к участникам «круглого стола». Глобальная экологическая катастрофа может случиться, по его мнению, не в каком-то неопределенном будущем, а может быть, уже в середине наступающего XXI века.

**Валентина Мордерер, Григорий Амелин.** Сталин и Тарас Бульба. Осип Мандельштам как математический фантаст. Предисловие Александра Пятигорского. — «Ex libris НГ», 2000, № 33, 31 августа.

Статья из книги «Миры и столкновенья Осипа Мандельштама» («Языки русской культуры», 2000), с которой можно познакомиться также в сетевом журнале «Новый мир» по адресу: [http://www.infoart.ru/magazine/novyi\\_mi](http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi)

**Славомир Мрожек.** Моя автобиография. Перевод с польского С. Макарьева. — «Иностранная литература», 2000, № 9.

Автобиография была опубликована в юбилейном сборнике к 60-летию польского драматурга (Краков, 1990).

**Мюллер против Штирлица.** — «Литературная газета», 2000, № 34-35, 30 августа — 5 сентября.

1948 — 1949 годы, Мюллер... в США, работает на ЦРУ. Ныне в США вышла трехтомная работа Грегори Дугласа «Шеф гестапо. Протоколы допроса Генриха Мюллера в 1948 году. Из секретных досье разведки США» и отдельный том «Дневники Мюллера. Том 1. Годы в Вашингтоне» под редакцией Г. Дугласа. Готовится русское издание в переводе и обработке Михаила Ростарчука. «Конечно, столь тупые люди, как русские, смогли сделать такую бомбу единственным путем — благодаря деятельности своих агентов в К[омиссии по] А[томной] Э[нергии]. Я очень серьезно предупреждал об этом и прежде, но теперь, возможно, кто-нибудь прислушается. Паш говорил, что проект набит эмигрантами, главным образом немецкими евреями, большинство из которых были коммунистами, информация в Россию они передавали ежедневно...» (запись от 24 сентября 1949 года из *будто бы* дневника *будто бы* Мюллера).

**Игорь Нарский.** Под панцирем исторического мифа. «Человек с ведром» в революции 1917 года: уральские материалы. — «Уральская парадигма». Журнал для новых умных. Главный редактор Дмитрий Бавильский. Челябинск, 2000, № 4.

Впечатляющая хроника и попытка исторического осмысления «пьяной революции» — массовых винных погромов, прокатившихся по стране во второй половине 1917 года. См. также не менее впечатляющую статью челябинского историка Игоря Нарского «Революция, которая пахнет, или О состоянии мест общего пользования из историко-культурной перспективы» («Уральская парадигма», 2000, № 3), посвященную санитарно-гигиенической «архаизации» 1917 — 1922 годов.

**Михаил Новиков.** Не посрамил Сталинской премии. 75 лет Юрию Трифонову. — «Коммерсантъ», 2000, № 158, 26 августа.

Юрий Трифонов — единственный, по мнению критика, лауреат Сталинской премии, у которого до сих пор достаточно читателей (этим объясняется странное название юбилейной статьи). «Апология террориста Желябова („Нетерпение”. — А. В.) да и красных командиров Гражданской войны („Старик” и „Отблеск костра”. — А. В.) выглядят, мягко говоря, неактуально. Но вот тема разрушения „дворянских гнезд” (советских в случае Трифонова) представляется вечной. *Предварительные итоги олигархов, обмена элитного жилья и долгое прощание* поп-звезд однажды будут описаны. Возможно, столь же элегически и теми же приемами постдостоевского реализма, при помощи которых Трифонову удалось обнаружить в довольно-таки жалких и жестоких персонажах советского полусвета теплые и даже привлекательные черты».

Юбилейная же статья Александра Вяльцева («Категория времени» — «Независимая газета», 2000, № 162, 30 августа; «Ex libris НГ», 2000, № 33, 31 августа) интересна тем, что в основном посвящена удачному, по мнению критика, производственному роману Трифонова «Утоление жажды».

**Валерий Перелешин.** Письмо Алле Кторовой. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 219 (июнь 2000 г.).

«...это в конечном счете не мое дело: русским писателем может быть любой представитель национального меньшинства бывшей Российской империи, иностранцем он становится только в тот день, когда таковым себя объявляет, — на предмет выезда из СССР. Привилегиями в отношении выезда он отмежевывает себя от остающегося большинства и других меньшинств. Хочется все же верить, что Россия когда-либо (в 2040 году?) воскреснет, с евреями или без них» (из письма от 10 мая 1975 года).

**Тадеуш Пикус.** В поисках Пути, Истины и Жизни. — «Вышгород», Таллинн, 2000, № 4.

Библиография трудов о. Александра Меня, составленная польским священником из Варшавы. Включено 307 публикаций (на май 1996 года) и более 150 учтенных рукописей и машинописи из разных архивов. Весь номер журнала «Вышгород», напечатанного за последние годы многие материалы из наследия А. Меня, посвящен 10-летию со дня гибели священника.

**Письма И. Ф. Романова (Рцы) к В. В. Розанову.** Вступительная статья, публикация и научная подготовка текста С. Р. Федякина. — «Литературная учеба», 2000, № 4, июль — август.

Сумбурно-развязные письма 1891 — 1893 годов литератора и мыслителя второго ряда Ивана Федоровича Романова (1858 — 1913), более известного под псевдонимом Рцы. Эти письма Розанов хотел издать в серии «Литературные изгнанники», так же как он издал письма Н. Страхова и Ю. Говорухи-Отрока.

«**Полный**» Соловьев. А. Люсьй беседует с А. Носовым. — «Литературная учеба», 2000, № 4, июль — август.

Беседа с Александром Носовым, ответственным редактором Полного собрания сочинений Владимира Соловьева, о том, что в лице Соловьева русское общество впервые столкнулось с *публичной философией*, а также о том, что в издательстве «Наука» нет ни одного ксерокса.

**Валерия Пришвина.** Невидимый град. Глава из романа. Вступление и подготовка текста Я. З. Гришиной. — «Октябрь», 2000, № 9.

Фрагмент автобиографического романа В. Д. Пришвиной (1899 — 1979), написанного в 1962 году (рукопись из архива В. В. Круглеевской и Л. А. Рязановой). Эта публикация воспринимается как естественное продолжение предыдущих публикаций из архива М. М. Пришвина, которые уже давно стали своего рода фирменным знаком журнала «Октябрь».

**Карен Свасьян.** Россия и демократия. Заготовки одного некролога. — «Независимая газета», 2000, № 176, 19 сентября.

О том, что демократизация России была и остается «лишь злой коммунистической шуткой, прощальным свинством сходящего с копыт маразматика, короче, последним *решением политбюро*». А также: «Евросоюз сегодня — никакие не Соединенные Штаты Европы, а Союз европейских социалистических республик (между прочим, 15) со столицей в Брюсселе, откуда по образцу недавней Москвы осуществляется руководство братскими странами». Полностью — в журнале «Новая Россия» (2000, № 5).

**А. И. Серков.** Российское масонство. Часть первая. Восемнадцатый век. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 7, 8.

Публикация статей А. Серкова о масонстве будет продолжена «Звездой» в 2001 году. См. также рецензию К. Белоцкого «Всплывающая Атлантида» («Новый мир», 1999, № 9) на книгу А. И. Серкова «История русского масонства, 1845 — 1945». См. материалы по теме на сайте «Масоны в России»: [http://www.chat.ru/~ru\\_masons](http://www.chat.ru/~ru_masons)

**Ольга Славникова.** «Читать мучительно не хочется...». — «Октябрь», 2000, № 8.  
«По-моему, ни один современный прозаик не способен описать прозрачный предмет, хотя бы простое оконное стекло».

**Алексей Слаповский.** Новая книга для тех, кто не любит читать. Предисловие Людмилы Улицкой. — «Книжное обозрение», 2000, № 34, 21 августа.

По мнению Улицкой, некоторые из этих сверхкоротких рассказов зашкаливают на планке «хорошо — очень хорошо — отлично».

**Смутное время 1913 — 1920 гг. глазами священника.** Церковноприходская летопись Христо-Рождественской церкви и прихода Урюпинского ярмарочного поселения, составленная священником Петром Протопоповым. Публикация, предисловие и примечания С. П. Синельникова. — «Волга», Саратов, № 413 (2000, № 6 — 12).

«Весть об отречении царя от престола поразила всех своей неожиданностью. Народ выслушал манифест молча, отчасти с недоумением» (из записей 1917 года). Начало летописи, предположительно относящееся к периоду 1896 — 1912 годов, безвозвратно утрачено.

**Диакон Владимир Соколов.** Может ли ложь быть полезной для Церкви? О мироточении подлинном и мнимом. — «Пределы века». Еженедельная общественная православная газета. 2000/7508, № 2 (2), 16 — 23 августа.

Не всякое масляное пятно на иконе есть мироточение, и сомнения по поводу мироточения есть не искушение, а трезвомыслие.

**Максим Соколов.** <Субботний фельетон. 26.VIII — 1.IX>. — «Известия», 2000, № 165, 2 сентября.

«Суждения „информация — величайшая сила” и „свобода слова не подлежит никаким ограничениям и стеснениям”, будучи взятыми порознь и сами по себе, трудны для оспаривания. Поставленные же рядом, они означают, что пользование величайшей силой не подлежит никаким ограничениям, а такой итоговый вывод уже представляется дискуссионным».

**Виктор Сонькин.** Публика — дура. — «Русский Журнал». Адрес в Сети: <http://russ.ru/krug/gazbo>

«Беспомощность Павича-рассказчика отчетливо проявляется в том, что его сюжеты невозможно пересказать, а его героям невозможно сочувствовать». См. также язвительную рецензию Сергея Шаргунова на книгу Милорада Павича «Ящик с письменными принадлежностями» («Новый мир», 2000, № 12).

**Игорь Сухих.** О смерти, войне, судьбе и родине — русской и советской. (1941 — 1945. «Василий Теркин» А. Твардовского). — «Звезда», Санкт-Петербург, 2000, № 8.

См. также «Евангелие от Михаила. (1928 — 1940. „Мастер и Маргарита” М. Булгакова)» (2000, № 6), «Из гоголевской шинели. (1923 — 1930. „Сентиментальные повести” М. Зощенко)» (2000, № 2), «О звездах, крови, людях и лошадях. (1923 — 1925. „Конармия” И. Бабеля)» (1999, № 12) и другие статьи И. Сухих в авторской рубрике «Книги XX века».

**Маркс Тартаковский.** Кризис гуманизма? Открытое письмо французскому историку Алену Безансону. — «Москва», 2000, № 8.

В ответ на антироссийское — по поводу Чечни — обращение европейских интеллектуалов в газету «Монд» Маркс Тартаковский высказывает все, что думает, о *Прекрасной Франции* (мало не покажется...). Хорошая фраза: «А возможна ли Сорбонна после Пол Пота (выпускника Сорбонны. — А. В.)?»

«У нас уже многие говорят». Устные рассказы об Осипе Мандельштаме из собрания Дувакина. Предисловие Ольги Фигурновой и Марины Фигурновой. — «Время МН», 2000, № 159, 26 сентября.

Устные мемуары В. Б. Шкловского, Н. К. Бальмонт-Бруни и других. Из записанного и сохраненного в конце 60-х — 70-е годы филологом В. Д. Дувакиным — для XXI века.

**М. Холмогоров.** «Я выглядываю из вечности...». Перечитывая Юрия Олешу. — «Вопросы литературы», 2000, № 4, июль — август.  
Оправдание Олешу.

**Ирина Цветкова.** Явление доктора Живаго. — «Ex libris НГ», 2000, № 35, 14 сентября.

Публикация письма Бориса Пастернака к журналистке Л. А. Воронцовой от 25 июля 1955 года, в котором он впервые пишет о создании романа в прозе: «...но мало надежд, чтобы он скоро у нас появился».

**Татьяна Чередниченко.** Музыкальный запас: Владимир Мартынов. — «Неприкосновенный запас», 2000, № 4 (12).

Необходимо выйти из «трехаккордовой» ментальной колеи и обратиться к музыке, творимой ныне. «Проблема лишь в том, чтобы услышать. Как заметил Карл Дальхауз, „в музыке слышат то, что о ней можно прочесть“. Непосредственного (не опосредованного словом) восприятия музыки не существует...» В данном случае Татьяна Чередниченко помогает нам услышать сочинения Владимира Мартынова.

**Сергей Шаповал.** Немзыкальные впечатления композитора. Владимир Мартынов считает, что сегодня происходит революция, серьезнее которой не было со времен бронзового века. — «Фигуры и лица», 2000, № 17, 19 октября. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

«Если обратиться к пресловутой попсе, то нужно признать, что она стала данностью, такой же, как последние известия, которые я слушаю каждый день. Но самое ужасное, что непесе уже практически не осталось места, ей нужно уходить в андерграунд. В Интернете музыка находится в разделе „Entertainment“, это многое объясняет. Можно только догадываться, как отнеслись бы к этому, скажем, Пифагор или Веберн... Надо понять, что мы живем, если можно так выразиться, в цивилизации пэтушников, где господствует непрофессионализм и Entertainment. Противостоять этому невозможно, надо уходить в андерграунд и там работать. Эту цивилизацию можно использовать в качестве игрового хода, но противостоять ей бессмысленно».

**Сергей Шаповал.** Консультант. Грехи и доблести Глеба Павловского. — «Фигуры и лица», 2000, № 15, 21 сентября. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

«Строить новую страну, спасая ту, что есть, — две задачи, требующие разных технологий и плохо совместимые, но выбора у него (президента. — А. В.) нет. То, что Ельцин просто швырнул его в эту ситуацию: разбирайся! — я считаю гениальным решением. Правильным ли был выбор самого Путина, мы скоро узнаем, — говорит директор Фонда эффективной политики. См. также Национальную информационную службу, открытую ФЭПом: <http://www.Strana.ru>

**Михаил Швыдкой.** Идеология — это не старые песни о новом. — «Время MN», 2000, № 175, 18 октября.

«Сразу скажу, я — традиционалист. Некоторые вещи кажутся мне непонятными. Я с трудом могу представить всенародный юбилей 175-летия смерти Милорадовича, военного губернатора Петербурга, убитого декабристом Каховским, вместо традиционно отмечаемой даты выступления декабристов. Или государственное празднование 230-летия все того же графа и генерала в 2001 году. Нельзя так вдруг возвращать из небытия или отправлять в небытие исторические фигуры путем замены минуса на плюс в их оценке и наоборот. Причем одновременно с Милорадовичем предлагается отмечать и 120-летие Климента Ефремовича Ворошилова, известного деятеля Гражданской войны, легендарного военачальника сталинской эпохи, чье участие в массовых репрессиях хорошо известно... Надо понять для начала, а чего мы, собственно, собираемся праздновать?»

Позволю себе подхватить эту мысль министра культуры. А что мы, собственно, празднуем, отмечая традиционную дату выступления декабристов? Не начало ведь первого этапа русского освободительного движения (по Ленину), которое известно чем закончилось? Что, собственно, произошло 175 лет назад в Петербурге? Вооруженный мятеж против законной власти и подавление вооруженного мятежа законной властью. Праздновать как то, так и другое — а особенно государственному человеку — сегодня, по-моему, неловко. Куда более симпатичен и адекватен духу времени проект с памятником тому самому *зайцу*, что 175 лет назад перебежал дорогу Пушкину (см. беседу об этом с Андреем Битовым — «Ex libris НГ», 2000, № 40, 19 октября).

**Сергей Шерстюк.** Украденная книга. Предисловие и подготовка текста Игоря Клеха. Публикация Светланы Савичевой. — «Октябрь», 2000, № 8.

Дневник последнего года жизни (1997) художника Сергея Шерстюка, умершего через девять месяцев после гибели в огне его жены, мхатовской актрисы Елены Майоро-

вой. «Поездив по свету, знаю сейчас наверняка и без лапши, что народы друг друга не любят, как бы чего ни брехали, и лучшее — даже не безразличие, а незнание, но также знаю, что везде есть некая кучка, которая полагает, что нелюбовь к России — чуть ли не главный смысл жизни, и если ты вдруг просто безразличен, то мурак и в жизни кайфа не будет» (из записки от 11 мая 1997 года).

**Валерий Шубинский.** Семейный альбом. Заметки о советской поэзии классического периода. — «Октябрь», 2000, № 8.

Классического — то есть 30 — 50-х годов. Багрицкий, Асеев, Сельвинский, Симонов, Кедрин, Слуцкий и другие.

**Игорь Эбаноидзе.** *Subject: Sorokin.* (Послание западным провинциалам). Психология джаза. — «Литературная учеба», 2000, № 4, июль — август.

Автор понимает джаз расширительно — как искусство безусловно выдержать заданный стиль от начала до конца и без выхода во что-либо большее. В эссе о Сорокине немецкий собеседник автора высказывается в том смысле, что если русская литература жизнеспособна и сохраняет достаточную сопротивляемость к паразитам, то Владимир Сорокин задохнется в прожилках ее голубого сала и *выйдет, дохлый, через ее задний проход.*



**ПОПРАВКА:** Уважаемый г-н Василевский! Обращаем Ваше внимание, что в аннотацию к позиции «Каталог» («Даугава», 1999, № 5-6) в разделе «Периодика» («Новый мир», 2000, № 10) дважды вкралась опечатка: напечатано — «Литва», должно быть — «Латвия». С уважением. Ж. Я. Эзит, главный редактор журнала «Даугава».



**ДАТЫ:** «Через двести — триста, наконец, тысячу лет — дело не в сроке, — настанет новая счастливая жизнь», и первые сто лет уже прошли: 31 января 1901 года состоялась премьера чеховских «Трех сестер» в Московском Художественном театре; 70 лет назад была основана М. Горьким книжная серия «Библиотека поэта»; 70 лет назад начал выходить журнал «ЛЮКАФ» («Литературное Объединение писателей Красной Армии и Флота»), в 1933 году переименованный в «Знамя».

Составитель Андрей Василевский.

## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Январь

5 лет назад — в № 1 за 1996 год напечатана «Моя ностальгия» Сергея Аверинцева.

35 лет назад — в № 1 за 1966 год напечатан рассказ А. Солженицына «Захар-калита».

40 лет назад — в № 1 за 1961 год напечатана повесть Владимира Войновича «Мы здесь живем».

70 лет назад — в № 1 за 1931 год напечатано стихотворение Бориса Пастернака «Смерть поэта».

75 лет назад — в № 1 за 1926 год напечатана поэма Сергея Есенина «Чорный человек».

## ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

БОРИС ПАСТЕРНАК

\* \*  
\*

Столетье с лишним — не вчера,  
А сила прежняя в соблазне  
В надежде славы и добра  
Глядеть на вещи без боязни.

Хотеть, в отличьи от хлыща  
В его существованье кратком,  
Труда со всеми сообща  
И заодно с правопорядком.

И тот же тотчас же тупик  
При встрече с умственной ленью,  
И те же выписки из книг,  
И тех же эр сопоставленья.

[Но лишь сейчас сказать пора,  
Величьем дня сравненье разня:  
Начало славных дней Петра  
Мрачили мятежи и казни]<sup>1</sup>.

Итак, вперед, не трепеща  
И утешаясь параллелью,  
Пока ты жив, и не моща,  
И о тебе не пожалели.

1931.

---

<sup>1</sup> Строфа, выпущенная при публикации в «Новом мире» (1932, № 5).



# SUMMARY



This Issue publishes the novel «The Real Estate» by Andrey Volos, the story «The Goose Flying by» by Victor Astafyev and also some stories by Sergey Shargunov.

The poetry section of this Issue includes new poems by Irina Ratushinskaya, Aleksander Kushner, Inna Lisnyanskaya and Boris Victorov.

The Sergey Averintsev's speech at the opening day of the Russian icons' exhibition in Vatican is published in the section «Philosophy. History. Politics».

Under the heading «Polemics» a reader can find the article «To Freeze History a Little?» by Valery Senderov.

Vladimir Osherov is responsible for a new section «Letters from Far Away».

The architect Vladimir Yuzbashev analyses possibilities and losses in the article «From a Paper Architecture to a Virtual One».

In this Issue the literary critique is represented by the Olga Slavnikova's article «Special Effects in Life and in Literature».



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

---

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кущнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,  
Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская,  
О. Г. Чухонцев

---

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова	Редактор-библиограф А. И. Фрумкина
Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова	Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.  
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,  
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,  
отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,  
зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,  
для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru;  
по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: [http://www.infoart.ru/magazine/novyi\\_mi](http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi)

---

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.  
Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

---

Сдано в набор 20.08.2000 г. Подписано к печати 26.10.2000 г. Формат бумаги 70x108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн.-журн.  
Высокая печать. Объем 16,0 печ. л., 22,4 усл. печ. л., 28,0 уч.-изд. л.

---

Тираж 12 550 экз. Зак. 2656. Цена договорная.

---

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»  
Управления делами Президента Российской Федерации.  
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**В год 75-летия журнала «Новый мир»  
Благотворительный Резервный Фонд  
и редакция журнала «Новый мир»  
учредили литературную премию  
имени Юрия Казакова  
за лучший русский рассказ года.**

**Жюри отобрало из представленных на конкурс рукописей  
семь кандидатов на премию:**

**МАРИНА ВИШНЕВЕЦКАЯ.** Вот такой гобелен. —  
«Знамя», 2000, № 8;

**ЮРИЙ ГОНЧАРОВ.** Командировка в безумие. —  
«Подъем», Воронеж, 2000, № 4;

**НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР.** Случай на Радоницу. —  
«Октябрь», 2000, № 6;

**ИГОРЬ КЛЕХ.** Псы Полесья. — «Дружба народов», 2000, № 7;

**ЛЕОНИД КОСТИКОВ.** Верховский и сын. —  
«Дружба народов», 2000, № 3;

**ЕМЕЛЬЯН МАРКОВ.** Снег. — «Юность», 2000, № 5;

**АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ.** По согласию сторон. —  
«Литературная газета», 2000, № 28-29.

**Состав жюри:**

**МИХАИЛ БУТОВ**, председатель жюри,  
ответственный секретарь журнала «Новый мир»,  
**РУСЛАН КИРЕЕВ**, зав. отделом прозы журнала «Новый мир»,  
**АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ**, президент АКБ «Национальный  
Резервный банк», президент Благотворительного Резервного Фонда,  
**АНДРЕЙ НЕМЗЕР**, литературный обозреватель газеты «Время новостей»,  
**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА** (Екатеринбург), прозаик, эссеист.

**Координаторы премии:**

главный редактор журнала «Новый мир»  
**АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ**,  
генеральный директор Благотворительного Резервного Фонда  
**ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО**.

**СУММА ПРЕМИИ — 3000 \$.**